ISSN 0130-6545

12.1995

Иностранная литература

В номере:

Т. КОРАГЕССАН БОЙЛ
Рассказы

АЛАСДЕР ГРЕЙ
Бедные-несчастные

ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ
Константинос Кавафис

МОСКВА

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР — КОНВЕРСБАНК А.О.
(АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК КОНВЕРСИИ)**

Из общего тиража в 29 700 экз. Институт «Открытое общество» ежемесячно выписывает и направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 000 экз. журнала.

Главный редактор
А.Н. СЛОВЕСНЫЙ

Редакционная коллегия:

О.Г. БАСИНСКАЯ — ответственный секретарь
Л.Н. ВАСИЛЬЕВА — заведующая отделом художественной литературы
А.В. МИХЕЕВ — заведующий отделом критики и публицистики
Г.Ш. ЧХАРТИШВИЛИ — заместитель главного редактора

Общественный редакционный совет:

С.С. АВЕРИНЦЕВ, В.П. АКСЕНОВ, С.К. АПТ, А.Г. БИТОВ, И.А. БРОДСКИЙ,
П.Л. ВАЙЛЬ, Е.Ю. ГЕНИЕВА, А.А. ГЕНИС, В.П. ГОЛЫШЕВ, Т.П. ГРИГОРЬЕВА, Б.В. ДУБИН,
А.Н. ЕРМОНСКИЙ, В.В. ЕРОФЕЕВ, Д.В. ЗАТОНСКИЙ, А.М. ЗВЕРЕВ, Вяч.Вс. ИВАНОВ,
В.Б. ИОРДАНСКИЙ, Т.П. КАРПОВА, Л.З. КОПЕЛЕВ, А.С. МУЛЯРЧИК,
Д.Б. РЮРИКОВ, М.Л. САЛГАНИК, Е.М. СОЛОНОВИЧ, П.М. ТОПЕР, Н.Л. ТРАУБЕРГ,
М.А. ФЕДОТОВ, Б.Н.ХЛЕБНИКОВ

Международный совет:

ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ, ЖОРЖИ АМАДУ,
ЭРВЕ БАЗЕН, КРИСТА ВОЛЬФ, ЯНУШ ГЛОВАЦКИЙ,
ТОНИНО ГУЭРРА, МИЛАН КУНДЕРА, ЗИГФРИД ЛЕНЦ,
АРТУР МИЛЛЕР, АНАНТА МУРТИ,
МИЛОРАД ПАВИЧ, КЭНДЗАБУРО ОЭ, УМБЕРТО ЭКО

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ИЗДАЕТСЯ С ИЮЛЯ 1955 ГОДА
УЧРЕДИТЕЛЬ — ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ

12 декабрь 1995

СОДЕРЖАНИЕ

АЛАСДЕР ГРЕЙ — Бедные-несчастные (*Роман. Перевод с английского Л.Ю. Мотылева*). 5

ФИЛИПП ЖАКОТЕ — Стихи (*Перевод с французского и вступление В.Швыряева*). 147

Т.КОРАГЕССАН БОЙЛ — Рассказы (*Перевод с английского Г.Чхартишвили и Л.Мотылева*). 152

КАРЛО ЭМИЛИО ГАДДА — Театр (*Рассказ. Перевод с итальянского и вступление Н.Ставровской*). 178

ДЖОНАТАН СВИФТ — Когда я состарюсь... (К 250-летию со дня смерти. *Перевод с английского и вступление А.Ливерганта*). 184

Из классики XX века

ЛУИС СЕРНУДА — «Молчаливый, траурный, тонкий... » (*Стихи. Перевод с испанского и вступление Н.Ванханен*). 185

Портрет в зеркалах
КОНСТАНТИНОС КАВАФИС

БОРИС ДУБИН — От составителя 192

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС — Стихи (*Перевод с новогреческого Евгения Солоновича*). 194

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН — Кавафис (*Перевод с английского Бориса Дубина*). 196

ЧЕСЛАВ МИЛОШ — О Кавафисе (*Перевод с польского Бориса Дубина*). 203

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР — Кавафис: предисловие к знакомству (*Перевод с французского Бориса Дубина*). 204

ИОСИФ БРОДСКИЙ — На стороне Кавафиса (*Авторизованный перевод с английского Л.Лосева*). 208

Гений места

ПЕТР ВАЙЛЬ — Портрет города (*Мадрид — Веласкес, Толедо — Эль Греко*). 216

Критика

Возвращаясь к напечатанному

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ — Регулярный парк сновидений (По следам Милорада Павича. *Фрагменты словаря*). 223

К нашим иллюстрациям

Альберто Санчес, скульптор из Толедо. К 100-летию со дня рождения. (*Переводы с испанского. Предисловие А.Гелескула*). 234

Курьер «ИЛ» 246

Содержание журнала «Иностранная литература» за 1995 год, № 1-12..... 251

Авторы этого номера 255

© «Иностранная литература», 1995

В следующем номере «ИЛ»

«ЛЕГЕНДА О СВЯТОМ ПРОПОЙЦЕ» австрийского писателя **Йозефа Рота,** написанная в эмиграции, в Париже, незадолго до смерти, — это своего рода притча, пронизанная горьким чувством бесприютности и в то же время мягкой доброй иронией.

«КИЧ, или К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ ЧТИВУ» — «Литературный гид», знакомящий читателя с романами **Чарльза Буковски** «МАКУЛАТУРА» и **Тадеуша Конвицкого** «ЧТИВО», в которых обыгрываются стандартные приемы и расхожие штампы массовой культуры.

Эссе **Иосифа Бродского** «ТРОФЕЙНОЕ».

Цветные иллюстрации номера — работы испанского художника и скульптора АЛЬБЕРТО САНЧЕСА:

На 1-й стр.обложки — «Натюрморт».
На 2-й стр.обложки — занавес к постановке трагедии Ф. Гарсиа Лорки «Кровавая свадьба».
На 3-й стр.обложки — «Пристанище русских птиц».

В Москве журнал можно приобрести в редакции.

Художественное и техническое оформление **С.В. Бейлезон**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., 41. Телефон 233-51-47; факс 233-50-61.

Журнал выходит один раз в месяц.

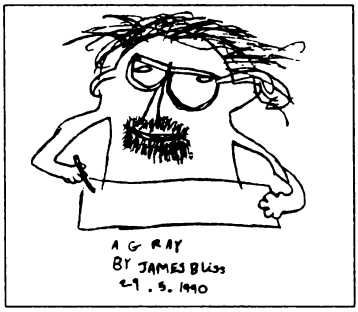
Оригинал-макет номера подготовлен в редакции.

Подписано в печать 17.10.95. Формат 70x108 1/16. Печать офсетная.

Бумага типографская. Усл. печ. л.22,40. Усл. кр.-отт. 23,8. Уч.-изд. л. 26,98. Заказ №1218

Тираж 29 700 экз. Цена по подписке 10 000 р.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий»,
103473, Москва, Краснопролетарская, 16.



АЛАСДЕР ГРЕЙ

Бедные-несчастные

Фрагменты молодости Арчибальда Свичнета,
доктора медицины,
инспектора шотландской санитарной службы,
изданные Аласдером Греем

Перевод с английского Л.Ю. МОТЫЛЕВА

Poor Things might just imprint itself on the Scottish imagination of the 1990s as indelibly as *Lanark* influenced the 1980s ... the voyage is a teasing delight - and at times very moving ... Can a man "make" a feminist? It is the final riddle of a mesmerizing mind game in which not even the heroine, and certainly not the author, can be trusted. Only Gray's readers can provide the answer - and they are lucky, lucky things indeed' - **Scotsman.** 'If Gray had been content either to create a female Frankenstein or to give a new zest to the legend of Dr Jekyl and Mr Hyde Poor Things might have been a funny and original tale. ... But he has loaded his novel with false historical references and larded it with his own gruesome drawings. ... These are the ravings of second-rate characters in a second-rate novel? - **Sunday Telegraph.** 'Not since Harry Harrison's *The Channel Tunnel, Hurrah! has* a work of light fiction amused me as much as Alasdair Gray's *Poor Things*. Gray, like Harrison, uses science fiction to resurrect England's Empire at its most spacious and gracious. Unlike Harrison he satirizes those wealthy Victorian eccentrics who, not knowing how lucky they were, invented The Emancipated Woman and, through her, The British Labour Party - a gang of weirdos who kept hugging and dropping the woolly socialism of their founders until Margaret Thatcher made them drop it for ever. The heroine of *Poor Things* is an oversexed blend of Eleanor Marx, Annie Besant and Alice in Wonderland. She meets her match in Harry Astley, the best type of English Conservative whose habitual reserve hides a warm heart and formidable intelligence. She is suitably punished for rejecting him by marriage to the spineless working-class Liberal who tells the story. A whole gallery of believably grotesque foreigners - Scottish, Russian, American and French - assist in her downfall, but my favourite character is Mrs Dinwiddie. ...htly sketched portrait of a faithful family servant stands comparison with old Nanny Hawkins in *Brideshead Revisited*.' - **Private Nose.** 'Although it is pointless to accuse a novelist of getting his facts wrong, it is hard to see why General Blessington (who supported home rule for Ireland *and* the Transvall) is presented as the worst of British Imperialists. This and similar inauthenticities makes *Poor Things* yet another exercise in Victorian pastiche, a fictional genre which deserves to be ne... ...ntury or two.' **The Times Literary Implement.** 'Was Bella Victoria real... ...a bizarre scheme hatched to get her away from her ... ...t. 'Those who, like me, are ... ...ht, and not just because ... ...int, it is at least as witty ... ...on and *The Island of Dr.* ... ...ics of sexual behaviour. ... ...greaty deal more than ... **Spectator.** 'Gray's ... ...t excitement. It is a ... ...value too? - **The Independent.**

Поправка

Гравюра на стр.88 изображает не профессора Жана Мартена Шарко, а графа Робера де Монтескье-Фезенсака.

... reads in part the opening paragraph of the Editor's introduction to *Poor Things*, the ... in question being the Scots novelist Alasdair Gray. And so begins the most erudite, inventive and entertaining novel I have read this year. Bella's innocence is a source of great fun and high drama, yet it also provides Gray with the opportunity to make powerful moral points. 'You need not believe this ... ' This phrase echoes around the entire edifice, for in the novel every assertion is contradicted, every argument challenged. Fact and fiction, history and literature are stitched together and animated in that 'Frankenstein method' known as post-modernism. Thus Gray remains true to his own fictional tradition, while employing the devices of older and (frankly) more accessible ones, to write this dazzling book. - **Harpers and Queens.** 'Gray is a notorious

© Alasdair Gray, 1992

Моей жене Мораг

ПРЕДИСЛОВИЕ

Врач, который повествует здесь о событиях своей молодости, умер в 1911 году, и читатель, если он не знаком с историей ошеломляюще смелых опытов шотландских медиков, может принять изложенное за нелепый вымысел. Но кто даст себе труд исследовать доказательства, приводимые в конце этого предисловия, едва ли усомнится в том, что во второй половине февраля 1881 года в доме 18 по Парк-сёркес в Глазго под рукой гения хирургии человеческие останки превратились в живую двадцатипятилетнюю женщину. Правда, наш историк Майкл Доннелли со мной не согласен. Именно он обнаружил текст, составляющий бóльшую часть этой книги, и я должен теперь привести историю его находки.

Семидесятые годы нынешнего века протекали в Глазго весьма бурно. Старые предприятия, которыми город был жив в прежние времена, перемещались на юг, а избираемые жителями власти по причинам, которые может разъяснить любой политический экономист, поощряли многоэтажное строительство и расширение сети городских магистралей. Элспет Кинг, хранительница исторического музея в парке Глазго-грин, помощником которой работал Майкл Доннелли, всеми силами старалась приобретать и сохранять остатки уходящей в прошлое местной культуры. Со времен первой мировой войны муниципальный совет не выделял историческому музею, известному под названием Народный дворец, средств для покупки новых экспонатов, из-за чего приобретения Элспет и Майкла почти полностью ограничивались тем, что удавалось забрать из зданий, предназначенных к сносу. На ковровой фабрике Темплтона, которую вскоре должны были закрыть, они арендовали склад, где Майкл Доннелли собирал витражные стекла, изразцы, театральные афиши, флаги распущенных профсоюзов и всевозможные исторические документы. Элспет Кинг порой приходилось своими руками оказывать Майклу помощь, поскольку прочий персонал составляли работники, присылаемые директором городской картинной галереи в Келвингроуве, и им не платили за извлечение редкостей из грязных и опасно ветхих строений. Элспет и Майклу, впрочем, тоже за это не платили, так что интересные выставки новых экспонатов, которые они время от времени устраивали, не стоили муниципалитету ничего или почти ничего.

Однажды утром в центре города, идя по своим делам, Майкл Доннелли увидел старые папки, сваленные в кучу на краю тротуара и явно предназначенные для вывоза и уничтожения соответствующей городской службой. Заглянув в эти папки, он обнаружил письма и документы начала века, которые остались от прекратившей существование юридической конторы. Новая фирма, унаследовав дела прежней, решила избавиться от ненужных бумаг. В основном они касались имущественных сделок между лицами и семействами, внесшими в свое время немалый вклад в жизнь города; случайно Майклу попалась на глаза фамилия первой женщины-врача, получившей диплóм в университете Глазго, — фамилия, известная ныне только историкам движения суфражисток, хотя эта женщина была еще и автором фабианской брошюры об общественной гигиене. Майкл решил увезти папки на такси и на досуге просмотреть их содержимое; но первым делом он заглянул в помещение фирмы, которая выбросила их на улицу, и спросил разрешения. В нем было отказано. Главный партнер (известный адвокат и политический деятель местного масштаба, чье имя названо здесь не будет) заявил Майклу, что его рытье в бумагах есть наказуемое деяние, поскольку они не являются его собственностью и предназначены для сожжения. Он заявил также, что всякий адвокат призван хранить тайну клиента независимо от того, работает он сам с этим клиентом или нет, жив клиент или умер. Он сказал, что единственный надежный путь сохранить старые сделки в тайне — уничтожить следы их заключения, и если Майкл Доннелли унесет хоть что-нибудь из кучи документов, ему будет предъявлено обвинение в краже. Так что Майкл оставил кучу как она была, за исключением одной вещицы, которую он машинально сунул в карман еще до того, как узнал, что такие поступки караются законом.

Это был пакет с печатями и выцветшей надписью коричневыми чернилами: *Собственность Виктории Свичнет, доктора медицины. / Вскрыть старшему из внуков или иных прямых потомков после августа 1974 г. / Ранее не вскрывать.* Рука нашего современника, вооруженная шариковой ручкой, перечеркнула крест-накрест эти слова и надпись под ними: *Прямых потомков в живых не имеется.* С одной стороны печать была сломана и пакет разорван, но тот, кто это сделал, счел лежащие в нем книгу и письмо столь неинтересными, что небрежно сунул их обратно, так что края их торчали из пакета и письмо было не сложено, а скорее скомкано. Отъявленный ворюга Доннелли внимательно обследовал содержимое пакета в хранилище Народного дворца во время обеденного перерыва.

Книга формата 7 $^{1}/_{4}$ на 4 $^{1}/_{2}$ дюйма была переплетена в черный коленкор с оттиснутым на нем диковинным изображением. На форзаце было написано сентиментальное сти-

хотворное посвящение. Титульный лист выглядел так: ФРАГМЕНТЫ МОЛОДОСТИ ИНСПЕКТОРА ШОТЛАНДСКОЙ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ / *Арчибальд Свичнет, доктор медицины / Гравюры Уильяма Стрэнга / Глазго. Отпечатано на средства автора у Роберта Маклехоза и К° в типографии при Университете, 1909 г.* Название не обещало ничего интересного. В те годы печаталось множество книг, полных мелочных сплетен, с названиями вроде «Из блокнота инспектора» или «Суждения и предубеждения Фрэнка Кларка, адвоката». Книги, за которые авторы платят издателям (как в данном случае), как правило, более скучны, чем те, за которые они получают гонорар. Обратившись к первой главе, Майкл увидел типичный для той поры заголовок:

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Моя мать — мой отец — университет Глазго и первые трудности — профессор — отвергнутая сделка — мой первый микроскоп — ровня по уму.

Сильнее всего заинтересовали Майкла Доннелли иллюстрации Стрэнга, исключительно портреты. Шотландский художник Уильям Стрэнг (1859—1921) родился в Дамбартоне и учился у Легро в Слейдовской школе изобразительных искусств в Лондоне. Он более известен как гравер, нежели как живописец, и часть его лучших работ составляют книжные иллюстрации. Врач, который мог заказать Стрэнгу гравюры для книги, должен был иметь больший доход, чем обычно имели инспекторы санитарной службы, однако Арчибальд Свичнет, чье лицо было изображено на фронтисписе, не походил ни на богатого человека, ни на врача. Приложенное к книге письмо обескураживало еще больше. В нем Виктория Свичнет, доктор медицины и вдова автора, сообщала несуществующему потомку, что книга лжива от начала до конца. Вот выдержки из письма:

«В 1974 году... живущие на свете члены династии Свичнетов, имея по два деда и по четыре прадеда, с легкостью посмеются над чудачеством одного из них. Я не могу смеяться над этой книгой. Я содрогаюсь над ней и благодарю Силу Жизни за то, что мой покойный муж напечатал и переплел ее только в одном экземпляре. Я сожгла всю его рукопись... и книжку бы тоже сожгла, как он предлагает... но увы! Без нее что на целом свете будет напоминать о существовании бедного глупца? К тому же опубликовать ее стоило маленького состояния... Мне дела нет до того, что потомство о ней подумает, — важно лишь, что никто из ныне живущих не связывает ее со МНОЙ».

Майкл понял, что и книга, и письмо требуют более пристального рассмотрения, и отложил их к тем материалам, которыми он собирался заняться, когда найдется время.

Так они у него и лежали. В тот же день он узнал, что здание старинного богословского колледжа при университете Глазго отдается для переоборудования строительной фирме (сейчас это роскошный жилой дом). Майкл обнаружил, что там находится свыше дюжины больших портретов шотландского духовенства XVIII—XIX столетий, все в рамах и выполнены маслом, и они, подобно папкам, отправятся прямехонько в мусоросжигатель, что в Дозхолм-парке, если только он не снимет их со стен (к которым они были привинчены на солидной высоте) и не перевезет в городскую картинную галерею в Келвингроуве, где для них с трудом изыскали место в переполненном запаснике. И только десять лет спустя у Майкла Доннелли нашлось время спокойно сесть и заняться общественной историей. Он ушел из Народного дворца в 1990 году, когда министр культуры в правительстве Маргарет Тэтчер официально объявил Глазго культурной столицей Европы; книгу и письмо Майкл прихватил с собой, поскольку был уверен, что тому, кто займет его место (если его вообще кто-нибудь займет), не будет до них никакого дела.

Я познакомился с Майклом Доннелли в 1977 году, работая у Элспет Кинг в Народном дворце искусствоведом-регистратором, но когда он обратился ко мне осенью 1990 года, я уже стал вольным автором и успел поработать с несколькими издательствами. Он дал мне эту книгу, сказав, что, по его мнению, она — настоящий шедевр и ее надо немедленно опубликовать. Я пришел к такому же выводу и взялся устроить дело, если только он не будет вмешиваться в процесс издания. Он согласился, хотя и с некоторой неохотой, когда я пообещал не вносить в текст Арчибальда Свичнета никаких изменений. И в самом деле, главная часть настоящей книги повторяет оригинал Свичнета настолько точно, насколько это возможно, и содержит все гравюры Стрэнга и прочие иллюстрации, воспроизведенные фотографически. Однако я заменил пространные названия глав более броскими заголовками собственного сочинения. Например, глава третья, первоначально названная *«Открытие сэра Колина — остановка жизни — «Какая отсюда польза?» — диковинные кролики — «Как ты это сделал?» — бесполезное искусство и что знали древние греки — «До свидания» — цепной пес Бакстера — ужасная рука»*, теперь называется просто «Ссора». Я также настоял на том, чтобы озаглавить всю книгу «БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ». Ведь каждый ее персонаж, за исключением миссис Динвидди и пары генеральских прихвостней, хоть раз да назван бедным или несчастным — либо его собственными, либо чужими устами. Письмо дамы, которая именует себя Викторией Свичнет, я помещаю в качестве эпилога. Майкл предпочел бы видеть его в начале книги, но в этом случае читатель приступал бы к основному тексту предубежденным. Читая письмо под конец, мы ясно видим в нем попытку встревоженной женщины скрыть правду о своей молодости. Кроме того, никакая книга не нуждается в двух предисловиях, а одно я как раз и пишу.

Боюсь, мы с Майклом Доннелли расходимся по поводу этой книги. Он считает ее исполненным черного юмора вымыслом, в который искусно вплетены некоторые реальные события и исторические факты, — книгой, подобной «Пуританам» Скотта или «Исповеди прощенного грешника» Хогга. А я вижу в ней подобие босуэлловского «Жизнеописания Сэмюэла Джонсона» — портрет поразительно доброго, сильного, умного, эксцентричного человека, любовно выполненный рукою друга, памятливого на диалоги. Как Босуэлл, наш скромный Свичнет включил в свое повествование чужие письма, которые освещают события под разными углами, и в итоге у него вышел едва ли не портрет целого общества. Я также сказал Доннелли, что достаточно выдумывал в своих книгах, чтобы распознать описание реальных событий. Тот ответил, что достаточно написал об исторической реальности, чтобы распознать выдумку. Парировать это я мог только одним способом — надо было самому стать историком.

Я это совершил. Теперь я историк. За шесть месяцев исследований в университетском архиве Глазго, в отделе старого Глазго библиотеки Митчелла, в Шотландской национальной библиотеке, в эдинбургской Регистрационной палате, в лондонском Сомерсет-хаусе и в колиндейлском Национальном газетном архиве Британской библиотеки я накопил достаточно документальных свидетельств, чтобы доказать, что рассказ Свичнета целиком опирается на факты. Некоторые из этих фактов я привожу в конце книги, но бóльшую их часть — прямо здесь, в предисловии. Читатели, которых интересует только хороший рассказ без всяких затей, могут сразу обратиться к главной части книги. Завзятые же скептики оценят ее лучше, проглядев вначале следующую сводку событий.

29 августа 1879 г. Арчибальд Свичнет зачислен студентом на медицинский факультет университета Глазго, где Боглоу Бакстер (сын знаменитого хирурга и сам практикующий хирург) работает ассистентом по отделению анатомии.

18 февраля 1881 г. В реке Клайд найдено тело беременной женщины. Медик Боглоу Бакстер, проживающий в доме 18 по Парк-сёркес, констатирует смерть от утопления и описывает утопленницу как женщину «примерно 25 лет, рост 5 футов и 10 $^{3}/_{4}$ дюйма, волосы вьющиеся, темно-каштановые, глаза голубые, черты лица правильные, на руках нет следов грубой работы; хорошо одета». Помещено объявление, но тело никто не востребовал.

29 июня 1882 г. На закате солнца почти по всему бассейну Клайда люди слышали необычный шум, и, несмотря на широкое обсуждение в местной печати в последующие две недели, удовлетворительного объяснения этому феномену найдено не было.

13 декабря 1883 г. Данкан Парринг, адвокат, проживавший в доме своей матери по адресу Поллокшилдс, Эйтаун-стрит, 41, доставлен в Королевский приют для душевнобольных города Глазго в состоянии тяжелого помешательства. Вот что писала газета «Глазго геральд» двумя днями позже: «В прошлую субботу во второй половине дня граждане, гулявшие в парке Глазго-грин, обратили внимание полиции на то, что один из ораторов на общественной трибуне употребляет непристойные выражения. Подошедший полицейский удостоверился, что выступающий, чисто одетый мужчина возрастом немногим менее тридцати лет, высказывает порочащие утверждения касательно одного уважаемого и человеколюбивого представителя медицинского сословия Глазго, мешая их с площадной бранью и цитатами из Библии. В ответ на требование прекратить поношения оратор стал изрыгать непристойности с удвоенной силой, и его с большим трудом смогли увезти в полицейский участок на Альбион-стрит, где врач признал его невменяемым и подлежащим содержанию под стражей. Наш корреспондент сообщает, что задержанный — адвокат по гражданским делам и происходит из хорошей семьи. Никаких обвинений предъявлено не было».

27 декабря 1883 г. Генерал сэр Обри ле Диш Коллингтон, ранее известный как Громобой Коллингтон, а в последнее время — член парламента от либеральной партии по округу Северный Манчестер, кончает с собой в оружейной комнате в Хогснортоне, своем поместье в Лоумшир-даунс. Ни в некрологах, ни в сообщениях о похоронах не упоминается его вдова, хотя тремя годами ранее он женился на двадцатичетырехлетней Виктории Хаттерсли и ни раздельное проживание супругов, ни ее смерть нигде не зафиксированы.

10 января 1884 г. По особому разрешению между Арчибальдом Свичнетом, врачом при Королевской лечебнице города Глазго, и Беллой Бакстер, из округа Барони заключен брак без церковного оглашения. В роли свидетелей выступили Боглоу Бакстер, научный сотрудник Королевского хирургического колледжа, и Ишбел Динвидди, экономка. Невеста, жених и оба свидетеля проживают в доме 18 по Парк-сёркес, где и совершилось бракосочетание.

16 апреля 1884 г. Боглоу Бакстер умирает в доме 18 по Парк-сёркес. Доктор Арчибальд Свичнет, который подписал свидетельство о смерти, определил ее причину как «мозговой удар и сердечный припадок, спровоцированные наследственным расстройством нервной, дыхательной и пищеварительной систем». Газета «Глазго геральд», сообщая о погребальной церемонии в Некрополе, отметила «необычную форму гроба» и то, что покойный завещал все свое имущество супругам Свичнет.

2 сентября 1886 г. Особа, вышедшая замуж за доктора медицины Арчибальда Свичнета под именем Белла Бакстер, зачислена в женское медицинское училище Софии Джекс-Блейк под именем *Виктория* Свичнет.

Майкл Доннелли выразил мнение, что вышесказанное выглядело бы более убедительно, если бы я имел заверенные копии свидетельств о браке и смерти, а также фотокопии газетных сообщений; но если читатели мне доверяют, суждение эксперта не столь уж существенно. Мистер Доннелли теперь настроен ко мне менее дружелюбно, чем прежде. Он винит меня за утерю первоисточника, что несправедливо. Я бы с удовольствием отправил в издательство фотокопию и вернул Доннелли оригинал, но это бы увеличило издательские расходы по меньшей мере на 300 фунтов. В современных типографиях текст заносится с книжной страницы прямо в компьютер путем сканирования, а фотокопия потребовала бы перепечатки; кроме того, книга была необходима издательскому фотографу, чтобы сделать клише для воспроизведения гравюр Стрэнга и фрагментов письма Беллы. Где-то в четырехугольнике «редактор — издатель — наборщик — фотограф» уникальный том был утерян. В книжном деле подобные казусы случаются нередко, и никто не печалится об этом больше, чем я.

В конце настоящего предисловия я помещаю краткое содержание книги, в которой главное место занимает сочинение Свичнета, воспроизведенное с незначительными изменениями.

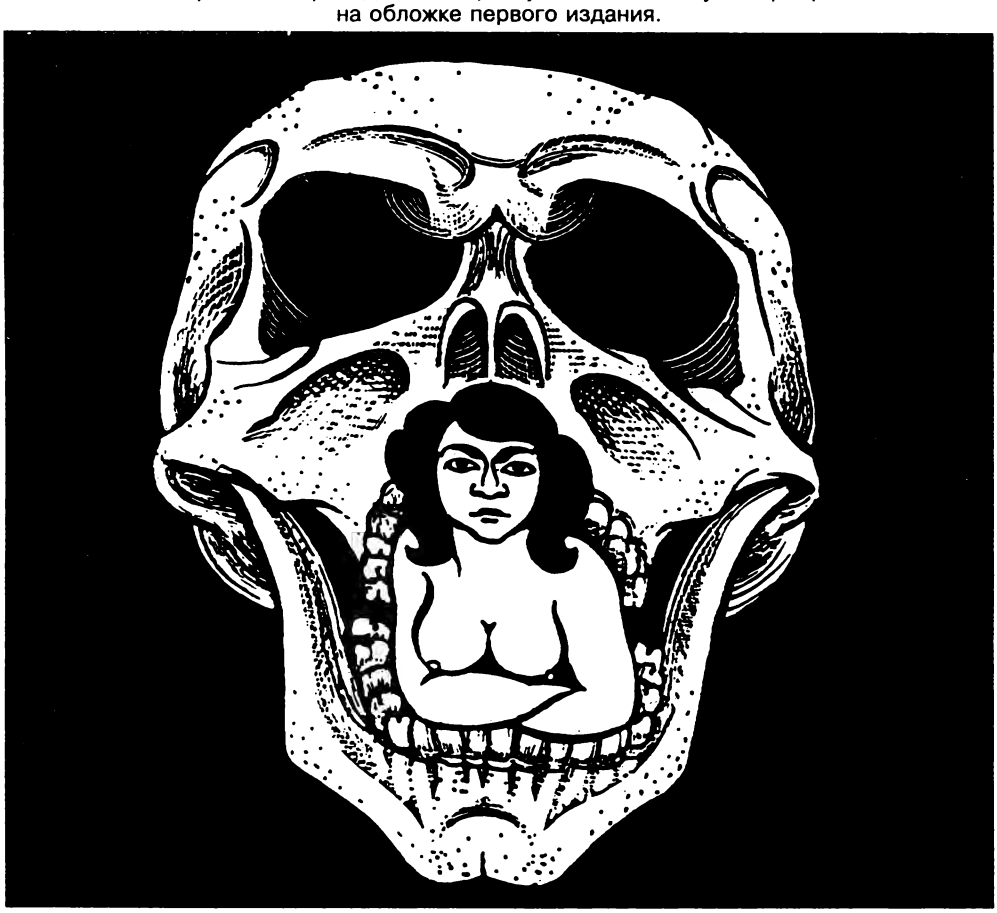
ПРЕДИСЛОВИЕ. *Аласдер Грей* 6

Фрагменты молодости инспектора шотландской санитарной службы. Арчибальд Свичнет, доктор медицины 10

Письмо внуку или правнуку по поводу книги. «Виктория» Свичнет, доктор медицины 116

ПОСТРАНИЧНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ, ИСТОРИЧЕСКИЕ И КРИТИЧЕСКИЕ. *Аласдер Грей* 127

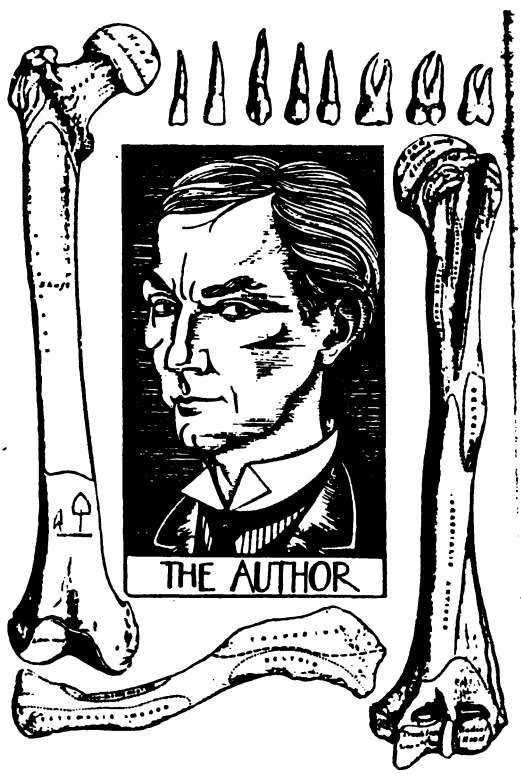
Я проиллюстрировал постраничные примечания гравюрами девятнадцатого века; однако не кто иной, как Свичнет, заполнил промежутки между главами своей книги иллюстрациями из первого издания «Анатомии» Грея. Возможно, именно по ней он и его друг Бакстер учились благородному искусству врачевания. Приводимое здесь причудливое изображение принадлежит Стрэнгу и было оттиснуто серебром на обложке первого издания.



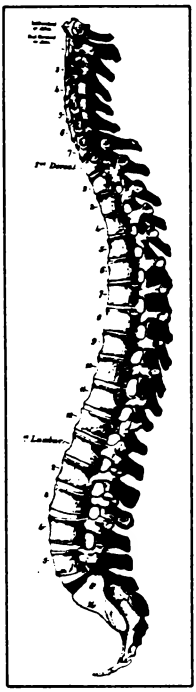
Мой милый врач бесценный,
Прими сей дар смиренный
От мужа-чудака
И улыбнись слегка.

Но коль нахмуришь взор
И скажешь: что за вздор,
Коль книга не понравится –
Пусть пламя с ней расправится!

Твой верный Арчи,
июнь 1911 г.



ЕДИНСТВЕННОЙ, РАДИ КОГО МНЕ СТОИТ ЖИТЬ.



1 *Сотворение меня*

Как большинство сельских жителей в старые времена, моя мать не доверяла банкам*. Когда смерть подступила вплотную, она сказала мне, что ее сбережения хранятся под кроватью в жестяной коробке, и прохрипела:

— Возьми, пересчитай.

Я послушался, и сумма оказалась больше, чем я ожидал. Она добавила:

— Это тебе, чтобы в люди выбился.

Я признался, что хочу стать врачом, и рот ее скривился в презрительной гримасе, какой она всегда встречала людскую дурость. Собравшись с силами, она яростно прошептала:

— На похороны отсюда ни пенса. Кинет Поскреб меня в нищенскую могилу, пусть его тогда черти в ад утащат! Дай слово, что все на себя потратишь.

Поскребом в нашей округе называли моего отца, а также болезнь, поражавшую недокормленных кур. За похороны Поскреб заплатил, но сказал мне:

— Камень — твоя забота.

Только через двенадцать лет у меня появились деньги на памятник, но к тому времени уже никто не мог сказать, где находится могила.

В университете и одежда, и повадки выдавали мое низкое происхождение, и так как я не мог допустить насмешек над собой по этому поводу, вне лекционных аудиторий и экзаменационного зала я, как правило, пребывал в одиночестве. В конце первого семестра профессор пригласил меня к себе в кабинет и сказал:

— Мистер Свичнет, живи мы в справедливом мире, я смело предсказал бы вам блестящее будущее, но в таком мире, как наш, — никогда, если только вы не сделаете необходимых выводов. Вы можете стать более искусным хирургом, чем Хантер, более умелым акушером, чем Симпсон, более сведущим целителем, чем Листер, но если вы не приобретете этакой гладкой вальяжности, этакого шутливого добродушия, пациенты не будут вам доверять, а другие врачи будут вас сторониться. Не презирайте внешний лоск только потому, что им обладают многие глупцы, снобы и негодяи. Если у вас нет денег на хороший костюм у хорошего портного, присмотрите себе что-нибудь подходящее среди невыкупленных вещей в приличном ломбарде. Вечером аккуратно складывайте брюки и кладите их между двумя досками себе под матрас. Если не можете каждый день менять рубашку, пусть хотя бы у вас всегда будет чистый крахмальный воротничок. Посещайте вечера и увеселения, организуемые отделением, по которому вы собираетесь кончать, — вот увидите, не такие уж плохие мы люди, а в нашем обществе вы невольно, в подражание нам, и сами потихоньку обтешетесь.

Я сказал ему, что денег у меня хватает только на обучение, книги, инструменты и житейские нужды.

— Так я и знал, что все дело в этом! — вскричал он торжествующе. — Но наш университетский совет наделен правом назначать вспомоществование достойным студентам вроде вас. Большую часть денег, конечно, получают богословы, но не все же затирать науку. Я думаю, уж на костюм-то мы вам наскребем; обратитесь должным образом, и я замолвлю за вас словечко. Как? Попробуем?

Если бы он сказал: «Я полагаю, вы можете претендовать на стипендию; прошение пишется так-то и так-то; я буду вашим ходатаем», — если бы он сказал нечто подобное, я поблагодарил бы его; но он откинулся в своем кресле, выпятив

*Здесь и далее звездочками отмечены места, поясняемые в примечаниях автора, цифрами — примечания переводчика.

живот, сплетя на нем руки и сияя на меня снизу вверх (ибо сесть он мне не предложил) такой приторной, фальшивой, самодовольной улыбкой, что я засунул кулаки поглубже в карманы, чтобы не начистить ему физиономию. Я ограничился замечанием, что в той части области Галлоуэй, где я родился, народ не любит попрошайничать, но если он действительно высокого мнения о моих способностях, мы можем заключить взаимовыгодную сделку. Я предложил дать мне сто фунтов в долг под семь с половиной процентов годовых до моего пятого года в должности врача общей практики или третьего года в должности врача-консультанта, когда я обязуюсь вернуть первоначальную сумму плюс двадцать фунтов премии. Увидев, что у него отвисла нижняя челюсть, я торопливо добавил:

— Разумеется, я окажусь банкротом, если не смогу получить диплом или, едва я стану врачом, меня вычеркнут из врачебного регистра, но все же, думаю, для вас это будет надежное вложение. Как? Попытаемся?

— Шутите вы, что ли? — пробормотал он, глядя на меня во все глаза, и его губы начали искривляться в улыбке, какой он ждал и от меня — в подражание ему. Слишком рассерженный, чтобы смеяться над собственной шуткой, я пожал плечами, попрощался и вышел.

Возможно, была какая-то связь между этим разговором и конвертом, надписанным незнакомой рукой, который я получил по почте неделей позже. В нем лежала пятифунтовая банкнота; бóльшую часть этих денег я употребил на покупку подержанного микроскопа, оставшееся — на рубашки и воротнички. Теперь по одежде я уже смахивал не столько на пахаря, сколько на бедного букиниста. Мои однокашники, должно быть, восприняли это как серьезный прогресс — они стали меня привечать и сообщать мне свежие сплетни, хоть мне говорить с ними было не о чем. Единственным, с кем я беседовал на равных, был Боглоу Бакстер, поскольку (я и теперь так считаю) мы с ним были два самых умственно развитых и самых необщительных человека на всем медицинском факультете университета Глазго.

2 *Сотворение Боглоу Бакстера*

К тому времени как мы в первый раз перекинулись словом, я уже три семестра знал его в лицо.

В чулане, находившемся в дальнем конце анатомического класса, была снята с петель дверь и поставлена скамейка — вышло укромное рабочее место. Там-то и сидел обыкновенно Бакстер, приготовляя срезы тканей, исследуя их под микроскопом и делая беглые записи; большая голова, плотное тело и толстые конечности придавали ему вид карлика. Но когда он выбегал к емкости с формалином, где лежали человеческие мозги, похожие на цветную капусту, и проносился мимо других людей, оказывалось, что он выше всех едва ли не на целую голову; впрочем, будучи страшно застенчивым, он старался держаться от людей подальше. При великанском телосложении у него были продолговатые мечтательные глаза, вздернутый нос и печальный рот обиженного ребенка; три глубокие морщины, проре-

завшие его лоб, никогда не разглаживались. Утром его жесткие темно-русые волосы были умащены и гладко зачесаны на прямой пробор, но к середине дня они уже клочковато топорщились за ушами, а к вечеру его взъерошенная шевелюра становилась похожа на медвежью шкуру. Он носил добротный костюм дорогого серого сукна, искусно сшитый по фигуре и скрадывавший, насколько возможно, ее несообразности; и все же мне казалось, что он выглядел бы естественнее в шароварах и тюрбане балаганного турка.

Он был единственным сыном Колина Бакстера, первого медика, получившего от королевы Виктории рыцарский титул*. Портрет сэра Колина висел в нашем экзаменационном зале рядом с портретом Джона Хантера; наружность сына не имела ничего общего с этими тонкими губами, с острыми чертами чисто выбритого лица. «О безразличии сэра Колина к женской красоте ходили легенды, — сказали мне раз, — но его потомство доказывает, что он странным образом тяготел к женскому безобразию». Говорили, что отец Боглоу зачал его на склоне лет от горничной, но, в отличие от моего отца, дал сыну свою фамилию и домашнее образование, а также оставил ему кое-какое наследство. О матери Боглоу ничего не было известно доподлинно. Одни говорили, что ее отправили в сумасшедший дом, другие — что сэр Колин заставлял ее одеваться, как положено горничной, в черное платье, белый чепец и белый фартук, что она молча прислуживала за столом, когда он принимал у себя коллег с женами. Великий хирург умер за год до того, как Боглоу поступил в университет. Он был бы блестящим студентом, если бы не обязательная практика в клинике, где его диковинная наружность и необычный голос пугали пациентов и приводили в замешательство персонал; вследствие этого он так и не получил диплома, но продолжал посещать университет в качестве ассистента-исследователя. В чем состояли его исследования — никто не знал, да и не хотел знать. Он мог приходить и уходить, когда ему вздумается, поскольку аккуратно платил за обучение, никому не мешал и был сыном знаменитости. Большинство считало его дилетантом от науки, но при всем том я слышал, что он оказывает бесплатную медицинскую помощь в клинике при сталелитейном заводе на восточной окраине, где чрезвычайно искусно лечит ожоги и переломы.

На втором курсе я посетил публичный диспут на тему, которая меня интересовала, хотя ее трудно было назвать новой: как развивается жизнь — путем мелких постепенных изменений или посредством крупных катастрофических сдвигов? Тема эта в те годы считалась равно научной и религиозной, поэтому главные

ораторы свободно переходили от фанатической торжественности к игривым шуточкам и меняли основание своей аргументации, как только брезжила надежда получить таким способом преимущество над оппонентом. Взявши слово с места, я обрисовал научный фундамент, на котором мы все могли бы достичь согласия и воздвигнуть здание новой концепции. Я выбирал слова очень тщательно; сначала меня слушали молча, потом по рядам пополз шепоток, вскоре перешедший в громовой хохот. На следующий день один из товарищей признался мне: «Извини, что мы над тобой смеялись, Свичнет, но когда ты с твоим деревенским выговором пошел цитировать Конта, Гексли и Геккеля, это было как если бы королева, открывая сессию парламента, заговорила языком лондонских торговок».

Но я, произнося свою речь, не мог взять в толк, что же именно так смешит публику, и принялся себя оглядывать, решив, что у меня не в порядке одежда. Это вызвало новый взрыв смеха. Однако я договорил до конца и затем двинулся к выходу через весь зал; сидящие в нем, не переставая хохотать, принялись хлопать в ладоши и колотить об пол ногами. Когда я уже дошел до двери, вдруг раздался оглушительный звук, заставивший меня остановиться, а всех остальных — замолчать. Это Боглоу Бакстер подал голос с галереи. Протяжным, пронзительным фальцетом (но каждое слово было отчетливо слышно!) он объяснил, как каждый из главных ораторов использовал аргументы, опровергающие его же собственный тезис. Кончил он словами:

— ...и те, что выступали с трибуны, — ведь это еще избранное меньшинство! Реакция на разумные доводы последнего оратора позволяет судить об умственном уровне основной массы.

— Благодарю тебя, Бакстер, — сказал я и вышел.

Через две недели, когда я совершал воскресную прогулку вдоль Кэткинских круч, мне показалось, что со стороны Камбесланга ко мне движется двухлетний ребенок с крохотным щенком на поводке. Вскоре я разглядел, что это Бакстер, сопровождаемый огромным ньюфаундлендом. Мы остановились перекинуться парой фраз, выяснили, что оба любим дальние прогулки, и без лишних слов свернули в сторону и спустились к реке, чтобы вернуться в Глазго тихой тропкой вдоль Резергленского берега. Накануне мы были единственными медиками, посетившими лекцию Кларка Максвелла, и мы оба сочли странным, что студенты, которым предстоит диагностировать заболевания глаз, не испытывают интереса к физической природе света. Боглоу сказал:

— Медицина есть искусство в такой же степени, как и наука, но наука наша должна иметь возможно более широкое основание. Кларк Максвелл и сэр Уильям Томсон исследуют глубинную суть того, что озаряет наш мозг и бежит по нервам. А медики переоценивают значение патологической анатомии.

— Но ведь ты сам не вылезаешь из анатомички.

— Я совершенствую некоторые методы сэра Колина.

— Сэра Колина?

— Моего прославленного родителя.

— Ты отцом-то его когда-нибудь звал?

— Я никогда не слышал, чтобы его называли иначе, как сэр Колин. Патологическая анатомия незаменима для обучения и исследований, но она приводит многих врачей к мысли, что жизнь — всего лишь возмущение в чем-то мертвом по сути своей. Они обращаются с телами пациентов так, словно их души, их *жизни* ничего не значат. Мы учимся успокаивать пациента словами и жестами, но обычно это не более чем дешевая анестезия, чтобы пациент лежал так же тихо, как трупы, на которых мы практикуемся. А ведь портретист не будет учиться своему ремеслу, соскребая с рембрандтовских полотен лак, затем слоями снимая краску, смывая грунтовку и, наконец, распуская холст на волокна.

— Согласен, — сказал я, — что медицина есть искусство в такой же степени, как и наука. Но разве мы не начнем совершенствоваться в этом искусстве на четвертом курсе, когда придем в больницы?

— Чепуха! — отрезал Бакстер. — Общественная больница есть место, где врачи учатся тянуть деньги из богатых, практикуясь на бедных. Вот почему бедняки боятся и ненавидят ее, вот почему состоятельные люди предпочитают, чтобы их оперировали в частной клинике или на дому. Сэр Колин ни о каких больницах и слышать не хотел. Зимой он оперировал в нашем городском доме, летом — в за-

городном. Я часто ему ассистировал. Он был художник своего дела; он кипятил инструменты и стерилизовал операционную еще в то время, когда больничное начальство напрочь игнорировало асептику или поносило ее как шарлатанство. Ни один хирург не осмеливался публично признаться, что его грязный скальпель и стоящий колом от засохшей крови халат отправили на тот свет множество людей, — и все оставалось по-прежнему. Они свели с ума несчастного Земмельвейса, который потом покончил с собой в попытке всколыхнуть общественность*. Сэр Колин был осторожнее. Он помалкивал о своих невероятных открытиях.

— Но согласись, — не унимался я, — что наши больницы с тех пор изменились к лучшему.

— Да, изменились — и все благодаря медицинским сестрам. Ими-то и живо сейчас искусство врачевания. Если все врачи и хирурги Шотландии, Уэльса и Англии в одночасье перемрут, а сестры останутся, восемьдесят процентов больных в наших больницах поправятся*.

Я вспомнил, что Бакстеру разрешена больничная практика только в благотворительной клинике для беднейших из бедных, и подумал, что желчность его объясняется именно этим. Как бы то ни было, расставаясь, мы условились о новой совместной прогулке в следующее воскресенье.

Воскресные прогулки вошли у нас в привычку, хотя мы избегали людных мест и по-прежнему не разговаривали друг с другом в анатомическом классе. Мы оба сторонились людских взоров; тот, кого увидели бы в обществе Бакстера, наверняка стал бы предметом любопытства. Вдвоем мы подолгу молчали, поскольку от звука его голоса я, бывало, невольно вздрагивал. Когда это случалось, он улыбался и умолкал. Могло пройти полчаса, прежде чем я вновь вовлекал его в беседу, но мне всегда хотелось сделать это поскорее. Невыносимым своим голосом он говорил чрезвычайно интересные вещи. Раз перед встречей с ним я заткнул уши ватой, что позволило мне слушать его почти без неприятных ощущений. Осенним днем, когда мы едва не заплутали в лабиринте лесных тропок между Кэмпси и Торранс, он рассказал мне о своем необычном обучении.

Я натолкнул его на эту тему, заведя разговор о своем детстве. Вздохнув, он сказал:

— Я явился в этот мир благодаря связи сэра Колина с медицинской сестрой задолго до того, как мисс Найтингейл[1] сделала эту профессию достойной частью британской медицины. В то время добросовестный хирург должен был сам обучать своих подчиненных. Сэр Колин обучил одну из сестер искусству анестезии и работал с ней столь тесно, что они произвели на свет меня; потом она умерла. Я совершенно ее не помню. В наших домах не осталось никаких ее вещей. Сэр Колин заговорил о ней со мной только раз, когда я был подростком, — он тогда сказал, что она была самой умной, самой восприимчивой к обучению из всех знакомых ему женщин. Должно быть, это его в ней и прельстило, поскольку его совершенно не волновала женская красота. Его вообще мало интересовали *люди* — только истории болезней. Так как я учился дома, не бывал в других семьях и никогда не играл с другими детьми, до двенадцати лет я не слишком верно представлял себе функцию матери. Я знал разницу между врачами и сестрами и думал, что мать — это медицинская сестра низшего разряда, которой разрешается ходить только за маленькими. Я считал, что сам никогда в таком уходе не нуждался, потому что был большой с самого начала.

— Но ты ведь читал главу из Книги Бытия о родословии?

— Нет. Понимаешь, сэр Колин учил меня сам, и учил только тому, что считал нужным. Он был крайний рационалист. Поэзия, проза, история, философия и Библия были для него чепухой — «недоказуемые байки», так он все это называл.

— Чему же он тебя учил?

— Математике, анатомии и химии. Каждое утро и каждый вечер он измерял мне температуру и пульс, брал у меня на анализ кровь и мочу. К шести годам я научился делать это сам. Вследствие нарушения обмена веществ мой организм постоянно требует определенных доз йода и сахара. Я должен очень внимательно следить за его химическим равновесием.

[1] Флоренс Найтингейл (1820—1910) — английская сестра милосердия и общественный деятель. Основала первую в мире школу медицинских сестер.

— Но неужели ты ни разу не спросил сэра Колина, откуда ты взялся?

— Спросил, и в ответ он показал мне диаграммы, рисунки и заспиртованные образцы — в общем, вышла лекция о моем появлении на свет. Мне подобные лекции нравились. Они научили меня восхищаться строением моего тела. Это помогло мне сохранить уважение к себе, когда я увидел, что людей отталкивает моя наружность.

— Печальное детство, еще печальнее, чем мое.

— Не согласен. Жестоко со мной никто не обращался, и я получал необходимые мне живое тепло и привязанность от псов сэра Колина. У него всегда было их несколько.

— Я открыл для себя механизм размножения, наблюдая за курами и петухами. А у твоего отца что, собаки никогда не щенились?

— Он не держал ни одной суки, только кобелей. Когда мне было тринадцать или четырнадцать лет, сэр Колин объяснил мне, в чем и почему женское тело отличается от мужского. Как обычно, он использовал диаграммы, рисунки и заспиртованные образцы, но сказал, что готов устроить практический опыт с живой, здоровой особью, если любопытство толкает меня в эту сторону. Я ответил, что нет, не толкает.

— Прости мне мой вопрос, но — насчет отцовских собак. Вивисекцией он занимался?

— Да, — сказал Бакстер, слегка побледнев.

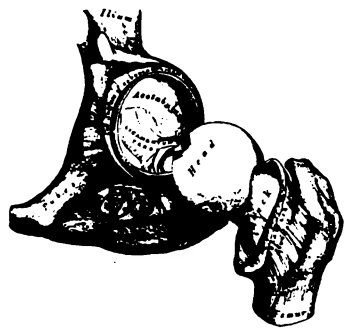
— А ты? — не унимался я.

Он остановился и обратил ко мне свое скорбное, огромное, детское лицо, перед которым я почувствовал себя уж совсем маленьким ребенком. Его голос стал таким высоким и пронзительным, что, несмотря на вату в ушах, я испугался за свои барабанные перепонки. Он сказал:

— *Ни я, ни сэр Колин не убили и не искалечили ни единого живого существа.*

— Хотел бы я иметь право сказать то же самое о себе, — заметил я.

Он не проронил ни слова до самого конца прогулки.



3 *Ссора*

Однажды я попросил его рассказать поподробнее о своих исследованиях.

— Я совершенствую методы сэра Колина.

— Ты мне это уже говорил, Бакстер, но ответ меня не удовлетворяет. Зачем совершенствовать устарелые методы? Твой знаменитый отец был великим хирургом, но после его смерти медицина сделала огромный шаг вперед. За последние десять лет мы узнали такое, о чем он и помыслить не мог, — о микробах и фагоцитах, о том, как диагностировать и удалять опухоль мозга, о том, как лечить прободную язву.

— Сэр Колин знал кое-что поинтереснее.

— Что же?

— Ну, — начал Бакстер неторопливо, как бы против воли, — он, например, знал, как остановить жизнь тела, не убивая его, — нервы не передают никаких сигналов, дыхание, кровообращение и пищеварение полностью прекращаются, но жизнеспособность клеток не нарушается.

— Очень интересно, Бакстер. Но какая отсюда польза с медицинской точки зрения?

— О, польза есть! — сказал он с улыбкой, которая сильно меня раздосадовала.

— Как я ненавижу тайны, Бакстер! — воскликнул я. — Особенно наши, человеческие, ведь это всегда надувательство и пыль в глаза. Знаешь, что весь наш курс о тебе думает? Что ты жалкий, безобидный сумасшедший, напускаешь на себя ученый вид и возишься с мозгами да микроскопами.

Мой бедный друг остановился и ошеломленно на меня посмотрел. Я ответил ледяным взором. Упавшим голосом он спросил, думаю ли я то же, что они. Я сказал:

— Если ты увиливаешь от ответов на мои вопросы, что я могу еще думать?

— Ну ладно, — вздохнул он, — пошли ко мне домой, покажу тебе кое-что.

Я был польщен. До этого он не приглашал меня к себе ни разу.

Он жил в высоком, мрачном доме на Парк-сёркес, стиснутом другими домами; в прихожей Бакстера и его ньюфаундленда шумно приветствовали два сенбернара, восточноевропейская овчарка и афганская борзая. Не останавливаясь, он провел меня мимо них, мы спустились по лестнице в полуподвал, а оттуда вышли в маленький дворик, окруженный высокими стенами*. В ближайшей к дому и вымощенной его части была устроена голубятня, а дальше виднелись овощные грядки и маленькая лужайка, обнесенная невысокой оградой. Там стояли клетки и паслось несколько кроликов. Бакстер перешагнул ограду и пригласил меня сделать то же. Кролики были совершенно ручные. Бакстер сказал:

— Взгляни-ка на эту парочку и попробуй объяснить, что увидишь.

Он взял одного и подал мне; второго, ласково поглаживая, он держал в руках, пока я не осмотрел и его тоже.

У первого кролика прежде всего бросалась в глаза необычная окраска шерсти: передняя половина его была совершенно черная, задняя — совершенно белая. Если бы зверька обвязали ниточкой вокруг тела в самой узкой части, по одну сторону от ниточки оказались бы только черные волоски, по другую — только белые. В природе такие резкие переходы встречаются лишь в кристаллах и базальтовых породах; морской горизонт в ясный день может выглядеть идеально ровным, но на самом деле он изогнут. И все же, отдельно взятый, этот кролик мог бы показаться мне тем, чем он показался бы любому другому, — капризом природы. Но если так, второй кролик был уродцем совершенно противоположного сорта — белым спереди и черным сзади до кончика хвоста, причем граница была *чрезвычайно ровная, словно проведенная скальпелем хирурга.* Никакой селекцией не выведешь двух столь зеркально противоположных особей, так что я вновь принялся их исследовать, на этот раз проминая пальцами; Бакстер тем временем смотрел на меня таким же взглядом, как я на кроликов, — серьезным, пристальным, изучающим. У одного из животных были мужские половые органы и женские сосцы, у другого гениталии были женские, а сосцы почти не прощупывались. Под шерстью у обоих в том самом месте, где она меняла окраску, я обнаружил легкий перепад толщины — у первого при движении пальца от головы к хвосту тело едва заметной ступенькой сужалось, у второго — расширялось. Тут явно поработала не природа, а человеческая рука. Вдруг я почувствовал, что прижимаю к груди бесценное сокровище. Я осторожно опустил зверька на траву и посмотрел на Бакстера со священным ужасом, восхищением и — жалостью. Как не пожалеть человека, чья безграничная мощь отделяет его от прочих смертных резкой чертой, если, конечно, он не правитель, причиняющий людям привычное им зло.

— Как ты это сделал, Бакстер?

Когда я задавал ему этот вопрос, в глазах моих, помнится, стояли слезы.

— Никакого чуда я не совершил, — сказал он мрачно, опуская на землю другого кролика. — Скорей наоборот, напортачил. Жили-были два обыкновенных, жизнерадостных кролика Мопси и Флопси; в один прекрасный день я их усыпил, а проснулись они вот такие. Теперь они потеряли всякий интерес к размножению, которое в прошлом доставляло им столько радости. Но завтра я их верну к прежнему состоянию.

— Скажи мне, Бакстер, если твои руки могут делать *такое*, чего они *не* могут делать?

— Я мог бы заменять изношенные сердца богачей здоровыми сердцами бедняков и получать за это бешеные деньги. Но мне не нужно больше, чем у меня есть, и было бы жестоко вводить миллионеров в подобное искушение.

— Ты говоришь об убийстве, Бакстер, но ведь в нашу анатомичку поступают трупы людей, умерших от несчастного случая или естественных причин. Если ты в состоянии использовать их неповрежденные органы и члены для лечения живых, ты можешь оказать человечеству большее благодеяние, чем Пастер и Листер, — повсеместно хирурги превратят мертвую науку в живое, воскрешающее искусство!

— Если бы медики так стремились спасать человеческие жизни вместо того, чтобы делать на них деньги, — сказал Бакстер, — то они бы объединились ради предупреждения болезней, а не лечили их каждый сам по себе. Источник большинства болезней известен по крайней мере с шестого века до рождества Христова, когда греки чтили Гигиену как богиню. Солнце, движение и чистота, Свичнет! Свежий воздух, хорошая вода, правильное питание, опрятные и просторные жилища для всех — и строгий правительственный запрет на все виды работ, ведущих к нарушению этих условий и отравляющих людей.

— Невозможно, Бакстер. Британия превратилась во всемирную фабрику. Если социальное законодательство урежет доходы британской промышленности, Германия и Америка наложат лапу на мировой рынок и тысячи людей умрут голодной смертью. Едва ли не треть продовольствия Британия ввозит из-за границы.

— Все точно! Так что пока мы не лишимся мирового рынка, британскую медицину будут использовать как благопристойную ширму, скрывающую жестокие дела плутократов. Моя бесплатная работа в заводской клинике тоже поддерживает эту ширму. Она успокаивает мою совесть. Чтобы пересадить хотя бы желудок, нужна операция длительностью в тридцать три часа. И прежде чем начать, я должен потратить не меньше двух недель, чтобы отыскать и подготовить тело, совместимое с телом пациента. За это время несколько моих обездоленных пациентов умрут или измучатся от нестерпимой боли без рутинной хирургической помощи.

— Зачем тогда тратить время на совершенствование отцовских методов?

— Тут есть личные причины, о которых я не скажу тебе, Свичнет. Я понимаю, что это звучит не по-дружески, но теперь я вижу, что другом моим ты и не был никогда, а только терпел общество жалкого, безобидного сумасшедшего, потому что другие, хорошо одетые студенты твое общество терпеть не хотели. Но не страшись будущего, Свичнет, ты же умный человек! Не блестящего ума, пожалуй, но надежный и предсказуемый, а эти качества ценятся. Через несколько лет ты станешь преуспевающим больничным хирургом. Ты получишь все, чего жаждешь: богатство, уважение, друзей и красавицу жену. А я буду по-прежнему пытать счастья на более одиноких путях.

Разговаривая, мы вновь вошли в дом и поднялись в полутемную прихожую, где на персидских коврах нежились пять собак. Почуяв нерасположение ко мне хозяина, они вытянули шеи, навострили уши, повернули морды в мою сторону и застыли, как сфинксы с головами псов. На лестнице над собой я скорее почувствовал, чем увидел, голову в белом чепце, склонившуюся над перилами, — вероятно, старая служанка или экономка.

— Бакстер! — прошептал я умоляюще. — Безумием было с моей стороны говорить такие вещи. Поверь, я не хотел тебя обидеть.

— Не поверю. Разумеется, ты хотел меня обидеть и обидел сильнее, чем думаешь. До свидания.

Он распахнул передо мной входную дверь. Меня охватило отчаяние. Я сказал:

— Боглоу, ведь у тебя нет времени заниматься публикацией открытий отца и твоих усовершенствований, так дай мне все записи! Я жизнь посвящу их обнародованию. Я всюду отмечу твое авторство, всюду, и ни разу не посягну на твое драгоценное время. А когда поднимется вселенский шум — ведь эти открытия поведут к яростным спорам, — я буду защищать тебя, я буду твоим цепным псом, как Гексли был цепным псом Дарвина! А теперь Свичнет будет цепным псом Бакстера!

— До свидания, Свичнет, — сказал он непоколебимо под грозное ворчанье собак; я покорно вышел с ним на крыльцо и там взмолился:

— Дай мне хоть руку твою пожать, Боглоу!
— На, — ответил он и протянул мне ладонь.

Раньше мы никогда не жали друг другу рук и я не видел толком его ладоней, потому что при мне он держал их наполовину скрытыми под обшлагами. Ладонь, которую он мне подал, была не столько даже квадратная, сколько кубическая, почти такая же в толщину, как в ширину, с громадными костяшками первых суставов, от которых пальцы очень быстро сходили на конус, становясь на концах совершенно детскими, с крохотными розовыми ноготками. Меня прошиб холодный пот — я был не в состоянии дотронуться до этой руки. Я молча покачал головой, и вдруг он улыбнулся, как прежде, когда я вздрагивал от его голоса. Потом он пожал плечами и захлопнул передо мной дверь.

4 *Удивительная незнакомка*

Потянулись самые одинокие месяцы в моей жизни. Бакстер в университете больше не показывался. С его рабочего места убрали скамейку, и оно опять превратилось в чулан. По меньшей мере раз в две недели я гулял по Парк-сёркес, но никто при мне не входил в парадную дверь его дома и не выходил оттуда, а взойти на крыльцо и постучаться у меня не хватало духу. Но ставни на окнах были открыты, и это означало, что в доме живут; будь я пособразительней, я бы понял, что, возвращаясь домой один, он предпочитает идти двором, через задний ход. Моя тяга к нему была лишена всякой корысти, ибо я больше не считал его чародеем науки. Мои занятия убедили меня в том, что даже переднюю половину червя или гусеницы невозможно срастить с задней половиной другой особи того же вида. До того как Янский дал классификацию групп крови, оставалось целых двадцать лет, так что мы не могли даже делать переливание. Необыкновенных кроликов я теперь считал галлюцинацией, порожденной игрой случая и усиленной гипнотическими свойствами Бакстерова голоса; и все же в выходные дни я бродил по знакомым тропинкам через леса и вересковые пустоши — они воскрешали в моей памяти наши беседы. И, конечно, я надеялся его встретить.

И вот однажды в холодный, ясный субботний день на переломе от зимы к весне, идя по Сочихолл-стрит, я услышал звук, похожий на скрежет окованного железом колеса повозки о край тротуара. Мгновение спустя я узнал в этом скрежете знакомый голос:

— А, цепной пес Свичнет! Ну как, не мерзнет мой цепной пес в такую погоду?

— Невыносимый твой голос подогревает меня, Бакстер, — сказал я. — Почему бы тебе не вживить себе новую гортань? Голосовые связки барана издавали бы куда более мелодичные звуки.

Он пошел рядом со мной своей обычной слоновьей походкой, перемещавшей его с такой же скоростью, как меня — мои торопливые шаги. Трость была зажата у него под мышкой, как офицерский стек, цилиндр с изогнутыми полями сдвинут на затылок; высоко вздернутый подбородок и жизнерадостная улыбка показывали, что теперь ему безразлично, что думают о нем прохожие. Уколотый завистью, я сказал:

— Ты выглядишь счастливым, Бакстер.

— Да, Свичнет! Я теперь наслаждаюсь более изысканным обществом, нежели твое, — обществом прекрасной, прекрасной женщины, Свичнет, которая обязана жизнью вот этим моим пальцам — умельным, умельным пальцам!*

Он поиграл ими в воздухе на воображаемой клавиатуре. Я возревновал.

— От чего же ты ее вылечил?

— От смерти.

— Ты хочешь сказать, *спас* ее от смерти?

— Отчасти так, но в главном это было искусно выполненное воскрешение.

— Чушь ты городишь, Бакстер.

— Зайди ко мне и посмотри на нее — мне важно услышать мнение стороннего человека. Физически она развита прекрасно, но разум ее еще формируется — да, ему предстоит сделать удивительные открытия. Она знает только то, что узнала в последние два с половиной месяца, и все же для тебя она будет поинтереснее, чем Мопси и Флопси, вместе взятые.

— Твоя пациентка потеряла память?

— Так я всем говорю, но ты не верь! Сделай выводы сам.

По пути к Парк-сёркес он не произнес более ничего, только добавил, что его пациентку зовут Белл, сокращенно от Белла, и живет она очень беспокойно, потому что он хочет, чтобы она как можно больше всего увидела, услышала и попробовала.

Когда Бакстер отпер дверь, до меня донеслись звуки фортепиано, на котором играли нечто, напоминающее «Зеленый берег Лох-Ломонд», играли так громко и в таком быстром темпе, что мелодия стала бесшабашно-веселой. Когда он ввел меня в гостиную, я увидел там женщину, сидящую за пианолой спиной к нам. Ее черные вьющиеся волосы ниспадали до самой талии, ноги жали на педали, приводившие во вращение цилиндр, с такой силой, что было ясно: физическое упражнение доставляет ей не меньшее удовольствие, чем музыка. Она раскинула руки в стороны, как чайка крылья, и махала ими, не попадая в такт. Она так увлеклась, что не слыхала наших шагов. Я мог не спеша осмотреть комнату.

Высокие ее окна выходили на Парк-сёркес; в облицованном мрамором камине ярко горел огонь. На ковре у камина растянулись большие собаки, зарыв сонные морды друг другу в шерсть. Три кошки сидели по разным углам на высоких спинках стульев, каждая притворялась, что до остальных ей нет дела, но стоило одной шевельнуться, как обе другие настораживались. Через открытую двустворчатую дверь я увидел еще одну комнату, окнами во двор, там у огня сидела с вязаньем спокойная пожилая женщина, у ее ног маленький мальчик строил игрушечный домик и два кролика лакали из блюдечка молоко. Бакстер мимоходом сказал, что это его экономка с внуком. Один кролик был совершенно черный, другой совершенно белый, но я решил воздержаться от замысловатых догадок. Что удивляло, так это количество всякой всячины на коврах, столах, сервантах и диванах: телескоп на треножнике; волшебный фонарь, направленный на экран; земной и небесный глобусы, каждый не меньше ярда в диаметре; наполовину собранная карта-головоломка, изображающая Британские острова; кукольный домик без фасада со всей обстановкой и полным набором слуг, начиная от худенькой служанки в спальне-мансарде и кончая толстой кухаркой, раскатывающей тесто в подвальной кухне; игрушечная ферма с сотнями тщательно выточенных и раскрашенных деревянных животных; чучела настоящих птичек колибри, яркой стайкой рассевшиеся на ветках серебряного куста с листьями и плодами из цветного стекла; ксилофон; арфа; литавры; человеческий скелет в полный рост; наконец, склянки с заспиртованными человеческими конечностями и органами. Эти образцы, вероятно, принадлежали к коллекции сэра Колина, и мертвая потемневшая плоть являла резкий контраст к вазам с желтыми нарциссами, горшкам с гиацинтами и большому стеклянному аквариуму, в котором шныряли крохотные тропические рыбки-самоцветы и степенно скользили золотые рыбы покрупнее. Повсюду стояли книги, раскрытые на выразительных иллюстрациях. Я успел заметить Богоматерь с младенцем, Роберта Бёрнса, склонившегося к полевой мыши, боевой корабль «Отважный», буксируемый к месту последней стоянки[1], и кобольдов, обнаруживающих скелет ихтиозавра в горной пещере Гарца*.

Музыка смолкла. Женщина встала, повернулась к нам и нетвердо шагнула вперед, едва не потеряв равновесие. По высокой, красивой, великолепно развитой фигуре ей можно было дать лет двадцать-тридцать, по выражению лица —

[1] Речь идет о знаменитой картине английского художника Дж. Тёрнера.

много, много меньше. Ее глаза и рот были широко раскрыты, что у взрослого означает тревогу, а у нее было знаком живого, восторженного внимания, окрашенного ожиданием новых чудес. На ней было черное бархатное платье с узким кружевным воротничком и манжетами. Она заговорила по-детски старательно, с североанглийским выговором, и каждый слог ее речи раздавался сладко и отдельно, как звук флейты:

— Доб рый день Бог лоу, доб рый день гость.

Она протянула ко мне обе руки и держала их не опуская.

— Гостям подают только одну руку, Белл, — сказал Бакстер мягко. Она опустила левую руку и застыла, сохраняя на лице все ту же светлую улыбку ожидания. Никто до сих пор не смотрел на меня так. Я смутился — ее правая рука была поднята слишком высоко для меня. К моему собственному удивлению, я сделал шаг вперед, привстал на цыпочки, взял в руку пальцы Белл и поцеловал. Она судорожно вздохнула, медленно отвела ладонь, потом внимательно на нее посмотрела и потрогала ее большим пальцем другой руки, словно ощупывая след моих губ. Несколько раз она бросала на мое восхищенное лицо быстрые взгляды, полные радостного изумления, а Бакстер тем временем лучезарно нам улыбался, как пастор, знакомящий мальчика с девочкой на утреннике в воскресной школе.

— Познакомься, Белл, это мистер Свичнет, — сказал он.

— Доб рый день мис тер Свеч ка, — сказала Белла, — кро ха гость во ло сы как мор ковь гля дит с ин те ре сом си ний галс тук мя тый пид жак жи лет брю ки из. Ва. Ле. Та?

— Из вельвета, моя милая, — поправил ее Бакстер, улыбаясь ей так же светло, как она мне.

— Вель вет руб ча та я ткань из хлоп ка мис тер Свеч ка.

— Мистер Свич*нет*, милая Белл.

— У ми лой Белл то же свеч ки нет Бог лоу. Про шу будь у Белл свеч кой кро ха гость.

— Ты рассуждаешь великолепно, Белл, — сказал Боглоу, — но скоро ты убедишься, что почти все фамилии лишены смысла. Миссис Динвидди! Отведите Белл и вашего внука вниз на кухню и дайте им лимонаду и пончиков в сахаре. Мы со Свичнетом пойдем в кабинет.

Поднимаясь со мной по лестнице, Бакстер с живым интересом спросил:

— Ну как тебе наша Белла?

— Тяжелая черепно-мозговая травма, Бакстер. Только ребенок или идиот может так разговаривать, излучать такую радость, принимать все новое с таким наивным восторгом. Ужасно видеть подобное у очаровательной молодой женщины. Только однажды по ее лицу пробежала тень неудовольствия — когда твоя экономка уводила ее от меня, то есть, я хочу сказать, от нас.

— Заметил? Так ведь это признак взросления. Черепно-мозговая травма тут ни при чем. Ее мыслительные способности увеличиваются с огромной быстротой. Полгода назад у нее был мозг младенца.

— Отчего же он так деградировал?

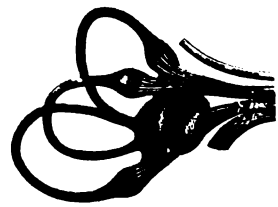
— Вовсе не деградировал, наоборот — получил возможность развиваться. Это был абсолютно здоровый маленький мозг.

Должно быть, его голос все-таки обладал гипнотической силой, ибо внезапно я понял, что́ он имеет в виду, и поверил ему. Я замер, вцепившись в перила, и мне стало нехорошо. Я услышал, как спрашиваю его заикающимся голосом, где он взял все, помимо мозга.

— Это-то я и хочу тебе рассказать, Свичнет! — воскликнул он, обхватил меня одной рукой и легко понес по ступенькам. — Ты единственный человек на свете, кому я могу довериться.

Когда мои ноги оторвались от ковра, мне почудилось, что я попал в лапы к чудовищу, и я начал брыкаться. Я закричал было, но он закрыл мне рот ладонью, затащил меня в ванную и сунул мою голову под струю холодной воды, после чего положил меня на диван в своем кабинете и дал мне полотенце. Вытираясь, я не много успокоился, но когда он протянул мне бокал с какой-то серой слизью, меня вновь охватила паника. Он сказал, что готовит этот состав из фруктов и овощей, что он улучшает кровь и укрепляет мышцы и нервы, не перевозбуждая их, что са-

он ничего другого не пьет. Я отказался, и он начал шарить в буфетах под ярусами книжных полок со стеклянными дверцами, пока не обнаружил графин с портвейном, к которому с тех пор, как умер его отец, никто не прикасался. Когда я потягивал густую рубиновую жидкость, мне вдруг почудилось, что и Бакстер, и его дом, и мисс Белл, и я сам, и Глазго, и селения Галлоуэя, и вся Шотландия суть вещи равно дикие и невероятные. Я захохотал. Приняв мой истерический смех за возвращение здравого смысла, он издал вздох облегчения, подобный пароходному гудку. Я вздрогнул. Он достал из комода вату. Я заткнул уши. И он начал свой рассказ.



5 *Сотворение Беллы Бакстер*

— Джорди Геддес работает в городском Обществе человеколюбия, которое предоставило ему в бесплатное пользование дом в парке Глазго-грин*. Он вылавливает из Клайда утопленников и, когда возможно, спасает этих людей. Если спасти не удается, он помещает труп в маленький морг рядом со своим жилищем, где полицейский хирург совершает вскрытия. Когда врач занят и не может прибыть, посылают за мной. Чаще всего, разумеется, в морг попадают трупы самоубийц, и те из них, что никем не востребованы, отправляются в анатомические классы и лаборатории. Этой отправкой раньше ведал я.

Меня вызвали исследовать тело той, кого ты теперь знаешь как Беллу, год назад, вскоре после нашей ссоры. Геддес увидел, как молодая женщина взбирается на парапет подвесного моста, что рядом с его домом. Она не прыгнула ногами вперед, как большинство самоубийц. Она нырнула вниз головой, как пловчиха, но не вдохнула, а *выдохнула* воздух перед прыжком, ибо, уйдя под воду, живой так и не всплыла. Выловив тело, Геддес обнаружил, что она привязала к запястьям ридикюль, набитый камнями. Как видишь, весьма тщательно подготовленное самоубийство и притом совершенное человеком, который хотел, чтобы его забыли. Карманы ее изысканной, со вкусом подобранной одежды были пусты, и те места на белье и подкладке, где у женщин побогаче стоят вышитые фамилии или инициалы, были аккуратно вырезаны. Когда я появился, трупное затвердение еще не наступило, тело едва успело остыть. Я увидел, что она беременна; на пальце у нее виднелись ложбинки от снятых колец, обручального и свадебного. О чем это тебе говорит, Свичнет?

— Она носила ребенка либо от ненавистного мужа, либо от бросившего ее любовника, которого она предпочла мужу.

— Я тоже так подумал. Я очистил ее легкие от воды, чрево — от плода и, искусно применяя электрические воздействия, мог вернуть ее к сознательной жизни. Но не решился. Ты поймешь почему, если увидишь лицо Беллы во сне. Тогда она вновь становится страстной, умной, удрученной женщиной, которая лежала передо мной на столе покойницкой. О покинутой ею жизни я знал одно: она так ее ненавидела, что бесповоротно решила *не быть*! Какие овладели бы ею чувства, окажись она насильно вызволена из хладнокровно избранной вечной пустоты и принуждена *быть* в одной из наших толстостенных, отвратительно снабжаемых, недоукомплектованных служащими психиатрических лечебниц или тюрем? Ибо наша христианская нация считает самоубийство преступлением или проявлением безумия. Итак, я восстановил жизнь тела лишь на клеточном уровне. Затем дал объявление. За телом никто не явился. Я привез его сюда, в отцовскую лабораторию. Все мечты детства, все чаяния юности, все годы учения и исследовательских работ были подготовкой к этому часу.

Каждый год сотни молодых женщин топятся из-за невыносимой нужды и предрассудков нашего отвратительного, подлого общества. Впрочем, природа тоже бывает несправедлива. Ты знаешь, как часто она производит на свет младенцев, которых мы называем уродами, потому что они не могут жить вовсе или могут жить лишь усилиями медиков: двухголовых, одноглазых, сиамских близнецов, а порой таких, которым наука даже не подобрала еще имен. Хороший врач не допустит, чтобы мать увидела подобное. Иные из уродств менее диковинны, но столь же губительны; например, может родиться ребенок без желудочно-кишечного тракта — он, едва перережут пуповину, будет обречен на голодную смерть, если только чья-нибудь милосердная рука не задушит его заблаговременно. Ни один врач не решится сделать это сам или отдать подобный приказ медицинской сестре, и тем не менее такие убийства происходят сплошь и рядом, ведь в нынешнем Глазго — втором городе Британии по величине и первом по детской смертности — мало кто из родителей может оплатить гроб, заупокойную службу и могилу для каждого крохотного родного тельца. Даже католики помещают детей, умерших до крещения, в лимб. А на нашей всемирной фабрике лимбом служит медицина. Не один год я размышлял, как соединить для новой жизни тело и мозг, выброшенные обществом на свалку. Теперь я исполнил задуманное; итог — Белла.

Как чаще всего бывает с человеком, внимающим спокойному рассказу, я и сам успокоился, обретя способность рассуждать.

— Браво, Бакстер! — воскликнул я, поднимая бокал. — Но как ты объясняешь ее выговор? То ли в жилах у нее течет йоркширская кровь, то ли родители ее *мозга* жили в северной Англии.

— Возможно только одно объяснение, — сказал Бакстер задумчиво. — Самые ранние наши навыки, и среди них речевой, суть инстинкты, коренящиеся в нервах и мышцах всего тела. Известно, что инстинкт есть продукт не одного лишь мозга, ведь обезглавленная курица порой бежит и бежит, прежде чем упасть. У Беллы мышцы гортани, языка и губ сокращаются так же, как в первые двадцать пять лет ее жизни, которые, я думаю, прошли ближе к Манчестеру, чем к Лидсу. Но все слова, которыми она пользуется, она узнала либо от меня, либо от пожилых шотландок, которые ведут мое хозяйство, либо от детей, которые с ней играют.

— А как ты объяснил им ее появление, Бакстер? Или ты такой домашний тиран, что прислуга не осмеливается тебя ни о чем спрашивать?

Поколебавшись, Бакстер пробормотал, что все его служанки — бывшие медицинские сестры, вышколенные сэром Колином, и их не удивляет присутствие необычных пациентов, поправляющихся после сложных операций.

— Но как ты представил ее *обществу,* Бакстер? Твоим соседям по Парк-сёркес; родителям детей, которые с ней играют; участковому полицейскому — едва ли ты им сказал, что это плод хирургического гения. Как ты ее запишешь на ближайшей переписи населения?

— Им было сказано, что это Белла Бакстер, моя дальняя родственница, чьи родители погибли в железнодорожной катастрофе в Южной Америке, а сама она получила тогда тяжелое сотрясение мозга с полной потерей памяти. Чтобы выглядело убедительней, я облачился в траур. Придумано действительно неплохо. У сэра Колина был двоюродный брат, с которым он поссорился много лет назад; тот уехал в Аргентину еще до «картофельного голода»[1] и с тех пор не давал о себе знать. В том винегрете наций, каким является Аргентина, он вполне мог жениться на дочери английских эмигрантов. К тому же лицо Беллы после того, как я остановил разложение тканей, приобрело такой же бледно-желтоватый оттенок, как у меня, что можно истолковать как семейную особенность. Эту историю я расскажу и Белле, когда ей станет известно, что у человека должны быть родители, и она захочет иметь их сама. Пара почтенных покойников — все лучше, чем ничего. Если она узнает, что она плод хирургического искусства, это омрачит ее жизнь. Правду знаем только мы с тобой, хоть я и сомневаюсь, что ты мне веришь.

— Честно говоря, Бакстер, версия с железнодорожной катастрофой более убедительна.

— Думай как хочешь, Свичнет, но, пожалуйста, не налегай так на портвейн.

[1] «Картофельный голод» 1845—1848 гг. — голод в Ирландии, вызванный неурожаем картофеля.

Я не внял его совету. Не спеша наполнил бокал еще раз и столь же неторопливо сказал:

— Итак, по-твоему, мозг мисс Бакстер когда-нибудь сравняется в возрасте с телом.

— Да, и скоро. Сколько лет ты бы ей дал по ее речи?

— Она лопотала как пятилетняя.

— Я определяю возраст ее ума по возрасту детей, с которыми она играет. Робби Мердоку, внуку моей экономки, скоро будет два. Еще полтора месяца назад она самозабвенно ползала с ним по полу, но вскоре он ей наскучил, и она воспылала пламенной страстью к племяннице кухарки. Эта шестилетняя умница теперь, когда прошли первые радости, находит очень скучной саму Беллу. По уму Белле сейчас, думаю, года четыре, и тогда выходит, что взрослое тело чрезвычайно ускорило развитие мозга. Это ведет к определенным трудностям. Сам того не замечая, Свичнет, ты произвел на Беллу впечатление. Ты первый взрослый мужчина, которого она встретила, если не считать меня, и я видел, что она чувствует это буквально кожей. Такая реакция показывает, что ее тело помнит плотские ощущения той, прежней жизни, и эти ощущения подсказывают мозгу новые образы и новые словосочетания. Она хочет, чтобы ты был ее свечкой. На ум приходят довольно рискованные ассоциации.

— Чушь собачья! — воскликнул я возмущенно. — Как ты смеешь говорить о твоей прелестной племяннице такие чудовищные вещи? Если бы ты в раннем возрасте играл с другими детьми, ты бы знал, что это обычная детская болтовня. Отгадай-ка, паренек, отгадай, девчонка, что за маленький челнок, а в нем мужичонка. У меня есть муженек, ростом будет с пальчик, а каков он из себя, знает каждый мальчик. Но как ты будешь учить мисс Бакстер, когда она вырастет из нынешнего милого состояния?

— Только не в школе, — сказал он твердо. — Я не допущу, чтобы с ней обращались как с диковинкой. Вскоре я возьму ее в тщательно спланированное кругосветное путешествие, и где ей особенно понравится, там мы задержимся подольше. Она не только многое увидит глазами, но и многое узнает из разговоров с людьми, которые найдут ее лишь чуточку более странной, чем большинство английских путешественников, и восхитительно естественной по сравнению с ее неуклюжим спутником. Кроме того, путешествие быстро излечит ее от привязанностей, которые начинают становиться романтическими в не очень здоровом смысле.

— И конечно же, Бакстер, — сказал я необдуманно, — там она будет целиком в твоей власти, вдалеке от людских взоров, хотя бы даже столь робких, как взоры твоих слуг. В прошлую нашу встречу, Бакстер, ты похвастался в пылу ссоры, что разрабатываешь тайный способ получить женщину в полное свое распоряжение, и теперь я знаю твой тайный умысел — совращение! Ты думаешь, что вот-вот завладеешь тем, о чем безнадежно мечтали поколения мужчин: душой невинного, доверчивого, беспомощного ребенка в роскошном теле очаровательной женщины. Но я этого не допущу, Бакстер. Ты богатый наследник аристократа, я приблудный сын бедной крестьянки, но между отверженными мира сего существует более прочная связь, чем думают сытые. Кем бы ни была Белла Бакстер — твоей осиротевшей родственницей или дважды осиротевшим произведением хирургического искусства, — я ближе к ней, чем когда-либо сможешь стать ты, я буду защищать ее честь до последней капли крови, и это так же верно, как то, что в небесах есть Бог, Бакстер, — Бог вечного милосердия и отмщения, перед кем могущественнейший на земле император ничтожней крохотного воробья.

В ответ Бакстер забрал у меня графин, поставил его обратно в буфет и запер дверцу.

Наблюдая, как он это делает, я немного остыл и вспомнил, что перестал верить в Бога, небеса, вечное милосердие и тому подобное, прочтя дарвиновское «Происхождение видов». До сих пор меня изумляет, что, неожиданно повстречавшись с единственным другом, будущей женой и первым в жизни графином портвейна, я не нашел ничего лучшего, как пуститься в разглагольствования на языке романов, которые, я знал, гроша ломаного не стоят и которые я читал вечерами лишь для того, чтобы поскорее заснуть.

6 *Мечта Бакстера*

Бакстер вновь подошел ко мне, сел на свое место и взглянул мне в глаза — губы сжаты, брови подняты. Кажется, я покраснел. Во всяком случае, по всему лицу у меня разлился жар. Он сказал ровным тоном:

— Напряги свою память, Свичнет. С виду я безобразен, но припомнишь ли ты, чтобы я хоть раз совершил безобразный поступок?

Помолчав, я угрюмо спросил:

— А Мопси и Флопси?

Его, похоже, слегка задело, и после паузы он задумчиво заговорил, словно беседуя с самим собой:

— Сэр Колин, его няни и собаки уделяли мне больше внимания, чем получает подавляющая часть вновь прибывших в наш мир; но мне хотелось еще большего. Я мечтал об удивительной незнакомке — женщине, какой я никогда еще не встречал и какую мог только вообразить, — подруге, которая нуждалась бы во мне так же сильно, как я в ней, и восхищалась бы мной так же горячо, как я ею. Разумеется, для большинства юных созданий это желание удовлетворяет мать, хотя богатые семейства часто нанимают служанку, исполняющую роль матери. Я не испытывал особенно большой привязанности к тем, кто ходил за мной, возможно потому, что их было слишком много. С самого рождения я был крупным, сильным ребенком, и мне смутно вспоминается, что кормили, умывали и одевали меня, пока я не научился делать это сам, по крайней мере три взрослые няни. Может быть, их было и больше — ведь они, наверно, работали посменно. Возможно, я приписываю детству томление более поздних лет, но я не могу вспомнить ни единого дня, когда я не ощущал внутри меня пустоту в форме женской фигуры — пустоту, что жаждала быть заполненной кем-то диковинней и прекрасней, чем все домашние. Томление усилилось с приходом половой зрелости, которая нагрянула с катастрофической внезапностью. Голос мой, увы, так и не сломался — до нынешнего дня у меня осталось меццо-сопрано, — но однажды утром я проснулся с напряженным мужским органом и отяжелевшими яичками, что составляет бремя нашего пола.

— И тут, как ты мне рассказывал, твой отец объяснил тебе, в чем женская анатомия отличается от мужской, и предложил свести тебя со здоровой особью в рабочем состоянии. Упустил ты свой шанс, Бакстер.

— Как у тебя со слухом, Свичнет? Мне что, дважды все повторять? *Мне нужно было восторгаться женщиной, которой нужен был бы я и которая восторгалась бы мной.* Могу перевести на язык физиологии. Семяизвержение лишь тогда может дать мне удовлетворение, когда оно сопровождается длительным возбуждением высших нервных центров, воздействие которых на железы внутренней секреции меняет состав крови не на несколько судорожных мгновений, а на множество звонких дней. Женщина моих грез возбуждала меня именно так. Я нашел ее изображение в «Шекспировских историях» Лэма, которые, должно быть, оставил у нас один из пациентов сэра Колина, — это была единственная ненаучная книга в нашем доме. Офелия сидела подле своего брата, довольно пресного субъекта, несмотря на свирепую маленькую бородку. Он что-то ей говорил, но она только притворялась, что слушает, а сама завороженно вглядывалась во что-то чудесное за пределами картинки, и мне хотелось, чтобы это был я. Выражение ее лица волновало меня больше, чем прелестное тело в свободно ниспадающем фиолетовом платье — ведь я полагал, что о телах знаю все. Это выражение волновало меня больше, чем само ее прелестное лицо, ибо мне приходилось уже видеть женщин с красивыми лицами; когда они приближались ко мне, их лица застывали, бледнели или краснели и отворачивались, чтобы не видеть меня вовсе. Офелия же смотрела на меня с изумленным обожанием, потому что видела во мне внутреннего человека — благороднейшего, величайшего врача на свете, которым я хотел стать, который в силах спасти ее жизнь и жизни миллионов. Я прочел мрачное повествование, в котором она была единственной истинно любящей человеческой душой. Но мне было очевидно, что история эта описывает эпидемическое распространение мозговой лихорадки, которая, подобно брюшному тифу, была, вероятно, вызвана просачиванием трупных ядов дворцового кладбища в систему водоснабжения Эльсинора. Неприметно начавшись среди дозорных на крепостных стенах, инфекция поразила принца, короля, первого министра и придворных, вызвав у них галлюцинации, глоссолалию и паранойю, ввергнув их в пучину болезненной

подозрительности и преступных позывов. Я воображал, как являюсь во дворец в первом акте трагедии, облеченный всей властью инспектора санитарной службы. Главные переносчики заразы (Клавдий, Полоний и явно неизлечимый Гамлет) были бы изолированы в отдельных палатах. Благодаря чистой питьевой воде, современному водопроводу и эффективной канализации дела в датском королевстве вскоре поправились бы, и Офелия, увидев, как этот неотесанный шотландский лекарь указывает ее народу путь к чистому и здоровому будущему, была бы бессильна таить свою любовь.

— Мечты, подобные этим, Свичнет, ускоряли ход моего сердца и изменяли фактуру кожи на целые часы кряду в свободное от занятий время. Проститутка, которую предлагал мне сэр Колин, была бы не более чем его измышлением, заводной куклой, приводимой в движение деньгами вместо пружины.

— Но теплое живое тело, Бакстер.

— Мне надо было видеть это выражение лица.

— В темноте-то... — начал я, но он велел мне заткнуться. Я сидел, думая о том, что из нас двоих я и есть настоящее чудовище.

Помолчав, он сказал со вздохом:

— Моя мечта стать любимым в народе целителем оказалась несбыточной. Да, я был самым блестящим студентом-медиком за всю историю университета — и как я мог им не быть? Исполняя обязанности ближайшего помощника сэра Колина, я узнал на практике то, что профессора преподавали в теории. Но в операционной сэра Колина мне разрешалось прикасаться только к тем пациентам, что были усыплены наркозом. Посмотри на мою ладонь — знаю, это зрелище не из приятных, — посмотри на этот куб с выступающими из него пятью конусами, нет чтобы это была плоская селедка с пятью торчащими сосисками. Пациенты, с которыми я мог иметь дело, были либо без сознания, либо слишком бедны, чтобы выбирать себе врача. Несколько известных хирургов пользуются моей помощью, когда оперируют знаменитостей, чья смерть может повредить их репутации: мои уродливые пальцы и, надо сказать, моя уродливая башка лучше работают в критический миг. Но пациенты никогда меня не видят, так что завоевать восторженную улыбку Офелии нет никакой возможности. Впрочем, теперь-то мне не на что жаловаться. Улыбка Беллы счастливей, чем та улыбка Офелии, и, глядя на нее, я и сам делаюсь счастливым.

— Значит, мисс Бакстер твоих рук не боится?

— Нет. С той самой минуты, как она в первый раз открыла глаза в моем доме, эти руки давали ей еду, питье и сладости, ставили рядом с ней цветы, приносили ей игрушки, показывали, как с ними обращаться, открывали книги на ярких картинках. Поначалу я заставлял ходивших за ней служанок носить в ее присутствии черные вязаные перчатки, но вскоре понял, что это излишне. То, что у других людей руки выглядят иначе, не мешает ей думать, что мои руки и я сам столь же естественны и необходимы, как этот дом, как ежедневная пища, как утренний свет. Но ты — новое для нее лицо, Свичнет, и твои руки взволновали ее. Мои не волнуют.

— Ты, конечно, рассчитываешь, что это изменится.

— Да. О да. Но я терпелив. Только плохие воспитатели и родители требуют от юных созданий немедленного восхищения. Я рад, что Белла принимает меня как должное в такой же степени, как пол под ногами — пол, что держит ее, когда она развлекается звуками пианолы, ищет общества кухаркиной внучатой племянницы и волнуется от прикосновения твоей руки, Свичнет.

— Я хотел бы поскорее увидеть ее опять.

— Как скоро?

— Сейчас... Или сегодня вечером... Во всяком случае, прежде, чем вы уедете в кругосветное путешествие.

— Нет, Свичнет, придется тебе дождаться нашего возвращения. Твое действие на Беллу меня не тревожит. А вот ее действие на тебя — еще как.

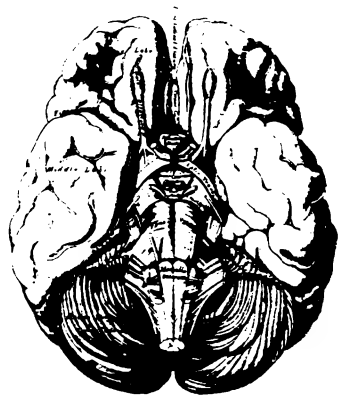
Он провел меня к выходу так же решительно, как и в прошлый раз, но теперь перед тем, как закрыть дверь, ласково похлопал меня по плечу. Я не отпрянул от его руки, но неожиданно сказал:

— Погоди минутку, Бакстер! Эта твоя утопленница — на каком она была месяце?

— У нее уже вышел весь срок.

— Мог ты спасти ребенка?

— Мог спасти и спас — его мыслящую часть. Разве ты не понял? Зачем искать мозг, совместимый с телом, когда он уже под рукой? Если тебе это не нравится — просто не верь ничему, и все.



7 *У фонтана*

Пятнадцать месяцев прошло прежде, чем я встретил ее вновь, и эти месяцы оказались неожиданно счастливыми. Поскреб умер и, к моему изумлению, оставил мне четверть своего капитала; вдова и законный сын поделили между собой остальное. Я стал врачом при Королевской лечебнице и получил в свое ведение палату, полную пациентов, которые как будто во мне нуждались, а иные даже выказывали мне знаки восхищения. Свою зависимость от них я прятал под личиной гладкой вальяжности, прорываемой время от времени вспышками добродушного юмора. Я заигрывал с подчиненными мне сестрами, не выходя за принятые рамки — то есть со всеми в равной мере. Меня приглашали на музыкальные вечера, где каждый должен был что-нибудь спеть. Мои шуточные песни на галлоуэйском диалекте вызывали смех, серьезные — аплодисменты. В свободные минуты, особенно в те полчаса, когда ты уже лежишь в постели, но еще не спишь, я думал о Белле. В то время я пытался продираться сквозь романы Булвера-Литтона, но его персонажи казались мне марионетками, рабами условностей, и я вспоминал ее руки-крылья, которыми она размахивала над пианолой, не сходящую с лица восторженную улыбку, порывистую нетвердую походку и то, как она протянула ко мне руки, словно желая обнять меня, как еще никто в жизни не обнимал. Нет, я не мечтал о ней — я вообще не умею мечтать, — но когда мы вновь встретились, мне на миг показалось, что я грежу о ней, лежа в постели, хотя я, без сомнения, бодрствовал и находился в общественном парке.

Две недели жаркой, безветренной и безоблачной летней погоды сделали Глазго совершенно невыносимым. Муть от промышленных дымов и газов заволокла долину, заполнив ее до самых вершин окрестных холмов, и не выпадало дождя, чтобы ее прибить, и не налетал ветер, чтобы ее развеять, эту пыльную мглу, от которой все, даже небо, покрылось серым налетом, и воспалялись глаза, и в ноздрях образовывались корки. В помещении воздух как будто был чище, но однажды вечером потребность в движении привела меня к унылому берегу Келвина. Вода, бурля, перекатывалась через водослив плотины, и отходы бумажной фабрики, расположенной выше по течению, сбивались в грязно-зеленые комья размером с дамскую шляпку, промежутки между которыми заполняла мутная пена. Эта

жижа, по виду и запаху напоминавшая содержимое химической реторты, текла через Западный парк, и воду под ней разглядеть было невозможно. Я вообразил, какая получается смесь, когда эти стоки вливаются в покрытый масляной пленкой Клайд между Партиком и Гованом, и задумался, есть ли еще такие сухопутные животные, что, как человек, испражняются в воду. Пожелав себе мыслей поприятнее, я двинулся к мемориальному фонтану «Лох-Катрин»*, чьи с силой пущенные вверх и падающие водяной пылью струи придавали воздуху некоторую свежесть. Вокруг фонтана дефилировали хорошо одетые господа и их дети, и я пошел среди них, уставя взор в землю, как всегда делаю в толпе. Я старался вспомнить, какого цвета у Беллы глаза, но мне вспоминались вместо этого звуки ее речи, падающие отдельными слогами, как жемчужины на блюдо, — и тут я услышал:

— Свечка, где твои брюки из вель ве та?

Она сияла передо мной, как радуга, — но вполне осязаемая, статная, элегантная, — опираясь на руку Бакстера и глядя на меня с задумчивой улыбкой. Глаза у нее оказались золотисто-карие, одета она была в малиновое шелковое платье и небесно-голубой бархатный жакет. На голове — фиолетовая шляпка, на руках — белоснежные перчатки; пальцами левой руки она покручивала янтарную ручку зонтика, чье тонкое древко, склоненное у нее над плечом, увенчивалось за головой канареечно-желтым куполом с травянисто-зеленой каймой. В сочетании с этими яркими красками ее черные волосы и брови, матовая кожа и сияющие золотисто-карие глаза выглядели ослепительно заграничными и изысканными, но если сама она была восхитительным сновидением, то высившийся рядом Бакстер — подлинным кошмаром. Когда его не было рядом, память сводила его чудовищные пропорции и лохматую мальчишескую голову к чему-то более приемлемому, и даже после недельной разлуки неожиданная встреча с ним ошеломляла. Мы же не виделись семьдесят недель. На нем было теплое пальто с пелериной, в которое он кутался на улице в любую погоду, потому что его тело теряло тепло быстрее, чем у других людей; но что поразило меня больше всего — это его лицо. Оно и всегда-то выглядело несчастным, но теперь в его скорбных глазах сквозила нехватка чего-то столь же необходимого, как душевное здоровье или кислород, — нехватка, которая медленно его убивала. В этой упорной мрачности не было ничего враждебного — он тоскливо мне поклонился, показав, что узнал, — и все же она испугала меня, на миг возбудив подозрение, что то, к чему он стремился и по чему тосковал, может быть, не достанется и мне тоже, хотя Белла теперь улыбалась мне с таким же радостным ожиданием, как в первый раз. Она высвободила правую руку из-под локтя Бакстера и протянула ее ко мне на уровне плеча. Снова

мне пришлось встать на цыпочки, чтобы взять ее пальцы и прикоснуться к ним губами.

— Ха-ха-ха! — засмеялась она, вскинув руку над головой, словно хотела поймать в кулак бабочку. — Он все та же моя маленькая Свечка, Бог! Ты был первый мужчина, кого я любила после малыша Робби Мердока, Свечка, но теперь я сама, Белл мисс Бакстер жительница Глазго уроженка Шотландии подданная Британской империи, повидала мир! Французские немецкие итальянские испанские африканские азиатские американские мужчины и даже женщины с севера и юга целовали эту руку и другие места, но я все равно вспоминала тот первый раз, хоть море разделило нас, товарищ юных дней[1]. Сядь-ка на скамейку, Бог. У нас со Свечкой будет прогулка моцион поход вылазка пробежка странствие шествие и вре-мя-пре-про-вож-дение. Бедный ты мой Бог. Без Беллы тебе будет горестно тоскливо тяжко, и когда ты уже начнешь думать, что я пропала навек — бац, бум, крак, и вот я выскакиваю из этих самых зарослей остролиста. Стерегите его, ребята.

Ее и Бакстера сопровождали пятеро детей, чьи грубые ботинки и простое платье говорили о том, что они из семей слуг или мастеровых. Если по товарищам Беллы все еще можно было судить о ее умственном развитии, то возраст ее мозга теперь составлял лет двенадцать-тринадцать. Бакстер, никак не изменив выражение лица, послушно втиснулся на переполненную скамейку. Офицер, оказавшийся его соседом по одну сторону, немедленно встал и удалился, по другую его примеру последовала няня с ребенком, который зашелся плачем. Двое мальчиков заняли их места. Остальные расположились в ряд спиной к ним, расставив ноги и скрестив руки на груди.

— Молодцы! — похвалила их Белла. — Если кто-нибудь начнет смотреть на Бога, смотрите на него сами, пока он не отведет глаза. Вот и будет вам занятие, пока меня нет.

Она достала из кармана мешочек, вручила каждому по большой конфете из тех, что зовутся в народе «затычками», просунула мою руку себе под локоть и торопливо повела меня прочь мимо пруда, где плавали утки.

Решительность Беллы и ее разговорчивость заставили меня ожидать потока слов — но не тут-то было. Она шагала вперед, поглядывая то направо, то налево, пока не увидела в кустах узенькую тропку; она рывком увлекла меня на нее. Дойдя до поворота, она остановилась, закрыла со щелчком зонтик, ткнула им, как копьем, в пышный куст рододендрона и потащила меня в образовавшуюся брешь. Я был слишком изумлен, чтобы сопротивляться. Когда листва укрыла нас с ног до головы, она отпустила меня и расстегнула перчатку на правой руке, улыбаясь, облизываясь и приговаривая: «Ну вот, наконец-то!»

Сняв перчатку, она прижала обнаженную ладонь к моему рту и левой рукой обвила мне шею. Край ладони наглухо запечатал мои ноздри, и, все еще слишком обескураженный, чтобы противиться, я мигом стал задыхаться. И она тоже. Закрыв глаза, она поворачивала голову из стороны в сторону, и с ее полуоткрытых пылающих губ слетали стоны: «На Свечку от Свечки до Свечки про Свечку из Свечки при Свечке я Свечка ты Свечка мы Свечка...»

Вначале я только чувствовал себя беспомощным, как тряпичная кукла, но вдруг мне расхотелось становиться чем-то иным, давление на мои губы и шею стало невыносимо сладким, и вот уже я сражаюсь не с удушьем, а с наслаждением столь сильным, что невозможно дальше терпеть. Миг — и я вновь свободен, ошеломленно смотрю, как Белла снимает перчатку с ветки, на которой она висела, и натягивает на руку.

— Ты знаешь, Свечка, — прошептала она, несколько раз глубоко и удовлетворенно вздохнув, — ведь я уже две недели этого не делала, с тех самых пор, как мы приплыли из Америки. Бакстер ни с кем не оставлял меня наедине. Хорошо тебе было?

Я кивнул. Она сказала с хитрым видом:

— Хорошо, да не так хорошо, как мне. Иначе бы ты так быстро не отпрянул и вел себя безрассуднее. Но мужчины ведут себя безрассудно, только когда они несчастные.

Она взяла свой зонтик и приветливо помахала им каким-то зевакам, наблю-

[1] Цитата из стихотворения Р.Бёрнса «Старая дружба» (*перевод С.Маршака*).

давшим за нами с уступа холма*. Я ужаснулся было тому, что нас видели, но потом с облегчением подумал, что сперва они, должно быть, решили, что она хочет меня задушить, а после сообразили, что она останавливает кровотечение у меня из носа.

Когда мы вернулись на тропинку, она смахнула с нашей одежды веточки, листья и лепестки, затем опять заставила меня взять себя под руку и пошла вперед со словами:

— Ну, о чем же мы будем говорить?

Я был слишком ошеломлен случившимся, чтобы ответить, и она повторила вопрос.

— Мисс Бакстер... Белла... милая Белл, ты делала это со многими мужчинами?

— Да, везде по всему свету, а особенно на Тихом океане. Когда мы вышли из Нагасаки, я познакомилась с двумя унтер-офицерами — ну прямо неразлучная пара была, — и я иногда это делала по шесть раз в день с каждым.

— Но ты... делала ли ты с мужчинами что-нибудь *большее*, Белла, больше того, что мы с тобой сейчас делали в кустах?

— Ну какой же ты гадкий, Свечка! Голос у тебя стал совсем несчастный, прямо как у Бога, — сказала Белла, смеясь от души. — Разумеется, с МУЖЧИНАМИ я никогда не делала больше, чем сейчас с тобой. Если делать с мужчиной больше, будет ребенок. А я хочу развлечений, а не детей. Больше я делаю только с женщинами, если они милые на вид, но почти все они очень стеснительные. В Сан-Франциско мисс Мактавиш от меня убежала, потому что испугалась большего, чем поцеловать руки и лицо. Я рада, что мы можем запросто об этом говорить, Свечка. Многие мужчины тоже очень стеснительные.

Я сказал ей, что не боюсь говорить обо всем запросто, потому что я врач и потому что вырос на ферме. Потом спросил, кто такая мисс Мактавиш.

— Она была главным лицом нашего кортежа свиты процессии вереницы отряда корпуса слуг, когда мы выехали из Глазго. Это была моя учительница гувернантка наперсница наставница педагог спутница провожатая компаньонка дуэнья философ и подруга до самого Сан-Франциско. До нашего разрыва она научила меня множеству новых слов и стихов. Так ты вырос на ферме! Кто был твой отец — пастух рачительный, что гонит стадо на склоны Грампианских гор, или усталый селянин, что медленной стопою идет, задумавшись, в шалаш спокойный свой?[1] Белле Белле Белле скажи скажи скажи. Я коллекционирую чужие детства — ведь это крушение украло у меня всю память о моем собственном детстве.

Я рассказал ей о своих родителях. Когда она услышала, что я не помню, где похоронена моя мать, она кивнула и улыбнулась, хотя по ее щекам заструились слезы.

— Вот и я тоже! — воскликнула она. — В Буэнос-Айресе мы хотели посетить могилу моих родителей, но Бакстер узнал, что железнодорожная компания, которая платила за погребение, похоронила их на кладбище у края бездонного каньона, и когда началось извержение Чимборасо, Котопахи или Попокатепетля, все это дело лавиной покатилось вниз — памятники, гробы, скелеты, — дробясь и измельчаясь на *бесконечно малые* атомы. Увидеть родителей в таком состоянии — все равно что кучку сахарной пудры навестить, так что вместо этого Бакстер повел меня в дом, где я с ними жила. И вот я увидела пыльный двор с треснувшим резервуаром для воды в углу, еще там бродили цыплята и сидел старый управляющий швейцар привратник портье консьерж (вот раззвенелась Белл колокольчиком[2]) старик, который назвал меня Белла сеньорита, так что, наверно, он меня помнит, хотя я его совсем не помню. Я смотрела, смотрела, смотрела, смотрела, смотрела на этих тощих цыплят, на прохудившийся резервуар, увитый с одной стороны виноградом, и СТАРАЛАСЬ вспомнить, но не могла. Бог все языки на свете знает, он стал расспрашивать старика по-испански, и оказалось, что я прожила там недолго, потому что мои папа с мамой были эмигранты и странствовали туда и сюда над пустынями вод, подобно сыну человеческому, не имеющему места покоя для ног своих, как точно заметила мисс Мактавиш. Мой отец Игнейшус Бакстер торговал каучуком медью кофе бокситами говядиной дегтем тра-

[1] Белла использует хрестоматийные строки английских поэтов Джона Хоума (1722—1808) и Томаса Грея (1716—1771).

[2] По-английски bell — колокол. колокольчик.

вой-эспарт и прочими товарами, рынок на которые переменчив, поэтому и жизнь у них с мамой была переменчивая. Но вот что я хочу знать: что же в этой переменчивой жизни ДЕЛАЛА Я? У меня есть глаза, и в спальне моей есть зеркало, и я ВИЖУ, что я женщина от двадцати до тридцати лет, ближе к тридцати, большинство женщин к этим годам выходят замуж...

— Выходи за *меня*, Белла! — воскликнул я.

— Не меняй тему разговора, Свечка, почему мои родители все эти годы держали на привязи такую прелесть, как Белл Бакстер? Вот что я хочу знать.

Мы продолжали путь молча; она явно была поглощена мыслями о тайне своего происхождения, а я бесился из-за того, что она пренебрегла моим импульсивным, но искренним предложением. Наконец я сказал:

— Белл... Белла... Мисс Бакстер, мне придется смириться с тем, что ты со многими мужчинами делала то же, что со мной сейчас в кустах. А с Боглоу ты это делала?

— Нет. С Богом я этого не могу — вот почему он такой несчастный. Он слишком обыкновенный, чтобы мне получать с ним удовольствие. Такой же обыкновенный, как я сама.

— Чепуха, мисс Бакстер! Ты и твой опекун — самая необыкновенная пара из всех, что я когда-либо...

— Да брось ты, Свечка, не суди по внешности. Я не читала ни «Красавицу и чудовище», ни «Венецианские камни» Рёскина, ни «Собор Парижской Богоматери» Дюма — или это Гюго в мягкой обложке, английское издание Таухница, цена за все про все два шиллинга шесть пенсов, — но я немало слышала об этих величественных легендах нашей расы и понимаю, что люди видят в нас с Богом очень готическую пару. Но они ошибаются. В глубине души мы простые фермеры, как Кэти и Хитклиф из «Грозового перевала» одной из этих самых сестер Бронте.

— Я не читал.

— А должен прочитать, это как раз про нас с ним. Хитклиф и Кэти живут в фермерском доме, и он любит ее, ведь они были неразлучны и играли вместе почти все время, и он ей очень нравится, но она увлекается Эдгаром и выходит за него, потому что он из другой семьи. И Хитклиф сходит с ума. Надеюсь, с Бакстером такого не случится. А вот и он, один теперь, как удачно. Хорошо, что он ребят по домам отослал.

Когда мы подошли к фонтану, служащие парка уже свистели в свистки, предупреждая, что скоро закроют ворота, и багровое солнце опускалось в золотистом сиянии, прочерченном полосами фиолетовых облаков. Одинокая фигура несчастного Бакстера горбилась точно в такой же позе, в какой мы его оставили, — пальцы вцепились в набалдашник зажатой между колен массивной трости, подбородок опущен на руки, тоскливые глаза смотрят в никуда. Когда мы под руку подошли к нему вплотную, наши лица оказались на уровне его лица, но он нас словно и не заметил.

— Эгей! — воскликнула Белла. — Ну как, лучше тебе?

— Чуть получше, — пробормотал он, попытавшись улыбнуться.

— Вот и славно, — сказала Белла, — потому что мы тут со Свечкой собираемся пожениться, и ты должен этому радоваться.

За этими словами последовало самое ужасное из всего, что я испытал в жизни. Единственной частью тела Бакстера, которая пришла в движение, был рот. Медленно и беззвучно он открылся и вырос до круглой дыры, которая в ширину стала больше, чем первоначально была его голова, и продолжал увеличиваться, пока вся голова не превратилась в сплошной рот. Казалось, его туловище увенчивает черная, разверзающаяся, окаймленная зубами пещера на фоне пылающего заката. И когда он закричал, мне почудилось, что кричит все небо*. Прежде чем это случилось, я успел прижать к ушам ладони, и поэтому я не упал в обморок, как Белла, но этот нестерпимый звук на одной ровной, высокой ноте проникал всюду и раздирал мозг, как сверло раздирает зубной нерв, не усыпленный обезболивающим. Пока звучал этот вопль, я не воспринимал почти ничего. Потом чувства возвращались ко мне так медленно, что я не увидел, как Бакстер опустился на колени рядом с лежащей Беллой, молотя себя по вискам кулаками, содрогаясь

в рыданиях и испуская стоны вполне человеческим охрипшим баритоном:

— Прости меня, Белла, прости за то, что я сотворил тебя такой.

Она открыла глаза и произнесла слабым голосом:

— Что ты такое говоришь? Ты же не Отец наш небесный, Бог. Много дурацкого шума из ничего. Хоть голос у тебя теперь сел, и на том спасибо. Ну помогите же мне встать.

8 *Помолвка*

Когда она весело шла из парка между нами, взяв обоих под руку, я подумал, что ее мгновенный переход от обморока к телесной и душевной бодрости может показаться Бакстеру бессердечным; хотя он был самым искренним человеком из всех, кого я знал, в его неожиданно обретенном обыкновенном голосе, когда он заговорил, мне почудилось притворство:

— Невыносимо вдруг увидеть, Белл, что я для тебя корабль, терпящий крушение, а Свичнет — спасательная шлюпка. В кругосветном путешествии я мог сносить твои увлечения, потому что знал, что они преходящи. Почти три года я живу с тобой и для тебя, и я хотел, чтобы так продолжалось всегда.

— Но ведь я не покидаю тебя, Бог, — сказала она успокаивающе, — по крайней мере сейчас. Свечка очень беден, так что нам с ним долго еще негде будет жить, кроме как у тебя. Переделай отцовскую операционную в нашу гостиную, и ты всегда будешь у нас дорогим гостем. И конечно, мы будем вместе завтракать, обедать и ужинать. Но я ведь романтическая женщина, и мне нужно много половой любви, но не от тебя, потому что ты не можешь не обращаться со мной как с ребенком, а я не могу НЕ МОГУ этого выносить. Я выхожу замуж за Свечку, потому что с ним я могу обращаться как мне нравится.

Бакстер посмотрел на меня испытующе. Слегка пристыженным тоном я признался, что, хотя я всегда старался быть суровым и независимым человеком, Белла была права: я боготворил ее и мечтал о ней с той самой минуты, когда он нас познакомил; все в ней кажется мне верхом женского совершенства; я с радостью готов испытать жесточайшие муки, лишь бы избавить ее от малейшего неудобства. Я добавил, что Белла всегда сможет делать со мной что ей заблагорассудится.

Тут Белла вставила:

— А Свечкины поцелуи действуют на меня почти так же сильно, как твои вопли, Бог, и от них я бы тоже падала в обморок, если бы не была взрослой женщиной.

Бакстер несколько раз быстро кивнул головой, а потом сказал:

— Я помогу вам обоим делать что вам заблагорассудится, но сначала, пожалуйста, исполните мою просьбу — это, быть может, спасет мне жизнь. Не встречайтесь друг с другом две недели. Дайте мне четырнадцать дней, чтобы привыкнуть к мысли о том, что я потеряю тебя, Белл. Я знаю, ты хочешь сохранить меня как удобного друга и помощника, но ты не можешь предвидеть, как изменит тебя замужество, — и никто не может. Пожалуйста, сделайте это для меня. Пожалуйста!

Губы его задрожали, рот, казалось, начал округляться для нового крика, так что мы торопливо согласились. Трудно было поверить, что он может еще раз издать столь же громкий вопль, и все-таки я испугался, как бы из-за нового резкого расширения ротовой полости его череп не отделился от позвоночника.

Когда мы прощались под уличным фонарем, Бакстер стоял, повернувшись к нам спиной. Белл прошептала:

— Две недели для меня — это годы, и годы, и годы.

Я пообещал, что буду писать ей каждый день, и, вынув из галстука булавку с крохотной жемчужинкой, сказал, что это единственная изящная вещица, и притом самая дорогая, из всего, что у меня есть, и попросил Белл вечно, вечно хранить ее у себя и вспоминать меня всякий раз, как она ее увидит или до нее дотронется. Она решительно кивнула семь или восемь раз, после чего я воткнул булавку в лацкан ее жакета и сказал, что теперь мы помолвлены. Потом я попросил у нее перчатку, шарфик или платок, любой предмет, согретый теплом ее тела и хранящий его аромат, как священный залог нашего взаимного согласия. Она задумчиво поморщила лоб, после чего протянула мне мешочек с «затычками», сказав: «Бери все».

Я понял, что ее все еще детскому уму это представляется серьезной жертвой, и со слезами на глазах прижал к губам ее обтянутые лайкой пальцы. Мне хотелось поцеловать ее в губы, но я вовремя опомнился, решив, что, если прикосновение моего рта к ее обнаженным пальцам едва не повергло ее в обморок, лучше будет дождаться полного уединения и лишь тогда дать волю своему пылу. И все же, летя домой, я ощущал неповторимое блаженство и восторг бытия. Если вопль Бакстера стал ужаснейшим переживанием в моей жизни, то этот миг — сладчайшим из всех. Подходя к своему дому, я уже сочинял фразы любовного письма. Бакстер, конечно, рассчитывал, что вследствие двухнедельной разлуки решение ее изменится, — я это понимал, но не боялся ее потерять, ибо знал, что он никогда не подвергнет ее бесчестному давлению, не совершит ничего коварного и низкого. Я также уповал на то, что он предотвратит ее встречи с другими мужчинами.

Почти неделю я исполнял свои больничные обязанности крайне рассеянно. Мое воображение было разбужено. Воображение, подобно придатку слепой кишки, есть пережиток прежних эпох, когда оно способствовало выживанию нашего вида, но в нынешнем промышленно-научном обществе оно является лишь источником болезни. Я гордился его отсутствием, но оказалось, что оно просто спало. Я продолжал делать то, чего ожидали от меня окружающие, но делал это без обычного рвения и тщательности, потому что беспрестанно сочинял в уме любовные письма и, дождавшись свободной минуты, записывал их и бежал на почту. Я обнаружил в себе нешуточный поэтический дар. Все связанные с Беллой воспоминания и надежды так легко превращались в рифмованные строки, что мне нередко казалось, будто я не сочиняю их, а припоминаю из прежнего существования. Вот характерный образчик:

О Белла несравненная моя,
Не устаю в блаженстве вспоминать я
Тот берег, где, дыханье затая,
Передо мной раскрыла ты объятья.
Мне чтенье скрашивало бег минут,
Мечтать любил я, беды забывая,
И тешили меня упорный труд,
Пир дружеский и чаша круговая.
Я радость знал у моря, у пруда
И у ручья, журчащего приманно,
Но не был я счастливей никогда,
Чем у мемориального фонтана.

Другие стихотворения из тех, что я во множестве ей посылал, были такого же качества и так же быстро сочинены; кончались они всё более и более настойчивыми просьбами об ответе. Привожу дословно единственный ответ, который я наконец получил. Я был в восторге, увидев пухлый конверт, содержащий чуть не дюжину страниц почтовой бумаги. Однако буквы, которые она выводила, оказались такой громадной величины, что на странице умещалось всего несколько слов, хотя, подобно древним евреям или вавилонянам, она экономила место, отбрасывая гласные:

МЛЙ СВЧК!
ТК Т Т МН МНГГ Н ДБШС. СЛВ ЧТ-Т ДЛ МН ЗНЧТ ТЛК КГД Я Х СЛШ Л ГВР. ТВ ПСМ ЧН ПХЖ Н ЛБВН ПСМ ДРГХ МЖЧН, СБНН ДНКН ПРРНГ.
ТВ БЛЛ БКСТР.

Проговорив эти письмена вслух, я постепенно уяснил себе их смысл, за исключением ДНКН ПРРНГ, и то, что я понял, раздосадовало и встревожило меня, потому что единственным словом, дававшим хоть какую-то пищу моим надеждам, было третье от конца, утверждавшее, что Белла *моя*. Разумеется, это обычный условный оборот, который сплошь и рядом встречается в деловых письмах, но в Белле не было абсолютно ничего условного и делового. Как бы то ни было, я решил нарушить слово, данное мной Бакстеру, и повидать ее как можно скорее. Когда вечером я выходил из Королевской лечебницы, собираясь осуществить это намерение, меня окликнула экономка Бакстера миссис Динвидди, поджидавшая меня в кебе у ворот. Она подала мне записку и попросила прочитать ее сразу:

Дорогой Свичнет!
Я был просто безумен, когда разлучил тебя с Беллой. Приезжай сейчас же. Нечаянно я нанес страшный удар нам троим сразу. Ты один можешь еще нас спасти, если приедешь сегодня же, немедленно, до захода солнца.
Твой несчастный и, поверь, искренне раскаивающийся друг
Боглоу Биши Бакстер.

Я вскочил в кеб, примчался на Парк-сёркес и кинулся в гостиную с криком:
— Что случилось? Где она?
— Наверху, в своей спальне, — ответил Бакстер, — и не больна, и совершенно счастлива. Сохраняй спокойствие, Свичнет. Выслушай от меня всю эту жуткую историю прежде, чем попытаешься ее отговорить. Если хочешь пить, я дам тебе стакан овощного сока. Портвейн исключается.

Я сел и воззрился на него. Он сказал:
— Она собирается удрать с Данканом Паррингом.
— Кто это?
— Хуже не придумаешь: гладкий, красивый, хорошо воспитанный, вкрадчивый, беспринципный, развратный адвокат, который до прошлой недели соблазнял исключительно служанок. Слишком ленив, чтобы жить честным трудом. Да и незачем ему особенно трудиться — он получил наследство от любящей престарелой тетушки. Добывает деньги на азартные игры и низкое распутство, запрашивая немыслимые гонорары за сомнительные услуги на грани законности. Белла теперь любит его, а не тебя, Свичнет.
— Но как они встретились?
— Наутро после вашей помолвки я решил завещать ей все, что у меня есть. Я пошел к весьма почтенному пожилому адвокату, старому другу моего отца. Когда он спросил меня, в каком именно родстве состоим мы с Белл, я вдруг замялся, поскольку заподозрил, не будучи, правда, в этом уверенным, что он слишком много знает о клане Бакстеров, чтобы поверить истории, которую я рассказывал слугам. Я покраснел, забормотал невнятицу, а потом, разыграв праведный гнев, которого не чувствовал, заявил, что плачу за его услуги и не вижу причин отвечать на не идущие к делу вопросы, бросающие к тому же тень на мою порядочность. Если бы только эти слова остались несказанными! Но я был тогда сам не свой. Он ледяным тоном ответил, что задал вопрос для того лишь, чтобы убедиться, что мое завещание не может быть оспорено каким-либо иным родственником сэра Колина; что он ведет дела семьи Бакстеров на протяжении почти трех поколений; что, если я ему не доверяю, могу приискать себе другого адвоката. Меня так и подмывало, Свичнет, выложить честному старику всю правду, но тогда он бы счел меня сумасшедшим. Я извинился и вышел.

Я почувствовал, что секретарь, который провожал меня к выходу, подслушивал наш разговор: встречая меня, он вел себя гораздо более подобострастно, чем теперь. Я остановился в коридоре и как бы невзначай достал из кармана соверен. Я сказал, что его начальник слишком занят, чтобы выполнить необходимую мне работу, — может ли он порекомендовать кого-нибудь еще? Он шепнул мне фамилию и адрес адвоката, который принимает в своем доме в южной части города. Я дал подлецу на чай, взял кеб и поехал туда. Увы, Парринг был на месте. Я объяснил ему, что мне нужно, и добавил, что приплачу за срочность. Он не задал никаких лишних вопросов. Этого-то я и хотел. Мне понравились его наружность и обходительные манеры, и я не почувствовал черноту его грязной души.

На следующий день он пришел ко мне домой и принес на подпись экземпляры завещания. Мы с Беллой были здесь, в этой комнате, и она поздоровалась с ним со своей обычной пылкой горячностью. Он отвечал так холодно, сурово и высокомерно, что это явно ее задело. Я был недоволен, хоть и не подал виду. Я позвал миссис Динвидди исполнить роль свидетеля, и, пока Белл дулась в углу, бумаги были подписаны и скреплены печатью. Парринг подал мне счет. Я отлучился из комнаты достать из сейфа деньги, и клянусь тебе, Свичнет, я отсутствовал минуты четыре, не больше. Вернувшись, я с облегчением увидел, что хотя миссис Динвидди уже ушла и Парринг держится все так же холодно, Белла вновь, как обычно, весело щебечет. И я был уверен, что вижу Данкана Парринга последний раз в жизни. Но сегодня утром она радостно сообщила мне, что три ночи подряд он, когда слуги засыпали, пробирался к ней в спальню. Его полуночным сигналом был крик наподобие совиного, ее условным знаком — свеча на подоконнике; воздвигается лестница, и он тут как тут! И сегодня же вечером, через два часа, она убежит с ним из дома, если только ты ее не отговоришь. *Сохраняй спокойствие*, Свичнет.

Я слушал его, стиснув голову руками, а теперь стал рвать на себе волосы, крича:

— Боже мой, что он с ней СДЕЛАЛ уже!

— Ничего такого, о чем следует сокрушаться, Свичнет. Я заметил ее романические наклонности еще в самом начале кругосветного путешествия и в Вене заплатил чрезвычайно опытной женщине за то, что она научила ее искусству предохранения. Белл сказала мне, что Парринг тоже в нем разбирается.

— И ты не раскрыл перед ней его подлость и коварство?

— Нет, Свичнет. Они раскрылись передо мной только сегодня утром, когда о его подлости и коварстве она поведала мне сама. Хитрый злодей соблазнил ее рассказами о своем распутстве, обо всех женщинах, которых он совратил и бросил, и не только женщинах, Свичнет! Это была настоящая оргия саморазоблачений — Белла сказала, он говорил как по писаному, — и, разумеется, он заявил, что любовь к ней очистила его душу, сделала его другим человеком и он *никогда* ее не оставит. Я спросил, верит ли она ему. Она ответила, что не очень-то, но до сих пор ее ни разу еще не оставляли, и новый опыт может ей пригодиться. Она также сказала, что испорченные люди нуждаются в любви не меньше, чем хорошие, и лучше знают в ней толк. Иди к ней, Свичнет, и докажи ей, как она ошибается.

— Иду, — сказал я, вставая, — а когда появится Парринг, спусти на него собак. Он мошенник и не имеет права здесь находиться.

Бакстер посмотрел на меня с неприязнью и изумлением, как если бы я предложил ему распять Парринга на шпиле городского собора. Он сказал укоризненно:

— Я не должен неволить Белл, Свичнет.

— Но по разуму ей только десять лет! Она ребенок еще!

— Потому-то я и не могу применить силу. Если я причиню вред человеку, которого она любит, ее расположение ко мне сменится страхом и недоверием, и жизнь моя потеряет смысл. Этот смысл сохранится, если двери моего дома будут открыты для нее, когда либо она надоест Паррингу, либо он ей. Но, может быть, тебе удастся все это предотвратить. Иди к ней. Вразуми ее. Скажи, что мы с тобой одного мнения.

9 *У окна*

Я двинулся наверх в гневе, который, когда я увидел Беллу, сменился горечью — мысли ее были явно далеки от меня. Она сидела у открытого окна, положив локоть на подоконник и подперев ладонью щеку. На ней был дорожный костюм; у ее ног стоял застегнутый и стянутый ремнями чемодан, на котором покоилась широкополая шляпка с вуалью. Хотя Белла смотрела во двор, голова ее была повернута ко мне в профиль, и в ее позе и выражении лица я увидел то, чего в них раньше никогда не было, — умиротворенный покой, окрашенный грустью от какой-то мысли о прошлом или о будущем. Она больше не была так безраздельно,

так яростно поглощена настоящим. Я почувствовал себя мальчиком, подглядывающим за взрослой женщиной, и кашлянул, чтобы привлечь ее внимание. Она повернула ко мне голову и одарила меня приветливой, радостной улыбкой.

— Как мило, что ты пришел, Свечка, ты поможешь мне скоротать последние минуты в этом старом, старом доме. Хорошо бы еще и Бог был здесь, но он такой несчастный, что я не вынесу сейчас его вида.

— Я тоже несчастен, Белла. Я думал, мы с тобой поженимся.

— Я знаю. С тех пор как мы это решили, прошли годы.

— Прошло шесть дней — меньше недели.

— Все, что дольше одного дня, кажется мне вечностью. Данкан Парринг вдруг стал трогать меня там, где ты никогда не трогал, и теперь я от него без ума. Придут сумерки, и с ними он, тихо прокрадется из переулка сквозь калитку в дальней стене*, подложив кусочек ткани под защелку, чтоб не звякнула. А потом топ-топ-топ по тропиночке сюда и тихонько вынет лестницу, что в капустной грядке схоронил — правда, не слишком-то хорошо схоронил, она отсюда видна, — и как мягко, как умело он взметнет ее ко мне, и своими руками я прислоню ее к окну. Ты никогда ради меня такого не делал. И увезет он меня туда, где жизнь, любовь, Италия, где Коромандельский берег, где солнечная Африка фонтаном льет пески[1]. Интересно, где мы в конце концов окажемся? Милому, несчастному Данкану так нравится быть испорченным. Я бы, наверно, не нужна была ему, если бы Бог позволил нам выйти рука об руку из парадной двери средь бела дня. И знай, Свечка, что, кроме нашей помолвки, я всегда буду помнить, как часто ты приходил ко мне в прежние времена, как ты слушал мою игру на пианоле и какой замечательной женщиной я чувствовала себя потом из-за того, что ты всегда целовал мне руку.

— Белла, сегодня мы с тобой встречаемся только в третий раз.

— Вот именно! — воскликнула она с испугавшей меня внезапной злостью.— Я только половина женщины, Свечка, меньше, чем половина, у меня не было всех этих ранних лет, которые, мисс Мактавиш говорила, для нас пронизаны лучами славы, — ни детства с маминой лаской, с бабушкиной сказкой, ни юности, овеянной любви томленьем нежным. Целая четверть века выпала из жизни — бац, бум, крак. И вот несколько крохотных воспоминаний в пустом колокольчике-Белл звенят гремят бряцают лязгают дин дон гул гуд звук отзвук грохочут отдаются отражаются эхом и еще эхом в этом бедном полом черепе слова слова слова слова словасловасловасловасловасолвасловаслова, хотят из малого сделать многое, но не могут. Мне не хватает прошлого. Когда мы поднимались на корабле по Нилу, с нами была одинокая красивая дама, и кто-то сказал мне, что это *женщина с прошлым* — о, как я ей завидовала. Но Данкан мигом сотворит мне массу прошлого. Данкан, он быстрый.

— Белл! — воскликнул я. — Ты не уйдешь из дома и не станешь женой этого человека! Ты не родишь от него детей!

— Да знаю я! — ответила Белла, посмотрев на меня с удивлением. — Мы же с тобой помолвлены.

Она показала на лацкан своего дорожного жакета, где я увидел крохотную жемчужинку на конце моей галстучной булавки. Она спросила с лукавым видом:

— Ну как, все мои затычки съел?

Я ответил, что положил все конфеты в стеклянную банку с крышкой и поставил ее в своей комнате на буфет, ибо, если бы я все время носил их в кармане, они бы растаяли от жара моего тела и превратились в бесформенную массу. Я также сказал, что раз Бакстер не хочет защитить ее от этого дурного и ничтожного человека, я спущусь вниз и дождусь его в переулке; если словами не удастся заставить его уйти, я сшибу его с ног. Она посмотрела на меня со злостью — раньше я не замечал у нее такого взгляда, — ее нижняя губа припухла и выпятилась, как у обиженного ребенка, и на какой-то миг я испугался, что она сейчас расплачется, как маленькая девочка.

То, что произошло вместо этого, было просто прелестно. Ее лицо озарилось такой же восторженной улыбкой, как при нашей первой встрече, она встала и вновь протянула ко мне обе руки, но на этот раз я шагнул к ней, раздвинул их, и мы обнялись. Раньше у меня ни с кем не было подобной телесной близости, она

[1] «...Где солнечная Африка...» — цитата из «Гимна миссионера» Р.Хибера (1723—1826).

все крепче и крепче прижимала к груди мое лицо, и я стал задыхаться еще сильнее, чем когда она обняла меня в парке. Я испугался, что потеряю сознание, и опять, как тогда, высвободился. Не отпуская моих рук, она мягко сказала:

— Моя милая маленькая Свечка, когда я хочу доставить тебе удовольствие, ты боишься его получить и отстраняешься. Но тогда как же ты доставишь удовольствие мне?

— Ты единственная женщина, которую я любил, Белла, я не Данкан Парринг, который пользовался всеми служанками, какие ему подворачивались, начиная с кормилицы. Моя мать работала на ферме. Хозяин воспользовался ею и сотворил меня, и мне еще повезло, что он потом не вышвырнул нас обоих на улицу. Для любви в нашей жизни не было времени — слишком скудная была плата, слишком тяжелый труд. Я привык обходиться малыми ее количествами, Белл. И я не могу пока что хватать ее охапками.

— Зато я могу и буду, Свечка. Да-да! — заявила Белла, все еще улыбаясь, но подкрепив свои слова энергичным кивком. — А ты ведь говорил, что позволишь мне делать с тобой все, что я захочу.

Я улыбнулся и тоже кивнул, будучи теперь уверен, что все у нас образуется; потом я сказал, что со мной она может делать все что захочет, но с другими мужчинами — нет. Услышав это, она нахмурилась и досадливо вздохнула, но затем, громко рассмеявшись, воскликнула:

— Данкан придет еще через много, много, много часов — пошли наверх, я тебе сделаю сюрприз!

Просунув мою правую руку себе под локоть, она повела меня к двери. Чувствуя себя совершенно счастливым, я спросил, что это за сюрприз, но она велела мне набраться терпения.

Когда мы поднялись на верхний этаж, она задумчиво сказала:

— Данкан — чемпион любительского бокса.

Я объяснил, что тоже умею драться; что не раз старшие мальчики на площадке для игр в Уопхиллской школе, обманувшись моим малым ростом и тихим поведением, принимали меня за легкую мишень и я, хоть и не всегда побеждал, всегда им доказывал, что они ошибаются. Она крепче прижала мою руку. Вдруг я почувствовал неожиданно знакомый больничный запах — смесь карболки и медицинского спирта. Я знал, что старая операционная сэра Колина, как все подобные операционные, находится на верхнем этаже, но не подозревал, что она до сих пор используется. Чем выше мы поднимались, тем становилось светлее. До заката оставался еще час. Ветерок очистил небо от облаков, а в Шотландии в дни летнего солнцестояния в небе всегда есть свет, как бы ни было темно на улице или в поле. Над верхней лестничной площадкой был устроен большой стеклянный купол, через который освещалась вся лестница. Белла взялась за дверную ручку и сказала:

— Стой тут и не подглядывай, пока я тебя не позову, Свечка, и тогда уж будет сюрприз так сюрприз.

Она бочком протиснулась в дверь и так быстро ее закрыла, что я не успел ничего разглядеть.

Пока я ждал, меня посещали диковинные предположения. Неужели Парринг так ее развратил, что, когда она меня позовет, я увижу ее обнаженной? При этой мысли я задрожал от приступа противоречивых чувств, но секунды шли, и мной овладело новое, худшее опасение. Во многих больших домах есть узкие черные лестницы для слуг. Может быть, Белла уже шмыгнула по такой лестнице вниз, может быть, она сейчас спешит к Чаринг-кроссу, где возьмет кеб до жилища Парринга. Я так живо это себе представил, что уже готов был открыть дверь, как вдруг она сама распахнулась внутрь комнаты, и я понял, что Белла стоит за ней, ведь в помещении не было видно ни души. Послышался ее голос:

— Войди и закрой глаза.

Я вошел, но глаза закрыл не сразу.

Это действительно была старая операционная сэра Колина, сооруженная по его собственному плану, когда застраивался Парк-сёркес, то есть в одно время с возведением Хрустального дворца. Обстановка была скудная и невзрачная, однако всю комнату заливало теплое вечернее солнце. Его лучи проникали сквозь

высокие окна и потолок, состоявший из четырех наклонных застекленных треугольников, которые сходились в центре к рефлектору, бросавшему пятно более яркого света на операционный стол. На скамейках стояли проволочные клетки и собачьи конуры, и в больничном запахе я уловил примесь животного духа. Я услышал, как за мной захлопнулась дверь, и затылком почувствовал дыхание Беллы. Внезапно уверившись, что она стоит раздетая, я полузакрыл глаза и весь задрожал. Она обняла меня сзади одной рукой, и я с облегчением увидел рукав ее дорожного жакета. Она прижала меня к себе, и я размяк, отметив краем сознания, что химический запах в комнате необычно силен. Она шепнула мне в самое ухо:

— Белл *никому* не позволит обидеть ее маленькую Свечку.

Она закрыла мне рот и нос ладонью,
и, попытавшись вздохнуть,
я потерял сознание.

10 *Без Беллы*

Я услышал ровное негромкое шипение газовой лампы. Болела голова, и я не размыкал век, зная, что от света глазам не поздоровится. Я чувствовал, что случилось ужасное, что я лишился чего-то самого дорогого, но думать об этом не хотелось. Поблизости кто-то вздохнул и прошептал:

— Порок. Я порочный человек.

Мне вспомнилась Белла. Я сел, и с меня соскользнуло одеяло.

Теперь я сидел (а только что лежал) на диване в кабинете Бакстера. Я был без пиджака, мой жилет был расстегнут, воротничок и ботинки сняты. Диван представлял собой массивное сооружение из красного дерева и черного конского волоса. Бакстер сидел на другом конце дивана и мрачно на меня смотрел. В незанавешенных окнах виднелись большой полумесяц и ясное ночное небо, столь насыщенное темной синевой, что оно казалось беззвездным. Я спросил:

— Который час?

— Третий.

— Где Белл?

— Сбежала.

Секунду помолчав, я спросил, как он меня отыскал. Он подал мне ворох страниц, исчерканных громадной скорописью Беллы. Я вернул их ему, сказав, что у меня болит голова и я не могу заниматься расшифровкой. Он прочел мне вслух:

«Милый Бог! Я усыпила Свечку хлороформом в операционной. Когда он проснется, попроси его остаться жить у тебя, тогда вы вдвоем сможете часто разговаривать о твоей верной, горячо любимой Белл Бакстер. P.S. Я сообщу телеграммой, где нахожусь, когда приеду на место».

Я заплакал. Бакстер сказал:

— Пошли на кухню, поешь чего-нибудь.

На кухне я сел за стол, опершись на него локтями, а Бакстер, порывшись в кладовке, подал мне кувшин молока, кружку, тарелку, нож, хлеб, сыр, пикули и холодные остатки жареной курицы. Когда он вынимал курятину, лицо его выразило отвращение, которое он тщетно пытался скрыть,— ведь он был вегетарианец и покупал мясо только для слуг. Пока я с жадностью ел, он не спеша выпил

чуть ли не галлон серой жидкости, которая была главной составной частью его рациона, наливая ее в большую кружку из оплетенной стеклянной бутыли, в каких обычно держат кислоты. Когда он вышел из кухни по нужде, я любопытства ради отхлебнул глоток; питье оказалось едким, как морская вода.

Мы просидели до рассвета в унылом молчании, время от времени прерывая его вспышками разговора. Я спросил, где Белла научилась применять хлороформ. Он ответил:

— Когда мы вернулись из-за границы, я понял, что для того, чтобы ее занять, игрушек уже недостаточно, и затеял маленькую ветеринарную клинику. Я объявил по всей округе, что буду бесплатно лечить больных животных, которых принесут к моей задней двери. Белла стала вести первичный прием и помогать мне в операциях; с обеими обязанностями она справлялась отменно. Ей нравилось встречаться с новыми людьми и помогать зверям. Я научил ее зашивать раны, и она привнесла в это дело всю изощренную, кропотливую страстность, с какой простые женщины шьют рубашки, а женщины среднего сословия вышивают виньетки. Сколько человеческих жизней и конечностей мы потеряли, Свичнет, исключив женщин из более высоких сфер медицины!

Я чувствовал себя слишком усталым и больным, чтобы оспаривать это суждение.

Через некоторое время я спросил, почему он вдруг решил оформить завещание на следующий день после нашей с Беллой помолвки. Он ответил:

— Чтобы обеспечить ее будущность после моей смерти. Ты еще долго не разбогатеешь, Свичнет, как бы упорно ты ни работал.

Я обвинил его в том, что он собирался после нашей свадьбы покончить с собой. Пожав плечами, он сказал, что ему незачем было бы дальше жить.

— Ты самовлюбленный дурак, Бакстер! — воскликнул я гневно. — Какой прок был бы нам с Белл от твоих денег, если бы мы получили их ценой твоей жизни? Мы бы, конечно, никому их не отдали, но были б несчастны. Радоваться, выходит, надо ее побегу — он всех троих нас уберег от горькой участи.

Бакстер, повернувшись ко мне спиной, пробормотал, что его смерть не выглядела бы как самоубийство. Я поблагодарил его за предупреждение, сказал, что в дальнейшем буду пристально за ним следить, и добавил, что, если он погибнет от несчастного случая, я предприму соответствующие шаги. Он изумленно на меня посмотрел:

— Какие шаги? Чтобы меня похоронили в неосвященной земле?

Я мрачно ответил, что заморожу его во льду до тех пор, пока не найду способ его оживить. Он был, казалось, готов засмеяться, но осекся. Я сказал:

— Сейчас-то тебе умирать как раз не следует. Если ты умрешь, все твое имущество перейдет к Данкану Паррингу.

Он заметил, что палата общин обсуждает закон о предоставлении замужним женщинам права на собственность. Этот закон, возразил я, никогда не будет принят. Он подорвет институт брака, а ведь почти все члены парламента являются мужьями. Он сказал со вздохом:

— Я заслуживаю смерть, как всякий убийца.

— Глупости! Зачем на себя наговаривать?

— Не прикидывайся, что забыл. Прямым вопросом ты выявил мою вину в тот самый день, когда я познакомил тебя с Беллой. Извини, я выйду.

Он отлучился опорожнить кишечник или мочевой пузырь. Так или иначе, его не было почти час, а когда он вернулся, я сказал:

— Прости меня, Бакстер, но я совершенно не понимаю, почему ты называешь себя убийцей.

— Это крохотное девятимесячное существо, которое я извлек живым из чрева утопленницы, я должен был взрастить как свою приемную дочь. Вживив ее мозг в тело матери, я точно так же укоротил ее жизнь, как если бы я зарезал ее ножом в возрасте сорока или пятидесяти лет, только я лишил ее не конца, а начала жизни, что гораздо подлее. И сделал я это по той же причине, по какой старый развратник покупает ребенка у сводни. Себялюбивая жадность и нетерпение двигали мной, и ВОТ! — крикнул он, стукнув по столу с такой силой, что все на нем, даже самое

тяжелое, подскочило по меньшей мере на дюйм, — ВОТ почему наши науки и искусства не в состоянии улучшить мир, что бы там ни говорили филантропы и либералы. Наши новые обширные научные познания в первую голову служат всему презренному, жадному, себялюбивому, нетерпеливому, что есть в человеческой природе и обществе, а доброе, бережное, великодушное всегда опаздывает. Не используй я методы сэра Колина, Белл была бы сейчас обыкновенным ребенком двух с половиной лет. Я мог бы наслаждаться ее обществом еще семнадцать или восемнадцать лет, прежде чем она обрела бы самостоятельность. Но мои презренные плотские вожделения заставили меня применить все мои научные познания, чтобы сделать из нее игрушку для Данкана Парринга! ДАНКАНА ПАРРИНГА!

Он заплакал, а я задумался.

Я задумался крепко и надолго, а потом сказал:

— То, что ты говоришь, в основном верно, за исключением замечания о невозможности улучшений посредством науки. Как член либеральной партии, я не могу с этим согласиться. Обвиняя себя в сокращении жизни Белл, не забудь, что о старении мы знаем наверняка только то, что нужда и горе старят людей быстрее, чем счастливая жизнь, и поэтому пышущий счастьем юный мозг Беллы может продлить жизнь ее тела далеко за пределы обычного срока. Если ты совершил преступление, сотворив Белл такой, как она есть, я благодарен тебе за это преступление, потому что я люблю ее такой, как она есть, выйдет она замуж за Парринга или нет. И я сомневаюсь, что женщина, которая усыпила меня хлороформом, будет беспомощной игрушкой в чьих бы то ни было руках. Может быть, нам надо еще пожалеть Парринга.

Бакстер посмотрел на меня, потом потянулся ко мне через стол. Он сжал ладонь моей правой руки так крепко, что у меня хрустнули суставы; я закричал от боли, а потом целый месяц ходил с синяками. Он извинился и сказал, что хотел выразить сердечную благодарность. Я попросил его впредь держать благодарность при себе.

После этого мы слегка подобрели друг к другу. Бакстер начал расхаживать по кухне, улыбаясь, как всегда, когда он думал о Белл и забывал о себе.

— Да, — сказал он, — поди найди другого ребенка двух с половиной лет, так же твердо стоящего на ногах, с такими же уверенными руками и быстрым умом. Она запоминает все, что с ней происходит, и каждое слово, которое слышит, и даже если она не понимает чего-то сразу, смысл приходит к ней позже. И я избавил ее от одного тяжкого переживания, которого не испытывал сам: она никогда не была маленькой и поэтому никогда не знала страха. Припомни, Свичнет, все стадии лилипутства, которые ты прошел прежде, чем достичь твоего теперешнего роста. Гном высотой в двадцать четыре дюйма. Эльф высотой в ярд. Карлик высотой в четыре фута. Разве великаны, которые правили миром, когда ты был маленьким, позволяли тебе чувствовать себя равным им по значению?

Я содрогнулся и сказал, что не всякое детство похоже на мое.

— Разумеется, но даже в домах богачей, насколько я знаю, ревущие груднички, запуганные годовалые дети и унылые подростки — обычное явление. Чтобы дети могли вытерпеть все тяготы малолетства, природа наделяет их громадной душевной гибкостью, и все же эти тяготы превращают их потом в слегка ненормальных взрослых, либо судорожно хватающихся за власть, которой им раньше недоставало, либо, чаще, судорожно от нее отшатывающихся. А Белла (почему я и думаю, что ты был прав, жалея Парринга) наряду со всей гибкостью детства обладает всей статью и силой роскошной женственности. Когда она только открыла глаза, ее менструальный цикл уже шел полным ходом, и она никогда не знала ни отвращения к своему телу, ни страха перед своими желаниями. Не пройдя школы трусости, какую проходят все маленькие и зависимые, она говорит, чтобы выразить свои мысли и чувства, а не чтобы их скрыть, и поэтому не способна ни к какому злу, рождаемому лицемерием и ложью, — то есть вообще почти ни к какому злу. Ей недостает только опыта, особенно опыта в принятии решений. Парринг — ее первое крупное решение, но она не питает на его счет никаких иллюзий. Миссис Динвидди зашила достаточно денег в подкладку ее костюма, чтобы она не испытывала нужды, если они с Паррингом вдруг расстанутся. Я

больше опасаюсь, что ее заинтересует кто-нибудь другой и вовлечет ее в авантюру, которую мы не можем даже себе представить. Правда, послать телеграмму она умеет.

— Ее самая большая беда, — сказал я (на лице у Бакстера тут же выразилось возмущение), — это детское восприятие времени и пространства. Короткие промежутки кажутся ей огромными, но, с другой стороны, она пытается сразу получить все, что хочет, независимо от того, как далеко предметы ее желания отстоят от нее и друг от друга. Она говорила так, словно помолвка со мной и побег с Паррингом — события одновременные. Мне не хватило духу сказать ей, что законы времени и пространства это запрещают. Я даже не объяснил ей, что это запрещает нравственный закон.

Бакстер пустился было в рассуждения о том, что наши понятия о времени, пространстве и нравственности суть удобные привычки, а вовсе не законы естества, но я зевнул ему в лицо.

За окном рассвело, и подали голос птицы. Скорбные гудки скликали рабочих на фабрики и корабельные верфи. Бакстер сказал, что в комнате для гостей мне приготовлена постель. Я ответил, что через два часа мне надо быть на работе и что я хочу только воспользоваться умывальником, бритвой и расческой. Идя со мной наверх, он произнес:

— Как Белла и предсказывала в своем письме, мы говорим о ней, так что не переедешь ли ты ко мне? Я прошу об этом как об одолжении, Свичнет. Общества пожилых женщин мне сейчас будет недостаточно.

— Парк-сёркес гораздо дальше от Королевской лечебницы, чем моя берлога на Тронгейте. Каковы твои условия?

— Бесплатная комната с бесплатными же газовым освещением, угольным отоплением и постельным бельем. Бесплатная стирка твоих маломерных рубашек, крахмаленье воротничков, чистка ботинок. Бесплатные горячие ванны. Бесплатная кормежка, когда ты захочешь разделить со мной трапезу.

— От твоей кормежки мне, только подумаю, тошно делается.

— Ты будешь есть то же самое, что и миссис Динвидди с кухаркой и горничной, — простую, но прекрасно приготовленную пищу. Ты сможешь свободно пользоваться хорошей библиотекой, которая после смерти сэра Колина изрядно пополнилась.

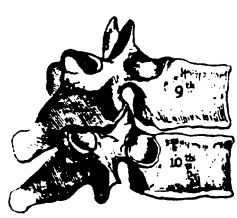
— А взамен?

— В свободную минуту ты мог бы помогать мне в клинике. Занимаясь собаками, кошками, кроликами и попугаями, ты сможешь узнать кое-что новое о том, как лечить двуногих и бескрылых пациентов.

— Гм. Я подумаю.

Он улыбнулся, как бы показывая, что считает мое замечание пустой демонстрацией мужской независимости. Он был прав.

Вечером того же дня я взял напрокат большой сундук, уложил вещи, заплатил тронгейтскому домохозяину еще за две недели, нанял кеб и приехал на Парк-сёркес со всеми пожитками и инструментами. Бакстер никак не высказался по поводу моего появления — просто провел меня в мою комнату и подал мне телеграмму, пришедшую из Лондона несколькими часами раньше. Она гласила: «Я ТТ» (я тут), — и никакого имени дальше не стояло.



11 *Парк-сёркес, 18*

Если верно, что трудная, но благодарная работа, общество умного ненавязчивого друга и удобное жилище составляют прочнейшую основу для счастья, то последующие месяцы были едва ли не лучшими в моей жизни. Служанки Бакстера начинали такими же деревенскими девушками, какой была когда-то моя мать, и хотя всем им теперь стало по меньшей мере под пятьдесят, им, думаю, нравилось, что в доме живет сравнительно молодой человек, который с удовольствием ест приготовленную ими пищу. Как я ем, они никогда не видели, потому что пища поднималась ко мне в столовую на кухонном лифте, но я часто посылал обратно вместе с пустыми тарелками дешевенький букет цветов или благодарственную записку.

Я ел вместе с Бакстером за огромным столом и старался садиться от него подальше. То ли вовсе не имея поджелудочной железы, то ли имея ее в сильно недоразвитом виде, он сам приготовлял себе пищеварительный сок и подмешивал его в каждую порцию еды. Когда я поинтересовался составом сока, он со смущенным видом уклонился от ответа, и мне стало ясно, что часть ингредиентов он извлекает из собственных испражнений. Запах, доносившийся с его конца стола, говорил именно об этом. Позади его стула стоял буфет с оплетенными бутылями для кислот, закупоренными пузырьками, мензурками, пипетками, шприцами, лакмусовыми бумажками, термометрами и барометром; там также находилась дистилляционная установка, состоящая из бунзеновской горелки, реторты и трубки. Она побулькивала на слабом огне в течение всего дня. Иногда во время еды он вдруг замирал, переставал жевать и словно вслушивался в нечто отдаленное, но притом находящееся внутри его тела. После секунд оцепенения он медленно вставал, осторожно нес свою тарелку к буфету и несколько минут примешивал к еде всякие добавки. На буфете лежала тетрадь, куда каждые четыре часа он заносил свой пульс, частоту дыхания, температуру, изменения в химическом составе крови и лимфы. Однажды утром, до завтрака, я полистал ее и был ошеломлен настолько, что никогда больше в нее не заглядывал. Там были зафиксированы ежедневные перепады столь нерегулярные, внезапные и резкие, что их не смог бы выдержать самый сильный и здоровый организм. Повсюду четким, убористым детским и вместе с тем твердым почерком Бакстера были выведены даты и часы, которые, к примеру, показывали, что вчера, когда он со мной беседовал, его нервная система испытала потрясение, равное по силе эпилептическому припадку; я не ощутил тогда ровно никакой перемены в его поведении. Разумеется, все эти приборы и записи могли быть и обманом, уловкой, посредством которой гадкий ипохондрик преувеличивал свои недуги в надежде почувствовать себя сверхчеловеком.

За пределами столовой жизнь на Парк-сёркес, 18 была великолепно обыденной. После ужина мы лечили больных зверюшек в операционной, а потом шли отдыхать в кабинет, где читали, играли в шахматы (Бакстер всегда выигрывал), шашки (тут почти всегда выигрывал я) или криббидж (тут предсказать победителя было невозможно). По выходным дням мы возобновили наши долгие прогулки и все время говорили о Белле. Она постоянно напоминала нам о себе. Каждые три-четыре дня приходила телеграмма, гласящая: «Я ТТ», — из Амстердама, Франкфурта-на-Майне, Мариенбада, Женевы, Милана, Триеста, Афин, Константинополя, Одессы, Александрии, Мальты, Марокко, Гибралтара и Марселя.

Однажды мглистым ноябрьским вечером пришла телеграмма из Парижа: «Н ВЛНЙС». Бакстер пришел в неистовство. Он закричал:

— Раз она просит меня не волноваться, значит, случилось что-то ужасное. Я еду в Париж. Найму детективов. Разыщу ее.

Я сказал:

— Подожди, пока она сама не позовет тебя, Бакстер. Доверься ее словам. Это послание означает, что событие, которое огорчило бы тебя или меня, ее не беспокоит. Ты не захотел ее неволить и доверил ее Данкану Паррингу. Сейчас доверь ее самой себе.

Это убедило его, но не успокоило. И когда через неделю из Парижа пришла

точно такая же телеграмма, он ослаб духом. В одно прекрасное утро, уходя на работу, я был уверен, что, когда я вернусь, он уже уедет во Францию, но, открыв вечером входную дверь, я услышал его громкий возглас с лестничной площадки:

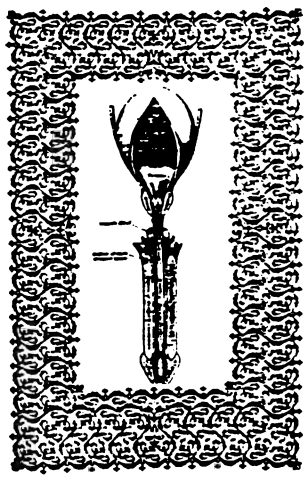
— Новости от Беллы, Свичнет! Сразу два письма! Одно от сумасшедшего из Глазго, другое из ее парижского обиталища!

— Что за новости? — крикнул я, сбрасывая пальто и взбегая наверх. — Хорошие? Плохие? Как она? Кто написал эти письма?

— Новости, в общем, неплохие, — сказал он осторожно. — Я бы даже сказал, что дела у нее идут на удивление хорошо, хотя поборник традиционной нравственности с этим бы не согласился. Пошли в кабинет, и я прочту тебе оба письма — лучшее оставлю на десерт. Первое письмо отправлено из южной части Глазго, и писал его сумасшедший.

Мы уселись на диван.Он прочел
вслух нижеследующее.

ПИСЬМО ПАРРИНГА: СОТВОРЕНИЕ СУМАСШЕДШЕГО



Поллокшилдс,
Эйтаун-стрит, 41
14 ноября

Мистер Бакстер!

Еще чуть больше недели назад мне было бы стыдно обратиться к Вам, сэр. Я тогда думал, что мое имя на конверте вызовет у Вас такой приступ ненависти, что Вы сожжете письмо непрочитанным. Вы пригласили меня к себе домой по делу. Я увидел Вашу «племянницу», полюбил ее, сговорился с ней, увез ее. Не сочетавшись браком, мы объехали всю Европу и совершили круиз по Средиземному морю как муж и жена. Неделю назад я оставил ее в Париже и один вернулся в дом моей матери в Глазго. Если бы эти факты стали общественным достоянием, общество заклеймило бы меня как отъявленного негодяя, и именно так до прошлой недели я смотрел на себя сам — как на бессовестного, безответственного шалопая, сманившего молодую красавицу из добропорядочного дома, от любящего опекуна. Ныне я стал намного лучшего мнения о Данкане Парринге и намного, намного худшего — о Вас, сэр. Видели ли Вы гётевского «Фауста», поставленного великим Генри Ирвингом в Королевском театре Глазго? Я видел. И был глубоко потрясен. Я узнал себя в этом мятущемся герое, в этом уважаемом человеке из состоятельной среды, который призывает царя преисподней, чтобы тот помог ему соблазнить девушку из просто-

народья. Да, Гёте и Ирвинг знали, что Современный Человек — что Данкан Паррinг — двойствен по своей сути: возвышенное существо, наученное всему благородному и мудрому, уживается в нем с негодяем, который тянется к прекрасному лишь для того, чтобы низвергнуть его и втоптать в грязь. Вот каким я видел себя до прошлой недели. Ну и глупец же я был, мистер Бакстер! Слепой, обманутый глупец! Да, мой роман с Беллой был фаустовским с самого начала, дурманящий аромат Зла щекотал мне ноздри с той самой минуты, когда Вы свели меня с Вашей «племянницей». Но как мог я знать, что в ЭТОЙ драме мне уготована роль невинной, доверчивой Гретхен, что Ваша умопомрачительная «племянница» воплотит в себе Фауста и что ВЫ — ДА, ВЫ, Боглоу Биши Бакстер, ВЫ! — Сатана собственной персоной!

— Заметь себе, Свичнет, — прервал чтение Бакстер, — этот тип пишет примерно так же, как ты рассуждаешь, когда напьешься.

Я должен стараться сохранять самообладание. Ровно неделю назад я, сгорбившись, сидел в углу вагона в ожидании отправления, а Белла, стоя на перроне, что-то щебетала мне в окно. Как всегда, она сияла красотой, излучала эту свежую, полную радостных ожиданий молодость, что показалась мне совершенно новой и в то же время дразняще знакомой. ПОЧЕМУ ЖЕ знакомой? И тут меня осенило: Белла выглядела в точности так же, как в ту ночь, когда мы стали любовниками. И теперь, на первый взгляд сама доброта (ведь не она, а я сказал, что мы должны расстаться), она выбрасывает меня вон, как стоптанную туфлю или сломанную игрушку, испытав ОБНОВЛЕНИЕ посредством кого-то еще, кого я так и не увидел, на кого она положила глаз утром того же дня, ибо мы приехали в Париж из Марселя всего шесть часов назад. В течение этих шести часов она не встречалась ни с кем, не говорила ни с кем, кроме меня и содержательницы отеля,— ведь я все время был подле нее, если не считать посещения ближайшего собора, которое заняло не больше получаса, — и за эти шесть часов она успела заново влюбиться! Воистину для ведьмы нет ничего невозможного. Вдруг она сказала:

— Обещай, когда приедешь в Глазго, передать Богу, что мне скоро понадобится свечка.

Я пообещал, хотя послание показалось мне либо бессмыслицей, либо ведьминским заклинанием. Настоящим я выполняю свое обещание.

Но отчего же, выполнив его, я не могу противиться искушению рассказать Вам больше, рассказать Вам все? Откуда это непреодолимое желание поведать

ВАМ, Мефистофель Бакстер, сокровенные тайны моего невинного и измученного сердца? Не в том ли дело, что Вы — я убежден — уже и так их знаете?

— Католицизм способен излечить его от безумия, — заметил Бакстер. — Приобщившись к таинству исповеди, он перестанет докучать всем подряд своими заемными, второсортными излияниями.

Видели ли Вы два года назад в Королевском театре «Ночь ошибок» Оливера Голдсмита, величайшего из ирландцев, в постановке Биртома-Три? Герой — живой, умный, красивый джентльмен, любимый товарищами, поощряемый старшими, привлекательный для женщин. У него есть только один недостаток. Он хорошо чувствует себя в обществе женщины, лишь если она служанка. С добропорядочными девушками из его собственного сословия он держится скованно и официально, и чем красивее и милее собеседница, тем более он неловок и тем менее способен ее полюбить. В точности мой случай! В отрочестве у меня не возникало и тени сомнения в том, что только женщины, зарабатывающие на жизнь трудом своих рук, не испытывают к Данкану Паррингу, как он есть, глубокого отвращения, и в итоге единственной категорией женщин, которые меня привлекают, стали работницы. Подростком я вследствие этого считал себя каким-то уродом. Поверите ли Вы мне, если я скажу, что, поступив в университет, я обнаружил, что ДВЕ ТРЕТИ студентов в точности таковы? В большинстве своем они затем преодолели себя, женились на респектабельных женщинах и завели детей, но сомневаюсь, что они действительно счастливы. Мой инстинкт оказался сильнее, чем у них, или, возможно, я оказался слишком честен, чтобы изменить себе. Голдсмитовского героя в конце концов спасает прекрасная наследница из его круга — она переодевается служанкой и подражает ее говору. Увы, такая счастливая развязка невозможна для адвоката из Глазго, родившегося в XIX веке. Вся моя любовная жизнь протекала под лестницей и за кулисами моей профессиональной жизни, и в этой-то убогой обстановке я испытывал те же восторги и подчинялся тому же нравственному закону, что и наш шотландский народный бард Робби Бёрнс. Когда я уверял очередную трепещущую красотку, что буду любить ее вечно, я был совершенно искренен, и, конечно же, я женился бы на любой из них, не будь пропасть между моим и ее общественным положением так велика. Моих немногих бедных незаконнорожденных кутят (простите мне это словцо, но на мой слух кутята *звучит теплее и человечнее, чем* дети *или* малыши*), моих немногих бедных кутят (их было меньше, чем пальцев у вас на руках, мистер Бакстер, ибо моя осторожность предотвратила появление на свет множества других), моих немногих бедных кутят я никогда не оставлял на произвол судьбы. Все они нашли приют в благотворительном заведении моего друга Куорриера. Вы знаете (если читаете «Глазго геральд»), что этот выдающийся филантроп пестует таких вот несчастных малолеток, а потом отправляет их в Канаду, где они приобщаются к сельскому труду в приличных условиях на неуклонно продвигающейся к северу границе нашей империи. Матери их тоже не пострадали. Ни одна из очаровательных судомоек, пленительных прачек, неотразимых уборщиц отхожих мест не потеряла из-за Данкана Парринга даже одного рабочего дня, хотя из-за скудости и нерегулярности отпускаемого им свободного времени мне нередко приходилось ухаживать за несколькими разом. Невинный в глубине души, несмотря на гадкое поведение — честный в основе, но лицемер на поверхности, — вот каков был человек, мистер Бакстер, которого Вы представили Вашей так называемой племяннице.*

С ПЕРВОГО ЖЕ ВЗГЛЯДА я понял, что для этой женщины классовые различия лишены всякого значения. Хотя она была великолепно одета по последней моде, она смотрела на меня так же игриво и радостно, как служанка, которой сунули полкроны и которую пощекотали под подбородком за спиной у хозяйки. Мне было ясно, что она видит под личиной адвоката настоящего Парринга и принимает его с распростертыми объятиями. Желая скрыть смятение, я сделался холоден, что Вы могли приписать дурному воспитанию, но сердце мое колотилось так, что я боялся, как бы Вы не услышали его стук. В делах сердечных лучше всего идти напрямик. Оставшись с ней наедине, я осведомился:

— Нельзя ли будет встретиться с вами еще раз, поскорее, так, чтобы никто больше не знал?

Она была изумлена, но кивнула. Я спросил:

— Окно вашей спальни выходит во двор?

Она улыбнулась и кивнула. Я сказал:

— Поставьте сегодня вечером, когда все лягут спать, зажженную свечу на подоконник. Я принесу лестницу.

Она засмеялась и кивнула. Я сказал:

— Я люблю вас.

А она в ответ:

— Один такой уже есть.

И когда Вы вернулись, мистер Бакстер, она уже вовсю болтала о своем нареченном. Ее хитрость поразила и взбудоражила меня. Даже сегодня она кажется мне невероятной.

Но хотя я наивно верил, что обманул Вас, обманывать ее я не пытался никогда. Я поведал ей о своих былых прегрешениях с такой полнотой и откровенностью, на какие в этом письме у меня не хватит ни места, ни решимости,

— И на том спасибо! — проговорил Боглоу со сдавленной яростью.

ведь я, слепой дуралей, верил, что скоро мы станем мужем и женой! Я не мог себе представить женщину из среднего сословия, двадцати с лишним лет и неравнодушную к мужчине, которая НЕ мечтает о замужестве, тем более если она сбежала с возлюбленным из дома. Настолько я был убежден, что в ближайшем будущем сочетаюсь с Беллой браком, что посредством безобидного обмана приобрел паспорт, где мы были означены как муж и жена. Это должно было облегчить, с точки зрения формальностей, наш медовый месяц на континенте, куда я предполагал отправиться, как только будет заключен гражданский брак. И клянусь всем на свете, что мое намерение превратить Беллу Бакстер в Беллу Парринг не имело ничего общего с корыстью. Честно говоря, Ваше поведение при оформлении завещания заставило меня предположить, что Вам, возможно, скоро предстоит отправиться в мир иной, но я был уверен, что до нашего возвращения из поездки Вы, во всяком случае, доживете. Самое большее, что я надеялся получить от Вас, сэр, по денежной части, — это скромное постоянное содержание, которое позволило бы мне обеспечивать Беллу тем же, к чему она привыкла, живя у Вас. Несколько тысяч в год хватило бы вполне, и, по словам Беллы, выходило, что щедрости Вашей в том, что касается ее — женщины, которую Вы выдаете за свою племянницу, — нет предела. Вы оба, должно быть, от души хохотали над тем, как ловко удалось меня провести! Ибо, когда в тот теплый летний вечер мы садились на лондонский поезд, я предполагал выйти в Килмарноке, где заранее сговорился с местным чиновником, чтобы тот нас встретил, принял в своем доме и сочетал браком. Вообразите теперь мой ужас, когда не успели мы доехать до Кроссмайлуфа, как она заявила, что НЕ МОЖЕТ ЗА МЕНЯ ВЫЙТИ, ПОТОМУ ЧТО ПОМОЛВЛЕНА С ДРУГИМ!!!*

— Но ведь это, разумеется, в прошлом? — спросил я.

— Наоборот, в будущем, — ответила она.

— А где же в таком случае оказываюсь я?

— Здесь и сейчас, Парень, — и она обняла меня.

Она была настоящей гурией из магометанского рая. Я заплатил проводникам, чтобы они отдали в наше распоряжение целый вагон первого класса. Наш поезд не был экспрессом, так что он должен был сделать остановки в Килмарноке, Дамфрисе, Карлайле, Лидсе и так далее, кончая Уотфордом, но я ощущал только движение и короткие передышки нашего любовного паломничества. Как мужчина я был ей под стать, но гонка была невероятная.

— Это причиняет тебе боль, Свичнет? — спросил Бакстер.

— Читай дальше! — ответил я, закрыв лицо руками. — Дальше!

— Сейчас буду, но учти, что он преувеличивает.

Наконец по громыханью колес на стрелках, пронзительным гудкам и замедляющемуся ритму движения я почувствовал, что наш вскормленный углем конь, тяжко дыша, приближается к остановке на южном конце Центральной железной дороги. Одеваясь, она сказала:

— Мне не терпится повторить это в хорошей постели.

Уверенный, что наши восторги единения полностью изгладили из ее души чув-

ство к другому, я вновь предложил ей выйти за меня замуж. Она сказала удивленно:

— На это я уже ответила, разве ты забыл? Пошли в вокзальный отель, закажем гигантский завтрак. Я хочу овсянку, яичницу с ветчиной, сосиски, копчушки, гору поджаренного хлеба с маслом и много-много сладкого горячего чая с молоком. И тебе тоже надо как следует подкрепиться!

Мне действительно необходим был отель. Накануне был трудный день, и за целые сутки я не сомкнул глаз ни на минуту. Белла, напротив, была так же свежа, как до отъезда из Глазго. Подходя к столу регистрации, я пошатнулся, вцепился в ее руку, чтобы не упасть, и услышал ее слова:

— Он так устал, бедный мой. Пусть нам подадут завтрак в номер.

И вышло так, что, пока Белла поглощала свой гигантский завтрак, я снял пиджак, ботинки, воротничок и лег вздремнуть на кровать поверх одеяла. Мне много чего снилось, но запомнил я только, как пришел в парикмахерскую, где меня стала брить Мария Стюарт. Она покрыла мои щеки и шею горячей мыльной пеной и только дотронулась до меня бритвой, как я проснулся и увидел, что Белла и вправду меня бреет. Я лежал в постели обнаженный, под голову и плечи были подложены подушки, накрытые полотенцем. Белла в шелковом пеньюаре водила по моим щекам острым концом бритвы. Увидев, как широко я раскрыл глаза, она громко засмеялась.

— Вот, убираю твою щетину, чтобы ты стал такой же гладкий, милый и красивый, как вчера вечером, Парень, — ведь уже опять вечер. Не гляди на меня с таким ужасом, я не перережу тебе горло! Я несчетное число раз выбривала шерсть вокруг ран и нагноений у собак, кошек и даже у одной старой мангусты! Ну и крепко же ты спишь! Ни разу глаз не открыл, пока я утром тебя раздевала и запихивала в постель. Угадай, где я сегодня была! В Вестминстерском аббатстве, у мадам Тюссо и на утреннем представлении «Гамлета». Какое наслаждение слышать, как обыкновенные солдаты, принцы и могильщики говорят стихами! Я бы все время хотела говорить стихами. Еще я видела много маленьких детей в лохмотьях и дала им кое-что из денег, которые перед уходом взяла у тебя из кармана. Давай-ка вытру тебе лицо этим мягким теплым полотенцем и помогу надеть твой уютный стеганый халат, чтобы ты мог полчасика посидеть, прежде чем снова ляжешь, и съесть вкусный ужин, который я заказала, ведь нам надо подкрепить твои силы, Парень.

Я встал на ноги в том оглушенном состоянии, в каком оказывается всякий, кто от истощения сил проспал слишком долго и проснулся, когда обычно ложится спать. На ужин подали ветчину, пикули, салат, яблочный пирог и две бутылки индийского эля. Принесли кофейник и поставили, чтобы не остыл, на треножник, под которым теплился огонь. Я слегка ожил, приободрился и взглянул на мою Судьбу, которая свернулась, как змейка, в покойном кресле через стол от меня. Она улыбнулась мне столь недвусмысленно, что я затрепетал от благоговения, страха и острейшего желания. Ее обнаженные плечи белели на фоне черной мантии распущенных волос, ее мягко вздымающаяся...

— Тут я пропущу несколько фраз, Свичнет, — сказал Бакстер, — поскольку они полны отвратительных преувеличений, даже по меркам самого Парринга. Их содержание сводится к тому, что он и наша Белла провели эту ночь так же, как предыдущую в поезде, если не считать того, что незадолго до семи утра он взмолился, чтобы она позволила ему поспать. Продолжу с этого места.

— Зачем? — спросила она. — После завтрака будешь спать сколько захочешь. Я сказала администрации, что ты нездоров, и они относятся к тебе очень сочувственно.

— Я не хочу провести весь медовый месяц в привокзальном отеле Центральной железной дороги, — взвыл я, от огорчения позабыв, что мы до сих пор не поженились. — Я думал, мы поедем за границу.

— Ура! — воскликнула она. — Обожаю заграницу. Куда сначала?

В Глазго (мне показалось, что с тех пор прошли годы) я предвкушал, как буду блаженствовать с ней в тихой маленькой гостинице в рыбацкой деревушке на побережье Бретани, но теперь я содрогнулся от самой мысли, что окажусь с Беллой в уединенном месте.

— В Амстердам, — пробормотал я и заснул.

Она разбудила меня в десять, успев побывать с моим бумажником в бюро путешествий Томаса Кука, купить билеты на вечерний пароход в Гаагу, заплатить

по счету в отеле, собрать наши вещи и спустить их в вестибюль. В номере остались только мой дорожный несессер и необходимая одежда.

— Я хочу есть и спать! Пусть мне подадут завтрак в постель! — закричал я.

— Не волнуйся, бедный ты мой, — сказала она успокаивающе. — Завтрак нам подадут внизу через десять минут, а потом ты сможешь, сколько душа пожелает, спать в кебе, в поезде, еще в одном поезде и еще в одном кебе.

Теперь вы понимаете, что была у меня за жизнь, когда мы мчались через всю Европу и вокруг Средиземного моря. Ночью — часы лихорадочного бдения в постели с женщиной, не знающей, что такое сон; днем я либо дремал, либо меня вели за руку, как оглушенного. Я предвидел все это еще до отъезда из Лондона и на пароходе, направлявшемся в Гаагу, решил, что спасусь, ИЗНУРИВ Беллу! В моих ушах уже раздаются раскаты дьявольского хохота, который эта нелепая идея извергла из Вашей отвратительной глотки. Благодаря железному напряжению воли и множеству чашек крепкого черного кофе я нашел в себе силы, пересаживаясь с поезда на пароход, с парохода в кеб, носиться с ней по всем самым шумным и многолюдным отелям, театрам, музеям, ипподромам и — увы, увы! — игорным домам на континенте, покрыв в одну неделю четыре страны. Она наслаждалась каждой минутой путешествия и блеском глаз и маленькими знаками нежности ясно давала понять, что скоро в уединенный час любви отблагодарит меня за все. Моей единственной надеждой оставалось вот что: если публичные средства передвижения и бешеное коловращение дня не в состоянии к вечеру утомить ее и погрузить в сон, они, быть может, сделают это со мной. Тщетная надежда! Между Беллой и природным Паррингом — низменной частью Парринга — возникла прочная связь, которую мой несчастный измученный мозг не мог ни разорвать, ни ослабить. Вновь и вновь я падал в постель, точно в смертный сон, но когда я в скором времени пробуждался, оказывалось, что я ласкаю ее. Подобно жертве головокружения, которая кидается ВПЕРЕД, в пропасть, вместо того, чтобы отшатнуться от нее, я СОЗНАТЕЛЬНО бросался в любовный танец с его стонами восторга и отчаяния, не прерывая его до тех пор, пока луч света сквозь щель между ставнями не возвещал вступление в чистилище нового дня. В Венеции я упал в обморок, скатился по ступеням Сан-Джорджо Маджоре в лагуну, почувствовал, что тону, и возблагодарил за это Господа. Очнулся я, как всегда, в постели с Беллой. Меня мутило от морской болезни. Мы находились в каюте первого класса на пароходе, совершающем круиз по Средиземному морю.

— Бедный Парень, ты слишком резво начал! — сказала она. — Никаких больше казино и кабаре! Отныне я становлюсь твоим врачом и предписываю полный покой, кроме тех часов, когда мы вместе в уютном гнездышке, как сейчас.

С тех пор до самого дня моего спасения я был тряпичной куклой, безвольной игрушкой в ее руках. Но лежа в постели сколько возможно в течение дня, я в конце концов стал потихоньку восстанавливать силы.

И я продолжал считать ее добрым созданием! Ну, хохочите же! ХОХОЧИТЕ!! ХОХОЧИТЕ!!! Да, да, проклятый Бакстер, пусть от неудержимого хохота лопнут Ваши проклятые бока! Я по-прежнему верил в доброту моего ангела-изверга! Когда она своей рукой приподнимала мне голову, чтобы покормить меня с ложечки, слезы благодарности катились по моим щекам. Когда в портах, где мы швартовались, она вела меня в английские банки, говорила служащим, что ее бедняжка не совсем здоров, и водила моей рукой, подписывая чек или почтовый перевод, слезы благодарности катились по моим щекам. Как-то ясным, синим, сверкающим днем мы полулежали бок о бок и рука в руке на палубе в шезлонгах и неслись через Босфор — по левому борту от нас расстилалась вся Азия, по правому вся Европа, или наоборот.

— Ты только в одном хорош, Парень, — сказала она глубокомысленно, — но в этом ты уж действительно хорош, настоящий гранд монарх вельможа император лорд-главный-канцлер превосходительство президент патрон провост босс и чемпион.

Слезы благодарности катились по моим щекам. Я был настолько слаб и приниженен, что без всякой надежды продолжал умолять ее выйти за меня замуж. Даже произошедшее в Гибралтаре не открыло мне глаза.

Мы сошли на берег, чтобы продать мои акции «Шотландских вдов и сирот» — сделка, спешить с которой не следовало. Управляющий банком, помнится, спросил меня настоятельным тоном, от которого у меня заболела голова:*

— Вы отдаете себе отчет в том, что делаете, мистер Парринг?

Я посмотрел на Беллу, которая сказала только:

— Нам нужны деньги, Парень, и не нам одним.

Я подписал бумагу. Мы вышли из банка, и она повела меня через сады Аламеды к Южному бастиону, где была наша гостиница. Вдруг перед Беллой выросла дородная, представительная, хорошо одетая дама и сказала:

— Какая удивительная встреча, леди Коллингтон, давно ли вы здесь? Почему сразу нас не навестили? Вы меня помните? Мы познакомились четыре года назад в Коузе, на яхте принца Уэльского.

— Чудесно! — воскликнула Белла. — Но я привыкла, что меня зовут Белла Бакстер, если только я не с моим Паррингом.

— Однако... ведь вы, несомненно, супруга генерала Коллингтона, который был тогда в Коузе?

— Надеюсь, что так! Хотя Бог говорит, что четыре года назад я была в Южной Америке. Что же такое мой муж? Он красивее, чем все эти унылые Парни? Выше ростом? Сильнее? Богаче?

— Это какая-то ошибка, — промолвила дама сухо, — хотя и наружность, и голос поразительно схожи.

Поклонившись, она удалилась.

— Вчера я видела, как эта женщина катит в открытом экипаже, — произнесла Белла с задумчивым видом, — и кто-то сказал, что это жена старого адмирала, который правит этой большой гигантской Скалой. Ни один из моих вопросов она не удостоила ответа. Может быть, мне ее остановить и задать их снова? Неплохо бы иметь где-нибудь запасного военного мужа и еще одну фамилию вдобавок к той, что уже есть, да еще кататься на королевских яхтах.

Вот как я узнал, что моя Ужасная Возлюбленная не помнит ничего из своей жизни до катастрофы, после которой на ее голове под волосами появилась эта на удивление правильная трещина — ЕСЛИ ТОЛЬКО ЭТО ТРЕЩИНА, мистер Бакстер! ВЫ-то знаете, и Я ТЕПЕРЬ ЗНАЮ, что В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ...

— Бакстер, — простонал я, — неужели Парринг обо всем догадался?

— Парринг не догадался ни о чем путном, Свичнет. Его хлипкий рассудок так и не оправился после венецианского срыва. Слушай дальше.

ВЫ-то знаете, и Я ТЕПЕРЬ ЗНАЮ, что В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ это ведьминская печать. Да! Женская разновидность каиновой печати, клеймящая ее носительницу как вампиршу, лемура, суккуба и нечистую тварь.

Пропускаю шесть страниц немыслимой околесицы и перехожу к предпоследней странице, где он описывает свой приезд с Беллой в Париж на ночном поезде. У них опять туго с деньгами, и они не хотят тратиться на кеб. Они идут по пустым еще улицам, встречая только громадные мусорные фургоны. Цвет неба молочно-серый, воздух свеж, чирикают воробьи. Белл в восторге от всего, что она видит, хотя она несет весь их багаж — на каждом плече по тяжелому саквояжу. Парринг идет налегке. Физически он уже достаточно окреп, но боится признаться в этом Белле, чтобы (я цитирую) *она вновь не выпила из меня всю мужскую силу.* Слушай дальше.

Улица Юшетт — это узенькая улочка около реки. Там мы увидели маленький отель, довольно шумный для такого раннего утра. Официант соседнего кафе уже расставлял на тротуаре стулья и столики, так что мне было где посидеть, пока Белла ходила на разведку. Вскоре она вернулась — без багажа и в приподнятом настроении. Всего через час для нас будет готов номер; к тому же содержательница отеля, хоть и вдова француза, родилась в Лондоне и бойко говорит на кокни. Она пригласила Беллу подождать в прихожей, но поскольку там очень тесно, не мог бы я еще посидеть где сижу? Можно, конечно, посидеть и в холле, но холлы там тоже очень маленькие, ночные постояльцы как раз начнут сейчас выходить и будут на меня натыкаться. Похоронным голосом я сказал, что так и быть, подожду снаружи, в душе испытывая восторг от того, что впервые мне удастся побыть на свежем воздухе без Беллы. Перед тем как шмыгнуть в отель, она так лучезарно улыбнулась, что у меня возникло подозрение, не радуется ли она, в свой черед, возмож-

ности побыть без меня.

Официант принес мне кофе, круассан и рюмку коньяку. Это меня взбодрило. По крайней мере, я почувствовал в себе достаточно сил, чтобы распечатать и прочесть письмо, полученное еще в Гибралтаре вместе с почтовым переводом из Банка Клайдсдейла и северной Шотландии. Я знал, что письмо с адресом, написанным материнской рукой, полно горьких и справедливых упреков — упреков, встретить которые я никогда бы не решился без бренди в желудке и С БЕЛЛОЙ подле меня, ибо Белла ни на минуту не оставила бы меня в покое, чтобы я всласть мог упиться тоской и чувством вины, которые заслужил в полной мере. Чуть ли не с вожделением я разорвал конверт и, прочитав письмо, содрогнулся.

Вести оказались еще ужаснее, чем я предполагал. Мать была почти разорена. Ей пришлось рассчитать всю прислугу, кроме старой Джесси и кухарки. С этими двумя женщинами я впервые познал радости любви, но лучшие их годы давно миновали. Старая Джесси так одряхлела и ослабла умом, что мы намеревались после Рождества отдать ее в приют. Кухарка превратилась в запойную пьяницу. Обе теперь прислуживали матери бесплатно, потому что никто другой на порог бы их не пустил. Менее трагическим, но для меня более горьким было то обстоятельство, что моя милая хрупкая мама, одинокая вдова сорока шести лет, уже не могла заказывать себе одежду в Лондоне и Эдинбурге и принуждена была теперь сама покупать ее в Глазго. В раскаянии и гневе я, задыхаясь, вскочил на ноги — гнев мой по преимуществу был направлен против Беллы, ибо что она сотворила с моими деньгами? *Безотчетно я двинулся по переулку, узкому, как коридор, вспоминая с зубовным скрежетом свои страдания в лапах этого прелестного чудовища.*

Не Господня ли Рука повела меня через этот людный мост и остановила у дверей большого собора? Думаю, она. Никогда раньше я не входил в католический храм. Что за трепетная надежда повлекла меня туда сейчас?

Я увидел уходящие вдаль ряды могучих колонн, подобные аллеям гигантских каменных деревьев и дававшие опору сумрачным сводам; я услыхал величественные раскаты... Кроме шуток, Свичнет, он пишет таким тошнотворным, заимствованным слогом, что дальше я ограничусь пересказом. Данкан П. никогда раньше Богу не молился, но тут решается попробовать, потому что все вокруг занимаются именно этим. Сквозь щель в крышке он бросает сантим в коробку для пожертвований; зажигает свечу; ставит ее перед алтарем на острый выступ; зажмурив глаза, преклоняет колени и сообщает Перводвигателю Всего Сущего, что Данкан П. стал таким вот гнусным, испорченным и нехорошим главным образом из-за Злой Беллы Бакстер, так что молю Тебя, Господи, приди на подмогу. Внезапно все вокруг светлеет. Открыв глаза, Парринг видит солнечный свет, бьющий ему в лицо сквозь заалтарный витраж; лучи, проходя через алое стекло в форме сердца, рисуют яркое розовое пятно на модном белом шелковом жилете Данкана П. Личная телеграмма Данкану П. от Перводвигателя? Поначалу Д.П. реагирует по-протестантски. Он хочет найти какое-нибудь укромное местечко, чтобы все обмозговать, маленький уединенный уголок с сиденьем и запирающейся дверью, где ему никто не помешает. Тут ему на глаза попадается ряд кабинок, люди обычного вида входят в них и выходят обратно, и на каждой двери указано, свободна кабинка или занята. Он запирается в одной из свободных и оказывается, естественно, в исповедальне. Если я добавлю, что падре за решетчатым окошечком знал английский, можешь догадаться, что случилось потом.

— Навряд ли.

— Парринг хочет исповедаться во всех своих грехах от пятилетнего возраста (когда старая Джесси научила его мастурбировать) до того момента получасом раньше, когда Белла взяла ему номер в заведении, смахивающем на бордель. Ему также нужен профессиональный совет относительно ценности только что полученной от Бога телеграммы в виде Святого Сердца. Священник отвечает, что всякий, кто молится перед этой святыней, получает такую телеграмму, когда солнце находится в определенном положении, и весть эта всегда благая, если верно ее истолковать. Он говорит, что не может отпустить месье П. его грехи, потому что месье то ли еретик, то ли язычник, но если месье П. сделает пятиминутный обзор грехов, которые так его мучают, он напрямик выскажет ему свое мнение. За этим следует чистосердечный рассказ. Священник говорит, что ему надлежит либо жениться на Белле и вернуться домой к матери, либо оставить Беллу и вернуться домой к матери, либо гореть в аду. Священник советует месье П. по возвращении

в Глазго принять наставление в католической вере, а сейчас до свидания, месье, я буду молиться за вашу душу. Парринг выходит на улицу, где *солнечный свет лился на меня, как благословение, ибо я чувствовал, что с плеч моих упала тягостная ноша,* и так далее, и так далее. Словом, ему наконец становится ясно, что он сыт Беллой по горло. Итак, обратно в отель! Белла распаковывает его вещи в номере. «Не надо!» — кричит Парринг и говорит ей, что ему надо вернуться в Глазго и РАБОТАТЬ, но взять ее с собой он может только в качестве законной жены. Она бодро отвечает: «Ничего страшного, Парень, я как раз хотела получше осмотреть Париж», укладывает его вещи в один из саквояжей и дает ему деньги на дорогу домой. «Это все?» — спрашивает он. Она говорит: «Все, что осталось от твоих денег, но если тебе нужно больше, вот то, что дал мне Бог». Она берет ножницы, распарывает подкладку своего дорожного жакета, достает пятьсот фунтов в банкнотах Английского банка и протягивает ему со словами: «Возьми за все то удовольствие, что ты мне доставил. Ты заслужил гораздо больше, но больше у меня нет. Тут все же очень много денег, и Бог мне их дал, потому что знал, что с тобой непременно должно произойти что-нибудь в этом роде».

Дальше опять буду читать дословно. Описание, которое Парринг дает своему поведению после того, как он узнал, что мне было заранее известно о его бегстве, представляет большой клинический интерес.

Когда мой мозг в одно и то же время старался ухватить и отторгнуть гнусный смысл ее слов, вот тогда я узнал, что такое сумасшествие. Мотая головой от плеча к плечу и разевая рот в беззвучном крике или в попытке укусить воздух, я попятился в угол комнаты, где медленно осел на пол, яростно молотя кулаками пространство вокруг моей головы, словно боксировал с отвратительным, кишащим в воздухе противником, словно отгонял рой громадных оводов или стаю плотоядных летучих мышей; но я знал, что эти кровопийцы находятся не снаружи, а ВНУТРИ моего мозга и точат его, точат. Они и теперь его точат. Белла, должно быть, позвала на помощь свою новую подружку, содержательницу отеля, но мое безумие превратило их в галдящую толпу растрепанных женщин всех возрастов и комплекций; полуодетые, выставив напоказ свои плотские прелести, они злорадно накинулись на меня, словно там разом сошлись все служанки, которых я соблазнил. И Белла, чудилось мне, была одной из них! Мягкими сильными руками они оплели меня туго-натуго, как пеленают младенцев. Они стали лить мне в глотку коньяк. Я сделался тупым и безучастным. Белла отвезла меня в кебе на Северный вокзал, купила билет, положила его мне в жилетный карман, сказала, в каких карманах у меня хранятся деньги и паспорт, ввела меня в вагон и внесла туда мой багаж, все время изливая на меня невыносимый поток успокоительной болтовни: «Бедный Парень, бедный мой старина, я для тебя не гожусь, я истощила тебя, подумай, как радостно будет оказаться дома, у мамы, и долго-долго отдыхать, подумай, сколько денег ты сбережешь, но ведь нам и хорошо бывало вместе, я ни об одной минутке не жалею, на всем белом свете наверняка не найдется лучшего спортсмена и атлета, чем Данкан Парринг, но прошу тебя, скажи Богу, что мне скоро понадобится свечка, помнишь нашу первую ночь в поезде?» — и так далее, а когда поезд тронулся, она побежала по перрону, крича мне в окно: «Привет милой Шотландии!»

Так что теперь я знаю, кто такая Ваша племянница, мистер Бакстер. Евреи называли ее Евой и Далилой, греки — Прекрасной Еленой, римляне — Клеопатрой, христиане — Саломеей. Она — Белый Демон, во все времена лишающий чести и мужества самых благородных, самых сильных мужчин. Мне он явился в обличье Беллы Бакстер. Для короля Людовика это была госпожа де Ментенон, для принца Чарли — Клементина Уокиншо, для Роберта Бёрнса — Джин Армор, и так далее; для генерала Коллингтона это была Виктория Хаттерсли. Что, вздрогнули, Люцифер Бакстер? О семейной беде генерала не кричали газеты, но у нас, адвокатов, есть свои источники, благодаря которым я и разгадал Вашу тайну. ИБО БЕЛЫЙ ДЕМОН ВО ВСЕХ НАРОДАХ, ВО ВСЕ ВРЕМЕНА ЕСТЬ КУКЛА И ОРУДИЕ В РУКАХ БОЛЕЕ СИЛЬНОГО, ТЕМНОГО ДЕМОНА!!!!! Ева слушалась Змея, Далила — филистимских старейшин, госпожа де Ментенон — какого-то там кардинала, а Белла Бакстер — ВАС, Боглоу Биши Бакстер, Архидьявол и Заправила нынешнего века естественных наук! Только в современном Глазго, этом ВАВИЛОНЕ естественных наук, могли Вы снискать богатство, власть и уважение, препарируя

человеческие мозги, рыская по моргам и тревожа смертные одры бедняков. Когда Шотландия была Духовной Страной, Вас сожгли бы за это как колдуна, БОГ-ХРЯК, ГАД, ХИТРЮГА, ЗВЕРЬ ПРЕИСПОДНЕЙ!!!!!

Вы небось и не подозреваете, что Вы Антихрист, ибо заблуждение идет рука об руку с проклятьем, и Отцу Лжи выпало знать о самом себе меньше, чем о ком бы то ни было. Но ведь Вы же ученый. Исследуйте доказательства, которые я представляю вам хладнокровно, в логическом порядке и не злоупотребляя заглавными буквами, разве что вначале.

ЯВЛЕНИЕ ЗВЕРЯ

БИБЛЕЙСКИЕ ПРОРОЧЕСТВА	СОВРЕМЕННЫЕ ФАКТЫ
1. Число зверя — 666.	*Вы проживаете на Парк-сёркес, 18, что равняется 6+6+6.*
2. На Звере сидит Жена, одетая в багряницу.	*Белла очень любит красный цвет.*
3. Зверь зовется Вавилон, *потому что этот город правил самой обширной* материальной империей *в древнем мире и преследовал детей Божьих,* духовных *людей того времени. (Отметим, что, как утверждают протестантские фанатики; Рим есть нынешний Вавилон и логово Зверя, но надо видеть, что римский католицизм — при всех его ошибках — в наше время является всецело* духовной *империей.)*	*Британская империя — самая большая империя из всех, какие знал мир. Она всецело* материальна *и основана на промышленности, торговле и военной мощи. Ее родина — Глазго. Здесь Джеймс Уатт придумал паровую машину, которая приводит в движение британские поезда и суда торгового и военного флота, здесь сооружаются самые лучшие локомотивы и пароходы. Здесь Адам Смит измыслил современный капитализм. Здесь сэр Уильям Томсон изобретает телеграфные кабели, что, ложась на дно океана, связывают империю воедино, и разрабатывает дизель-электрические моторы будущего.*
4. Зверь и сидящая на нем Жена также зовутся Тайна.	*Химия, электричество, анатомия и тому подобное суть Тайны почти для всех — кроме вас!*
5. Зверю поклоняются все земные цари.	*Хотя королева Виктория больше любит Эдинбург, чем Глазго, и замок Балморал, чем всю остальную Шотландию, великий князь Алексей, сын русского царя, назвал Глазго «центром умственной жизни Англии» в своей прошлогодней речи во время спуска на воду «Ливадии», построенной для его отца на верфях Элдера.*
6. Зверь имеет семь голов — семь торчащих выпуклостей. (Протестантские фанатики считают, что это намек на Рим, поскольку Рим, как известно, построен на семи холмах.)	*Но ведь город Глазго построен на семи холмах! Гольф-хилл, Балмано-брей, Блайтсвуд-хилл, Гарнет-хилл, Партик-хилл, Гилмор-хилл, увенчанный Университетом, и Вудленд-хилл, увенчанный Парк-сёркес, где вы преподнесли мне Багряную Блудницу современного Вавилона!*
7. Багряная Жена, сидящая на спине у Зверя, держит золотую чашу, наполненную мерзостями.	*Не могу точно сказать, что ныне означает эта чаша, потому что Белла не любит вина и алкогольных напитков, но если мы с вами встретимся и обсудим все спокойно, мы наверняка к чему-нибудь придем.*

Я страшно одинок. Мама все твердит: возьми себя в руки. Меня тянет посидеть с ней рядом, но когда я подсаживаюсь, она начинает нервничать и спрашивает, почему я перестал ходить в мюзик-холл, спортивный клуб и на прочие «ШТУКИ», которым я отдавал много времени до поездки за границу. Теперь сама мысль об этих «ШТУКАХ» приводит меня в ужас. Когда я был маленьким и с матерью случались нервные припадки, заботу обо мне брала на себя старая Джесси. Так что теперь по вечерам я притворяюсь, будто иду поразвлечься, а сам черным ходом прокрадываюсь на кухню, где пью в обществе старой Джесси и кухарки. В те времена, когда я уподоблялся Казанове, я никогда не пил спиртного, ибо поклонник Венеры должен сторониться Бахуса. В кухне холодно. Я так безжалостно растратил семейное состояние, что мама не может позволить служанкам жечь наш уголь. Для тепла старая Джесси и кухарка спят на одной кровати, и я ложусь посередке. Я не

могу спать один. Молю тебя, Белла, приди и согрей меня.

Завтра я начну новую жизнь, для чего займусь тремя делами сразу. Я верну маме богатство посредством неуклонного служения науке и искусству имущественного права. Я спасу мою Беллу от Зверобакстера, боксируя с современным Вавилоном на уличных перекрестках, на общественной трибуне в Глазго-грин, а также в печати.

Я приду в лоно непогрешимой католической церкви, дам обет вечного безбрачия и кончу дни под мирной сенью монастыря. Мне нужен покой. Помогите мне.

Остаюсь истинно и навеки

Выбитый Беллой полусредневес

Окровавленный сердцежилет

Данкан Макнаб Пар Пар Парень

(Присяжный стряпчий и Пузанчик старой Джесси.)

13 *Интермедия*

Некоторое время мы молчали. Наконец я спросил:

— Мы ничего не можем сделать, чтобы спасти несчастного от сумасшествия?

— Ничего, — отрезал Бакстер.

Он собрал страницы письма, положил их обратно в конверт и вынул из другого, большего конверта пачку страниц повнушительней. Бережно положив ее себе на колени, он посмотрел на нее с улыбкой и ласково погладил верхний лист крохотными нежными кончиками своих конических пальцев.

— Письмо от Белл? — спросил я. Он кивнул и сказал:

— Свичнет, к чему беспокоиться о Парринге? Он мужчина из среднего сословия с юридическим образованием и надежным жилищем, опекаемый тремя женщинами. Подумай лучше о своей невесте, привлекательной женщине с трехлетним мозгом, которую он оставил в Париже без гроша в кармане. За нее ты не боишься?

— Нет. Парринг, при всех своих мужских доблестях, — жалкое создание. Про Белл этого не скажешь.

— Верно. Правильно. Точно. Конечно. Безусловно! — воскликнул он в исступлении согласия. Я пробурчал:

— Ты, кажется, заразился от Белл страстью к синонимам. Сколько их в этом письме?

Он улыбнулся мне, как мудрый старый учитель, чей любимый ученик ответил на трудный вопрос, и сказал:

— Прости мне мой восторг, Свичнет. Ты не в состоянии его разделить, потому что никогда не был родителем и никогда не производил на свет чего-то нового и великолепного. Как радостно творцу видеть, что творение живет, чувствует и действует независимо от него! Три года назад я прочел Книгу Бытия и не понял, почему Бог разгневался, когда Адам и Ева пожелали познать добро и зло — пожелали быть как боги. Эта минута могла бы стать для него минутой наивысшего торжества.

— Они сознательно его ослушались! — возразил я, забыв о «Происхождении видов» и говоря языком «Краткого катехизиса». — Он даровал им жизнь и все, чего бы они ни пожелали, все на свете, кроме двух заповеданных деревьев. Их

плоды были смертельны, они заключали в себе священную тайну. Лишь противоестественная жадность могла заставить людей вкусить он них.

Покачав головой, Бакстер сказал:

— Только дурные религии основываются на тайне, как дурные правительства — на тайной полиции. В истине, добре и красоте нет ничего таинственного, это самые обычные, очевидные и насущные явления жизни, как хлеб, воздух и солнечный свет. Только люди, которым вконец задурили голову дорогостоящим образованием, могут думать, что истина, добро и красота редки и находятся в частной собственности. Природа более щедра. Вселенная не обделила нас ничем насущным — нам все дано, все даровано. Бог есть Вселенная плюс разум. Человек, который говорит, что Бог, или Вселенная, или природа таинственны, подобен тому, кто приписывает им ревность или злобу. Он возвещает этим только состояние своего одинокого, запутавшегося разума.

— Чушь ты городишь, Бакстер! — воскликнул я. — Вся наша жизнь — борьба с тайнами. Тайны угрожают нам, помогают нам, губят нас. Наши великие ученые, пролив свет на эти тайны в одних направлениях, в других только сгустили мрак. Согласно второму закону термодинамики, Вселенная умрет, превратившись в холодную овсянку, но никто не знает, как она возникла и возникла ли вообще. Наша наука началась с открытия Кеплером силы тяготения, но хотя мы в состоянии описать движение громадных галактик и почти невесомых газов, мы не знаем ни природу тяготения, ни его механизм. Кеплер предположил, что это — проявление разума в неорганическом мире. Современные физики даже не решаются ничего предполагать и прячут свое незнание за формулами. Мы знаем, как произошли виды, но не можем создать даже простейшую живую клетку. Ты пересадил мозг ребенка в череп матери. Браво. Но всезнающим богом это тебя не делает.

— Факты твои я не оспариваю, но мне не нравится, как ты их трактуешь, — сказал Бакстер с новой неприятно-великодушной улыбкой. — Разумеется, всякий отдельно взятый разум может познать только малую долю прошлой, настоящей и будущей жизни. Но то, что ты называешь *тайной*, я называю *незнанием*, и ничто из еще не познанного, как бы мы это ни называли, не святее и не чудеснее того, что мы знаем, — того, чем мы являемся! Человеческая любовь и доброта — вот что творит и хранит нас, вот что скрепляет наше общество и позволяет нам жить в нем без опаски.

— Похоть, страх перед голодом и полиция тоже вносят свою лепту. Прочти мне письмо Белл.

— Сейчас прочту, но сперва тебя огорошу. Это письмо — дневник, который писался на протяжении трех месяцев. Сравни первую страницу с последней.

Он подал мне две страницы.

Они действительно меня огорошили, хотя первая, как я и ожидал, была заполнена огромными заглавными буквами, сгруппированными в загадочные письмена:

МЙ МЛЙ БГ Н СНМ СНМ МР
Я НКНЦ МГ НЧТ ПСМ

Последняя же страница содержала сорок строк, написанных убористым почерком; одна фраза привлекла мое внимание:

«Передай моему милому Свечке: его свадебно-колокольная Белл больше не думает, что он должен делать все, о чем она трезвонит».

— Неплохо для трехлетней? — спросил Бакстер.

— Она быстро учится, — сказал я, возвращая ему страницы.

— Учится! Впитывает мудрость и умение жить, пробиваясь к тому, что есть в мире хорошего и доброго. Это письмо — моя награда, Свичнет. Представь себе, что я старый учитель, научивший Шекспира грамоте. Представь себе, что это письмо — подарок мне от бывшего ученика, «Гамлет», написанный его собственной рукой. Душа той, что это написала, настолько же выше моей, насколько моя душа выше...

Он осекся, отвел глаза в сторону, потом продолжал:

— ...ну, хотя бы души Данкана Парринга. Моя параллель с Шекспиром нисколько не натянута, Свичнет. Плотно спрессованный смысл ее фраз, каламбуры, сам ритм — все шекспировское.

— Так читай же.

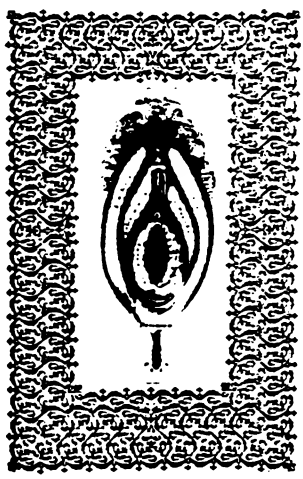
— Начинаю! Письмо не датировано, но, как легко видеть, начато на пароходе вскоре после того, как Парринг рыдал, стоя на коленях в триестской канаве, или (если ты предпочитаешь его собственную тщеславную версию) выкупался в венецианском Большом канале. Не считая этой подробности, письмо Беллы не противоречит его письму и даже подтверждает один факт, который он счел галлюцинацией. Но оно настолько же превосходит послание Парринга, насколько Евангелие от Матфея, которое содержит Нагорную проповедь Христа, превосходит Евангелие от Иоанна, где ее нет. Я не ошибся, Свичнет? Ведь тебя до отвала напичкали Библией в школе. Это у Марка или у Луки говорится...

Я сказал, что если он сейчас же не начнет читать, я взломаю буфет с портвейном сэра Колина. Он ответил:

— Начинаю немедленно! Но позволь мне прежде дать письму Белл *заглавие*, которое ей не принадлежит, но которое подготовит тебя к восприятию всей безмерной шири, глубины и высоты того, что тут содержится. Я озаглавлю письмо СОТВОРЕНИЕ СОВЕСТИ. Слушай.

Он прокашлялся и начал читать — отчетливо и торжественным тоном, который показался мне театральным. В дальнейшем чтение несколько раз прерывалось сдавленными рыданиями. Письмо я привожу не так, как написала его Белла, а так, как оно прозвучало в его передаче.

ПИСЬМО БЕЛЛЫ БАКСТЕР: СОТВОРЕНИЕ СОВЕСТИ



14 *Глазго — Одесса: игроки*

Мой милый Бог,
на синем-синем море
Я наконец могу начать письмо.
Несчастный Парень беспробудно спит
И рад прервать свое туда-сюда —
Глупец немало глупостей наделал.
Мне кажется, уж век прошел с тех пор,

С той мягкой теплой тихой светлой ночи,
Когда, дохнув на Свечку хлороформом,
По лестнице порхнула к Парню я.
Стрелою кеб нас к поезду помчал,
Где мы, в вагоне окна занавесив,
Всю ночь пар-пар-пар-парились на пару
Дорогу всю до Лондона, а утром
В гостинице «Сент-Панкрас» взяли номер.
И Данкан говорил еще о свадьбе!
Я — ни в какую, Свечку успокой.
Ты, Бог, не парил никого ни разу
И, может быть, не знаешь, что мужчина
После восьми часов сплошной парьбы
Лежит пластом и ни на что не смотрит.
Так что назавтра я была сама
Себе хозяйка. Посмотревши город,
Я разбудила Парринга пить чай.
«Где ты была?» Я рассказала. «С кем?»
«Одна». «И я, ты думаешь, поверю,
Что за день ты не встретила мужчину?»
«Я миллион их встретила, пожалуй,
Но говорила только с полицейским,
Дорогу спрашивала в Друри-Лейн».
«Еще бы! С кем же, как не с полицейским!
Они ведь удальцы как на подбор.
Да и гвардейцы хоть куда ребята,
Все ищут молодых да безотказных.
Небось и «полицейский» твой из этих,
Ведь форму спутать ничего не стоит».
«В своем уме ты? Чем я провинилась?»
«Признайся мне — я у тебя не первый!
Ты перепробовать успела сотню!»
«Не сотню, нет. Я, правда, не считала,
Но уж никак не больше полуста».
Он взвыл, скривился, начал на себе
Рвать волосы, а поостыв, пустился
В расспросы. Так я поняла впервые,
Что целованье рук он не считает
Любовью, только всовыванье третьей
Мужской ноги, что лишена ступни.
«Коль так, мой милый Парень, будь уверен,
Что я любила одного тебя».
«Бессовестная шлюха! — возопил он. —
Не ври. Давным-давно ты не девица!»
Не сразу стало ясно мне, о чем он.
Выходит, если женщина без пары
Жила и Парня не нашла себе,
То у нее в любовном углубленье,
Куда потом челнок свой он погрузит,
Должна быть кожистая перепонка,
Которой не нашел он у меня.
«А шрам?» Он показал на белый след,
Что, от кудрей любовных начинаясь,
Идет, как Гринвичский меридиан,
И надвое мне чрево рассекает,
Что вороху пшеницы уподобил
Премудрый Соломон во время оно.
«У всякой женщины есть этот шрам».
«Нет! — Парень возразил. — Лишь у такой,
Кому разрезали живот, чтоб вынуть
Младенца». «Коли так, то это было

Д-Т-К-Т-У-Б-Г — до того,
Как треснула у Беллы голова».
Я тонкий шов дала ему пощупать,
Что окружает череп мой кольцом.
Тут он сказал со вздохом: «Я раскрыл
Тебе все тайные мои мечты
И темные дела. Но почему же
Ты о своем *не говорила прошлом,*
Вернее, об отсутствии его?»
«Ты времени для этого мне не дал,
Сам говорил, не закрывая рта.
Я видела, что не нужны тебе
Ни прошлое, ни чаянья мои,
А только то, что для парьбы потребно».
«Да, я мерзавец! Я достоин смерти!»
Он зарыдал, стал кулаками в грудь
Себя лупить, потом, спустив штаны,
Меня он быстро-быстро начал парить.
Я гладила его и утешала
(Ведь он ребенок), и еще одна
Была у нас парьба, теперь потише.
Да, в этом он неистощим, но, Свечка,
Читая эти строки, не грусти.
Хоть нужен Парень женщине, но любит
Она того, кто ждет ее и верит.

Бог, у меня и вправду был ребенок?
И если да, то что же с ней теперь?
Я почему-то знаю — это дочь.
Вместить такую мысль мне не под силу.
Быть может, позже до нее дозрею.
Ты видишь, Бог, что я уже не та?
Не только о себе я стала думать.
Я думала о Свечке, хоть его
Здесь нет, и утешать его пыталась.
Боюсь того, что вызреет во мне
От мыслей о потерянной дочурке.
Вот странно: Парринг с разумом дитяти
Пустоголовую заставил Белл
Сочувствовать другим. Я расскажу
О том, как я в Швейцарии его
Заботливою нянькой опекала.

Когда приехали мы в Амстердам,
Там его мучила все та же ревность.
Он за руку держал меня все время,
Лишь выпустил, когда пошел к врачу,
Меня оставив подождать в приемной.
Он летаргией *называл усталость,*
Вполне естественную. Человеку
Порою нужен отдых и покой.
Но врач ему такие дал пилюли,
Чтобы совсем не отдыхать. И вихрем
Пошли бега, соборы, мюзик-холлы,
Кафешантаны. Стал он белый-белый,
И лишь глаза, как фонари, горели:
«Силенки есть еще! Вперед! Вперед!»

Спасибо, милый Бог, что научил
Меня ты сидя засыпать. В трамваях,
На пароходах, в кебах, в поездах
Пришлась твоя наука очень кстати.

И все-таки мне сна недоставало.
Я помню, вечером второго дня,
Как мы с ним оказались за границей,
Он слушать Вагнера меня повел.
Казалось, этому конца не будет,
И стоило лишь мне сомкнуть глаза,
Он локтем в бок меня: «Не спать, смотреть!»
Я стала спать с открытыми глазами.
Я скоро научилась спать и стоя,
И на бегу, носясь повсюду с ним.
Во сне ему я даже отвечала —
Ведь требовалось лишь «ты прав, мой милый».
Конечно, кое-где я просыпалась —
В отелях, например, или на почте,
Чтобы тебе отправить телеграмму,
Пока он маме телеграмму шлет,
Еще я просыпалась в ресторанах,
Во франкфуртском зверинце и в немецком
Игорном доме — расскажу об этом.

Там разбудил меня, наверно, запах.
Отчаяньем там пахло, как в зверинце,
И жалкой, боязливою надеждой;
Еще — прокисшей и несвежей страстью
(Был третий запах смесью первых двух).
Но, может быть, мой нюх преувеличил —
Глазам открылся светлый-светлый зал.
Ты помнишь, как водил меня на биржу?
Тут было очень на нее похоже.*
На золотисто-кремовых колоннах
Держались бело-голубые своды,
Хрустальные переливались люстры
И освещали все дела внизу,
Где шесть столов стояло и в рулетку
Изысканная публика играла.
Вдоль стен на алых плюшевых диванах
Сидели зрители, и я средь них.
А Парринг — тот стоял со мною рядом,
Смотрел на ближний стол во все глаза
И бормотал: «Понятно. Все понятно».
Мне показалось, что, как я, во сне
Он говорит с открытыми глазами,
И я сказала ласково, но твердо:
«Пошли в гостиницу, мой милый Данкан,
Там ты поспишь». Он на меня воззрился
И, медленно качая головой,
Ответил: «Рано. Рано. Кое-что
Еще мне надо сделать. Я ведь знаю,
Что ты и в грош мои мозги не ставишь,
Считаешь их ненужным дополненьем
К тому, что между ног моих торчит.
Так знай же, Белл: мозгам моим открылся
Великий ФАКТ, что нарекли невежды
УДАЧЕЙ. Ясно вижу я теперь,
Что БОГ, СУДЬБА, УДАЧА и ВЕЗЕНЬЕ —
Лишь жалкие слова, лишь облаченье
НЕВЕЖЕСТВА. Ты, женщина, стой с краю
И наблюдай за тем, как я играю!»
Мы подошли. Примолк нестройный гул.
Все взгляды — к нам. Один подвинул стул.
Он пробурчал: «Спасибо», и — за дело.
А я стояла сзади и смотрела.

Милый Бог, я устала. Время позднее. Трудненько подражать Шекспиру, если ты женщина с трещиной в голове и даже не знаешь грамматики; однако я замечаю, что буквы у меня становятся меньше. Завтра мы причалим в Афинах. Помнишь, как века тому назад мы были там с тобой по пути в Загреб и Сараево? Надеюсь, Парфенон за это время починили. Теперь тихо пристроюсь рядом с Парнем, а о его беде расскажу завтра; конец этой записи я обозначу звездочками.

****

Покинув Константино... как там дальше?
На том же русском корабле плывем
Теперь к Одессе, миновав Босфор.
Свеж и приятен воздух, небо чисто.
Укутав горемыку своего,
На палубе его я усадила,
А то бы он весь день лежал на койке
Да Библию читал. Теперь он вновь
Стал говорить о том, что мы с ним пара,
И умолять о «вечных узах». Брр!
Ведь радости парьбы не обуздаешь
На время даже, что уж там не вечность.
И как же мне в его башку втемяшить,
Что я уже сговорена с другим?

Толпа, что собралась вокруг рулетки,
Лишь издали изысканной казалась.
Конечно, были там и богачи
В роскошных шелковых жилетах, фраках
И дамы в низко вырезанных платьях,
Там были люди среднего достатка,
Рантье, священники и коммерсанты,
Опрятные, серьезные донельзя,
Иные с женами. А бедняков
Сперва не различала я (конечно,
Людей в лохмотьях не пускали в зал).
Но, приглядевшись, стала замечать
Где латку, где залоснившийся ворот
И наглухо застегнутый, чтоб скрыть
Несвежее белье. Кто побогаче,
Клал золото, кредитные билеты;
Попроще люди клали серебро,
А перед этим думали подолгу;
Беднейшие на стол кидали мелочь
И бледные, с горящими глазами,
Как Парень мой, смотрели на игру.
Быстрее всех с деньгами управлялись
Богатые, и нищие, и те,
Кто превращался из одних в другие;
Все ж, будь он гол, богач иль середина —
Ошеломлен, неистов, позабавлен —
Будь молод, стар или в расцвете лет —
Француз, испанец, немец или русский, —
Будь даже англичанин (эти редко
Играли, лишь смотрели свысока) —
Любой из них был словно тронут порчей.
Я поняла, в чем дело, но не раньше,
Чем совершилось то, что совершилось.

Крутящееся колесо и шарик
Размалывали что-то в игроках
И зрителях, и был этот размол
Им в радость, потому что чем ценней

Для них уничтожаемое было,
Тем ненавистней и в себе, и в прочих.
Что это за сокровище, позднее
Мне умный человек растолковал.
Душой священник его кличет, нищий —
Деньгами, немец — волей, а поэт —
Любовью. Он это нарек свободой,
Которая рождает угрызенья
За то, что сам ты сделал. Костью в горле
Она мужчинам, вот они ее
И жаждут истребить. Я не мужчина.
Тот зал мне показался римским цирком,
Где не тела калечили, а разум,
И вся эта толпа пришла смотреть,
Как разум, что постичь способен вечность,
Пришпиливают к шарику из кости.
Несчастный Парень начал делать ставки.

Другие красное чередовали
Все время с черным и меняли клетки.
Но Парень ставил только на одну,
«Зеро», начав с единственной монеты.
Ее он проиграл, за нею две,
Потом четыре, восемь и шестнадцать,
Потом поставил тридцать две. Крупье
Лопаточкой двенадцать отодвинул —
Не больше двадцати. Пожав плечами,
Он лишнее забрал. Пустили шарик,
Он выиграл. Ему досталось много.
Все эти стопки золотых монет
Ему вручили в голубой бумаге.
Он обратил ко мне счастливый взгляд —
Впервые после нашего побега.
«Ну, Белл, — он прошептал, — суди сама,
Довольно ль в этой голове ума!»
До слез мне стало жалко бедолагу,
И не почувствовала я, как сильно
Ему меня хотелось изумить.
Сказать мне надо было: «Бесподобен
Ты, Данкан, был! Как чувств я не лишилась!
Отпразднуем победу в ресторане».
Сказала я, увы, совсем другое:
«О Данкан, забери меня отсюда!
Пойдем в бильярдную — там все же меткость
Особая нужна, там так красиво
Катаются шары по ровной ткани».
Он сделался из бледного багровым.
«Так, значит, мой успех тебе противен?
Рулетку, значит, ненавидишь? Знай же,
Что ненавижу я и презираю
Ее не меньше! Но сейчас сыграю
И БРОШУ В ДРОЖЬ ХОЗЯЕВ ЭТОЙ ЛАВКИ
И ДУРАЛЕЕВ, ДЕЛАЮЩИХ СТАВКИ!»

Он встал, к другому ринулся столу
И начал сызнова. Хотела я
Одна в отель вернуться, но не знала,
Ни как туда проехать, ни названье.
Сон на ногах сыграл со мною шутку —
Мне было невдомек, где нахожусь я.
Я у стены сидела на диване,
Покуда шел он от стола к столу,

Выигрывая всюду. Люд за ним.
Гул, гомон, ропот, восклицанья «Браво!»,
Рев, суматоха, светопреставленье!
Хвалили игроки его отвагу,
А дамы в низко вырезанных платьях
Бросали взгляды, значившие: «Милый,
Возьми меня, опарь меня скорей».
Один еврей там слезы лил ручьями
И Парня умолял уйти, покуда
Не отвернулось счастье. Он играл,
Пока не стали на ночь закрывать.
Сложить все деньги — вот была работка!

А Парринга несчастного тем часом
Обхаживали все, кроме меня.
Вдруг рядом кто-то, кашлянув, сказал:
«Мадам, вы мне позволите два слова?» —
И, повернувшись динь-динь-динь о Бог!
К обеду колокол! Я извелась
Изголодалась изошла слюной
Измучилась, тоскуя по борщу,
Свекольному прекраснейшему супу.
Все ж, стихотворный опыт повторив мой,
Заканчиваю снова запись рифмой.

****

Больше не буду сочинять по-шекспировски. Это замедляет дело, особенно теперь, когда я стараюсь выписывать слова полностью, как все люди. Новый теплый день в Одессе. Небо — одно высокое ровное-ровное светло-серое облако, которое даже не застилает горизонта. Раскрыв на коленях мой маленький письменный несессер, я сижу на верхней ступеньке громадной лестницы, спускающейся к гавани. Она такая широкая, что по ней может промаршировать целая армия, и очень напоминает лестницу, ведущую в Западный парк, — ту, что рядом с нашим домом, Бог. Здесь тоже гуляет разная публика, но если бы в Глазго я уселась прямо на ступеньку писать письмо, многие посмотрели бы на меня гневно или изумленно, а если бы я вдобавок была бедно одета, полиция прогнала бы меня прочь. Русские же либо не обращают на меня никакого внимания, либо приветливо мне улыбаются. Из всех стран, где я была, больше всего мне подходят США и Россия. С незнакомыми людьми тут разговаривают дружелюбнее и не так официально. Может быть, дело в том, что у них, как у меня, очень мало прошлого? Человек, с которым я подружилась в игорном доме и который говорил мне о рулетке, свободе и душе, — русский. Он сказал, что Россия — такая же молодая страна, как США, потому что нация и ее литература — ровесницы.*

— Наша литература началась с Пушкина, который был современником вашего Вальтера Скотта, — объяснил он. — До Пушкина русские не были настоящей нацией и жили не в своей стране, а в некой административной единице. Наша аристократия изъяснялась по-французски, наше чиновничество состояло из пруссаков, а истинных русских — то есть крестьян — презирали и власти, и чиновничество. Потом явился Пушкин, который услышал народные сказки от своей няни, простой крестьянки. Его стихи и проза наделили нас гордостью за свой язык и сознанием нашего трагического прошлого, диковинного настоящего и неведомого будущего. Он сделал Россию состоянием души, вызвал ее к жизни. После него у нас был Гоголь, равный вашему Диккенсу, у нас есть Тургенев, который выше, чем ваша Джордж Элиот, и Толстой, равный вашему Шекспиру. Но Шекспир-то у вас был за века до Вальтера Скотта.

С тех пор как мисс Мактавиш сбежала от моих объятий в Сан-Франциско, я не слышала столько писательских фамилий, втиснутых в одну фразу, и ведь никого из них я не читала! Чтобы он не счел Белл Бакстер полной невеждой, я сказала, что до Скотта жил великий шотландский поэт Бёрнс, а Шекспир, Диккенс и прочие

были англичане; однако он не смог понять разницу между Шотландией и Англией, хотя в других вопросах он очень проницателен. Я также сказала, что большинство считает романы и стихи досужими безделками — не слишком ли серьезно он к ним относится?

— Люди, которым безразличны предания и песни своего народа, — ответил он, — это люди без прошлого, без памяти, это полулюди.

Вообрази, что́ я в этот миг почувствовала! Но может быть, я, как Россия, теперь наверстываю упущенное время.

Это был тот самый незнакомец, который заговорил со мной в игорном доме, когда вокруг Парня гудела толпа. Это маленький опрятный человек вроде Свечки, но (не могу объяснить точнее) более смиренный, чем Свечка, и в то же время более гордый. По его одежде я поняла, что он беден, по лицу — что умен. Я почувствовала, что он милый человек, хоть, может быть, и не такой паркий, и обрадовалась. После разговора с полицией в Лондоне ко мне никто, кроме Парринга, не обращался. Я сказала:

— Ваш вид внушает интерес! О чем вы хотите со мной говорить?

Он просветлел и, как мне показалось, в свой черед удивился. Он спросил:

— Вы, должно быть, знатная дама — дочь английского лорда или барона?

— Нет. Почему вы так думаете?

— Вы говорите, как говорят знатные дамы в России. Они тоже сразу выкладывают, что думают, не глядя на условности. Раз вы такая, я сразу перейду к делу и не буду представляться — скажу только, что я закоренелый игрок, человек весьма незначительный, и хочу дать вам совет, который не будет стоить мне ни гроша, но вас, быть может, спасет от ужасного краха.

Интригующе. Я сказала:

— Продолжайте.

— Этот англичанин, которому так везет, он ведь ваш... — Он скосил взгляд на мою левую руку в поисках обручального кольца. Я ответила:

— Мы пара.

Я слегка ввела его в заблуждение, потому что в большинстве своем люди считают, что пара — это и есть муж и жена, но мне не хотелось пускаться в сложные объяснения. Он спросил:

— Ваш муж никогда прежде не играл в рулетку?

— Никогда.

— Вот почему он играет по такой строгой системе. Эта система — самая очевидная на свете, любой думающий игрок открывает ее, едва начав делать ставки, и в тот же день отбрасывает. Но сегодня вашего мужа преследует неимоверная удача — или неудача, смотря по дальнейшему. Ход игры волею чистого случая вновь и вновь укладывается в его детскую систему! Поразительно! Такое происходит крайне редко, а когда происходит, то обычно с новичком, который (простите меня, обыкновенной англичанке я не мог бы этого сказать) очень сильно влюблен и поэтому ведет себя самоувереннее или отчаяннее прочих. Да, любовь и деньги раз в жизни могут соединиться и поманить нас. Подобное случилось и со мной. Я выиграл состояние, но потерял любимую, а потом, разумеется, и состояние тоже, ибо лихорадка азарта вошла в мою кровь. В итоге я стал тем, кто я есть, — пропащим существом, неудачником. Если вы не уговорите мужа уехать из этого дьявольского городишка, он завтра снова придет в игорный дом, спустит то, что выиграл, и потеряет все остальное в попытке отыграться. Доходы муниципалитета зависят исключительно от игорных домов, и поэтому здешние банки располагают самыми современными средствами для быстрого превращения собственности в наличные деньги на совершенно грабительских условиях. На моих глазах одна графиня — женщина под восемьдесят, но сохранившая здравый смысл и остроту ума, — на моих глазах она попалась на удочку первоначального везенья и опомнилась, лишь проиграв все, кроме разве что жизней своих слуг.

Мне захотелось расцеловать этого маленького иностранца за разумные речи и за добро, которое он хотел сделать. Но я только вздохнула и объяснила ему, что, увы, мой бедный Парень меня не послушается, боясь почувствовать себя слабым. Я добавила:

— Но посторонний — это другое дело. Пожалуйста, повторите ему то, что сказали мне. Вот он идет.

Парень, внезапно увидев, что я говорю с незнакомым человеком, растолкал толпу

и двинулся к нам; волосы у него торчали во все стороны, как щетина из старой щетки. Лицо было уже не белое, а синее, глаза налились кровью. Рядом семенил лакей в ливрее, неся портфель с выигрышем.

— Данкан, — сказала я, — выслушай, пожалуйста, этого господина. Он тебе хочет сказать важную вещь.

Данкан стоял очень прямо, скрестив руки на груди, и смотрел на моего нового друга сверху вниз. Едва незнакомец произнес несколько фраз, как Парень резко спросил:

— Зачем вы мне все это говорите?

— Увидев двоих детей, устроивших пикник на рельсах, я, естественно, должен предупредить их об опасности; если вам этого мало, могу назвать более личную причину. Друг-англичанин (мистер Астли из известной лондонской фирмы «Ловел и К°») однажды оказал мне услугу, за которую мне до сих пор не удалось расплатиться. Будучи в долгу перед англичанами, я хочу, хотя бы частично, сквитаться через вас.

— Я шотландец, — произнес Парринг, глядя на меня, и в его взгляде мне почудилась мольба.

— Для меня это несущественно, — сказал мой новый друг. — Мистер Астли — двоюродный брат лорда Пиброка.

— Нам пора уходить, Белл, — сказал Парень бесцветным тоном, и я поняла, что, скрестив на груди руки, он пытается унять дрожь. Бессонница и возбуждение изнурили его так, что он мало что слышал и видел; вся его сила и выдержка уходили на то, чтобы стоять прямо и не нести вздора. Я не стала его отчитывать за невежливость и просунула руку ему под локоть; он притиснул ее.

— Моему несчастному сейчас нужен отдых, но я запомню ваши слова. Большое вам спасибо. Спокойной ночи, — сказала я.

Когда мы в сопровождении лакея шли к выходу, я увидела, что Парринг спит на ходу, как бывало со мной.

В вестибюле я ущипнула его, чтобы он проснулся и назвал мне наш отель. Придя в себя, он пробормотал, что ему нужно в уборную, и проковылял туда вместе с лакеем, который нес его выигрыш, — он ни на секунду не хотел выпускать деньги из поля зрения. Мгновение спустя мой новый друг уже был рядом со мной, он заговорил так быстро и тихо, что мне пришлось наклонить к нему голову.

— Ваш муж слишком потрясен, чтобы сегодня вечером считать деньги. Возьмите и сохраните сколько будет возможно без его ведома. Это не кража. Если он вновь примется играть, только это и позволит вам уехать отсюда с достоинством.

Я кивнула, подала ему обе руки и сказала, что хочу в свой черед как-нибудь ему помочь. Он густо покраснел, улыбнулся, сказал: «Слишком поздно!», поклонился и ушел.

Вскоре вернулся Парень — теперь он выглядел опрятней. Цвет лица у него был такой же жуткий, но дрожь и слабость исчезли. Я поняла, что он принял таблетку против летаргии и нам предстоит еще одна паркая ночь. Когда он по-хозяйски схватил меня за руку, я подумала: «Бедный, на сколько еще его хватит?»

У двери некий весьма представительный господин сказал:

— Gute Nacht, mein Herr![1] Льщу себя надеждой, что мы и завтра вас увидим.

— Конечно, — ответил Парень с мрачной усмешкой, — если только ваша золотая жила не иссякла.

— Не меня обыграли вы, а ваших собратьев-игроков, — сказал господин дружелюбно, и я поняла, что это владелец игорного дома.

Выйдя наружу, я увидела, что игорный дом, наш отель, банк и железнодорожный вокзал находятся на одной площади, так что идти нам недалеко. У двери номера Парень вырвал у лакея портфель, захлопнул дверь у него перед носом, даже не поблагодарив и не дав на чай, кинулся к нашей постели (она была огромная, с пологом) и опорожнил на нее портфель со звоном монет и треском лопающихся свертков. Он побросал клочки бумаги на пол и начал рвать другие свертки, высыпая из них деньги, — ему не терпелось горой свалить все золото на шелковом покрывале. Я поняла, что прежде, чем считать свои богатства, он хочет всласть в них побарахтаться, как малыши Робби Мердок в грязной луже. Это могло затянуться на всю ночь. Мне нужно было его как-нибудь отвлечь.

[1] Спокойной ночи, сударь! (*нем.*).

— Тут я пропущу две страницы, — сказал Бакстер. — Они бросают яркий свет на ту область, где смыкаются анатомия и психология, но твоя будущая жена еще научит тебя всему этому в жизни, так что к чему опережать события? В невинных и точных словах Белл рассказывает, как она на несколько часов отвлекла Парринга от его детской одержимости золотом и погрузила в глубокий, естественный сон на ковре из медвежьей шкуры. Она пишет о том, как взяла из груды монет на кровати и припрятала четыреста фридрихсдоров, пропажи которых он не заметил, когда проснулся и стал считать деньги, аккуратно раскладывая их по кучкам. Продолжу с этого места.

— Сегодня все это умножится десятикратно или стократно, — сказал он с плотоядной улыбкой. Я обозвала его дураком.

— Белла! — воскликнул он. — Вчера весь вечер меня умоляли прекратить, пока мне еще везет. Я играл до самого конца и выиграл, потому что на моей стороне было вовсе не везенье, а РАЗУМ. Уж ты-то хотя бы должна в меня верить, ведь перед Богом ты моя законная пара!

— Я могу уйти от тебя, когда пожелаю, и Бог ничего не будет иметь против, — сказала я, — а в этот игорный дом я больше ни ногой. Могу поспорить, что ты потеряешь все, если опять пойдешь играть, — все до последнего гроша.

— На что будем спорить? — спросил он со странным видом. Я улыбнулась — мне в голову пришла замечательная мысль. Я сказала:

— Дай мне из этих денег пятьсот монет. Если ты вернешься богаче, чем сейчас, я тебе их отдам и выйду за тебя замуж. Если все проиграешь, они нам пригодятся, чтобы уехать.

Он поцеловал меня со слезами на глазах и сказал, что сегодня счастливейший день в его жизни, потому что он получит все, о чем мечтал. Я расплакалась из жалости к нему — что я могла для него сделать? Потом он отсчитал мне пять сотен, мы позавтракали, и он ушел. Я распорядилась, чтобы обед мне принесли в номер, поднялась к себе и легла спать.

Как приятно, Бог, проснуться в одиночестве, принять ванну и одеться в одиночестве, поесть в одиночестве. Свечка, когда мы поженимся, нам надо будет часть времени проводить врозь, чтобы не приедаться друг другу. После обеда я вышла пройтись в сквер, что посреди площади, в надежде увидеть моего нового друга — и действительно увидела его вдалеке. Я помахала ему зонтиком. С разных сторон мы подошли к свободной скамейке и сели на нее. Он осторожно осведомился:

— Взяли?

Я улыбнулась, кивнула и спросила:

— Ну как у него дела?

— Он начал спозаранку и спустил все за час. Мы все были потрясены его необычайным хладнокровием. С тех пор, по слухам, он дважды побывал в банке и четыре раза на телеграфе. Великобритания располагает самым крупным и оживленным на свете денежным рынком. Через час-другой он, видимо, придет опять и проиграет еще столько же, если не больше.

— Поговорим о более радостном, — сказала я. — Вы что-нибудь такое знаете?

— Ну например, — сказал он с горькой усмешкой, — мы могли бы поговорить о светлом будущем человечества через сто лет, когда наука, торговля и демократическое братство победят болезни, войну и нищету, когда все будут жить в гигиенических домах-башнях с бесплатной лечебницей и хорошим дантистом-немцем в подвальном этаже. Но мне в таком будущем места не найдется. Если бы Бог пожелал внять моим мольбам (а может быть, он им внял уже), он сделал бы меня опозоренным учителем — безработным лакеем — любящим сыном России, который предпочитает беседу с решительной шотландкой в немецком общественном сквере борьбе за обновление родины. Не ахти как много, но с меня довольно, и это лучше, чем быть, скажем, клопом. Хотя, конечно, и у клопов есть свой неповторимый взгляд на мир.*

Так что мы поговорили о том, чего человек больше всего желает, о свободе, о душе, о русской литературе, о его нелюбви к полякам, которые хотят, чтобы с ними обходились как с господами, хотя они еще беднее, чем он, о его нелюбви к французам, у которых есть форма без содержания и которые поддерживают поляков, о

его любви к англичанам, возникшей благодаря мистеру Астли, о том, как он был ип outchitel — учитель у детей богатого генерала, — и о печальных событиях, сделавших его игроком. Я была так тронута его искренностью, что немного рассказала ему о своих тяготах с Парнем. Поразмыслив, он посоветовал мне отправиться с ним в круиз по Средиземному морю, где он сможет набраться сил для возвращения домой. Только не надо садиться на пассажирское судно — лучше всего грузовое с каютами для пассажиров.

— На таком пароходе негде ввязаться в азартную игру, и окружение к этому не располагает, — объяснил он. — Если он так сильно нуждается в отдыхе, как вы говорите, ему лучше подойдет русское судно, чем английское или... шотландское, — там меньше будет кривотолков и назойливого любопытства.

В благодарность за совет я поцеловала его на прощанье. Кажется, поцелуй его приободрил.

Об остальном — коротко. Парень возвращается в отель без гроша, шекспировские страсти, быть или не быть и все такое прочее. Я говорю, что пять сотен, которые он мне проспорил, позволят нам назавтра продолжить путешествие и что я их ему возвращаю. На другой день он платит за отель, мы идем на вокзал, он покупает билеты в Швейцарию. До отхода поезда остается полчаса, он усаживает меня с багажом в зале ожидания для дам и говорит, что пойдет выкурить сигару. И конечно же, бегом в игорный дом сделать последнюю ставку и отыграться, там спускает все деньги и кидается ко мне, завывая, как Гамлет над гробом Офелии. Я вижу, что единственный способ его утихомирить — немножко ему подыграть, поддать жару, как говорят в театре. Я делаю из лица скорбную маску и глухим безжизненным голосом простанываю:

— Нет денег? Так я раздобуду нам денег.

— Как? Как?

— Не спрашивай. Жди здесь. Меня не будет два часа. Мы поедем на следующем поезде.

Выхожу и отыскиваю кафе, где с наслаждением выпиваю четыре чашки восхитительного шоколада и съедаю восемь венских пирожных. К отправлению поезда с трагическим видом возвращаюсь. Вагон переполнен. Парень пробует начать шепотом объяснение, но безуспешно — я сплю с открытыми глазами. В последующие четыре дня на все его вопросы до единого, даже когда он умоляет меня сказать, куда мы едем, я отвечаю: «Не спрашивай!» Мое мрачное лицо и глухой голос причиняют ему невыразимые душевные муки, которые дают бедняге занятие на то время, когда он не дрожит всем телом и его не бросает из жара в холод — запас таблеток от летаргии у него иссяк, и он по ним томится. Пить их дальше было бы убийственно! К счастью, ему так худо, что он не может никуда идти, если я не веду его под руку. Он так слаб, что я без опаски оставляю его в гостиничном номере, пока хожу по делам. В Триесте я заказываю в бюро путешествий места именно на таком пароходе, о каком говорил outchitel. Название его я не могу точно выписать, ведь русская грамота для меня что китайская, но звучит оно примерно как «суитест лав» — «нежнейшая любовь».

Мы направляемся к порту по широкой, но угрюмой улице (идет дождь), и вдруг он резко останавливается у табачной лавки и говорит с таким отчаянием в голосе, какого я раньше у него не слыхала:

— Белла, скажи мне правду! У нас будет долгое путешествие на пароходе?

— Да.

— Прошу тебя, Белла! — и он падает на колени прямо в сточную канаву, по которой струится вода. — Прошу тебя, дай мне денег купить сигар! Прошу тебя! У меня все вышли.

Я вижу, что настало время снять трагическую маску.

— Мой бедный невозможный Парень, — говорю я, ласково его поднимая, — ты получишь все сигары, каких только пожелаешь. У меня есть на них деньги.

— Белла, — шепчет он, придвигая свое лицо к моему, — я знаю, откуда у тебя эти деньги. Ты продалась этому грязному русскому игрочишке, который пытался тебя соблазнить в день моего блестящего успеха.

— Не спрашивай.

— Да, ты сделала это для меня. Зачем, Белла? Я гнусная скотина, навозник, куча дерьма. Ты Венера, Магдалина, Минерва и Богоматерь Скорбящая в одном лице — как тебе не противно ко мне прикасаться?

Через несколько минут, однако, он уже попыхивал сигарой как ни в чем не бывало.

Вот как мы оказались на русском торговом судне, направлявшемся в Одессу. Здесь мы стоим три дня, пока в трюм грузят сахарную свеклу, которую в изобилии выращивают в этих краях. Парень больше меня не ревнует. Он спокойно отпускает меня на берег одну, только просит вернуться поскорее. Я наконец довела письмо до нынешнего дня, так что на этот раз, наверно, выполню его просьбу.

* *

* *

* *

* * * * * * * * * * * * * * * *

* * *

15 *Одесса — Александрия: миссионеры*

Я привыкла думать, что мир очень велик, но вчера мне пришлось в этом усомниться. Утро вновь выдалось чудесное. Наш пароход должен был покинуть Одессу в полдень. Мы с Парнем сидели в единственном месте, куда мне удается его вывести,— в укромном уголке между двумя вентиляционными люками. Он читал французскую Библию, потому что все прочие книги в пассажирском салоне — русские. К счастью, он знает французский, так что теперь не выпускает книгу из рук. Некоторые места перечитывает снова и снова, потом долго смотрит в пустоту, хмурится и бормочет: «Понятно. Понятно». Я читала не то «Панч», не то «Лондон шаривари» — английский журнал искусств и анекдотов. Картинки там изображали разнообразных людей. Самые смешные и уродливые — шотландцы, ирландцы, иностранные путешественники, бедняки, слуги, богачи из тех, что недавно были бедняками, малорослые люди, пожилые незамужние женщины и социалисты. Социалисты были безобразней всех — грязные, волосатые, с безвольными подбородками, они только и делали, что докучали людям своими жалобами на всех перекрестках.

— Данкан, а кто такие социалисты? — спросила я.

— Дураки, которые считают, что мир надо усовершенствовать.

— Зачем? В нем что-то испорчено?

— В нем испорчены сами социалисты — да еще моя жизнь испорчена дьявольским невезеньем.

— Ты говорил, что везенье — лишь жалкое слово.

— Не мучь меня, Белл.

Он всегда так говорит, когда хочет, чтобы я замолчала. Я посмотрела на чаек, кружившихся в синем небе, по которому плыли большие облака. Обвела взглядом огромную гавань, полную кораблей с разноцветными флагами, трубами, мачтами и парусами. Взглянула на залитую солнцем пристань с кранами, тюками, снующими туда-сюда мускулистыми грузчиками и офицерами в форме. Принялась размышлять, как бы все это усовершенствовать, но мир вокруг и так был как будто в порядке. Я опять полистала «Панч» и стала думать, почему на картинках хорошо одетые англичане, если только они не вчера разбогатели, всегда красивей прочих и не так смешны. Эти мысли прервались, когда я услышала громкие возгласы и стук подков. На пристань, кренясь на повороте, вылетел странный экипаж, запряженный тройкой скакунов, и резко встал у наших сходней. Из экипажа вышел в точности такой же хорошо одетый, красивый человек, как те, в «Панче». Когда он прошел на борт мимо русских матросов и офицеров, я едва не расхохоталась в голос — его негнущаяся фигура, неподвижное лицо, блестящий цилиндр и элегантный фрак были до смешного английские.

Белл Бакстер нравится знакомиться с новыми людьми. Парень сейчас ест только в каюте, так что вчера вечером я повязала моему бедняге на шею чистую салфетку, усадила его с подносом, а сама пошла в столовую. На корабле меня уже все знают, и пассажиров, говорящих по-английски, всегда сажают за мой стол. На этот раз таких казалось только двое. Оба взошли на борт в Одессе. Первый — доктор Хукер, дородный американец с обветренным лицом; второй — тот самый истый англичанин, мистер Астли! Сильно взволновавшись, я спросила:

— Вы работаете в лондонской фирме «Ловел и К°»?

— Я там в совете директоров.

— Вы приходитесь двоюродным братом лорду Пиброку?

— Да.

— Удивительно! Я подружилась с одним вашим близким другом, милым маленьким русским игроком, который шатается по немецким игорным домам в страшной нужде — он даже в тюрьме сидел, хотя и без особой вины. Самое странное, что я так и не знаю его имени; но вас он считает своим лучшим другом, потому что вы были к нему очень добры.

После долгой паузы мистер Астли медленно произнес:

— Не могу назвать своим другом лицо, которое вы описали.

Он взялся за ложку, и то же самое сделала озадаченная Белл Бакстер. Ужин мог бы пройти в полном молчании, если бы доктор Хукер не принялся развлекать меня историями из своей миссионерской жизни в Китае. Под конец мистер Астли, задумчиво помешивая кофе, сказал:

— Так или иначе, я знаю человека, о котором вы говорили. Моя жена русская, дочь русского генерала. Однажды я оказал некую помощь слуге ее отца — гувернеру, который смотрел за младшими детьми. С тех пор прошли уже годы.

Я сказала с укором:

— Он хорошая мудрая благородная душа! Он сделал для меня доброе дело без всякой выгоды для себя, он любит всех англичан благодаря вам!

— А...

Я не разозлилась бы так, если бы он сказал «Ого!» или «Э?», но этим «А...» он давал понять, что знает больше, чем кто угодно на свете, знает столько, что разговаривать бесполезно. Outchitel назвал его застенчивым. Я думаю, он просто глуп и холоден. Я с облегчением поспешила к моему горячему-горячему Парню, которого можно так раскрутить, что он отдаст тебе все надежное тепло, в котором нуждается женщина. Но ты не унывай, Свечка. Твоя булавка по-прежнему поблескивает у Белл в лацкане дорожного жакета.

****

В отличие от мистера Астли, доктор Х., похоже, всегда рад меня видеть. Он доктор не только богословия, но и медицины, и сегодня я попросила его осмотреть Парня, который все еще ведет себя как больной, хотя уже не так бледен и не дрожит. Во время осмотра я стояла за дверью каюты, но достаточно близко, чтобы слышать добродушный раскатистый бас доктора Х., прерываемый ответами-выпадами Парня (так мне показалось); под конец он начал кричать. Выйдя из каюты, доктор Х. сказал, что болезнь Парня — не телесного свойства.

— Мы разошлись во взглядах на искупление, — объяснил он,— и на неотвратимость адских мук; он счел мои суждения недопустимо либеральными. Но корень его бед не в религии. С ее помощью он пытается отвлечься от крайне болезненного воспоминания из недавнего прошлого — воспоминания, о котором он отказывается говорить. Вы не знаете, что это такое?

Я сказала, что бедняга опростоволосился в немецком игорном доме.

— Если дело только в этом, — сказал доктор Х.,— пусть себе хандрит сколько хочет. Обращайтесь с ним нежно, но не губите вашу цветущую молодость, отказываясь от приятного времяпрепровождения в обществе. Вы играете в шашки? Нет? Позвольте мне вас научить.

Превосходный человек.

****

Милый Бог, мы опять проплываем Греческие острова, где Байрон, пламенея, пел, и я очень рада, что груди жен там больше не вскармливают рабов[1]*,а у меня сейчас был великолепный завтрак, за которым доктор Х. и мистер А. затеяли грандиозный спор, и начал его мистер Астли! Мы были ошеломлены. В последние два дня я слышала от него только «Доброе утро», «Добрый день» и «Добрый вечер», так что мы с доктором привыкли уже болтать между собой, как будто его нет на свете. Но сегодня утром, когда мой американский друг объяснял мне, что череп у*

[1] Парафраз известных строк из поэмы Байрона «Дон Жуан» (песнь 3, строфа 86).

китайца меньше, чем у европейца, почему ему и трудно бывает выучить английский, вдруг:

— А вам легко было выучить китайский, доктор Хукер? — спросил мистер Астли.

— Сэр, — ответил, повернувшись к нему, доктор Х.,— я жил в Китае не для того, чтобы учить язык Конфуция и Лао-цзы. Я пятнадцать лет служил в Федерации американских библейских обществ, которая, при поддержке нашей Торговой палаты и правительства Соединенных Штатов, поручила мне наставлять уроженцев Пекина в языке и вере христианской Библии. Примитивный жаргон беднейших кули (вы называете его пиджин-инглиш) я нашел более подходящим для этой цели, чем премудрости мандаринского наречия.

Мистер Астли мягко сказала:

— Испанцы, которые первыми колонизовали ваш континент, языком христианской веры и Библии считали латынь.

— Ту ветвь религии, которой я учу других и пытаюсь следовать сам, — возразил доктор Х.,— Моисей и Иисус проповедовали задолго до того, как римские императоры использовали и извратили ее ради суетного блеска земного царствования.

— А...

— Мистер, Астли, сэр! — сказал доктор Х. строго. — Простым вопросом и косвенным замечанием вы исторгли у меня исповедание веры. Позвольте мне попросить у вас того же. Приняли ли вы в свое сердце Иисуса как вашего личного Спасителя? Или вы католик? Или поддерживаете государственную англиканскую церковь, где папой — королева Виктория?

— Когда я в Англии, — медленно ответил мистер Астли, — я поддерживаю англиканскую церковь. Благодаря ей Англия остается стабильной. По той же причине в Шотландии я поддерживаю шотландскую церковь, в Индии — индуизм, в Египте — магометанство. Британия не правила бы четвертью земного шара, не будь мы терпимы к местным религиям. Если бы наше правительство сделало католицизм официальной религией Ирландии, оно бы легко управляло этой непокорной колонией с помощью папских священников, хотя, конечно, ольстерцам пришлось бы выделить угол.

— Вы хуже, чем атеист, мистер Астли,— сказал доктор Х. суровым тоном. — Атеист, по крайней мере, твердо знает, во что он не *верит. Для вас же просто нет ничего твердого и незыблемого. Вы беспринципный человек — человек без веры.*

— Не то чтобы совсем без веры,— промолвил мистер Астли. — Я мальтузианец и верую в евангелие от Мальтуса.

— Я полагал, что Мальтус — это англиканский священник, который спятил на почве роста народонаселения. Вы хотите сказать, что он основал новую религию?

— Нет, новую веру. Для религии нужны конгрегации, священники, молитвы, гимны, особые здания, догматы, ритуалы. Моя ветвь мальтузианства во всем этом не нуждается.

— Ваша ветвь, мистер Астли? Их, выходит, много?

— Да. Всякая система доказывает свою силу, подразделяясь,— взять, например, христианство.

— Укол! — воскликнул доктор Х. со смехом. — С вами приятно скрестить шпаги. А теперь, сэр, расскажите о вашей разновидности мальтузианства. Обратите меня!

— Оставайтесь лучше как вы есть, доктор Хукер. Моя вера не сулит никакого утешения бедным, больным, жертвам несправедливости и умирающим. И у меня нет никакого желания ее распространять.

— Вера без надежды и милосердия? — вскричал доктор Х. — Так отбросьте же ее, мистер Астли, она явно заморозила у вас в жилах всю кровь! Гоните ее вон. Привяжите к ней камень и — за борт. Обретите веру, которая согревает нам сердце, привязывает нас к ближнему и открывает перед нами блаженное будущее.

— Не люблю опьяняющих напитков. Уж лучше горькая правда.

— Мистер Астли, вы, я вижу, одна из тех печальных современных душ, которым материальный мир кажется жестокой машиной, перемалывающей чувствительные сердца и зрячие умы. А не приходило ли вам в голову, что вы можете ошибаться — да, ошибаться, клянусь Богом! Наша чудесно многообразная Вселенная не могла бы взрастить сердца и головы, подобные нашим, если бы Творец всего сущего

не предназначил их для этой планеты, не предназначил планету для них и все для Себя!

— Ваш взгляд на мир как на место, где Бог взращивает человеческие овощи для своего личного потребления, мог бы прельстить садовника, доктор Хукер,— сказал мистер Астли,— но не меня. Я человек деловой. А вы, миссис Парринг, во что-нибудь верите?

— Это вы насчет Бога, я правильно поняла? — спросила я, польщенная тем, что он ко мне обратился.

— Правильно, миссис Парринг! — воскликнул доктор Х. — Большинство людей это понимает правильно, в отличие от мистера Астли. Но даже и он дитя Господа, хоть сам себя таковым не признаёт,— а уж вы-то и подавно Его дитя. Вера, надежда и милосердие, сияющие в ваших ясных глазах, не оставляют в этом сомнений. Скажите нам, прошу вас, миссис Парринг, как вы разумеете Отца нашего небесного?

С тех пор как мы болтали с outchitel в немецком сквере, у меня не было случая поговорить о громадных больших обычных странных вещах, потому что Парня такие разговоры мучат. И вот теперь эти двое умных мужчин хотят услышать от меня обо ВСЕМ! Слова полились потоком.

— Все, что я знаю об этом боге, — сказала я, — я услышала от моего собственного Бога — моего опекуна Боглоу Бакстера. Он говорит, что бог — удобное название для всего и вся: ваш цилиндр и ваши мечты мистер Астли, небо ботинки Зеленый берег Лох-Ломонд борщ я расплавленная лава время идеи коклюш блаженство парьбы мой белый кролик Флопси и клетка, где он живет,— что угодно из словарей и книг, какие есть и какие будут, добавляет свое к богу. Но самое лучшее в боге — это движение, оно взбалтывает мир и делает из старого новое. Движение превращает дохлую собаку в червей и маргаритки, муку масло сахар яйцо и столовую ложку молока в печенье «абернети», сперматозоид и яйцеклетку в крохотную растение-рыбку, из которой получится младенчик, если мы не позаботимся, чтобы этого не было. Но движение и боль причиняет, когда твердое тело бьет по живому и мягкому или живые бьют друг друга, и чтобы нас не убило до смерти, пока мы сами не износились от времени, у нас развились создались появились выросли созрели глаза и мозг, которыми мы видим предвидим удары, чтобы от них уклоняться. И как великолепно крутится вся эта божья круговерть! Три дня назад я задумалась, как усовершенствовать одесский порт, и не смогла ничего выдумать. Я знаю, что не всегда было так. Я читала «Последние дни Помпей», и «Хижину дяди Тома», и «Грозовой перевал» и понимаю, что история полна всяких гадостей, но история прошла, и сегодня уже люди не обращаются друг с другом жестоко, только иногда делают глупости в игорных домах. В «Панче» пишут, что без работы сидят одни лентяи, так что самым бедным, должно быть,* нравится *быть бедными. И у них есть то утешение, что другие смеются, на них глядя. Я знаю, конечно, что иногда случаются всякие несчастья, но ведь жизнь продолжается. Мои родители погибли в катастрофе на железной дороге, но я их совсем не помню и даже не плачу о них почти никогда. Они, наверно, уже были старые, им и так-то немного оставалось жить. Еще мне говорили, что я где-то в другом месте лишилась ребенка, но я знаю, что о моей маленькой дочке есть кому позаботиться. Мой опекун даром лечит больных собак и кошек, так что о потерянной девочке уж точно можно не волноваться. Какую же горькую правду вы имели в виду, мистер Астли?*

Пока я говорила, произошло нечто странное. Оба мужчины смотрели мне в глаза все жестче жестче жестче, но мистер Астли при этом клонился ко мне все ближе, а доктор Х. отклонялся все дальше. Когда я кончила, мистер Астли ничего не сказал, а доктор Х. проговорил тихим голосом:

— Дитя мое, неужели вы никогда не читали святую Господню Библию?

— Я не ваше и ничье дитя! — возразила я запальчиво, но затем, конечно, мне пришлось рассказать им про потерю памяти. После этого доктор Х. сказал:

— Но ди... миссис Парринг, ваш муж производит впечатление ревностного христианина. И что же, он не дал вам никакого религиозного наставления?

Я ответила, что из бедного Парня и слова не вытянешь с тех пор, как он ударился в религию. Доктор Х. молча глядел на меня, пока наконец мистер Астли не спросил странным голосом:

— Доктор Хукер, вы намеревались просветить миссис Парринг по части доктрины первородного греха и вечного воздаяния за мирское зло?

— Нет, сэр,— коротко ответил доктор Хукер.

— Миссис Парринг,— сказал мистер Астли,— никто из нас не возражает против того, как представляет себе Вселенную ваш опекун. Горькая правда, о которой я говорил, имеет чисто статистическую природу — это элемент политической экономии. Я пошутил, когда назвал ее верой,— я сказал это в пику доктору Хукеру. Я флегматик, и меня взбесила его американская жизнерадостность. Но мы оба рады, что вы находите мир хорошим и приятным местом.

— Вашу руку,— сказал доктор Х. кротко и подал свою, которую мистер Астли немедленно пожал.

— Хорошо, что у вас теперь дружба,— промолвила я,— но я чувствую, что вы сообща что-то от меня скрываете, и намерена выяснить, что это такое. Выйдем теперь на палубу?

Мы пошли прогуляться по палубе. Утро чудесное. Скоро мы с Парнем будем обедать в нашей каюте, потом — миловаться. Интересно, о чем доктор Х. и мистер А. будут говорить за ужином?

****

— Что привело вас в Одессу, Астли?

— Сахарная свекла, доктор Хукер. Моя фирма занимается выработкой и продажей тростникового сахара, но немецкий свекольный сахар может стать дешевле нашего, если мы не примем мер. Британские фермеры сахарную свеклу выращивать не хотят — другие корнеплоды дают им больший доход. Чтобы конкурировать с немцами, нам нужна сахарная свекла от фермеров, работающих за азиатское, а не европейское жалованье,— вот почему я был в России. Нам еще нужен порт, связанный с международными морскими путями,— вот почему я был в Одессе.

— Итак, британский лев налаживает торговые связи с русским медведем?

— Пока этого нельзя сказать, доктор Хукер. Русские предлагают нам место и рабочую силу для постройки сахарного завода на очень выгодных условиях, но почва и климат, возможно, не самые лучшие для сахарной свеклы. А вас что привело в Одессу? Что, ваша Федерация библейских обществ решила бороться за души русских православных?

— Да нет. Я, по правде сказать, уже оставил миссионерскую службу. Я приехал в Китай пятнадцать лет назад прямым рейсом через Тихий океан. Теперь держу путь домой, в Край Свободы, самым приятным и самым кружным путем, какой только мог выбрать.

— Сиам, Индия, Афганистан?

— Не совсем.

— Дороги Внешней Монголии, Туркестана и Сибири — тоже не прогулочные аллеи, доктор Хукер. На большей части пути вам нужен был вооруженный эскорт. Кто же его оплачивал — правительство Соединенных Штатов или Американская торговая палата?

— Вы проницательный и опасный человек, Астли! — сказал доктор Хукер, хихикнув. — Легче сладить с десятью коварными восточными деспотами, чем с одним англичанином вроде вас. Да, некоторые дальновидные американские граждане попросили меня подготовить отчет об определенных аспектах жизни Центральной Азии — самого большого в мире резервуара неоприходованного язычества. Можно ли нас за это упрекать? Британия уже заграбастала всю остальную планету. Не далее как два года назад вы хапнули Египет у французов — и у египтян.

— Нам нужен был их канал. Мы им за него заплатили.

— И вы бомбили Александрию, следующий порт нашего следования.

— Они вооружались против нас, и нам нужен был их канал.

— А теперь британские войска сражаются с дервишами в Судане.

— Мы не можем терпеть религии, которые подталкивают коренных жителей к самоуправлению. Самоуправление препятствовало бы торговле и пользованию каналом.

Тут вступила Белл Бакстер.

— Кто такие коренные жители, мистер Астли?

До сих пор я помалкивала, надеясь набраться ума-разума, но «конкурировать», «отчет об аспектах», «неоприходованное язычество», «заграбастала всю планету», «хапнули Египет», «самоуправление» — все это было мне непонятно. Слова

«коренные жители» как будто обозначали людей.

— Коренные жители,— сказал мистер Астли, тщательно подбирая слова,— это люди, которые живут на той земле, где они родились, и не хотят ее покидать. Немногих англичан можно назвать коренными жителями, потому что мы испытываем романтическое влечение к землям других народов, хотя все чрезвычайно преданы своему полку, своей фирме, школе, где учились, и школьным друзьям. Иные даже преданы королеве — этой самовлюбленной старой даме.

— Так что, в Британии нет коренных жителей?

— В Уэльсе, Ирландии и Шотландии они еще есть. В Англии, конечно, сохранился слой фермеров и сельскохозяйственных рабочих, но землевладельцы и горожане смотрят на них как на полезных животных вроде лошадей и собак.

— Но почему британские солдаты сражаются с египетскими коренными жителями? Я не вижу в этом смысла.

— Я очень рад, что вы не видите в этом смысла, миссис Парринг. Политика — дело такое же грязное, как опорожнение выгребных ям, и женщины должны быть от нее в стороне. Поговорим о более чистых вещах, доктор Хукер.

— Поосторожней, Астли! — сказал доктор Хукер жестко. — У нас в Штатах мы высоко ценим ум и образованность прекрасного пола. Я готов в немногих словах обрисовать для миссис Парринг состояние политики на планете Земля, нимало не оскорбив ни ее женских, ни ваших патриотических чувств. Могу я начать?

— Если это интересно миссис Парринг и если она позволит мне дополнить кофе сигарой — начинайте, мне-то интересно.

Разумеется, я обоим ответила «да». Мистер А. предложил доктору Х. свою сигарочницу; тот поблагодарил его, выбрал сигару, понюхал, сказал, что она великолепна, откусил кончик, зажег ее и начисто о ней забыл, потому что стал рассказывать очень интересные вещи.

— Сегодня утром за завтраком миссис Парринг говорила о том, насколько лучше наш мир теперь, чем в недоброе старое время. Да, это так — но почему? А потому, что англосаксонская раса, к которой принадлежим и она, и я, и мистер Астли, получила в мире главенство, а эту расу составляют умнейшие, добрейшие, глубже всех верующие в Христа, самые предприимчивые, трудолюбивые, свободные и демократичные люди, какие когда-либо жили. Конечно, мы не должны превозноситься из-за наших высоких достоинств. Это устроил Господь, дав нам мозг большего размера, чем кому-либо еще, из-за чего нам легче укрощать наши дурные животные инстинкты. Это означает, что в сравнении с китайцами, индусами, неграми и индейцами — и даже в сравнении с латинами и семитами — мы как учителя среди играющих детей, которые не хотят понять, что учатся в школе. Но почему учить их — наш долг? Я объясню почему.

Когда дети или инфантильные люди остаются сами по себе, сильнейшие берут верх над слабыми и обижают их. В Китае судебная пытка считается невинным развлечением. Индийских вдов сжигают живьем подле трупов их мужей. Негры поедают друг друга. Арабы и евреи делают неудобосказуемые вещи с половыми органами своих детей. Словоохотливые французы питают слабость к кровавым революциям, беспечные итальянцы вступают в преступные тайные общества, и мы все знаем, что такое испанская инквизиция. Даже немцы, которые ближе всех к нам по происхождению, чересчур увлекаются оркестровой музыкой, полной животной жестокости, и дуэлями на шпагах. Бог создал англосаксонскую расу, чтобы обуздать все это, и мы обуздаем.

Но мы не можем усовершенствовать весь род человеческий разом. Свирепым правителям низших рас ненавистна мысль о том, что мы придем им на смену; поэтому, чтобы научить их уму-разуму, нам необходимо их одолеть. С нашими винтовками, пулеметами, одетыми в броню боевыми кораблями и железной дисциплиной мы одолеваем их всегда и везде, но это требует времени. Двигаясь вширь со своего маленького острова, англосаксы чуть больше чем за два столетия покорили четверть земного шара. Но к западу от Атлантики начинает разворачиваться и набирать силу новая, более крупная англосаксонская нация — Соединенные Штаты! Кто может сомневаться, что к концу двадцатого века Соединенные Штаты будут владычествовать над остальной частью планеты? Вы сомневаетесь в этом, Астли?

— Ваше предсказание может сбыться,— ответил мистер А. осторожно,— если подчиненные народы ничему от нас не научатся. Но японцы кажутся мне тол-

ковыми учениками, а промышленная мощь Германии уже вот-вот превзойдет британскую.

— С пруссаками вы сами разберетесь, а япошек уж оставьте нам — в нашей школе ученики никогда не превратятся в учителей, потому что череп у них меньшего размера. Да, я согласен, немецкий мозг сравним по объему с вашим или моим, но ему недостает гибкости. А клоню я, миссис Парринг, вот к чему. Сто лет борьбы пройдут до того времени, когда мир будет окончательно цивилизован, но эту борьбу не следует считать захватнической войной. Когда британцы покоряют Египет, когда Штаты идут в Мексику или на Кубу, они имеют целью воспитать и цивилизовать коренных жителей, а не обездолить их. Да, может потребоваться сто лет, чтобы англосаксонская полиция навела порядок в мире головорезов, но мы этого добьемся. К двухтысячному году китайский изготовитель фарфора, индийский искатель жемчуга, персидский ковровщик, еврейский портной, итальянский оперный певец и так далее — все они наконец смогут заниматься своим делом в мире и благоденствии, ибо англосаксонский закон позволит кротким унаследовать землю.

Наступила долгая пауза, во время которой доктор Х. пытливо взглядывал то на меня, то на мистера Астли — главным образом на мистера Астли, который наконец произнес:

— А...

Доктор Х. резко сказал:

— Так вы не согласны с моим предсказанием, сэр?

— Согласен, если это доставит удовольствие миссис Парринг.

Оба умных мужчины внимательно посмотрели на меня. Меня вдруг бросило в жар, и по ладоням я почувствовала, что краснею. Я сказала, преодолевая смущение:

— Меня кое-что удивило в ваших словах, доктор Хукер. Вы сказали, что мозговитым людям легче укрощать свои дурные животные инстинкты. Я много видела животных и много с ними играла, но не почувствовала в них ничего дурного. Конечно, сука со сломанной лапой рычала и щелкала зубами, пока я накладывала ей шину, но только потому, что ей было больно. Когда ей стало лучше, она признала во мне друга. Много ли на свете дурных животных?

— На свете НЕТ дурных животных, — ответил Хукер сердечно, — и вы правы, указывая мне на мою ошибку. Позвольте мне выразить свою мысль иначе. Человек состоит как бы из двух существ — высшего и низшего. Высшее существо любит все чистое и красивое, низшее — все грязное и уродливое. Вы прекрасно воспитанная молодая леди, так что вы лишены низких побуждений. Вы получили англосаксонское образование, приличествующее вашему сословию и полу, которое избавило вас от унижающего зрелища людской грязи и нищеты. Вы жили в Британии, где прекрасно организованная полиция ограждает от преступников, безработных и прочих грязных, неисправимых элементов места, где живут благородные англосаксонские натуры. Я слышал, что в Британии низшие классы состоят в основном из ирландцев.

Я сказала возмущенно:

— Я повидала мир, доктор Хукер. Когда я поправлялась после катастрофы, опекун взял меня в кругосветное путешествие. Я встречала всяких людей — у некоторых были рваные ботинки, латаная одежда и несвежее белье, в точности как у тех бедняков в «Панче», над которыми мы смеемся. Но никто из них не был таким чудовищем, как вы говорите.

— Вы были в Китае или Африке?

— Кое-где была. Например, в Египте — в Каире.

— Вы видели там феллахов, которые клянчат бакшиш?

— Смените тему, Хукер! — вмешался мистер Астли, но я не позволила это сделать. Я сказала:

— Когда мы с Богом вышли из отеля, чтобы посмотреть пирамиды, нас окружила толпа. Некоторые кричали что-то вроде «ааа-ииии, ааа-ииии», но я не видела, кто кричит. Что такое бакшиш, доктор Хукер? Тогда я не стала расспрашивать.

— Если завтра в Александрии вы сойдете со мной на берег, я покажу вам, что это такое, за пятнадцать минут, если не меньше. Зрелище поразит вас, но и послужит вашему образованию. Увидев то, что я покажу, вы поймете три вещи: природную греховность человеческого животного, не облагороженного искуплением; почему Христос умер за наши грехи; и почему Бог избрал англосаксонскую расу, чтобы очистить мир огнем и мечом.

— Вы не сдержали слова, Хукер, — сказал мистер Астли холодно. — Вы нарушили обещание.

— Сожалею об этом и все же радуюсь этому, Астли! — воскликнул доктор Х. (я в жизни не видела столь взволнованного мужчины, если не считать Свечки, когда он делал мне предложение, и Парня, когда он выиграл в рулетку). — Речи миссис Парринг показывают, что она оправилась от самых худших последствий железнодорожной катастрофы. Хоть она и не обрела памяти о прежней жизни, в ее разговорах сквозит ум столь же ясный и логический, как ваш и мой, но если мы не дадим ей сведений, которых она жаждет, ее ум останется умом смышленого ребенка. Вы, англичане, предпочитаете держать ваших женщин именно в таком состоянии, но мы на нашем американском западе хотим, чтобы женщины стояли с нами вровень. Принимаете ли вы, миссис Парринг, мое приглашение посмотреть Александрию с изнанки? Может быть, вы и мужа вашего уговорите присоединиться.

— Присоединится мой бедняга к нам или нет, я принимаю приглашение, — ответила я, сама пугаясь собственного волнения.

— И вы с нами, Астли, — сказал доктор Х. — Предоставим нашей очаровательной спутнице совместный англо-американский эскорт.

Мистер А. выпустил задумчивую струйку дыма, пожал плечами и сказал:

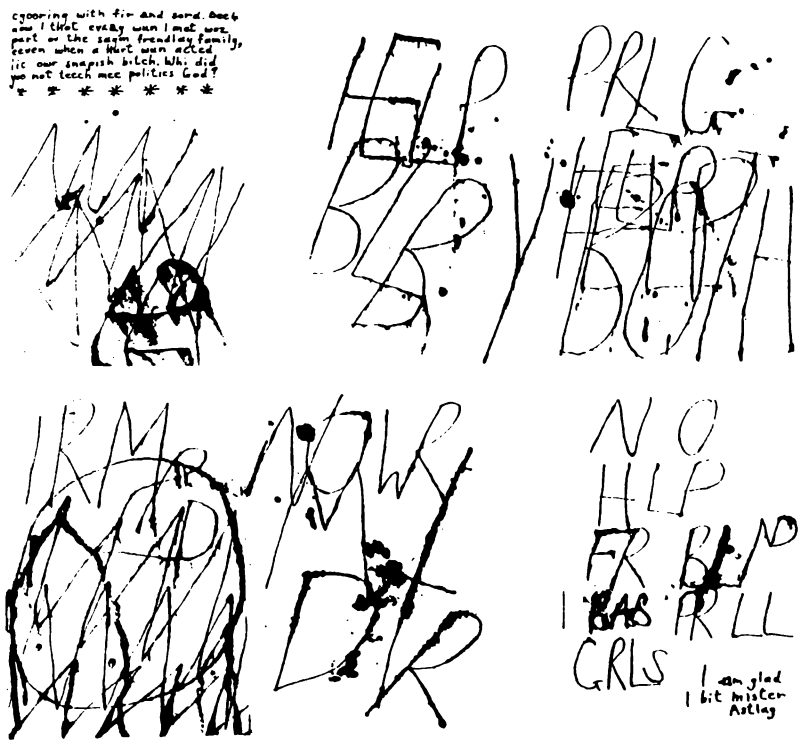
— Быть посему.

Я тотчас же вышла из-за стола. Мне нужно было в тишине обдумать все новые странные вещи, которые я услышала. Может быть, всему виной моя треснутая башка, но с той минуты, как доктор Х. объяснил мне, что англосаксы излечат мир от всех изъянов огнем и мечом, я чувствую себя менее счастливой. До сих пор мне казалось, что все, кого я встречаю, — одна дружная семья, даже когда кому-то больно и он ведет себя как наша кусачая сука. Почему ты не научил меня политике, Бог?

****

На этом месте голос Бакстера прервался, и я увидел, что он пытается совладать с сильнейшим волнением.

— Прочти сам следующие шесть страниц, — сказал он внезапно и протянул их мне. Представляю их здесь в том же виде, в каком тогда получил. ☞



Они воспроизведены фотографическим способом, который в точности передает пятна от слез, но не показывает, с какой силой давило перо на бумагу, во многих местах ее прорывая.

— Катастрофический возврат к пройденной ступени развития с быстрым исцелением в конце, — сказал я. — Что означают эти каракули, Бакстер? На — ну возьми же их назад. Только ты и можешь их расшифровать.

Бакстер вздохнул и ровно, без дрожи в голосе прочел:

«Нет нет нет нет нет нет нет нет нет, помогите слепому младенцу, бедная девочка помогите помогите обоим, попраны нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет, нет где моя дочь, нет помощи слепым младенцам бедным девочкам я рада что укусила мистера Астли».

Бакстер положил письмо, вынул носовой платок, сложил в несколько раз (все платки у него были в четверть простыни) и зарылся в него лицом. На мгновение я испугался, что он хочет себя задушить, но затем по сдавленным взрывчатым звукам я понял, что он использует платок для поглощения секрета экзокринных желез. Когда он отнял его от глаз, они необычно блестели.

— А дальше? — спросил я, сгорая от нетерпения. — Что дальше? Следующая запись что-нибудь разъясняет?

— Нет, но из дальнейшего все становится понятно. Оставшиеся записи сделаны спустя недели или даже месяцы после ее романа с Гарри Астли...

— РОМАНА! — вскричал я.

— Успокойся, Свичнет. С ее стороны это было чисто платоническое увлечение. И оно помогло ее умственному развитию, что видно по почерку, который внезапно становится убористым, прямым и ровным; по написанию слов, которое стремительно приближается к словарным нормам; по разграничивающим записи прямым горизонтальным линиям, которые пришли на смену легкомысленным звездочкам. Но ярче всего ее взросление проявляется в содержании записок. Тут и духовные прозрения восточного мудреца, и аналитическая острота Дэвида Юма и Адама Смита.

Слушай же!

16 *Александрия — Гибралтар: горькая мудрость Астли*

Долгие недели меня мучили мысли. Единственным развлечением были споры с Гарри Астли. Он говорит, что я обрету покой, лишь если заключу в объятия его горькую мудрость — и его самого. Я не желаю ни того, ни другого — разве что в яростной схватке. Он говорит, что сильные всегда будут попирать беззащитных, потому что в этом источник их силы. Я отвечаю, что если это верно, то мы должны перестать так жить. Он дал мне книги, где, по его словам, доказано, что это невозможно: «Опыт о законе народонаселения» Мальтуса, «Происхождение видов» Дарвина и «Мученичество человека» Уинвуда Рида. От них у меня болит голова. Сегодня, когда я перевязывала ему руку, он сказал, что год назад овдовел, а потом спросил:

— Ведь вы с Паррингом не состоите в законном браке, правда?

— Как это вы догадались, мистер Астли?

— Прошу вас, зовите меня Гарри.

Его рука почти зажила, хотя большой палец еще плохо двигается — мои зубы оставили круглый шрам у его основания, где они едва не сомкнулись. Он задумчиво сказал:

— Эта отметина у меня навсегда.

— Боюсь, что так, Гарри.

— Могу я считать ее обручальным кольцом? Пойдете ли вы за меня замуж?

— Нет, Гарри. Я помолвлена с другим.

Он спросил, кто мой жених, и я рассказала ему про Свечку. Когда повязка была готова, он сказал, что знаком со многими знатными дамами, включая герцогиню Сазерлендскую и принцессу Луизу Коннотскую, но не встречал большей аристократки, чем я.

Доктор Хукер сошел с корабля в Марокко, не попрощавшись и не забрав свой Новый Завет. Он дал мне эту книгу, чтобы я обрела покой во Христе, но не вышло. Христос был так же сокрушен всеобщей жестокостью и безразличием, как я. Он тоже с ужасом обнаружил, что в одиночку должен сделать людей лучше, чем они есть. Правда, у него было передо мной преимущество — он мог совершать чудеса. Я спросила доктора Хукера, как бы поступил Христос с моей голодной дочкой и слепым младенцем.

— Христос возвращал слепым зрение, — ответил бедный доктор Хукер, которому явно было не по себе.

— Что бы он для них сделал, если бы НЕ мог вернуть им зрение? — спросила я. — Прошел бы мимо, как дурная самарянка?

Я думаю, именно поэтому он сегодня покинул «Нежнейшую любовь». Он не хочет жить, как Христос, но в отличие от Гарри Астли не решается об этом заявить.

Астли, Хукер, Парень — все несчастны из-за одного надтреснутого колокольчика-Белл. Беда с Паррингом случилась после того, как я вернулась из Александрии. Я бросилась к нему в каюту и давай давай давай давай парила и парила и парила его, наконец он взмолился, чтобы я перестала, сказал, что больше нет сил, но я заставила его дать больше — только так я могла прогнать мысли об увиденном. Я измочалила его парьбой, измочалилась сама, а потом мысли все-таки вернулись. Я предавалась им дни напролет, не говоря ему ни слова. Вчера вечером глупышка расплакался, стал просить прощения.

— За что? — спросила я. Похоже, он не поверил тому, что мои слезы и черные мысли вызваны видом нищих в Александрии, и решил, что причина — он сам, толкнувший меня на проституцию в Германии. Я рассмеялась и сказала, что ничего подобного и в помине не было, что деньги были его собственные, я взяла их у него, когда он заснул в ночь после выигрыша. Поначалу он не верил, потом надулся и долго повторял: «МОИ деньги! МОИ деньги!» Я попыталась утешить его новой парьбой, но с криком «НЕ ПОКОРЮСЬ!» он вывернулся и лег спиной ко мне, ногами на подушку. И всю ночь я то и дело слышала бормотанье, исходившее от изножья кровати: «МОИ деньги. МОИ деньги».

Гарри злой, ему нравится, что люди жестоко поступают и жестоко страдают, и он хочет убедить меня в том, что зло необходимо. Если он своего добьется, я тоже стану злая. Я его слушаю, потому что мне надо знать все, что знает он. Он такой же искренний, как Бог, и рассказывает вещи, которых Бог никогда не рассказывал, — все это я должна изменить, поэтому записываю для памяти.

ЖЕНСКАЯ ПРАЗДНОСТЬ. Наполеон считал женщину наградой и отдыхом воина. В Англии жена — это публичное украшение и частный увеселительный сад богатого землевладельца, промышленника или профессора. Ей заказаны радости материнства, ибо после тяжких родов ее потомство ласкают и воспитывают служанки. Считается, что животное удовольствие грудного вскармливания унижает ее достоинство, что сам половой акт унижает ее достоинство, — и при всем том она такое же никчемное, несвободное и несчастное существо, как одалиска в турецком гареме. Если умной женщине из этого сословия не достанется сверх обычного чуткий муж, ее жизнь может стать такой же тяжкой, как жизнь ланкаширских ткачих, медленно гибнущих от удушья. Вот почему вы должны выйти за меня, Белла. Вы будете моей рабыней только номинально, но не на деле.

ВОСПИТАНИЕ. Беднейшие из детей учатся у собственных родителей попрошайничать, лгать и воровать — иначе им не выжить. Состоятельные родители втолковывают детям, что нельзя лгать, красть и убивать, что праздность и азартная игра — пороки. Затем они посылают детей в школы, где те жестоко страдают, если не умеют скрывать свои мысли и чувства, где их учат восхищаться убийцами и грабителями вроде Ахилла, Улисса, Вильгельма Завоевателя и Генриха Восьмого. Тем самым их готовят к жизни в стране, где богатые люди протаскивают через парла-

мент законы, лишающие бедных их жилищ и средств к существованию, где незаработанный доход можно увеличить азартной игрой на бирже, где тот, кто больше всех имеет, меньше всех работает и развлекается охотой, скачками и втягиванием своей страны в войну. Мир представляется вам ужасным, Белла, потому что вы не извращены ему под стать должным воспитанием.

СОРТА ЛЮДЕЙ. Люди делятся на два сорта. Счастливей всех те невинные, кто считает каждое явление и каждого человека в основе своей хорошим. Так думает большинство детей, и так думали вы, пока Хукер, вопреки моему противодействию, вас не просветил. Второй и самый многочисленный сорт составляют легкомысленные оптимисты — люди, способные на умственный трюк, позволяющий им не испытывать неудобств при виде голода и несчастий. Они полагают, что обездоленные заслужили свои беды, или что нация, к которой принадлежат они сами, лечит, а не причиняет эти страдания, или что Бог, Природа, История в один прекрасный день сделают все как надо. К этому сорту принадлежит доктор Хукер, и я рад, что его риторика не заслонила от ваших глаз факты. К третьему, самому редкому сорту относятся те, кто понимает, что человеческая жизнь есть по сути своей тяжкая болезнь, которую может излечить только смерть. Нам хватает сил жить сознательно среди живущих слепо. Мы — циники.

— Должен быть и четвертый сорт, — перебила я, — потому что я больше не невинное дитя и меня одинаково не устраивает то, что говорит доктор Хукер, и то, что говорите вы.

— Вы ищете путь, которого не существует.

— Уж лучше я буду искать до конца своих дней, чем стану глупым ребенком или эгоисткой — неважно, оптимистического или циничесого толка, — сказала я. — И мужа своего я тоже отправлю на поиски.

— Нелегко ему с вами придется.

ИСТОРИЯ. Крупные нации создаются в результате успешных грабительских походов, и поскольку история большей частью пишется сторонниками завоевателей, она обычно утверждает, что ограбленным стало от их потерь только лучше и что они должны быть за них благодарны. Грабеж случается и внутри страны. Король Генрих Восьмой ограбил английские монастыри, которые одни в ту эпоху открывали больницы и школы, давали приют бездомным. Английские историки признают, что король Генрих был жадным, вспыльчивым и жестоким, но говорят, что при этом он сделал массу добра. Они принадлежат к сословию, которое обогатилось за счет церковных земель.

ВЫГОДЫ ВОЙНЫ. Своими преимуществами индустриальной нации Британия обязана Бонапарту. Чтобы сражаться с ним по всей Европе, правительство установило высокие налоги, обременявшие главным образом бедных, и бóльшую часть этих денег истратило на постоянно пополняемые запасы обмундирования и обуви, на пушки и боевые суда. Строились разнообразные фабрики и заводы. Множество здоровых мужчин воевало за границей, но благодаря новым машинам фабриканты научились обходиться дешевым женским и детским трудом. Это настолько взвинтило доходы, что мы стали строить поезда, броненосцы и создали обширную новую империю. Мы перед Бони в огромном долгу.

БЕЗРАБОТИЦА. Наполеоновские войны, закончившись, оставили по себе так много голодных и безработных, что для обсуждения вопроса собрался парламентский комитет — правительство боялось революции. Фабрикант-социалист Роберт Оуэн предложил, чтобы все фирмы и предприятия, доход которых превысил пять процентов, тратили излишки на питание, жилье и школы для семей своих рабочих, вместо того чтобы использовать их для борьбы с конкурентами. Мальтузианцы, однако, доказали, что чем лучше бедняки питаются, тем быстрее они плодятся. Нищета, голод и болезни могут побудить кого-нибудь украсть из пекарни булку или возмечтать о революции, но они же делают революцию менее вероятной, лишая неимущих телесных сил и сокращая их численность вследствие высокой детской смертности. Не вздрагивайте, Белл. В чем Британия нуждалась — и что получила! — это солдатские казармы возле каждого промышленного города, сильная полиция, громадные новые тюрьмы; а также приюты для бедняков, где детей отделяют от

родителей, а жен от мужей, — места, сознательно сделанные столь жуткими, что всякий, кто сохранил хоть каплю уважения к себе, лучше потратит последние пенсы на дешевый джин и замерзнет в канаве, чем пойдет в приют. Вот как мы устроили жизнь богатейшей промышленной державы мира, и работает это прекрасно.

СВОБОДА. Я уверен, что понятие свободы появилось не раньше, чем выдумали рабство. Древние греки перепробовали все формы правления — монархию, аристократию, плутократию, демократию — и яростно спорили, какая система дает людям больше свободы, но при каждой из них держали рабов. Так же вели себя и деятели Римской республики. И гордые сквайры, основавшие США. Да, единственное верное определение свободы — отсутствие рабства. Вы могли слышать это в известной песне:

Правь, Британия! Правь в просторе морском!

Никогда, никогда, никогда британец не будет рабом![1]

В дни доброй королевы Бесс мы, англичане, были так возмущены жестокостью, с которой испанцы порабощали американских индейцев, что грабили их корабли с сокровищами невзирая на то, находились мы с ними в состоянии войны или нет. В 1562 году сэр Джон Хокинс (который впоследствии стал казначеем флота и героем битвы с Армадой) положил начало британской работорговле, отобрав у португальцев в Африке негров-рабов и продав их испанцам в Новый Свет. Парламент ввел за подобную торговлю уголовное наказание в 1811 году.

— Очень хорошо! — обрадовалась я. — А теперь и американцы запретили рабство.

— Да. Оно приносило доход только плантаторам-южанам. Современному промышленнику дешевле нанимать людей на дни или недели: когда нужда в них отпадает, они свободны клянчить работу у других хозяев. Когда много свободных людей ходит и клянчит работу, хозяева могут свободно понижать жалованье.

СВОБОДА ТОРГОВЛИ. Да, наш парламент понимает свободу как возможность для нас повсюду покупать подешевле и продавать подороже, используя наши армию и флот. Мы режем голодающие страны на части, как плотник пилит доску. Слушайте теперь внимательно, Белл.

Индийские ткачи выделывали лучшие в мире полотно и муслин, и только британские купцы могли свободно ими торговать — французы попытались было, так мы их выдворили из Индии. Потом британцы научились ткать более дешевое полотно на своих собственных фабриках с помощью станков, так что теперь нам нужны были индийский хлопок-сырец и ангорская шерсть, и мы стали препятствовать другим странам покупать индийские ткани. Через некоторое время один из губернаторов, которых мы посылаем в Индию, докладывал, что равнины близ Дакки усеяны костями ткачей.

Знаете ли вы, что восемь из каждых десяти ирландцев питались картофелем? Это были крестьяне, чья бедная земля почти ничего больше не рождала, а деньги, которые они выручали за прочие культуры, шли на арендные платежи землевладельцам. Те произошли от английских завоевателей, поэтому плодородные земли, где можно было выращивать злаки, принадлежали им. Тридцать пять лет назад внезапная болезнь уничтожила урожай картофеля, и крестьяне начали голодать. В голодные времена люди, обладающие большими запасами продовольствия, норовят вывезти его из страны, потому что голодающие слишком бедны, чтобы платить за него хорошую цену. Британский парламент обсуждал предложение закрыть ирландские порты до тех пор, пока ирландское зерно не будет съедено самими ирландцами. Предложение отклонили — оно шло вразрез со свободой торговли. Вместо этого мы послали солдат, чтобы они обеспечили беспрепятственную доставку зерна на корабли. Почти миллион человек умерли голодной смертью; полтора миллиона уехали из страны. Те, кто оказался в Британии, соглашались работать за такое низкое жалованье, что британским рабочим можно было теперь платить меньше, и доходы промышленников выросли как никогда. Вам пора идти на корму.

Он знает, что, когда я не в силах больше терпеть, я бегу на корму и перегибаюсь через борт, чтобы ветер уносил в море мои вопли и рыдания. Но на этот раз я

[1] Строки из британского гимна.

сурово на него взглянула и спросила, голосовал бы он или нет против закрытия портов, если бы был в парламенте. Я не укусила бы его, если бы он ответил «да», — просто плюнула бы ему в лицо. Но он тихо сказал:

— Я не осмелился бы голосовать против, если бы знал, что потом мне придется иметь дело с вами, Белл.

Я чуть было не назвала его бесом-хитрюгой, но опомнилась — вышло бы похоже на разговоры Парня. Я сглотнула слюну и ушла.

ИМПЕРИЯ. Во всяком густонаселенном месте Земли неизбежно возникала империя — Персия, Греция, Италия, Монголия, Аравия, Дания, Испания и Франция шли по очереди, сменяя друг друга. Наименее воинственной, но самой крупной и долговечной империей была китайская. Мы уничтожили ее двадцать пять лет назад, потому что ее правители не позволяли нам продавать там опиум. Британская империя росла очень быстро, но не исключено, что через два или три столетия полуголые потомки Дизраэли и Гладстона будут нырять в Темзу с опор разрушенного Лондонского моста за монетками, которые забавы ради будут бросать туда туристы из Тибета.

САМОУПРАВЛЕНИЕ. Я спросила, есть ли на свете страны, населенные приветливыми, зажиточными людьми, которые сами собою правят.

— Да. В Швейцарии несколько небольших республик с различными языками и религиями мирно живут бок о бок в течение столетий — дело в том, что высокие горы отделяют их друг от друга и от окружающих народов. Чтобы усовершенствовать мир, Белла, вам надо всего лишь возвести высокую гору между каждым городом и его ближайшим соседом или же рассечь все континенты на множество островов равного размера.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ МИРА. Да, я предвижу, Белл, что, несмотря на мои наставления, вы захотите стать легкомысленной оптимисткой современного толка, из тех, кто стремится уничтожить богатство и нищету, разделив все поровну.

— Но это здравый смысл, и ничего больше! — воскликнула я.

— Имеются четыре секты, которые думают так же, но по-разному собираются воплотить эту идею в жизнь.

СОЦИАЛИСТЫ хотят, чтобы бедные выбрали их в парламент, где они введут высокий налог на доходы богатых и примут законы, дающие каждому право на производительный труд в хороших условиях, на хорошую пищу, жилье, образование и лечение.

— Замечательная мысль! — воскликнула я.

— Да. Прекрасно. Другие преобразователи мира указывают, что парламент — это тесный союз монархов, лордов, епископов, юристов, торговцев, банкиров, биржевиков, промышленников, военных, землевладельцев и чиновников, которые заседают там С ЕДИНСТВЕННОЙ ЦЕЛЬЮ — ради защиты своих богатств. Поэтому социалистов, если их туда изберут, непременно перехитрят, или купят, или расколют на части компромиссами. Я согласен с этим предсказанием.

И вот КОММУНИСТЫ набирают в свою партию людей из всех классов общества — людей, которые будут терпеливо работать и дожидаться дня, когда в стране случится серьезная финансовая неприятность; тогда они совершат переворот и станут правительством — на короткое время. Мы, говорят коммунисты, останемся у власти лишь до тех пор, пока каждый не получит все необходимое и не будет в состоянии его сохранить; после этого они обещают распустить свою партию, потому что ни они, ни иное правительство уже не будут нужны.

— Ура! — возликовала я.

— Да, ура. Но другие преобразователи мира утверждают, что группы, которые приходят к власти через насилие, всегда стремятся увековечить свою власть путем того же насилия и становятся новой тиранией. Я с этим согласен.

ВОИНСТВУЮЩИЕ АНАРХИСТЫ, или ТЕРРОРИСТЫ, ненавидят тех, кто стремится к власти, так же сильно, как тех, кто ею обладает. Так как прочие классы зависят от людей, работающих на полях, шахтах, заводах и транспорте, они говорят, что эти рабочие должны оставлять у себя все, что производят, обходиться без денег, обменивая товар на товар, а от тех, кто захочет ими править, обороняться бомбами.

— Так и надо! — воскликнула я.

— Согласен. Но я также согласен с теми, кто утверждает, что полиция и армия — самые беспощадные террористы из всех. К тому же зажиточные слои держат в руках ключи от складов провианта и топлива, чьими бы руками они ни были произведены и добыты.

Так что ваша последняя надежда — ПАЦИФИСТЫ, или МИРНЫЕ АНАРХИСТЫ. Они говорят, что усовершенствовать мир можно, лишь совершенствуя самих себя и действуя на других личным примером. Это означает — ни с кем не враждовать, раздавать деньги и жить либо добровольными пожертвованиями, либо трудом своих рук. Этим путем шли Будда, Иисус и Святой Франциск, а в нашем столетии — князь Кропоткин, граф Лев Толстой и американский писатель, фермер и холостяк Торо. Это движение привлекает множество безвредных аристократов и писателей. Они раздражают правительства своим отказом платить налоги, считая взимание их безнравственным, и тут они правы, потому что налоги главным образом идут на армию и вооружение. Впрочем, полицейские забирают в тюрьмы и секут только рядовых пацифистов. Знаменитых почитатели избавляют от серьезных неприятностей. Если подадитесь в политику, Белл, становитесь пацифисткой-анархисткой. Вас на руках будут носить.

— Ох, что же мне делать? — выкрикнула я сквозь слезы.

— Пойдемте на корму, Белл, и я вам скажу, — ответил он.

РЕЦЕПТ АСТЛИ. Мы облокотились на борт, глядя, как от кормы по ленивым, блестящим в лунном свете волнам расходятся пенные борозды; и он сказал:

— Душераздирающее материнское чувство, которое вы испытываете к обездоленным мира сего, есть животный инстинкт, лишенный своей естественной цели. Выходите замуж и заводите детей. Выходите за меня. На моих угодьях есть ферма и даже целая деревня — вообразите, какие откроются возможности. Будете воспитывать детей (мы их в общую школу не отдадим), заставите меня усовершенствовать канализацию для всей округи, понизить арендную плату. Я дам вам шанс стать настолько счастливой и добродетельной, насколько это возможно для умной женщины на нашей гадкой планете.

Я ответила:

— Ваше предложение не соблазняет меня, Гарри Астли, потому что я не люблю вас; но это самая хитрая приманка, какую вы только могли подкинуть женщине, чтобы заставить ее вести совершенно эгоистическую жизнь. Благодарю вас, нет.*

— Тогда дайте на секунду вашу руку.

Я так и сделала и тут впервые поняла, кто он такой на самом деле — измученный маленький мальчик, который ненавидит жестокость так же, как и я, и считает себя сильным мужчиной, потому что способен притвориться, что любит ее. Он такой же бедный и несчастный, как моя потерянная дочка, но только внутри. Снаружи он безупречно спокоен. У каждого должна быть своя уютная оболочка, этакое мягкое пальто с карманами, полными денег. Я непременно стану социалисткой.

Уныние не давало мне думать о хорошем, Бог, поэтому я не вспоминала о тебе до сегодняшнего утра. Меня разбудил шум, словно от сильного дождя, и я лежала, раздумывая, как он освежит салат для Мопси и Флопси, как я вскоре буду завтракать вареными яйцами, почками и копченой рыбой, а ты будешь хлебать свое пойло с пузырями, как мы потом пойдем навещать и лечить больных зверюшек в нашей лечебнице. Пронежившись много минут в довольстве и покое, я открыла глаза и увидела подле себя пятки Парринга, а в щелях жалюзи, — солнечный свет. Я сообразила, что звук, похожий на шум дождя, исходит от эвкалипта, который растет возле отеля; его твердые глянцевые листья от ветра колотятся и шаркают друг о друга. И все же спокойное довольство не улетучилось. Воспоминание о тебе отогнало прочь ужас и слезы, потому что ты умнее и лучше, чем доктор Хукер и Гарри Астли, вместе взятые. Ты никогда не говорил, что жестокость к беспомощным — это хорошо, или неизбежно, или несущественно. Когда-нибудь ты объяснишь мне, как изменить то, о чем я не могу даже написать — стоит начать, и слова станут ОГРОМНЫМИ, гласные исчезнут, чернила размажутся от слез.

Раздался стук в дверь, и мне сказали, что бачок с кипятком стоит в коридоре.

Я не брила Парня с самой Александрии и решила наконец-то этим заняться. Вскочила на ноги, живо умылась и оделась, проложила полотенце между его головой и подушкой, намылила ему лицо. Оказалось, это гораздо легче делать, когда он лежит наоборот. Он молчал и не открывал глаз, но я знала, что ему приятно, ведь он терпеть не может бриться сам. Соскоблив щетину, я напомнила ему, что сегодня отправляется пароход в Глазго через Лисабон и Ливерпуль, что на нем плывет мистер Астли и что он предлагал заказать нам каюту. Все еще не открывая глаз, Парень сказал:

— Мы отправляемся в Париж через Марсель.

— Но почему, Данкан?

— Раз даже такая ворюга-шлюха, как ты, не хочет выйти за меня замуж, только Париж и остается. Отвези меня туда. Передай меня с рук на руки мидинеткам и зеленой малютке-фее, а там выходи за кого хочешь — хоть за англичанина, хоть за американца, хоть, ха-ха, за грязного русского.*

Парень стал намного веселей с тех пор, как решил, что из нас двоих исчадие ада не он, а скорее уж я. Я сказала:

— Но Данкан, нам не на что будет жить в Париже. Денег у меня только на обратный путь.

Это была неправда. Твои деньги, Бог, все еще под подкладкой моего дорожного *жакета, но я чувствовала, что самым милосердным способом избавиться от Парня (который теперь о парьбе и слышать не хочет) будет вернуть его к матери. Он сказал:*

— Тогда я останусь в Гибралтаре, пока не продам свои последние облигации «консолидированной ренты»; и знай, женщина, ты никогда больше не украдешь и не выманишь у меня ни пенса — всё буду при себе держать. Если тебя так заботят деньги, лучше расставайся со мной сегодня же и возвращайся в Британию со своим драгоценным Астли.

Эта мысль мне понравилась, но я не могла бросить Парня одного в такой дали от дома. Я ничего не знаю о мидинетках и зеленой малютке-фее, но если они будут к нему добры, пусть поживет с ними в Париже, а я вернусь в Глазго одна.

Как обычно, он захотел, чтобы ему принесли чай и тосты в постель. Я пошла в столовую, распорядилась об этом и в последний раз позавтракала с Гарри Астли. Писала ли я тебе, что он вдовец и давно уже догадался, что я не замужем? За яичницей с ветчиной (это британский отель, хотя обслуживают испанцы) я увидела, что он вновь собирается делать предложение, и предотвратила это, сказав, что выйду замуж только за преобразователя мира. Он вздохнул, побарабанил пальцами по скатерти и сказал, что мне следует остерегаться мужчин, которые рассуждают о преобразовании мира — многие используют такие разговоры, чтобы завлекать женщин моего сорта.

— Что же это за сорт? — спросила я, заинтригованная. Он отвернулся и холодно произнес:

— Сорт храбрых и добрых женщин, которые сочувствуют несчастным всех стран и сословий и сочувствуют также черствым, богатым и себялюбивым.

Я почти растаяла.

— Встаньте, Гарри, — сказала я.

Его, должно быть, с детства приучили слушаться — хотя он был явно ошарашен и столовая была полна народу, он немедленно встал, выпрямившись, как солдат. Я шагнула к нему, притиснула ему руки к бокам своим руками и поцеловала его долгим поцелуем, пока не почувствовала, что он весь дрожит. Потом прошептала: «До свидания, Гарри», — и поспешила наверх к моему усталому старому Парню. Они с Гарри очень схожи, хотя нервы у Гарри, конечно, покрепче. Выходя из столовой в коридор, я в последний миг взглянула назад. Иностранцы смотрели на меня во все глаза, англичане же делали вид, что ничего не случилось. Гарри Астли, истый англичанин, сосредоточился на завтраке.

Свечка, не ревнуй. Это был единственный поцелуй, который Гарри от меня получил, и никаким говорунам не удастся завлечь Белл Бакстер. Когда я вернусь домой, Бог, ты объяснишь нам, как усовершенствовать мир, а потом, Свечка, мы с тобой поженимся и это сделаем.

17 Гибралтар — Париж: последний побег Парринга

Наконец-то без Парня! И собственная маленькая комнатка на узкой улочке в самом сердце прекрасного, здорового Парижа! Помнишь, как мы здесь были в давние времена? Как таращились в Лувре на громадные картины? Как ели за маленькими столиками в саду Тюильри? Как ходили к профессору Шарко в больницу Сальпетриер и как он вовсю старался меня загипнотизировать? В конце концов я прикинулась, будто это ему удалось, потому что не хотела, чтобы он попал впросак перед огромной аудиторией восторженных студентов. Я думаю, он видел, что я притворяюсь, — вот почему он так хитро улыбнулся и объявил, что я самая душевно здоровая англичанка, какую он когда-либо обследовал. Сейчас расскажу, как я вновь сюда попала.*

В Гибралтаре Парень заставил меня ждать за дверью банка, пока он брал там деньги. Он вышел с той самодовольной беспечностью, которой я раньше так восхищалась, хотя теперь понимаю, что под ней одна пустота. Пока мы плыли в Марсель, он ко всякой еде заказывал вино. Раньше такого не водилось. Я-то не пила, у меня от одного глотка голова кружится, но он говорил, что без вина еда не еда и что французы пьют его все поголовно. В отличие от «Нежнейшей любви», этот пароход был пассажирский. Вечерами Парень играл с другими пассажирами в карты в углу кают-компании и приходил, когда я уже давно спала. В ночь накануне прибытия в Марсель он вернулся в каюту, насвистывая и приговаривая:

— Радость моя, голубка моя, птичка моя певчая, куропаточка, шотландский синий колокольчик, права ты была! Не азартные, а коммерческие игры — конек твоего мужчины.

Он пересчитал выигрыш и лег в постель головой куда надо, чего не бывало много дней. Я уже предвкушала то, что он назвал нашим новым медовым месяцем, — и вдруг он заснул. Он, но не я. Я наперед знала, что случится, и понимала, что воспрепятствовать этому не могу.

Мы не поехали сразу из Марселя в Париж, а остановились в отеле, который присоветовал ему один из картежников на корабле. Тот же приятель привел его то ли в кафе, то ли в клуб, то ли в карточную школу, где он играл каждый вечер, пока я дожидалась его в отеле, чашку за чашкой поглощая шоколад и тоскуя над страницами «О законе народонаселения» Мальтуса. Парню понадобилось пять дней, чтобы спустить все, что у него было. Он перенес это лучше, чем я ожидала; вернувшись однажды вечером в отель, он сказал:

— Опять казни меня или милуй, Белл. Может быть, у тебя найдется, чем расплатиться за отель, — я проигрался в пух. Но таким ты, кажется, больше меня любишь.

Мне не хотелось, Бог, пускать в ход твои деньги без крайней нужды. Я положила в саквояж самое необходимое, прихорошилась сама, прихорошила Парня и пошла с ним прогуляться в сторону вокзала, где мы сели на ночной парижский поезд. Пока ждали отправления, Данкан раз или два порывался уйти, упрашивая меня отпустить его в отель за несессером, где лежали щетки с серебряной инкрустацией, доставшиеся ему от отца. Но я сказала:

— Нет, Парень, ведь жить-то мы в номере жили. Будь доволен, что отель получит от нас хоть что-то взамен.

Я была так рада уехать из Марселя, что сладко проспала всю ночь, сидя прямо, как палка, на деревянной скамье во французском вагоне третьего класса.

Когда приехали в Париж, я поняла, что Парень за всю ночь глаз не сомкнул и вот-вот рухнет. Я потащила его по кривым улочкам на той стороне реки, что победнее, — там больше недорогих отелей, но все они были еще закрыты. На булыжной площадке, где сходились три переулка, я села сама и усадила его за столик кафе. Я сказала:

— Побудь пока тут, Парень. Я пойду на вокзал, откуда идут поезда на Кале, и куплю билеты. Через три дня мы будем в Глазго.

— Это невозможно — мое доброе имя безвозвратно погибнет. Мы ведь не муж и жена.

— Тогда, милый Данкан, вернемся в Глазго раздельно.

— Злодейка! Чертовка! Я ли не доказал, что люблю тебя и без тебя не могу? Расставание разобьет мое сердце,— и так далее, и тому подобное.

— Ты же говорил, что хочешь побыть у каких-то знакомых в Париже. Помочь тебе это устроить?

— У каких еще знакомых?

— У мидинеток и зеленой малютки-феи.

— Ха-ха, от собственного пороха взлетел.*

Когда Парень не желает растолковывать свои странные речения, он прибегает к помощи других, не менее странных. В это время официант, готовивший кафе к открытию, спросил, нужно ли нам что-нибудь, и Парень сказал:

— Ун абсент.

Официант ушел и вернулся с рюмочкой, наполненной, как мне показалось, водой, и бокалом с водой же. Парень добавил несколько капель из бокала в рюмку и поднял ее на свет. Жидкость в ней стала мутновато-зеленой.

— Здравствуй, зеленая малютка-фея! — воскликнул он и опрокинул рюмку одним махом. Затем крикнул официанту «Ун отр!», положил руки на стол и уткнулся в них лицом. Тут из ближайшей двери под вывеской «Hôtel de Notre-Dame» вышел хорошо одетый человек.

— Посиди минутку, Данкан, — сказала я и заглянула внутрь.

Вестибюль был такой узкий, что стоявший посередине массивный стол красного дерева едва не делил его пополам. Входящим и выходящим приходилось протискиваться у стен. За столом сидела женщина, похожая на королеву Викторию, только моложе и дружелюбнее, опрятная, живая, маленькая толстушка в черном шелковом вдовьем платье.

— Вы говорите по-английски, мадам? — спросила я.

— Это мой родной язык, милочка, — ответила она с лондонским выговором, — и чем могу служить?

Я объяснила, что снаружи меня ждет один бедняга, которому совершенно необходим отдых, что у нас мало денег и почти нет багажа, поэтому нам нужен самый маленький и дешевый номер. Она сказала, что я попала как раз куда надо — комнатка будет стоить только двадцать франков за первый час, плата вперед, и двадцать за каждый дополнительный час или долю часа, их мы уплатим, когда будем уходить. Номер только освободился и будет готов минут через десять-пятнадцать — а где же мой друг поджидает? Я сказала, глотает зеленых фей в соседнем кафе. Она спросила, не сбежит ли. Я, смеясь, ответила:

— Нет, а как бы хорошо!

Она тоже засмеялась и предложила скоротать время за чашкой кофе. Она сказала:

— Судя по вашему выговору, вы из Манчестера, а я уж сколько лет не беседовала по душам с простой и разумной английской женщиной.

Я вышла сказать Парню о знакомстве. Он посмотрел на меня туманным взором и проглотил еще одну зеленую фею. Я вернулась обратно.

Она сообщила мне, что когда-то звалась Миллисент Мун из Севен-дайелс[1] и мечтала заняться гостиничным делом, но лондонские правила не дают новичкам развернуться, поэтому она уехала в Париж, где их, наоборот, поощряют. В отеле «Notre-Dame» она вначале работала на самой низкой должности, но вскоре стала настолько незаменимой, что хозяин на ней женился, так что она стала мадам Кронкебиль, но я могу называть ее Милли. Она сама сделалась хозяйкой после франко-прусской войны, когда коммунары повесили Кронкебиля на фонаре из-за его международных симпатий. Она оплакала его кончину, но взялась за дело с ловкостью и сноровкой, которые понимающие люди очень ценят. Вообще с французами куда легче иметь дело, чем с англичанами. Англичане прикидываются честными и практичными, но на самом-то деле они все с вывертами. Только французы знают толк в главном — правда ведь? Я ответила:

— Не могу сказать, Милли. Главное — это что?

— Деньги и любовь. Что же еще?

— Жестокость.

Она засмеялась и сказала, что это очень по-английски, но люди, которые любят жестокость, должны за нее платить, и это доказывает, что любовь и деньги все равно на первом месте. Я спросила, что она имеет в виду. Она уставилась на меня и спросила, что я имею в виду. Я ответила, что боюсь рассказывать. Тут ее ласковость и веселость исчезли, и, понизив голос, она спросила, не причинил ли мне мужчина какого вреда.

— Нет, что вы, Милли, — мне-то за всю жизнь никто вреда не причинял. Я

[1] Севен-дайелс — один из сомнительных районов Лондона.

говорю о гораздо худшем.

Я вся дрожала и уже готова была заплакать, но она взяла меня за руки. Это придало мне сил, и я рассказала ей о том, что случилось в Александрии. Теперь я и тебе, Бог, могу об этом рассказать, но это настолько важно, что я проведу вначале еще одну разделяющую черту.

Мистер Астли и доктор Хукер привели меня в отель где мы сидели среди хорошо одетых людей как мы сами за одним из столиков на веранде ели пили болтали а толпа полуголых людей детей большей частью смотрела на нас через пустое пространство где прохаживались двое мужчин с бичами я думала это игра такая веселая потому что многие в толпе развлекали тех кто на веранде кланяясь умоляя извиваясь всем телом смешно кривляясь пока кто-нибудь на веранде не бросал монетку или горстку монет в пыль тогда один или двое из кучи кидались падали хватали царапали землю вопили а люди за столиками смеялись или хмурились или отворачивались и тогда люди с бичами что стояли скрестив руки и прикидывались будто не видят вдруг просыпались и обрушивали на толпу удары рассекали ее что тоже вызывало смех а мистер Астли сказал потомки творцов сфинкса а доктор Хукер сказал этим и вправду сочувствуешь и показал на худенькую девочку слепую на один глаз с большеголовым младенцем слепым на оба она одной рукой держала его у груди другую тянула вперед сжимала разжимала поводила ею туда сюда бессознательно как в трансе и я стояла в трансе потом двинулась к ней наверно мужчины кричали и последовали за мной я пересекла промежуток вошла в толпу нищих стала вынимать из сумки кошелек чтобы положить ей в руку но тут его кто-то схватил денег всегда недостаточно может это моя дочь была я встала на колени обняла ее и младенца подняла их пошла вслепую спотыкаясь назад среди увечных слепых детей стариков с гнойными язвами вопящих царапающихся давящих друг друга ради монет из разорванного кошелька я влезла на веранду служитель отеля сказал этим сюда нельзя я сказала я их беру с собой а мистер Астли сказал миссис Парринг ни портовая охрана ни капитан не позволят вам взять их на корабль а младенец хныкал и был весь мокрый но девочка вцепилась в меня другой рукой я уверена она поняла что нашла мать но нас растащили ИЗ ЭТОГО ДОБРА НЕ ВЫЙДЕТ взревел доктор Хукер меня в жизни так не оскорбляли не обижали как мог он сказать такое мне доброй как все люди до мозга костей ЭТО У МЕНЯ ДОБРА НЕ ВЫЙДЕТ? заорала я не веря своим ушам но мистер Астли отчетливо сказал никак не выйдет и я попыталась закричать как ты закричал однажды Бог я хотела чтобы все вокруг в обморок попадали но Гарри Астли прижал к моему рту ладонь О радость о наслаждение вонзить в нее зубы.

Вкус крови меня отрезвил. Я к тому же была удивлена тем, что мистер Астли не скорчился и не застонал. Он только чуть нахмурился, но две секунды спустя весь побелел и потерял бы сознание, если бы доктор Хукер и я не отвели его в помещение и не усадили на диван в глубине вестибюля. Доктор Хукер велел принести горячую воду, йод и чистые бинты, но хотя у него диплом медика, именно я обмыла, перевязала рану и наложила жгут. Я также сказала Астли, что виновата перед ним. Вялым голосом он ответил, что чистая, нежданная телесная рана, при всей ее болезненности, — блошиный укус для выпускника Итона.

Пока мы ехали в экипаже обратно на пароход, я сидела молча и прямо, глядя только вперед, и слушала, что они говорили. Доктор Хукер сказал, что теперь мне должно быть понятно, какая великая задача стоит перед англосаксонской расой и почему Отец наш небесный сотворил загробную жизнь, вознаграждающую человека за земные невзгоды. Но в то же время, сказал он, не следует преувеличивать тяжесть того, что мы видели. Отверстые язвы и тому подобное служат для тех, кто выставляет их напоказ, источником дохода, и нищие, как правило, живут лучше, чем честные труженики. Девочка и младенец притерпелись к своему состоянию, их нельзя назвать несчастными в нашем понимании — в Египте они, безусловно, живут и лучше, и свободнее, чем жили бы в цивилизованной стране. Он сказал, что восхищен тем, как быстро я оправилась от потрясения, вызванного страшным зрелищем, но не жалеет, что подверг меня этому потрясению, — отныне я буду мыслить как взрослая женщина, а не как ребенок. Мистер Астли сказал, что моя жалость была бы естественна и хороша, будь она направлена на несчастных из моей же среды, но, проявляясь беспорядочно, она лишь продлит страдания тех, кому

лучше умереть. Передо мной только что предстала действующая модель едва ли не всякого цивилизованного государства. На веранде сидели правители и хозяева — богатство и образование, полученные ими от родителей, вознесли их выше всех прочих. Толпа нищих представляла завистливое и немощное большинство, удерживаемое на своем месте бичами тех, кто находится посередине; — они представляют полицию и бюрократию, сохраняющие общество неизменным. Пока они говорили, я сидела, стиснув зубы и кулаки, и еле удерживалась, чтобы не искусать и не расцарапать этих умных мужчин, которые отвергают заботу о беспомощных больных малолетних, используют религию и политику, чтобы самим спокойно оставаться выше этой боли, оправдывают с помощью религии и политики тех, кто сеет бедствия огнем и мечом, и как я могу все это прекратить? Я не знала, что мне делать.

— Я и теперь не знаю, — сказала я Милли, улыбаясь сквозь слезы. — Поскорей надо вернуться к Богу за советом. Но я не могу вернуться, пока не избавлюсь от этого бедолаги, который ждет снаружи.

— Давайте его сюда, — сказала Милли решительно. — Ваш номер готов, так что ведите его наверх, угрохайте его там живенько, и мы еще потолкуем. У вас слишком доброе сердце, милочка, для этого гадкого мира. Вам необходим совет чуткой, искушенной женщины, которой можно доверять.

Я подумала, что странное словечко «угрохайте» означает просто «уложите его спать», вышла и вижу — Данкана нет! На столике стояли четыре пустые рюмки из-под зеленых малюток-фей, ко мне подскочил официант, которому не было заплачено, но Парень мой испарился.

Я вернулась к Милли. Она налила еще по чашечке кофе и спросила, где я познакомилась с этим мужчиной и почему я путешествую по Парижу почти без багажа. Я объяснила. Выслушав, она сказала:

— Очень умно было с вашей стороны, милочка, провести приятный долгий медовый месяц с другом прежде, чем вы выйдете замуж за достойного человека. Слишком многие бросаются в замужество, совершенно ничего не зная о том, что им предстоит отдать и получить. Но этот Парринг явно уже выжатый лимон. Вы будете гораздо лучшей женой своему мужу, если теперь испробуете некоторое разнообразие.

Этот отель, объяснила она, того сорта, что лондонцы называют публичными домами — посетители-мужчины платят здесь за парьбу с совершенно незнакомыми женщинами в течение часа или того меньше. В Британии публичные дома запрещены, но во Франции любая здоровая и разумная девушка может получить разрешение на такую работу или поступить в легальное заведение вроде того, где я нахожусь.

— Как это незнакомые люди так быстро спариваются? — спросила я изумленно, и она ответила, что многие мужчины предпочитают незнакомых, потому что не могут спариваться с теми, кого хорошо знают. Большинство ее посетителей — женатые люди, а у некоторых есть еще и любовницы. Получается, что я как раз была Парню любовницей, хотя в Париже они называются мидинетками.

— Наверняка он кого-то себе нашел, пока там сидел, — сказала она. — Заведения постоянно несут убытки из-за непрофессионалок; если бы не любовь к своему делу, я бы давным-давно ушла на покой. Не думаю, что вы захотите остаться здесь навсегда, но многие брошенные женщины зарабатывают у меня достаточно, чтобы вернуться к Богу.

— Но не к моему Богу, — заметила я.

— Конечно нет, милочка. Я о католичках говорю.

Тут ворвался Парень. Он был в одном из своих диких состояний и потребовал разговора со мной наедине.

— Вы этого хотите, милочка? — спросила Милли.

— Конечно! — ответила я.

С очень сухим выражением лица она отвела нас наверх, в эту прелестную комнатку, и там сказала (Парню):

— Из уважения к вашей подруге я не требую платы вперед, хотя это у нас принято; но если она каким-либо образом пострадает, вам придется заплатить столько, что не приведи Господь.

Это было сказано очень французским тоном.

— А? — переспросил Парень с видом столь же смущенным, сколь и диким.

Более лондонским тоном она сказала:

— Запомните, тут у стен есть уши, — и ушла, закрыв за собой дверь.

Он принялся расхаживать взад и вперед, произнося монолог, который звучал скорее по-библейски, чем по-шекспировски. Он говорил о Боге, о своей маме, о потерянном рае домашнего очага, об адском пламени, о вечном проклятии и о деньгах. Он сказал, что, украв у него пятьсот фридрихсдоров, я прервала цепь его удач, помешала ему разорить игорный дом и обманом избежала брака. Моя кража лишила бедняков значительных сумм, которые он собирался пожертвовать церкви и благотворительным организациям, лишила нас с ним дома в Лондоне, яхты на Средиземном море, охотничьих угодий в Шотландии и особняка в Царстве Небесном. И теперь, когда он больше не хочет жениться, когда он хочет, чтобы нас с ним разделяла пропасть шире самого Ада, он прикован жалкой нищетой к злодейке, которая низвергла его в Ад, прикован к женщине, к которой он теперь не испытывает ничего, кроме ненависти ненависти ненависти ненависти ненависти — презрения, отвращения и ненависти.

— Данкан, смотри, — радостно воскликнула я, распарывая подкладку жакета, — удача к тебе вернулась! Здесь банкноты Банка Клайдсдейла и северной Шотландии на пятьсот фунтов стерлингов — это то же самое, что пятьсот фридрихсдоров. Бог дал их мне, потому что знал, что непременно случится что-нибудь в этом роде, и я хранила их до крайней нужды, которая теперь и настала. Возьми их все! Возвращайся в Глазго, к твоей маме, к служанкам, которые оценят твою мужскую силу лучше, чем я, в любую церковь, какая только тебе приглянется. Будь снова свободен как птица — лети от меня прочь!

А он вместо того чтобы обрадоваться, попытался проглотить банкноты и одновременно выброситься из окна, но не сумел его открыть и ринулся в дверь, норовя нырнуть в пролет лестницы головой вперед.

К счастью, Милли подслушивала нас из соседней комнаты (в стенах этого отеля полно отверстий) и вовремя позвала на помощь работающих у нее женщин. Они навалились на него и влили ему в глотку ровно столько коньяку, сколько было нужно. Не так-то просто было посадить его на поезд до Кале. Как выяснилось, он вовсе не желал со мной расставаться, но сообща работа спорится, и мы его отправили. Милли уговаривала меня оставить у себя большую часть из пятисот фунтов, но я отказалась: Парень любит деньги куда сильней моего, и должен же он был получить награду за всю мою с ним парьбу. Теперь, сказала я, я буду зарабатывать на жизнь собственным трудом, чего никогда раньше не делала.

— Ну что ж, если вы этого и вправду хотите, милочка, — отозвалась она.

И вот я здесь.

---

18 Париж — Глазго: возвращение

Я больше не паразитирую! Вот уже три дня я зарабатываю себе на жизнь, делая свое дело насколько могу быстро и хорошо — не ради удовольствия, а ради денег, как большинство людей. По утрам я засыпаю, довольная тем, что угрохала сорок человек и заработала четыреста восемьдесят франков. Меня удивляет моя популярность. Конечно, Белл Бакстер — женщина великолепной наружности, но, будь я мужчина, тут нашлась бы для меня по меньшей мере дюжина еще соблазнительней: аппетитные пышечки, грациозные газели, темпераментные смуглянки. Милли рекомендует меня в нашей брошюре как «прекрасную англичанку (la belle Anglaise), которая сполна вознаградит вас за все тяготы (travail) Азенкура и Ватерлоо». Она следит за тем, чтобы я имела дело только с французами, потому что, говорит она, меня может смутить встреча с кем-либо из клиентов-англичан в последующей жизни. Их тоже, вероятно, она может смутить! По выходным дням их тут полным-полно — они требуют особых услуг от некоторых из наших девушек, которые в свободное время работают в «Комеди Франсез». Вчера вечером я наблюдала в окошечко за очередным представлением. Нашим клиентом был месье Заголизад — он всякий раз приезжает в экипаже, с черной маской на лице, которой не снимает

никогда, хотя снимает все остальное. У него очень изощренные желания, за исполнение которых он платит бешеные деньги: сначала с ним надо обращаться как с младенцем, потом — как с новичком в школе-интернате, потом — как с юным солдатом, взятым в плен дикарями. Его вопли совершенно несоразмерны с тем, что с ним делают в действительности.

Моя лучшая подруга здесь — Туанетта, она социалистка, и мы часто говорим об усовершенствовании мира, особенно в том, что касается отверженных, как называет этих людей Виктор Гюго, хотя Туанетта считает, что у Гюго взгляд на мир très sentimental[1] *и что мне надо прочесть романы Золя. Обо всем этом мы беседуем в соседнем кафе — Милли Кронкебиль говорит, что нечего вмешивать политику в гостиничное дело. Вся умственная жизнь Парижа сосредоточена в кафе, и в нашей части города (тут находится и университет) есть кафе, посещаемые писателями, художниками и прочей ученой публикой, причем профессора ходят в одни кафе, а революционеры — в другие. Наше кафе посещают главным образом революционно настроенные hôteliers*[2]*, которые говорят, что богатых заставит раскошелиться только bouleversement de la structure totale*[3]*.*

Продолжу после. Кто-то пришел.

Дописываю письмо в прекрасном кабинете, где пахнет дезинфекцией и кожаной обивкой — прямо как дома. Сегодня мне внезапно пришлось покинуть «Notre-Dame» после двух часов жуткого смятения. А все дело в моем невежестве — придет ли ему когда-нибудь конец?

По очевидным причинам мы по утрам вставали поздно, но сегодня Милли постучала мне в дверь в начале девятого и сказала, что я мигом должна спуститься вниз, в Международный салон, где врач осматривает всех девушек. «Раненько», — ворчит про себя Белл, но вслух говорит:

— Иду, Милли. А что это за врач?

— Врач от муниципалитета, он следит за соблюдением норм здравоохранения. Не надевайте ничего, кроме халата, милочка, и все кончится в момент.

И я встала в очередь, заметив, что на многих девушках нет ничего, кроме чулок и ночной рубашки. Все, кто еще не заходил за ширму, были тише и угрюмее, чем обычно, и, желая их подбодрить, я сказала, что очень мило со стороны муниципалитета следить за нашим здоровьем и что врач, надо полагать, пропишет Туанетте (она стояла впереди меня) что-нибудь против мигрени. Это и вправду их подбодрило — они захихикали и назвали меня шутницей, чем я была удивлена. Зайдя за ширму, я увидела неприятного коротышку со злобным лицом, который рявкал на бедную Туанетту: «Шире! Шире!» — как сержант на новобранца. Она лежала на кушетке, разведя ноги в стороны, а он всовывал какую-то штуку наподобие ложки в ее любовное углубление, или вагину, как его называют латиноязычные; за ложкой, казалось, вот-вот туда влезут его нос и густые усы. Это явно было единственное место, которое его интересовало, потому что секунду спустя он произнес:

— Ффу! Можешь вставать.

— Я к нему и близко не подойду! — сказала я твердо. — Никакой он не врач. Врачи добрые и заботливые, им важен весь пациент, а не одна какая-то часть тела.

Общий гвалт. Пол-очереди или больше попадало со смеху.

— Ты что, лучше других? — возмутились остальные.

— Хотите, чтобы он у нас лицензию отобрал? — накинулась на меня Милли.

— Психически больная! — взревел врач. — Заразные мужские отростки — милости просим, и чем больше, тем лучше, а медицинский зонд в руках специалиста нам, видите ли, не нравится. Да нет, она не сумасшедшая — просто ей есть что скрывать, этой англичанке.

Тут-то я и узнала впервые о венерических болезнях.

— Мне очень жаль, Милли, но я не могу больше здесь работать. Вы ведь знаете, я помолвлена. А это врачебное обследование и нечестно, и бесполезно. Когда ваши девушки только начинают, они здоровы, так что распространяют болезни не они, а клиенты. Клиентов-то и надо обследовать, прежде чем мы впускаем их в себя.

---

[1] Слишком сентиментальный (*франц.*).
[2] Содержатели отелей (*франц.*).
[3] Коренной общественный переворот (*франц.*).

— Клиенты никогда этого не позволят, да и во всей Франции тогда не хватит врачей.

К этому времени мы уже были с ней одни в вестибюле.

— Тогда научите девушек обследовать клиентов перед парьбой — сделайте это частью ритуала, — предложила я.

— Опытные так и поступают, но я не могу тут курсы для новеньких открывать. Из наших доходов, кроме жалованья, я должна платить за аренду, газ, мебель, давать взятки полиции, да еще чистых пятнадцать процентов причитается адвокату. Так что если моя месячная прибыль окажется меньше пятнадцати процентов, меня выкинут отсюда tout de suite[1]*, и я умру одинокой, несчастной старухой.*

Тут, несмотря на внушительные формы и сходство с королевой, она заплакала, как худенькая девочка, и я поняла, что нужны утешения, поцелуи и страстные объятия. Я отвела ее наверх, в ее спальню, а Туанетта заступила место за столом.

Но что я ни делала, она не успокаивалась. Она сказала, что ненавидит Париж и французов, что долгие годы пытается вернуться в Англию. Она мечтает купить пансион в Брайтоне и завершить жизнь пристойными англиканскими похоронами, но всякий раз, как ей удается скопить немного денег, какое-нибудь происшествие вроде сегодняшнего оставляет ее ни с чем, поэтому ей не вырваться из Парижа никогда — ее труп будет лежать на каменном полу в городском морге на берегу Сены, и вода, подтекающая из какого-нибудь ржавого крана, будет размывать ее косметику. Она произносила и другие волнующие, трагические, отчаянные слова, которые своей безоглядностью разрывали мне сердце. Она сказала:

— Никакого между нами нет равенства — я только пятая у вас. Первым идет таинственный опекун, потом — жених-деревенщина, потом — распущенный Парринг, потом — бесчувственный Астли. С самого раннего детства я молю Бога о подружке, но Бог меня ненавидит. Едва входит в мою жизнь какое-нибудь прелестное, милое существо, вдруг — бац бум крак, летит прочь, не оставив ничегошеньки, кроме треклятого густого теста.

Я сказала, что никакому богу и в голову не придет ее ненавидеть; что ей нужно думать о моих нежных объятиях, а не о каком-то непонятном тесте; что я всегда буду вспоминать о ней с любовью; а сколько же я заработала денег? На третий класс до Шотландии, должно быть, хватит?*

— Вы заработали меньше чем ничего, — ответила она. — Я отдала этому врачу из полиции весь ваш заработок, да еще от себя добавила, чтобы помочь ему забыть, как вы оскорбили его профессиональную честь. Французы очень заносчивы. Не дай я ему денег, он отобрал бы у меня лицензию и мы все остались бы без работы.

Я вдруг почувствовала себя такой продрогшей и усталой, что и слова не смогла вымолвить. Пошла к себе в комнату, оделась, уложила вещи, спустилась вниз, поцеловала Туанетту, опять же молча (а она разрыдалась в голос), и покинула «Hôtel de Notre-Dame» навсегда.

У меня было несколько франков из денег, на которые мы с Парнем приехали в Париж. Их хватило на экипаж до Сальпетриер, а что осталось, я отдала швейцару вместе с запиской для передачи лично профессору Шарко. В записке говорилось, что Белла Бакстер, племянница мистера Боглоу Бакстера из Глазго, находится в вестибюле и просит о встрече с ним при первой возможности. Швейцар вскоре вернулся и сказал, что профессор будет занят еще час или чуть больше, но если я согласна подождать в его кабинете, секретарь подаст мне кофе. И меня провели в комнату, где пахнет в точности как в твоем кабинете на Парк-сёркес.

Когда Шарко, наконец, появился, он поначалу был очень приветлив:

— Бонжур, мадемуазель Бакстер — единственная совершенно нормальная англичанка! Как поживает мой необъятный друг Боглоу? Чему я обязан нежданной радостью вашего появления здесь?

Я рассказала. На это ушло немало времени, потому что он задавал вопросы, желая знать всю подноготную, и чем дальше, тем он становился серьезнее. Наконец он отрывисто сказал:

— Вам нужны деньги.

На возвращение в Глазго, объяснила я, откуда мой опекун вернет ему долг переводом. На это он ничего не ответил — все сидел и сидел, хмуря брови и барабаня пальцами по столу, пока я не встала, не поблагодарила его за внимание и не попрощалась.

[1] В два счета (*франц.*).

— Нет, нет. Простите мою задумчивость; вам нужны деньги, и вы их получите — достаточно, чтобы с удобствами вернуться в Шотландию, когда захотите, но сегодняшний вечер вы проведете в моем доме на правах гостьи. И не благодарите меня. Вы предпочитаете заработанные деньги подаркам. Очень хорошо. Вы получите их в уплату за помощь, подобную той, какую вы мне уже однажды оказали. Слушайте же!

Сегодня вечером я выступаю перед маленькой, воистину избранной аудиторией — герцогом Германтским (человеком подлинно высокой культуры) и еще двумятремя лицами, чьи имена ничего вам не скажут. Это политики — искатели острых ощущений, которые любят строить из себя интеллектуалов. В конечном счете выступление принесет науке пользу, привлекая к моим исследованиям внимание людей, распоряжающихся денежными фондами. Сегодня я опрашиваю под гипнозом одну крестьянку, религиозную истеричку, не столь, увы, интересную, как Жанна д'Арк или вы, мадемуазель Бакстер. Я попрошу вас оживить вечер рассказом (под гипнозом, разумеется, и в ответ на мои вопросы) кое о чем из того, что вы мне сейчас поведали.

— О чем же именно? — спрашивает Белл.

— Расскажите им, как вы радовались жизни, пока не увидели Александрию, какое положительное наслаждение доставляло вам существование, не омраченное чувством вины и страхом смерти. Расскажите им в вашей чудесной неакцентированной манере, как на вас подействовал вид несчастных детей, и, Бога ради, не сдерживайте слез. Расскажите, как вы излили душу вашему спутнику и какое действие произвел на вас вкус его крови. Опишите, наконец, ваш нынешний взгляд на состояние человечества. Будьте кем вам вздумается — социалисткой, коммунисткой, анархисткой, — чествте буржуазию, денежных тузов, аристократию, не щадите даже королевских фамилий! Знаете вы что-нибудь о королевских фамилиях?

— Мне говорили, что королева Виктория — самовлюбленная старая дама.

— Прелестно! Это им понравится. Я буду перемежать ваши слова своими комментариями на беглом французском; не обращайте на них внимания. В конце концов, вы ведь будете в гипнотическом трансе.

— Вероятно, вы им скажете, что моя жалость к несчастным людям вызвана не находящим выхода материнским чувством?

— Вы это понимаете? Так вы психолог! — воскликнул он со смехом. — Но не говорите этого сегодня вечером! В основе общества лежит разделение труда. Я лектор, вы — иллюстративный материал. Почтенная публика будет недовольна, если кто-нибудь, кроме великого Шарко, будет высказывать суждения. Кстати, я обещаю сохранить в тайне ваше имя. И можете не называть имен ваших друзей. Как-никак, вы ведь англичанка. .Сдержанность у вас в крови, и всем известно, что под гипнозом с человеком нельзя ничего сделать против его воли. Ну как?

Стало быть, сегодня вечером я вновь буду ему ассистировать, а завтра отправлюсь домой, но письмо отошлю сегодня, чтобы ты знал, что Белл, которая к тебе возвращается, — уже не та сомнамбулическая искательница наслаждений, что сбежала с бедным старым Парнем. Ты должен еще мне ответить на трудные вопросы. Ты должен мне объяснить, как делать добро и не паразитировать. И Свечке это объясни, ведь раз он и Белл скоро соединятся на всю жизнь, они будут трудиться бок о бок. Передай моему милому Свечке: его свадебный колокол-Белл больше не думает, что он должен делать все, о чем она трезвонит. Передай ему также, что в одном Милли Кронкебиль была неправа: я не буду ему лучшей женой из-за разнообразия, испробованного в «Notre-Dame», разве что ему понравится видеть меня лежащей пластом и ошеломленно бормочущей «Formidable!»[1] *на разнообразные голоса.*

А пока всего самого-самого лучшего вам обоим
От той, кого вы любите, —

Дин-дон-Белл.

P.S. Поласкайте за меня кошечек, погладьте собак, поцелуйте Мопси и Флопси.

— Ну, Свечка, — сказал Бакстер, положив письмо и улыбнувшись мне, — тебя не страшит предстоящее возвращение этой поистине *сногсшибательной* партнерши? Вспомни о судьбе Данкана Парринга!

Я был слишком обрадован, чтобы обижаться на его покровительственные шуточки. Мое сердце билось учащенно. Железы внутренней секреции выбрасывали в кровь соки столь возбуждающие (я *чувствовал*, как они это делают!), что мышцы мои расширились и я ощутил в себе силу нескольких здоровых мужчин.

— Нет, Бакстер! Меня не страшит ничего, что исходит от моей Беллы. Она добрая женщина и превосходно разбирается в людях. Стоит ей пожать кому-нибудь руку, и она уже проникла в тайники его души. В Парринге она почувствовала самовлюбленного, распаленного самца и повела себя с ним в точности так, как он хотел. По глупости своей он возжелал беспрерывных восторгов. Не ее вина, что этого не может выдержать никакой организм. Я — девственник. Мои восторги с ней будут чередоваться с более мягкими и умеренными проявлениями чувства. Главный удар примешь ты, Бакстер. Если ты не объяснишь ей, как мистер и миссис Свичнет могут усовершенствовать мир, ты ее горько разочаруешь и наш брак расстроится. Тебя-то все это не страшит?

— Нет. Я покажу вам пути совершенствования мира, ясно обозначаемые вашими характерами и склонностями... Что это там?

Время было чуть после полуночи. Как и в ту ночь, когда Белла нас покинула, шторы были раздернуты и в окно светила луна, которую время от времени закрывало несущееся облако. Мы услышали, как внизу в замке повернулся ключ, открылась и закрылась входная дверь, услышали легкие быстрые шаги по ступенькам. Я поднялся ей навстречу, дверь кабинета распахнулась; Бакстер остался сидеть. Она стояла передо мной с похудевшим и резче, чем раньше, очерченным лицом, но с такой же восхищенной и восхитительной улыбкой. Ее дорожный жакет был расстегнут, и я увидел распоротую и вновь зашитую подкладку, увидел на лацкане мою жечужинку. Белла рассмеялась, проследив за моим взглядом, а потом сказала:

— Как хорошо, что вы оба еще не спите и в комнате ничего не изменилось — кроме вот этого. Тут что-то новенькое.

Она подошла к камину и принялась разглядывать стоящую на нем хрустальную вазу с крышкой. В ней хранились наши «затычки».

— Любви вещественный залог! — вскричала она. Сняв крышку, взяла одну, разгрызла в порошок крепкими белыми зубами, проглотила и, распахнув нам навстречу объятия, воскликнула:

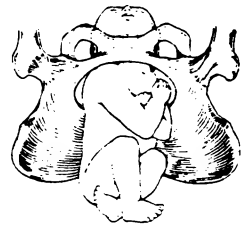
— О Бог мой и Свечка моя, как приятно вернуться домой, но что у вас там внизу имеется съестного? Сластями голодную женщину не накормишь. Этому меня научил Данкан Парринг, как и тому, что означает шрам у меня на животе.

---

[1] «Сногсшибательно!» (*франц.*).

Это повернуло ее мысли в другую сторону. Вдруг она пристально посмотрела на Бакстера, черты ее лица еще больше заострились, зрачки увеличились на всю ширину радужных оболочек.

— Где мой ребенок, Бог? — спросила она.



19 *Моя самая короткая глава*

Не появись Белла так скоро вслед за письмом, Бакстер, я думаю, подготовил бы ответ на этот вопрос; но, прозвучав неожиданно, он вызвал в моем друге ужасную перемену. Не знаю даже, отхлынула кровь от его пергаментно-желтого лица или прилила к нему: в две секунды оно сделалось серо-лиловым. Капли пота, внезапно его усеявшие, не стекали вниз, а летели во все стороны, потому что Бакстер даже не дрожал — он вибрировал. Его мешковатая одежда оставалась неподвижной, но контуры ботинок, ладоней и головы стали размытыми, как линия звучащей гитарной струны. И все же он ей ответил. Из скорбной расселины в огромной, смутно очерченной голове послышался тягучий, гулкий, металлический голос; каждое слово, оставаясь слышным, приглушалось собственным эхом.

— СОБЫТИЯ. ИЗ-ЗА. КОТОРЫХ. У. ТЕБЯ. В. ГОЛОВЕ. ПОЯВИЛАСЬ. ТРЕЩИНА. ТАКЖЕ. ЛИШИЛИ. ТЕБЯ. ТВОЕЙ... ТВОЕЙ... ТВОЕЙ... ТВОЕЙ...

Тишина. Его рот силился произнести слово, но воздуха не хватало. Сквозь щель между зубами я увидел язык, поднятый к нёбу, и понял, что слово начинается с «ж» — *жизни*. Половина его мозга пыталась поведать Белле правду о ее происхождении, другая половина, подобно мне, страшилась этой попытки.

— Твоей *дочери*, Белла! — крикнул я. — Удар, из-за которого ты потеряла память, убил *ребенка* у тебя в чреве!

Бакстер застыл в совершенной неподвижности, глядя на нее глазами, полными ужаса, и широко раскрыв рот. Я тоже замер. Вздохнув, она мягко сказала: «Этого-то я и боялась», — и улыбнулась Бакстеру так ласково, словно и не катились по ее щекам слезы. Потом села на его колено, обняла его за талию, насколько хватило рук, положила голову ему на грудь и, похоже, заснула. Он тоже закрыл глаза, и лицо его постепенно вернуло свой обычный цвет.

Некоторое время я смотрел на них, чувствуя и облегчение, и ревность. Наконец сел подле Беллы, обхватил руками ее талию и склонил голову ей на плечо. Она спала, видно, не очень крепко, потому что пошевелилась, чтобы дать мне устроиться получше. Довольно долго мы трое оставались в этом положении.

20 *Бог отвечает*

Прошел, может быть, час. Зевнув и распрямившись, она вывела нас из забытья. Произошедший затем разговор начался в кабинете. Завершился он за кухонным столом, где Белла уничтожила большую часть холодного вареного окорока с хлебом, сыром и пикулями, запив все это двумя или тремя огромными чашками сладкого чая с молоком. Хоть я и знал, как быстро она оправляется от душевных потрясений, впервые при мне это произошло так физически, так телесно. Ее лицо уже не было ни осунувшимся, ни изможденным, щеки округлились, лоб разгладился, с посвежевшей кожи исчезли морщинки. Только что она выглядела на любой возраст от двадцати пяти до сорока, теперь же — на любой возраст от двадцати пяти до пятнадцати. И неужто мой трезвый научный глаз был ослеплен любящим взором, который она на меня кинула? Наверняка нет, но все же клянусь, не только ветчина и чай разглаживали на ее лице следы усталости и напряжения. Ее глаза насыщались нашими лицами, уши и мозг перерабатывали наши слова в вещество ее мысли, укрепляли ее душу так же стремительно, как зубы и желудок укрепляли тело, расправляясь со съестным. Между кусками и глотками она говорила очень дельные вещи, дав толчок обсуждению, определившему ее будущую карьеру, да и мою тоже, а вдобавок — день нашей свадьбы. Все-таки лучи, исходившие от Беллы, слегка на меня подействовали. Я говорил, наверно, столько же, сколько она и Бакстер, вместе взятые, но не помню из сказанного мной почти ничего. Правда, отчетливо помню начало беседы.

Белл спросила:

— Бог, почему ты потел, заикался и дрожал, когда я хотела узнать о моем ребенке? Боялся, что ответ сведет меня с ума?

Бакстер кивнул с такой силой, что мы испугались за его шею. Она сказала:

— Я это хорошо понимаю. Когда я от вас сбежала, я была ребенком — как бы ты объяснил девочке Белл Бакстер, что она потеряла собственную девочку? К тому же ты ведь не знаешь, кто был ее отцом. Ты сделал меня сильной и уверенной в себе, Бог, научив меня многому, что есть на свете прекрасного и могущественного, и показав мне, что я тоже такова. Ты слишком здоров душою, чтобы рассказывать ребенку о безумии и жестокости. Я должна была узнать об этом от людей, которые сами безумны и жестоки. Я поняла, что в мире что-то неладно, когда Парень сказал мне, что я была матерью. Я поняла, что моей дочке могло быть очень, очень плохо, когда доктор Хукер самодовольно показал мне на маленькую несчастную девочку и слепого младенца. Когда мистер Астли объяснил мне, как нации богатеют из-за детской смертности, я поняла, что она, может быть, умерла, и я стала чуть ли не желать этого, когда узнала, побыв у Милли Кронкебиль, как используют одиноких и слабых женщин. Ты *ни в чем* не виноват, Бог, ни в чем, что касается меня. Но ведь правда, ты знаешь, как страдают слабые, и тебе это ненавистно?

— Да.

— Ты когда-нибудь пробовал это исправить?

— Никогда, — ответил Бакстер мрачно, — правда, было время, я пытался облегчить людские страдания, помогая покалеченным рабочим на сталелитейном заводе в Блокерне и в паровозных мастерских «Сент-Роллокс».

— Почему же перестал?

— Потому что я эгоист, — сказал Бакстер, вновь начиная потеть и вибрировать, — и потому что нашел тебя. Твоя любовь мне была гораздо нужнее, чем жертвы тяжелой промышленности с их ожогами и переломами.

Белла погасила его волнение мягкой смущенной улыбкой; смущение прозвучало и в тоне ее голоса:

— Милый мой Бог, сколько же добра я помешала сделать одним лишь своим существованием! Прав был Гарри Астли — слишком много людей живет на свете, и слишком многие из них избалованы вроде меня. Пора нам начать тратить твои деньги с толком, Бог. Поедем-ка в Александрию, разыщем ту девочку и ее братца и привезем сюда.

— Нет нужды ехать так далеко, Белл, — сказал Бакстер со вздохом. — Завтра мы можем с тобой пройтись от Глазго-кросс по Хай-стрит. По правую руку ты увидишь железнодорожные депо и пакгаузы, выстроенные на месте старого университета — того самого, где Адам Смит создал свой знаменитый труд о богатст-

ве народов и свой позабытый труд об общественной симпатии. По другую сторону там стоят обычные жилые здания с магазинами в первом этаже, а позади них — зловонные, перенаселенные доходные дома, где тебе встретится ничуть не меньше сгрудившегося несчастья, чем под солнцем Александрии. Там есть закутки, где сто и больше людей берут воду для питья и стирки из единственного крана, есть комнаты, где в каждом углу ютится целая семья. Самые обычные болезни там — дизентерия, рахит, туберкулез. Там ты сколько хочешь найдешь несчастных девочек. Скажи родителям, что ты собираешься воспитывать из них служанок, и они будут на коленях тебя благодарить за избавление от обузы. Приведи сюда шесть девочек. С помощью миссис Динвидди тебе, может быть, удастся за три-четыре года научить большинство из них убирать комнаты и стирать белье. Для того чтобы научить их чему-нибудь еще, ты сама слишком невежественна.

Сжав руками голову, Белла воскликнула:

— Ты говоришь как Гарри Астли! Бог, ты тоже хочешь сделать из меня циничную паразитку? Ты тоже думаешь, что моя ненависть к страданию — это всего-навсего не находящее выхода материнское чувство?

— Я думаю, что, начав сейчас брать на воспитание детей, ты не сможешь никого научить независимости.

— А как этому научить?

— Надо самой научиться быть независимой — независимой и от меня, и от Свечки, выйдешь ты за него замуж или нет. Тебя не пугает упорный труд — не в борделе, конечно?

— Ты же видел, как я упорно трудилась, помогая больным зверюшкам в нашем лазарете.

— Но теперь ты хочешь помогать бедным больным людям.

— Да, ты знаешь, что хочу.

— Готова ли ты изнурять тело и мозг, работая в мрачных местах, где мужество нужно не меньше, чем трезвый расчет?

— Я невежественна и сбита с толку, но я не дура и не трусиха. Дай мне работу, где я истрачусь вся!

— Тогда ты сама знаешь, кем должна стать.

— Не знаю — скажи!

— Если ответ еще не созрел у тебя внутри, — сказал Бакстер угрюмо, — то мне давать его бесполезно.

— Хоть намекни.

— Для этой работы тебе потребуются тяжкое ученье и годы практики, но твои близкие друзья помогут тебе и в том, и в другом.

— Я стану врачом.

Ее лицо было мокро от слез, его — от пота, но они улыбались и кивали друг другу с таким полным пониманием, что я чуть ли не завидовал им, хотя в течение всего разговора ладонь Белл лежала в моей. Видимо, она почувствовала во мне эту зависть, потому что, поцеловав меня, сказала:

— Представь себе, сколько лекций, Свечка, ты мне прочтешь, и как внимательно мне придется слушать!

— Бакстер знает куда больше меня, — отозвался я.

— Это так, — сказал Бакстер, — но всего я никогда никому не расскажу.

****

Звездочки отделяют подробную запись начала беседы от краткого изложения дальнейшего.

Бакстер сказал, что в Британии сейчас работают только четыре женщины-врача, все с дипломами иностранных университетов; но благодаря закону о расширении прав 1876 года и деятельности Софии Джекс-Блейк медицинский факультет Дублинского университета уже открыл двери для женщин, и шотландские университеты, видимо, вскоре последуют его примеру. Пока что он, Бакстер, вновь примется за работу в палатах для бедных лечебницы восточного Глазго, если Белла поступит туда сестрой-ученицей. Если дела у нее пойдут успешно, он добьется, чтобы ей разрешили ассистировать ему в операционной. Поэтому, ког-

да она наконец начнет учиться в медицинском колледже в Дублине или Глазго, лекции не будут для нее только упражнениями по запоминанию, как для большинства студентов первого курса. Он сказал, что всех лечащих врачей и хирургов следует набирать из низшего персонала или, по крайней мере, они должны начинать с этой работы. Тут он принялся яростно доказывать, что обучение британца любой профессии следует начинать с ручного труда, и нам стоило немалых усилий вернуть его к теме разговора.

Потом он спросил Беллу, кем она хочет стать — врачом общей практики или специалистом. Она ответила, что хочет помогать попавшим в беду юным девушкам, роженицам и проституткам. Он сказал, что это хорошая мысль, потому что сейчас почти все, кто работает в этой области, имеют иное, нежели пациентки, устройство половых органов. Белл заявила, что собирается учить всех женщин, которые к ней обратятся, самым современным и действенным способам предохранения. Мы с Бакстером в один голос посоветовали ей держать это намерение в тайне до тех пор, пока она не будет в состоянии его осуществить. То, что говорится пациенткам в тиши кабинета, не столь чревато опасностью общественного скандала. Если же она хочет публично ратовать за ограничение рождаемости, ей следует сначала поработать дипломированным клиницистом по меньшей мере пять лет. Она согласилась лишь после того, как мы пообещали, что этот срок будет определять она сама, и никто другой.

Потом Бакстер обратился ко мне и сказал, что друзья отца держат его в курсе моих успехов на медицинском поприще. Я вырос в хорошего диагноста и инфекциониста с порядочным знанием гигиены, обеспечивающей правильную работу человеческого организма. Это именно те качества, которые требуются от инспектора городской санитарной службы, и он рассчитывает, что я изберу эту стезю. Важнее предупреждать болезни, чем их лечить. Самые большие благодетели города — это люди, которые улучшают в нем водоснабжение, канализацию и освещение, короче, условия жизни. Но есть у него и личная причина, чтобы желать для меня этой должности. Когда Белла наконец возглавит собственную клинику (а он употребит все свое состояние, чтобы ее создать), поддержка влиятельного представителя городских властей будет ей очень полезна. Этот довод меня убедил.

Я заговорил о нашем браке и высказал пожелание, чтобы он состоялся как можно раньше. Белла ответила, что вначале должна выяснить, не заразилась ли она у мадам Кронкебиль венерической болезнью. Бакстер сказал, что шести недель полового карантина будет достаточно, потом объявил, что устал, отрывисто попрощался и ушел наверх. Мне стало ясно: мысль о том, что Белла выходит замуж за меня, а не за него, все еще причиняет ему боль. Я поделился с ней своим наблюдением, но она только рассмеялась. Нет, она этого не оспаривала — просто расценила как чудачество, которое у него скоро пройдет. Это была единственная область, в которой моя дорогая Белла была нечувствительна к чужой боли. Но когда у нас родились дети, я понял, что блаженная бесчувственность младших по отношению к родителям или наставникам, на которых они привыкли полагаться, — правило, почти не знающее исключений.

Мы поцеловались на сон грядущий, поднялись наверх к двери ее спальни и вновь поцеловались. Она прошептала:

— А ты изрядно окреп, Свечка. В старые времена, когда мы так делали, ты чуть в обморок не падал.

Я сказал, что, увы, стал менее чувствителен — мое тело тосковало по ней так долго, что еще не до конца поверило в нашу встречу. Она тихонько рассмеялась и призналась, что и сама стала не такой страстной.

— Мне хочется скорее миловаться, чем париться, — сказала она, — а у меня ведь не было сносного милованья на всю ночь до утра с тех самых пор, как Парень после Александрии взял моду спать со мной валетом. Ляжем сегодня вместе, незаменимая моя Свечка. Если проложить между нами простыню, я буду чувствовать твои тесные объятия, но не причиню тебе вреда. Хочешь так помиловаться?

Я сказал, что буду счастлив и что именно такой предбрачный обряд широко распространен в сельской Шотландии, где это называется «любиться».

Мы легли в постель и любились, и с той поры мы никогда не спали раздельно, если не считать ее отлучек в Лондон на собрания Фабианского общества.

21 *Помеха*

Я хоть и атеист, но не доктринер. Когда мы убедились, что Белла здорова, я организовал простую пресвитерианскую свадебную церемонию, решив, что это вполне безвредный и традиционный способ придать бракосочетанию торжественность. Ближе всего к нам была церковь Парк-чёрч, но я не хотел, чтобы соседские дети устраивали у дверей «кучу малу» и поэтому выбрал Лэнсдаунскую церковь Объединенных пресвитерианцев на Грейт-вестерн-роуд, до которой было не больше десяти минут ходу*. Читатель-англичанин может удивиться, узнав, что обряд назначили на 9 утра 25 декабря. Это была самая ранняя дата из возможных, а Шотландская церковь не считает Рождество таким уж неприкосновенным днем, если только оно не падает на воскресенье. Когда я вел Беллу под руку, а следом за нами Бакстер вел под руку миссис Динвидди, мне было весело сознавать, что этот день люди по всему свету отмечают как праздник, хотя магазины, учреждения и фабрики Глазго были полны обычной деловой суеты.

Утро выдалось морозное. Крыши, деревья и боковые улочки сплошь укутало снегом, но шагалось нам легко — Бакстер заплатил ватаге мальчишек, и они расчистили нам тропинку от дома до церкви. Тропинка спускалась через парк по склону холма, но скользко на ней не было, потому что ее щедро посыпали солью. Морозный туман, щекотавший нос легким запахом дыма, ухудшал видимость только на дальнем расстоянии, и я заметил, что перед нами в церковь вошли какие-то люди. Это меня озадачило. Я предполагал, что, помимо Бакстера и миссис Динвидди, не будет ни свидетелей, ни гостей. Белла хотела пригласить мисс Мактавиш, Парринга, Астли и мадам Кронкебиль, желая показать им, «что все хорошо, что хорошо кончается» (ее слова). В конце концов мы убедили ее, что, собравшись вместе, эти люди изрядно смутят друг друга, и договорились, что не позовем никого и объявления давать не будем. Но пастор, разумеется, должен был заранее огласить имена вступающих в брак, дабы убедиться, что к нему нет препятствий.

Мы вошли в церковь точно в назначенное время — часы показывали без одной минуты девять — и увидели, что неф совершенно пуст, если не считать группы из пяти человек, сидящих в одном из передних рядов. «Кто это такие?» — спросила Белла, но я не знал; я заметил только, что один из них необычно высок, худ и похож на военного. Почему-то меня бросило в дрожь. Мне почудилось, что вот-вот случится несчастье и что мы с Беллой уже много раз вступали под руку, минуя эти же скамьи, в это же несчастье. Я словно увяз в дурном сне и во что бы то ни стало должен был проснуться. «Держись, Свичнет!» — шепнул мне Бакстер столь повелительно, что я вскинул на него глаза. Он кивнул мне, и я понял, что он предвидел все, что может случиться, и готов к этому. Я крепче прижал руку Беллы и двинулся вперед с отвагой христианина, знающего, что Бог на его стороне.

Мы прошли мимо незнакомцев и стали спиной к ним, лицом к престолу. Пастор обошел кафедру и после вступительных слов, как положено, спросил, я ли Арчибальд Свичнет, единственный сын Джессики Свичнет, незамужней из округа Уопхилл области Галлоуэй. Я ответил, что да, я. Затем он спросил невесту, она ли Белла Бакстер, дочь Игнейшуса Макгрегора Бакстера, коммерсанта из Буэнос-Айреса, и его супруги Серафины Рейнгольд Камберпатч? Белла ответила, что да, она. Я удивился, зачем это Бакстер изобрел для ее матери такое длинное и заковыристое имя; наверно, он решил, подумалось мне, что в нашем полном несуразностей мире перечень имен, не содержащий хотя бы одного длинного и заковыристого, выглядел бы подозрительно. Когда я пришел к этому заключению, пастор уже говорил, что если кто-либо из присутствующих знает причины, по

которым эти двое не могут быть соединены священными узами брака, пусть он о них заявит. И у меня за спиной раздался высокий, отчетливый, скрипучий голос:

— *Этот брак не может совершиться!*

Мы обернулись. Слова произнес тот самый высокий, худой мужчина — он теперь стоял выпрямившись и смотрел на нас в упор, похожий на искусно выточенную в человеческий рост деревянную куклу. Он потому казался деревянным, что его пышные серо-стальные усы, закрывавшие рот, и остроконечная бородка почти не отличались по фактуре от розовато-бурой кожи лица. Рядом копошился, пытаясь встать, диковатого вида толстый старик со смуглым лицом.

— Кто вы? — спросил пастор, голос у которого внезапно стал робким и писклявым.

— Я генерал сэр Обри ле Диш Коллингтон. Женщина, которая называет себя Беллой Бакстер, — моя законная венчанная жена Виктория Коллингтон, в девичестве Виктория Хаттерсли. Здесь присутствует ее отец Блайдон Хаттерсли, директор-распорядитель манчестерско-бирмингемской паровозостроительной компании «Юнион Джек».

— Викки! — вскричал старик, протягивая к Белле обе руки и орошая щеки слезами. — Викки, крошка моя! Неужели ты забыла своего старенького папку?

Белла посмотрела на него с величайшим интересом, потом, с таким же интересом, — вновь на своего первого мужа. Генерал не сводил с нее неподвижных глаз. Заводчик всхлипывал. Мои же чувства были слишком диковинны, чтобы их описывать. Я понимал, что Белла, сама того не ведая, видит первого мужа своего тела и одновременно отца своего мозга, а рядом с ним — деда своего мозга и одновременно отца своего тела. Наконец она вымолвила:

— Вы запоминающаяся пара, но я не припомню, чтобы я кого-нибудь из вас раньше видела.

— Говорите, Приккет, — сказал генерал.

Встал третий мужчина и заявил, что он, будучи личным врачом генерала, лечил леди Коллингтон от серьезной болезни по меньшей мере восемь месяцев перед ее исчезновением; дама, которая отозвалась на имя Белла Бакстер, обладает голосом и наружностью, столь сходными с голосом и наружностью леди Коллингтон, что без всякого сомнения они — одно лицо. Тут пастор сказал, что брак состояться не может.

Не знаю, что бы я сделал, если бы рука Беллы не оставалась сцеплена с моей и вперед не выступил Бакстер. Его дородная фигура и спокойный тон вселили в меня детскую надежду. Он сказал:

— Генерал Коллингтон. Мистер Хаттерсли. Кто-то сообщил вам время и место этого бракосочетания. От того же лица вам, может быть, известно, что я состоятельный человек и практикующий хирург, оперировавший членов королевской семьи. Мисс Бакстер явилась ко мне три года назад, не имея никаких воспоминаний о прежней жизни. С той поры она живет под моей опекой, и я завещал ей все свое состояние. Год назад она по своему свободному выбору обручилась с моим другом доктором Свичнетом из Королевской лечебницы Глазго. Генерал Коллингтон! Мистер Хаттерсли! Хотите ли вы, чтобы личность мисс Бакстер в законном порядке установил суд? Или все же мы попробуем установить истину путем спокойного обсуждения? Мой дом отсюда недалеко. Приглашаю вас туда.

— Объясните ему, Харкер, — сказал генерал.

Встал четвертый, назвался адвокатом генерала Коллингтона и заявил, что сэр Обри хотел бы избежать ущерба, который нанесло бы репутации его жены публичное разбирательство вопросов частной жизни. По этой, и только по этой, причине генерал согласен на переговоры с участием следующих лиц. С одной стороны — он сам, его адвокат, его врач, отец его жены и мистер Сеймур Граймс из частного сыскного агентства «Сеймур Граймс» (при этом встал пятый). Другую сторону, продолжал адвокат, могут представлять мистер Бакстер и его друг доктор Свичнет. При этом сэр Обри настаивает, чтобы его жена Виктория Коллингтон дожидалась исхода обсуждения в другой комнате. Для того чтобы исключить ее из переговоров, у него есть более чем убедительные причины. Он также настаивает, чтобы они происходили в апартаментах, снятых им в отеле при вокзале Сент-Инок.

— Вы хотите рассказать Богу и Свечке, кто я такая, а я чтоб не слышала? —

крикнула Белла. — Бог, что ты на это скажешь?

— Я скажу, что не буду в этом участвовать, — ответил Бакстер спокойно, — если не будут приведены веские доводы.

— Объясните ему, Приккет, — сказал генерал. Медик выбрался в проход и, к огромному неудовольствию Беллы, отвел Бакстера в сторонку и что-то зашептал ему на ухо. Бакстер ответил во всеуслышание:

— Это никакой не довод, это ложь. Я могу доказать, что это ложь. Переговоры состоятся только при участии мисс Бакстер и только у меня дома. В моем жилище генерал Коллингтон и его окружение не рискуют ничем; а вот из отелей у нас в Британии мужчины не раз увозили женщин, выдавая себя за их мужей, и полиция не вмешивалась.

— Верно! — рявкнул генерал.

Адвокат посмотрел на него с укором. Генерал бесстрастно уставился на него в ответ, и некоторое время никто не шевелился. Потом, вероятно, был дан какой-то знак, потому что адвокат негромко сказал Бакстеру:

— Мы поедем к вам домой. В переулке рядом с церковью ждут три кеба.

— В трех кебах могут разместиться только шестеро, — заметил Бакстер. — Миссис Динвидди, поезжайте, пожалуйста, с этими пятью джентльменами на Парксёркес, 18. Проведите их в мой кабинет, зажгите камин и предложите им подкрепиться. Мы с мисс Бакстер и доктором Свичнетом вернемся не иначе как пешком и прибудем вскоре после вас. Мистер Харкер, доведите, пожалуйста, мои слова до сведения вашего нанимателя.

После этого Бакстер повернулся к адвокату спиной и сказал священнику, что завтра он заплатит ему за беспокойство и обратится к нему снова, когда сегодняшнее недоразумение будет улажено. Затем он взял Беллу под другую руку, и мы трое двинулись по проходу к двери. Когда мы вышли на улицу, мне показалось, что я провел в этой церкви не десять минут, а десять дней.

Как свежо, светло и молодо выглядели подернутая морозной дымкой улица и заснеженные крыши! Белла чувствовала то же, что и я. Она сказала:

— Я и подумать не могла, что на нашем бракосочетании будет так весело. Неужели этот несчастный старик действительно мой папа? Надо его как-нибудь утешить. И что, я была замужем за этой маской на жердине? Лучше бы от него подальше. Эти господа и вправду хотели меня похитить? Вдруг на минуту мне показалось, что хотят. Хорошо, что ты был с нами, Бог. Свечка бы погиб, сражаясь за меня, но какая была бы польза похищенной Белл от потухшей Свечки? Тебе, Бог, достаточно было гаркнуть как следует, и вся эта бражка на пол бы попадала, и они это знали. Так значит, дело к тому идет, что наконец-то тайна происхождения видов применительно к Белл Бакстер будет разгадана. Что тебе там шептал этот лекарь, Бог?

— Всякие враки. Может быть, он их еще повторит, и тогда ты услышишь, как я их опровергну.

— А почему у тебя такой несчастный вид, Бог? Почему ты не взволнован, как я?

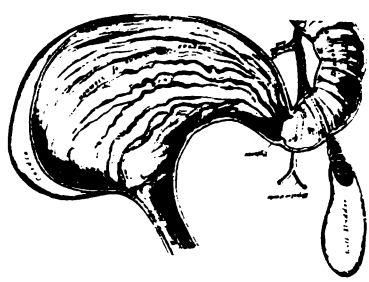
— Потому что тебе предстоит узнать, что я тоже лгал.

— Что? Ты лгал?

— Да.

— Если ты мне лгал, где может быть на свете правда? Кого добрым-то можно считать? — испугалась Белла.

— Правда и добро исходят не от меня, Белл. Я слишком слаб. Я такое же несчастное создание, как генерал Колдингтон. Приготовься презирать нас обоих.



22 *Правда: моя самая длинная глава*

Имя генерала Коллингтона было мне известно задолго до того, как Бакстер произнес его вслух, читая письмо Парринга. В то время Громобой Коллингтон был столь же популярным персонажем газетных полос, как сэр Гарнет Вулзли или Гордон Китайский. Виконта Вулзли назначили главнокомандующим Британской армии. Генерал Гордон, позволив дервишам разорвать себя на куски, стяжал венец мученика во славу империи. Первому мужу моей жены повезло меньше. Лондонская «Таймс» и «Манчестер гардиан» ныне приписывают его подвиги офицерам, которые даже не упоминались в первых репортажах о событиях. Бульварная печать следует их примеру. Почему же несчастливый конец доблестного воина затмил целую жизнь, полную патриотического служения? Лучшей его биографией останется статья из справочника «Кто есть кто» за 1883 год. В последующих изданиях он не упоминается вовсе.

КОЛЛИНГТОН, сэр Обри ле Диш, 13-й баронет; *ок.* 1623; *ордена*: крест Виктории, Бани 1-й ст., Св. Мих. и Св. Георг.; мировой судья; чл. парл. (лрд) от Сев. Манчестера с 1878; *р.*Симла, 1827; *старший сын* генерала К. Коллингтона, губернатора Андаманских и Никобарских о-вов, и Эмилии, *старшей дочери* Бамфорта ле Диша, баронета, Хогснортон, Лоумшир и Баллинокмиллап, гр-во Корк; унасл. титул от двоюр. брата в 1861 г.; *супруга* Виктория Хаттерсли, *дочь* Б. Хаттерсли, паровозостроителя из Манчестера. *Образов.*: Рагби, Хайдельберг, Сандхерст. Командовал туземным подраздел. на вост. границе, мыс Доброй Надежды, 1849; экспедиция против свази, 1850—1851 (тяж. ранение, отмечен в рапортах, внеоч. звание подполковника); добровольцем участв. в Крымской камп., Севастополь, 1854—1856 (дважды ранен и отмечен в рапортах за отражение 5 русских вылазок с оч. малочисл. подраздел. 4-го Королевского полка, медаль за Крымскую войну и 3 пряжки, орден Меджидии и турецкая воинская медаль); нач. разведки бригады во главе мобильной колонны в Центр. Индии во время мятежа 1857—1858 (ранен, участв. во взятии крепостей Фумукенуггер и Буллубгур, штурме Кашмирского бастиона и Делийских высот, медаль «За Индию», пряжка «За Дели», орден Золотого руна от португ. короны за оборону Гоа); пом. генерала-адъютанта в брит. экспедиц. корпусе в Китае, 1860 (ранен при уничтожении береговых батарей на Янцзы, но участвовал во взятии Пекина и штурме Летнего дворца); нач. исправит. колонии на о-ве Норфолк, 1862—1864; губернатор Патагонии, 1865—1868 (подавил восстания тегуэльчей и геннакенов, не потеряв ни единого человека); губернатор Ямайки, 1869—1872; нач. Бирманского карат. экспедиц. корпуса, 1872—1873; в чине генерал-лейтенанта подавил 1-е восстание метисов в сев.-зап. Канаде, 1874; генерал-адъютант в Ашантийской войне, 1875 (ранен, крест Виктории); нач. милиции в Канаде, 1876 (ранен разорвавш. орудием во время поездки по Квебеку, денежная награда от Парламента в 25 000 ф. ст., орден Почетного легиона 5-го класса); мастер Великой Ложи вольных каменщиков Англии, 1877. *Публикации*: «Пока Англия трепетала», взгляд на действия правительства во время чартистского движения 1848 г.; «Очистить планету», монодрама; «Политические болезни, имперские лекарства», лекция в Объединенном военном институте. *Внеслужебные занятия:* охота, стрельба, племенное скотоводство; попечитель приюта для бездомных и сирот при Манчестерском об-ве человеколюбия; личный надзор за опытным хозвом по подготовке сирот из трущоб к переселению в колонии. *Адрес*: Порчестер-террас, 49, Лондон. *Клубы*: Кавалерийский, Объединенный воинский, Пратта, Британская евгеника.

Я прочел эту статью на следующий день после возвращения Беллы, предварительно убедившись, что никто меня не видит. Позже я узнал, что Белла и Бакстер по отдельности сделали то же самое. Преисполненные планов на будущее, мы не хотели ворошить прошлое сообща — мы надеялись, что оно оставит нас в покое. Один Бакстер воспользовался сведениями, чтобы приготовиться на случай, если прошлое неожиданно нас потревожит. В то холодное рождественское утро, когда мы торопливо шли из церкви домой, только он был в серьезном расположении духа. Белла заразила меня своим острым любопытством, и я испытывал дурацкую гордость из-за известности генерала. Я не боялся, что он отнимет у меня невесту, но воображал, что моя сердечная жизнь войдет в историю, как вошла в нее сердечная жизнь Риццио или Босуэлла[1], — но не с роковыми для меня послед-

[1] Риццио (1533?—1566) — фаворит Марии Стюарт. Босуэлл (1536—1578) — муж Марии Стюарт.

ствиями, а лишь в такой степени, чтобы сделать меня знаменитым. Даже слова Бакстера не отрезвили меня. Приблизившись к дому 18, в окне кабинета мы увидели генерала, устремившего на нас взгляд сверху вниз. Белла содрогнулась. Бакстер мягко сказал:

— Левый глаз у него стеклянный, и, чтобы глаза не разъезжались, он всегда смотрит прямо перед собой. Ни один крупный военачальник не имеет столько ранений, как ле Диш Коллингтон.

— Ох, бедняга! — воскликнула Белла и ободряюще ему помахала. Он не подал виду, что заметил этот жест, а я вдруг испугался, что жалость может толкнуть ее к нему.

Когда мы вошли в кабинет, он все еще смотрел в окно, стоя к нам спиной. Старый заводчик устроился в кресле подле камина. Пока мы с Беллой усаживались у стола, он бросил на нас быстрый взгляд и вновь уставился в огонь. Адвокат и врач с чопорным видом сидели на диване рядом с детективом. Сеймур Граймс единственный из посетителей чувствовал себя свободно; в руке у него был стакан с виски, наполненный из графинчика, который миссис Динвидди поставила в пределах досягаемости. Бакстер прошел прямо к бюро, отпер его и вынул какие-то бумаги. Положив их на стол, он спросил, не обращаясь ни к кому в отдельности:

— Генерал предпочитает стоять?

— Сэр Обри *обычно* предпочитает стоять, — произнес генеральский врач осторожно.

— Хорошо, — сказал Бакстер. Он сел, выбрав место, откуда ему были видны все присутствующие, и заговорил.

— В столь густонаселенном мире, как наш, почти у каждого человека есть несколько двойников с такой же внешностью и таким же голосом. Есть ли у кого-нибудь из вас дополнительные причины считать, что Белла Бакстер —это Виктория Коллингтон?

ГЕНЕРАЛ СЭР ОБРИ ЛЕ ДИШ КОЛЛИНГТОН, БАРОНЕТ

— Да, — отозвался старый заводчик. — Неделю назад я получил письмо от некоего Парринга. Там говорилось, что моя Викки живет тут, у вас. Я связался с зятем и узнал, что двумя неделями раньше он получил такое же письмо, но ничего не предпринял.

— Это было письмо сумасшедшего! — вмешался адвокат. — Парринг пишет, что леди Коллингтон была не только его любовницей, но и любовницей Роберта

Бёрнса, «пригожего принца Чарли»[1] и прочих знаменитостей вплоть до обитателей райских кущ. Вас удивляет, что генерал оставил подобное послание без внимания?

— Да, — отозвался старик, хмуро глядя в огонь. — За все три года только это письмо и давало ключ к местонахождению моей Викки. Когда она пропала, мы всех должны были на ноги поставить, но этот вот доктор Приккет сказал: «Не надо в полицию обращаться — я уверен, это временное помрачение — публичный скандал еще сильней выведет ее из равновесия — если любите свою дочь, дайте ей время вернуться по своей воле». Разумеется, Приккет только то говорит, что сэр Обри хочет слышать. Теперь я это понимаю, тогда не понимал. Прошло несколько дней, пока не оповестили Скотленд-Ярд, а они дело замяли, потому что... потому что... — Он издал не то смешок, не то сдавленное рыдание — ...Коллингтон ведь народный любимец — пример для юношества — это сам лорд Пальмерстон сказал! Газеты — молчок, и никто ничего не обнаружил. Или обнаружили, да мне не сказали. И как только я письмо Парринга прочел, тут же нанял Граймса. Расскажите, Граймс, что вы там выведали.

Детектив кивнул, отхлебнул из стакана и зачастил, как истый лондонец. Это был заурядный человек лет тридцати — столь заурядный, что я не отметил в нем ничего личного, за исключением манеры говорить, опуская местоимения первого лица.

— Нанят расследовать исчезновение леди Коллнтн семь дней назад, три года после события. Леди пропала из дома внезапно в тревоге смятении расстройстве да еще в интересном положении — восемь с половиной месяцев беременности, из-за этого прекрасный пол часто чудить начинает, бедняжки. Дали фото пропавшей, приличное. Прибыл в Глазго проверить сведения из письма Данкана Парринга, эсквайра, и выяснил, что указанный джентльмен содержится в охраняемой палате городского Королевского приюта для умалишенных, доступ строго запрещен. Леди К. пропала из дома 49 по Порчестер-террас 6 февраля 1880 года, так что проверил все данные полиции и Общества человеколюбия о бродячих умалишенных или неуравновешенных женщинах, задержанных или обнаруженных в Глазго после этой даты. Оказалось, женщина типа леди К. замечена бросающейся с моста в реку Клайд 8 февраля и выловлена работником Общества человеколюбия, неким Джорджем Геддесом. Показал ему фото. «Она!» — говорит. Я: «Где сейчас?» Он: «Труп не востребован, поэтому увезен полицейским хирургом на медицинский факультет университета 15 февраля» —неверно. Боглоу Бакстер был полицейским хирургом, но, как показывают факультетские архивы, мистер Бакстер не доставлял туда НИКАКИХ трупов ни 15 февраля, ни когда-либо позже, потому что 16 февраля факультет получает от него письмо, где говорится, что он прекращает работу в полиции, чтобы сосредоточиться (так написано) на частной практике. Что он, безусловно, и сделал. К концу февраля угольщик, молочник, бакалейщик, мясник, снабжающие дом 18 по Парк-сёркес, уже знают, что у мистера Бакстера появилась постоянно проживающая пациентка. Парализованная. В апреле уже ходит, но ум младенца. Три года спустя она сидит здесь, цветущая, как роза, и готова опять замуж. Удачи вам, мисс или леди К.!

Глядя на Беллу, Сеймур Граймс приветственно поднял стакан и осушил его.

— Мне он нравится, — прошептала Белла так громко, что я усомнился, поняла ли она его рассказ. Все остальные смотрели на Бакстера.

— В цепи ваших рассуждений есть слабое звено, мистер Граймс,— сказал он. — По вашим словам, Джордж Геддес (кстати, весьма известное и уважаемое лицо в нашем городе) утверждает, что он вытащил мертвое тело*. Как может найденный им труп рассиживать теперь тут с нами? Ведь вы сами сказали, что он семь дней пролежал в морге.

— Не знаю — не моя епархия,— ответил детектив, пожав плечами.

— Я думаю, мне удастся пролить свет на это темное дело,— сказал врач,— если сэр Обри позволит.

Генерал и бровью не повел.

— Здесь мой дом, доктор Приккет,— промолвил Бакстер. — Я не только позволяю, я настаиваю, чтобы вы высказались.

[1] «Пригожий принц Чарли»— Карл Эдуард Стюарт (1720—1788), внук Якова II, безуспешно пытавшийся завладеть британским троном.

— Так я и сделаю, мистер Бакстер, хоть мои слова и придутся вам не по вкусу. Медики Лондона знают, что с начала нынешнего века хирурги Глазго экспериментируют, пропуская электрический ток через нервную систему трупов. Известно, что в 1820-е годы один из ваших оживил труп повешенного преступника, который сел и начал говорить. Публичный скандал был предотвращен только тем, что кто-то из демонстраторов взял скальпель и перерезал ему горло*. Ваш отец присутствовал на этой демонстрации. Не сомневаюсь: он все, что знал, передал вам, его единственному ассистенту, если не считать невежественных медицинских сестер. Увы, сэр Колин, как известно, далеко не всеми своими открытиями делился с коллегами.

— Бог,— произнесла Белла глухим голосом, какого я никогда раньше не слышал,— когда мы сегодня выходили из церкви, ты сказал, что собираешься признаться во лжи. Мне кажется, я теперь понимаю, в чем эта ложь состояла. Мои папа и мама не погибли в Аргентине в железнодорожной аварии. Ты придумал это, чтобы скрыть кое-что похуже.

— Да, — сказал Бакстер и закрыл лицо руками.

— Так этот несчастный старикан действительно мой отец? А этот человеккол, который боится взглянуть мне в глаза, действительно мой муж? И я сбежала от него и утопилась? О Свечка, держи меня, пожалуйста, крепче.

Я послушался, и правильно сделал, потому что генерал обернулся.

Он обернулся и заговорил ломким, тонким, высоким голосом, который становился все громче и громче.

— Хватит строить дурочку, Виктория. Ты прекрасно помнишь, что Хаттерсли твой отец, что я твой муж и что ты убежала из дома, не желая исполнять свой супружеский долг. Вся эта нелепая история с утоплениями, моргами и потерей памяти выдумана, чтобы скрыть тот простой факт, что три года ты жила с уродом, утоляя свою болезненную страсть к плотскому соитию сначала с ним, потом с сумасшедшим распутником, теперь — с неотесанным негодяем. Ты делаешь это здесь — сейчас — перед моими глазами. РУКИ ПРОЧЬ ОТ МОЕЙ ЖЕНЫ, СЭР!

Последние слова он прокричал так громко, что я чуть было ему не подчинился. Один из его льдисто-голубых глаз мог быть и вправду стеклянным, но он соответствовал другому столь безупречно, что я содрогнулся от излучаемой ими ненависти. Но тут я увидел подле нас Бакстера, который ростом был ничуть не ниже генерала, но толще его раз в пять, и неожиданная поддержка пришла к нам от старика, который по-прежнему смотрел в камин.

Он сказал:

— Не надо так о моей Викки, сэр Обри. Вы прекрасно знаете, чьи плотские страсти ее из дома выгнали. Если она делает вид, что забыла, честь ей и хвала. Если и вправду забыла, хвала Господу.

— В моих отношениях с женой стыдиться мне нечего,— резко ответил генерал; Белла мягко высвободилась из моих рук и подошла к старику.

— Вы стараетесь быть добрым — может быть, вы и вправду мой отец. Дайте подержать вашу руку,— сказала она.

Он взглянул на нее, скривив рот в болезненной улыбке, напомнившей мне улыбку моей матери, и позволил ей взять свою руку в обе ладони. Она закрыла глаза и прошептала:

— Вы сильный... яростный... хитрый... но ни капельки не добрый, потому что боитесь.

— Неправда! — воскликнул старик, отдергивая руку. — Сильный, яростный и хитрый, да, слава Богу, я такой. Потому-то я выбрался сам и тебя с матерью вытащил из вонючей манчестерской помойки, всех нас вытащил, а кто послабже, тех потопил. Троих твоих маленьких братцев я не смог, правда, вытащить — померли от холеры. Но ничего на свете я не боюсь, кроме бедности и фырканья тех, у кого кошелек потуже. А этого только дурак не боится, тем более когда и того и другого изрядно пришлось хлебнуть. Мы все этого нахлебались, пока я не выпер из дела твоего дядьку. Уж как он визжал — что твоя свинья резаная, а потом с Хадсоном спознался, чтоб свое вернуть, с самим Хадсоном! С рельсовым королем! Но я и его, и Хадсона стер в порошок. Да, Викки,— старик вдруг разразился хохотом,— не кто иной, как твой старый папаша, стер в порошок Короля Хадсо-

на! Но ты женщина и о бизнесе не имеешь понятия. Через десять лет у меня уже был граф в совете директоров, я проводил людей в парламент и давал работу половине квалифицированной рабочей силы Манчестера и Бирмингема. Потом в один прекрасный день тебе стукнуло семнадцать, и я вдруг увидел, что ты красавица. До этого я был слишком занят, чтобы на тебя смотреть или думать, как придать тебе товарный вид для рынка невест. Но тут я потащил тебя прямиком в швейцарский монастырь, где дочек миллионеров скребут и полируют вкупе с дочками маркизов и всяких заграничных принцев. Говорю настоятельнице: «Сделайте мне из нее леди. Попотеть с ней придется, это уж точно. Она упрямая, как ее мамаша когда-то была,— из тех ослиц, что лучше понимают палку, чем морковку. Неважно, сколько уйдет времени и денег, важно, чтоб получилась невеста высшего разряда». Времени ушло семь лет. Когда ты домой вернулась, твоя мать уже умерла — отказала печень,— и я, признаться, за тебя порадовался. В бедности она мне хорошей женой была, в богатстве — только обузой. Ее простота могла погубить твои шансы. А уж из тебя-то монахини конфетку сделали — по-французски болтала, как настоящая мамзель, хотя английский твой как был манчестерским, так и остался. Но генерал был не в претензии — правда, сэр Обри?

— Правда. Ее чудной говор меня забавлял. Это было чистое создание, милейшее существо из всех, кого я встречал,— сказал генерал задумчиво. — Душа невинного ребенка в телесной оболочке черкесской гурии — неотразимо.

— Любила я вас? — спросила Белла, глядя на него.

Он важно кивнул.

— Ты восхищалась им, боготворила его,— воскликнул ее отец,— да и посмела бы ты его не любить! Ведь это был народный герой и двоюродный брат графа Хервуда. К тому же, тебе уж двадцать четыре исполнилось, а он был единственный мужчина, кроме меня, с которым тебе разрешалось видеться. Ты на седьмом небе была в день свадьбы. Для приема и банкета я снял и украсил целиком манчестерский Фри-трейд-холл, и соборный хор пел вам «Аллилуйю».

— Ты любила меня, Виктория, и я любил тебя,— сказал генерал хрипло,— поэтому мы стали мужем и женой. Я пришел сюда, чтобы напомнить тебе об этом и защитить тебя. Простите меня, джентльмены! — его правый глаз обескураживающе метнулся в нашу с Бакстером сторону. — Простите меня за крики и оскорбления. Может быть, вы и честные люди, хотя обстоятельства говорят не в вашу пользу, а моя вспыльчивость печально известна. Тридцать лет я служил Англии (или, лучше сказать, Британии) и щадил себя не больше, чем солдат, которыми командовал, и дикарей, которых усмирял. В моем теле нет ни единого мускула без своей особой боли, и хуже всего мне, когда я сижу. Я могу отдохнуть только лежа ничком, вы мне позволите краткий отдых?

— Сделайте одолжение,— сказал Бакстер.

Адвокат, врач и детектив вскочили с дивана. Врач помог генералу на нем распластаться.

— Дайте я вам подушку подложу,— сказала Белла, которая уже принесла подушку и стала подле него на колени.

— Нет, Виктория. Я никогда не пользуюсь подушкой. Неужели ты забыла? — промолвил генерал, опустив веки.

— Да. Забыла.

— Ты совсем ничего обо мне не помнишь?

— Ничего определенного,— ответила Белла неуверенно,— хотя что-то в вашем голосе и наружности все-таки кажется знакомым, словно я во сне вас видела или в театре. Дайте подержать вашу руку. Может быть, тогда вспомню.

Он устало протянул руку, но, едва дотронувшись до нее пальцами, она вскрикнула и отдернула свою, как ошпаренную.

— Ужасный человек! — воскликнула она не укоризненно, а только ошеломленно.

— То же самое ты сказала в день своего бегства,— ответил он усталым голосом, не открывая глаз,— и ты ошиблась. Если не брать в расчет воинские награды и общественное положение, я такой же мужчина, как все. Ты как была, так и осталась неуравновешенной женщиной. Жаль, Приккет не сделал тебе операцию после медового месяца.

— Операцию? Какую?

— Не могу тебе сказать. Джентльмены обсуждают такие вещи только со своими врачами.

— Сэр Обри,— вмешался Бакстер,— трое в этой комнате — квалифицированные медики, а единственная присутствующая здесь женщина готовится стать медицинской сестрой. Она имеет право знать, почему вы называете ее неуравновешенной женщиной, обуреваемой болезненными страстями, которой после медового месяца следовало сделать хирургическую операцию.

— Лучше бы не после, а до,— промолвил генерал, все еще не размыкая век. — Магометане делают это новорожденным девочкам. Поэтому из них получаются самые покорные жены на свете.

— Не будем ходить вокруг да около, сэр Обри. Сегодня в церкви ваш врач на ухо сказал мне, чем по его — и вашему — мнению была больна ваша жена. Если он немедленно не повторит это вслух, разговор будет продолжен в суде перед шотландскими присяжными.

— Скажите, Приккет,— согласился генерал устало. — Прокричите. Оглушите нас.

— Эротомания,— с трудом выговорил врач.

— Что это значит? — спросила Белла.

— Генерал полагает, что ты слишком сильно его любила,— ответил Бакстер.

— Это значит, — торопливо заговорил Приккет,— что вы хотели спать в его спальне, в его постели, лежать с ним (я принужден быть откровенным) каждую ночь без исключения. Джентльмены! — Он отвернулся от Беллы и обратился ко всем прочим: — Джентльмены, генерал — добрый человек, он скорее отрубит себе правую руку, чем разочарует женщину! Накануне свадьбы он попросил меня дать точное описание — с научной, гигиенической точки зрения — обязанностей женатого человека. Я сказал ему то, что знает каждый врач, — что половые сношения, если ими злоупотреблять, ослабляют и тело, и душу, но в разумных пределах не приносят ничего, кроме пользы. Я сказал, что ему следует допускать к себе молодую жену на полчаса каждый вечер в течение медового месяца и раз или два в неделю после него, причем как только будет установлена беременность, все любовные игры следует прекратить. Увы, леди Коллингтон оказалась столь неуравновешенной, что даже на восьмом месяце она хотела лежать с сэром Обри всю ночь напролет. Когда ей этого не позволяли, закатывала истерику.

По щекам Беллы заструились слезы.

— Бедняжке хотелось помиловаться, — сказала она.

— Ты никогда не могла понять,— проговорил генерал сквозь сжатые зубы,— что прикосновение к женскому телу возбуждает в крепком, полноценном мужчине АДСКИЕ ВОЖДЕЛЕНИЯ — вожделения, обуздать которые невозможно. Миловаться! Отвратительное, бабье словечко. Оно марает твои губы, Виктория.

— Тут каждый говорит, что думает, ясное дело,— сказала Белла, вытирая глаза,— но странно все это звучит. Послушать сэра Обри, он может разорвать женщину на части, но, честно сказать, обойдись он со мной грубо, я его о коленку бы переломила.

— Ха! — прозвучал презрительный возглас генерала; его врач заговорил совсем быстро, вероятно задетый словами Беллы и равно скептическими взглядами, которыми обменялись мы с Бакстером, слушая его трактовку обстоятельств. Голосом, почти столь же пронзительным, как генеральский, он сказал:

— Ни одна нормальная, здоровая женщина, ни одна порядочная, уравновешенная женщина не желает и не ждет наслаждения от полового акта, она видит в нем только долг. Уже античные философы понимали, что мужчина — энергичный сеятель, а добропорядочная женщина — мирное поле. В трактате «De rerum natura»[1] Лукреций говорит, что только развратные женщины двигают бедрами.

— Это убеждение противоречит природе и большей части человеческого опыта,— возразил Бакстер.

— *Большей части* человеческого опыта? Конечно, еще бы! — вскричал Приккет. — Я говорю только об утонченных женщинах, респектабельных женщинах, а не о грубой массе.

— Подобные диковинные представления,— обратился Бакстер к Белле,— впервые были письменно изложены афинскими гомосексуалистами, которые счи-

[1] «О природе вещей» (*лат.*).

тали, что единственное предназначение женщины — рожать мужчин. Потом их подхватили христианские попы-безбрачники, видевшие в половом наслаждении корень всякого греха, а в женщине — его орудие. Не понимаю, почему эта идея так популярна ныне в Британии. Может быть, выросшие в числе и размерах школы-интернаты для мальчиков породили целый класс людей, не знакомых с реальностями женской натуры. Но скажите мне, доктор Приккет, леди Коллингтон была согласна на клиторотомию?

— Не только согласна — она умоляла меня о ней со слезами на глазах. Она ненавидела свои истерические припадки, ненавидела свою неодолимую тягу к близости с мужем, ненавидела свою болезнь не меньше, чем он. Она послушно принимала успокаивающие средства, которые я назначал, но в конце концов мне пришлось сказать ей, что они совершенно бесполезны и что излечить ее можно, лишь *вырезав* средоточие ее нервного возбуждения. Она умоляла меня сделать это немедленно и была горько разочарована, когда я объяснил ей, что необходимо подождать до рождения ребенка. Леди Коллингтон! — сказал Приккет, вновь поворачиваясь к Белле. — Леди Коллингтон, мне очень жаль, что вы ничего этого не помните. Раньше вы полагались на меня, как на доброго друга.

Белла молча покачала головой. Бакстер спросил:

— Так значит, леди Коллингтон убежала из дома не потому, что боялась вашего лечения?

— Конечно нет! — негодующе воскликнул Приккет. — Леди Коллингтон не раз говорила, что у нее нет большей радости, чем мои визиты.

— Но с какой стати она все-таки убежала?

— Она сошла с ума,— сказал генерал,— вот с какой стати. Если теперь она выздоровела, она вернется со мной домой. Если откажется, значит, она все еще сумасшедшая, и мой супружеский долг — поместить ее туда, где ее будут должным образом лечить. Я не могу оставить ее в доме, где из моей безумной жены делают *сиделку*!

— Но с тех пор как она утопилась, она уже не ваша жена,— быстро сказал Бакстер. — Согласно брачному контракту, супружество длится, «пока не разлучит вас смерть». Единственный человек, способный независимо засвидетельствовать тождество вашей жены и моей подопечной,— это сотрудник Общества человеколюбия, который видел самоубийство и извлек из воды труп. По словам доктора Приккета, я дал ей новую жизнь. Если так, то я настолько же отец и покровитель вновь рожденной женщины, насколько мистер Хаттерсли был отцом и покровителем прежней, и я в такой же степени, как он когда-то, имею право препоручить ее в бракосочетании избранному ею жениху. Как вам моя логика, мистер Харкер?

— Никакая это не логика, мистер Бакстер, а чушь на постном масле,— ответил адвокат холодно. — Я не сомневаюсь ни в том, что леди Коллингтон погрузилась в воды Клайда, ни в том, что сотрудник Общества человеколюбия извлек ее из реки. За это ему и платят. Он послал за вами, чтобы вы вернули ее к жизни, что вам, несомненно, удалось. Затем вы дали ему взятку, чтобы он позволил вам увезти ее сюда, где, представляя ее окружающим как племянницу и жертву катастрофы, вы медикаментами привели ее разум в детское состояние и вдоволь натешились ее телесной красотой и соблазнительной слабостью, прикрывшись личиной доброго дядюшки и заботливого врача. В этой роли вы даже совершили с вашей любовницей кругосветное путешествие! Но, вернувшись в Глазго, вы почувствовали, что она вам надоела, и потворствовали ее побегу с несчастным Данканом Паррингом. Вчера я посетил мать бедного Парринга, которая страшно удручена случившимся. Она сказала мне, что ее сына привела к телесному, душевному и финансовому краху женщина, которую он называет Беллой Бакстер. Если бы его не содержали сейчас под охраной в городском Королевском приюте для душевнобольных, он бы сидел в тюрьме за присвоение средств, вверенных ему клиентами. В прошлом месяце ваша дважды брошенная любовница к вам вернулась, и вы спешно устроили ее брак со Свичнетом, вашим слабоумным прихлебателем. Если я расскажу эту историю британскому суду присяжных, он мне поверит, потому что это сущая правда. Посмотрите, сэр Обри! Посмотрите на него! Что правда с человеком делает!

Со стоном, подобным подземным раскатам грома, Бакстер поднялся со сту-

ла, прижал руки к животу и низко склонился, дергаясь, как эпилептик. Я был удивлен не его реакцией, а тем, что он удержался на ногах. Адвокат так искусно перемешал правду и ложь, что на мгновение даже я ему поверил. Но тут к Бакстеру подскочила Белла, обвила рукой его талию и, нежно поглаживая, выпрямила его снова. Это подхлестнуло меня. Если посетители никогда раньше не сталкивались с холодной яростью рационального до мозга костей шотландца, теперь они узнали, что это такое.

— Если бы мистер Бакстер не испытал сейчас боли, он был бы каменным истуканом,— сказал я. — Злоупотребив гостеприимством этого мудрого, доброго, самоотверженного человека, вы назвали его уродом и лжецом. В присутствии пациентки, которая обязана ему жизнью, вы обвинили его в развратных посягательствах на нее. Вы не знаете, какая страшная трещина опоясывает ее череп; если бы он не заботился о ней, как мать, и не воспитывал ее, как отец, дело не обошлось бы полной потерей памяти — ее сознание осталось бы сумеречным. Кругосветное путешествие было не любовным развлечением, а лучшим способом показать ей мир, который она забыла. Он не *потворствовал* ее побегу с Паррингом — он пытался ее отговорить, умолял о том же меня, а когда нам обоим это не удалось, он снабдил ее средствами для того, чтобы вернуться к нам, когда эскапада ей наскучит. Никакой распутник, избавляющийся от любовницы, *так* бы не поступил! Вам, вдобавок, хватило бесстыдства назвать меня — его лучшего друга! Арчибальда Свичнета, доктора медицины, врача Королевской лечебницы Глазго! — вы посмели назвать меня неотесанным негодяем и слабоумным прихлебателем. Неудивительно, что нарушение функции блуждающего нерва породило у него обратную перистальтику, вследствие чего выброс сока поджелудочной железы вызвал раздражение пищевода, сопровождаемое сильнейшей изжогой! И болезненную реакцию на мерзкую хулу вы трактуете как признак ВИНЫ??? !!! Стыд вам и срам, джентльмены. Я начинаю думать, что вы и не джентльмены вовсе.

— Благодарю тебя, Свичнет,— проговорил Бакстер.

Теперь он сидел в кресле напротив мистера Хаттерсли, а Белла стояла позади него, положив руки ему на плечи и как бы его защищая. Она смотрела на него с таким выражением лица, какое я впоследствии, проводя с ней медовый месяц в Италии, увидел у Боттичеллиевой Мадонны. Бакстер вновь заговорил с адвокатом, как будто ничего не случилось.

— Итак, вы полагаете, что дама, стоящая позади меня, и жена генерала — одно и то же лицо.

— Не полагаю, а знаю.

— Я докажу, что вы не правы, с помощью пяти независимых свидетельств, каждое — от ученого мирового масштаба. Леди Виктория Коллингтон была истеричка; она так по-детски зависела от мужа, которому была невыносима, что самой большой радостью для нее были визиты домашнего врача; она испытывала такое отвращение к себе, что охотно притупляла свой разум успокоительными и страстно желала, чтобы ее тело изуродовали скальпелем. Прав я или нет?

— Да уж, устроила она жизнь генералу, — проворчал старый мистер Хаттерсли, — но я бы добавил, что и в самых диких припадках она вела себя как настоящая леди.

— Она *давала отдых* своему бедному разуму посредством успокоительных, — сказал врач, — и хотела, чтобы ее *исцелили* скальпелем. С этими поправками ваш портрет несчастной леди более чем верен.

— Да, вы неплохо знаете мою жену, Бакстер, — усмехнулся генерал.

— Я никогда не встречал вашу жену, сэр Обри. Утопленница, которая пришла в сознание в этом доме, — другое лицо. Объясните присутствующим, доктор Приккет, кто такие Шарко из Парижа, Гольги из Павии, Крепелин из Вюрцбурга, Бройер из Вены и Корсаков из Москвы.

— Это психиатры, специалисты по болезням мозга и нервной системы. Шарко я считаю шарлатаном, но, конечно, на континенте даже его высоко ценят.

— Во время кругосветного путешествия мы посетили их всех. Каждый из них обследовал женщину, которую я называю Беллой Бакстер, и дал о ней заключение. Эти заключения, подписанные и заверенные, сопровождаемые переводами на английский язык, лежат здесь на столе. Терминология в них различается, пос-

кольку эти врачи смотрят на человеческий рассудок с разных точек зрения, и Крепелин с Корсаковым разделяют мнение доктора Приккета о Шарко. Но в отношении Беллы Бакстер они единодушны — это психически здоровая, физически крепкая и жизнерадостная женщина с ярко самостоятельным взглядом на жизнь несмотря на то, что потеря памяти, вызванная черепно-мозговой травмой и гибелью неродившегося ребенка, лишила ее всех воспоминаний о жизни, предшествовавшей ее появлению здесь. Если отвлечься от этого, ее нервно-психическая устойчивость, острота чувственного восприятия, цепкость памяти, способность к интуитивному и логическому суждению исключительно высоки. Шарко смело утверждает, что потеря памяти пошла ее разуму на пользу, заставив ее вновь познавать мир в возрасте достаточно зрелом, чтобы сразу осмысливать познаваемое, чего люди, всю жизнь находящиеся во власти детских впечатлений, обычно не делают. Они все согласны, что у нее нет признаков мании, истерии, фобии, слабоумия, меланхолии, неврастении, афазии, кататонии, садомазохизма, некрофилии, копрофилии, мании величия, грязелюбия, ликантропии, фетишизма, нарциссизма, онанизма, беспричинной агрессивности, нездоровой скрытности и навязчивой тяги к сафической любви. Единственное отмеченное проявление навязчивости имело лингвистический характер. Эти заключения основаны на обследованиях, выполненных зимой 1880 — 1881 годов, когда она училась читать и испытывала восторг перед синонимами, ассонансами и аллитерациями — восторг, временами граничащий с эхолалией. Крепелин сказал, что это бессознательная компенсация недостатка чувственных воспоминаний. Шарко высказал мысль, что она может стать поэтессой, Бройер — что эта навязчивая тяга будет ослабевать по мере накопления воспоминаний. Так и случилось. Ее речь вошла в обычные рамки. Как утверждает Шарко, она на удивление свободна от нездоровых предрассудков, свойственных ее соотечественникам; тут, безусловно, отразились его собственные национальные предрассудки, но его последние слова хорошо подытоживают заключения всей пятерки: самая вопиющая ненормальность Беллы Бакстер состоит в ее полной нормальности. Эта женщина не может быть женой генерала Коллингтона. Пожалуйста, исследуйте эти свидетельства, доктор Приккет, или возьмите их с собой и убедитесь в их подлинности на досуге.

— Не тратьте время попусту, Приккет, — сказал генеральский адвокат. — Это не имеет отношения к делу. Увертки и ничего больше.

— Поясните, пожалуйста, ваши слова, — терпеливо попросил его Бакстер.

— С легкостью. Предположим, некий гнусный мерзавец украл у меня деньги и сбежал с ними из Лондона. Предположим, три года спустя полиция арестовывает его в Глазго и хочет уже упечь его за решетку, как вдруг прибегает врач с криком: «Стойте! Я могу доказать, что этот человек с тех пор, как украл ваши деньги, стал дружелюбней и здоровей и что он начисто забыл о краже». Полиция сочтет, что это увертки. Из-за своей эротомании леди Коллингтон была генералу очень скверной женой, но ни он, ни законы нашей страны не позволят ей ни выходить замуж вторично при живом муже, ни счастливо жить по-шотландски сразу с двумя только лишь потому, что ее счастливое состояние засвидетельствовано оравой заграничных психиатров.

Раздался негромкий звук, похожий на куриное кудахтанье, — генералу стало смешно. Бакстер вздохнул.

Вздохнул и сказал:

— Сэр Обри. Мистер Хаттерсли. Эта женщина готовится к общеполезной работе на благородной стезе медицины. Зачем насильно возвращать ее в лоно брака, сделавшего и ее, и мужа несчастными? Если Свичнет — мой прихлебатель, то Харкер, Приккет и Граймс — ваши. Никто в этой комнате не желает скандала. Единственный человек вне ее, который знает правду или хотя бы часть правды, — сумасшедший, что подтверждено врачами. Все, что я говорил, имело целью убедить вас, что для вас и достойно, и возможно будет разрешить этой женщине свободно выбрать, вернется ли она в Англию с вами или останется в Шотландии, — и достойно, и возможно.

— Невозможно, — сказал генерал мрачно. — Толки об исчезновении моей жены с годами усилились, а не ослабели. В доброй половине лондонских клубов считают, что я избавился от домашних трудностей таким же манером, каким избавлялся от мятежных индусов и ашантийцев. Но на этот раз, черт возьми, они меня осуждают, а не превозносят. Принц Уэльский на той неделе прошел мимо, не поклонившись, а ведь этот невежа несколько тысяч мне должен. Как я покинул поля сражений и подался в парламент, газетчики тут же начали забывать, что я был народным любимцем. Один радикальный листок уже подпускает намеки, и если я не прихлопну клевету в зародыше, популярные газеты тоже Синей Бородой меня окрестят. Гладстон, этот лицемер до мозга костей, посоветовал мне *защитить мое доброе имя,* пообещав солидное вознаграждение за сведения о моей жене, живой или мертвой. Как вы понимаете, что сегодня же шотландский священник, усевшись с семьей и друзьями за рождественский стол, пойдет чесать языком о том, как я нарушил свадебную церемонию? Нет, Виктория. Если окажется, что этот Бакстер научил тебя вести себя как следует, я щедро заплачу ему за труды, но ты возвратишься со мной на юг, помнишь ты меня или нет.

— И подумай, что ты будешь иметь, когда вернешься домой, Виктория! — воскликнул старый мистер Хаттерсли, придя в сильное возбуждение. — Сэр Обри уже, считай, на три четверти покойник и протянет от силы года четыре. Но за это время он хоть одного-то сына тебе сварганит, а там, пока парень не вырастет, живи себе как душа пожелает — хоть в лондонском доме, хоть в лоумширском поместье, хоть в другом поместье в Ирландии! Только подумай об этой роскоши, Викки, и вся она — тебе и мне. Да, и мне тоже! Дедушке баронета! Ведь всем этим ты мне обязана, Викки, кто же тебе жизнь-то дал? Так что уж будь послушным осликом. Впереди мешок с морковкой — почет и богатство, а сзади вот-вот кованый сапог ударит — сумасшедший дом. Да, мы тебя за милую душу в приют упечем! Никто и не посмотрит, что там наболтала два года назад кучка заграничных профессоров, если доктор Приккет и еще какой-нибудь наш специалист с рыцарским титулом установят, что у тебя не все дома. А ведь это так, Викки, взять хотя бы то, что ты родного своего папу не узнаёшь. Или богатство, или сумасшедший дом — вот что выходит. Выбирай давай.

— Или разведись с сэром Обри, — сказал Бакстер. — Если он рассматривает свой брак с точки зрения буквы закона, почему ты не можешь?

Мы все воззрились на него.

Даже генерал, открыв на минуту глаза, наблюдал, как Бакстер занял свое место за столом и переложил какие-то бумаги снизу наверх. Взглянув на первую страницу, он произнес:

— 16 февраля 1880 года к леди Коллингтон, находившейся тогда на сносях, явилась другая женщина, также беременная, бывшая судомойка на Порчестер-террас, которая заявила, что она — брошенная любовница сэра Обри, и взмолилась о денежной помощи. Сэр Обри...

— Остерегитесь, сэр! — рявкнул генерал, но Бакстер заговорил еще громче:

— Сэр Обри ворвался в комнату, вышвырнул посетительницу на улицу и запер жену в угольном чулане. На следующее утро леди Коллингтон исчезла.

— Мистер Бакстер, — торопливо вмешался адвокат, — теперь оказывается, что вам известны поразительные факты о прошлом дамы, о которой до сих пор вы вроде бы ничего не знали. Если эти обвинения не будут подтверждены показаниями очевидцев, которые дадут их в суде под присягой и выдержат жесткий перекрестный допрос, вы дорого заплатите за клевету.

— Я получил эти сведения от сержанта Каффа, — сказал Бакстер, — которого вы, может быть, знаете, мистер Граймс.

— Бывший сотрудник Скотленд-Ярда?

— Да.

— Хороший. Много берет, но и работает на совесть. Любит разнюхивать делишки аристократов. Нанимали?

— Я нанял его в прошлом месяце и попросил узнать все что можно, о леди Коллингтон после того, как прочел в письме Парринга, что Белла Бакстер — новое воплощение Виктории Коллингтон. В лежащем здесь отчете Кафф называет многих людей, готовых дать в суде показания против генерала, в большинстве своем слуг, которые уволились или были уволены вскоре после исчезновения леди Коллингтон.

— При чем тут это? — возразил генерал. — Английские слуги худшие в мире, и больше двух месяцев никто еще у меня не держался. Вот говорят, я с дикими народами жесток, как дикарь, но единственный человек, кому я вполне доверяю, — мой личный слуга-индус. Странное дело, да?

— Слуги, свидетельствующие против бывших хозяев, — сказал адвокат, — пользуются очень малым доверием в английских судах.

— Этим поверят, — заметил Бакстер. — Пожалуйста, мистер Харкер, возьмите копию отчета с собой в отель и обсудите все с генералом наедине. Поезжайте сейчас, немедленно. Слишком много тягостных обвинений уже прозвучало сегодня в этих стенах. Завтра я приеду к вам в отель «Сент-Инок», и вы скажете, что вы решили.

— Нет, Бог, — сказала Белла мрачно и твердо, — мое прошлое оказалось уж очень интересным. Я хочу знать все подробности.

— Валяйте, Бакстер, — сказал генерал, зевая. — Сотрясайте воздух дальше. Все равно это ничего не изменит.

Бакстер вздохнул, пожал плечами и принялся излагать содержание отчета; тем временем адвокат, сидя на стуле у окна, изучал врученную ему копию. Бакстер говорил, обращаясь непосредственно к генералу, а не к Белле. Иначе он был бы обеспокоен переменами, которые его рассказ производил в ее лице и фигуре.

— Долли Перкинс, девушка шестнадцати лет, была вашей горничной, сэр Обри, до тех пор пока накануне вашей свадьбы вы не сняли ей квартиру в пансионе близ Севен-дайелс. Вы не назвали своей фамилии хозяйке, миссис Глэдис Мун, но она узнала вас, вспомнив ваши портреты в «Иллюстрейтед Лондон ньюс». По ее словам, вы регулярно проводили у мисс Перкинс по два часа, посещая ее вечером во вторник, а также вечером в пятницу, когда вы платили за квартиру. Так продолжалось четыре месяца, пока однажды в пятницу, расплачиваясь с миссис Мун, вы не сказали ей: «Сегодня плачу в последний раз, больше вы меня не увидите. От Долли Перкинс проку теперь никакого. Если вы от нее теперь не избавитесь, она испортит репутацию вашего пансиона». Миссис Мун пошла к мисс Перкинс, которая призналась, что она беременна и не имеет ни гроша. Ей было велено освободить квартиру.

— Она забеременела не от меня, — сказал генерал хладнокровно, — мои забавы с Долли полностью исключали такую вещь, как зачатие. Никто, конечно, *этому* не поверит, и вот жадная сука стала меня шантажировать, вымогая деньги на роды ублюдка и угрожая сказать моей жене, что ребенок от меня. Я велел шлюхе убираться ко всем чертям и не дал ей ни гроша.

— Несчастный вы старый, дурной генерал, — промолвила Белла скорбным тоном, — и вы всерьез считали вашу жену сумасшедшей из-за того, что она хотела греться с вами больше, чем час в неделю, притом что вы обнимали другую девушку по четыре часа?

— Я никогда не *обнимал* Долли Перкинс, — процедил генерал сквозь зубы. — Бога ради, расскажите ей, что такое МУЖЧИНА, Приккет. Тут ей неоткуда было это узнать.

— Вероятно, сэр Обри хо-хо-хочет, чтобы я сказал, — заговорил врач неуверенно, — что сильные мужчины, которые возглавляют и защищают б-б-британский народ, должны по-поддерживать свою силу, ублажая *животную* сторону своей натуры и ра-ра-развлекаясь с девками, но в то же время хранить чи-чи-стоту своей су-су-супружеской постели и святость жилища, где зарождается жизнь их сынов и дочерей. И вот почему с бе-бе-бе-бе-бе-бе бе-бе-бе, — генеральский врач вынул носовой платок и промокнул лицо, — вот почему с бедной Долли *пришлось* обойтись таким *жу-жу-жутким* образом.

— Не распускайте только нюни, Приккет, — спокойно посоветовал генерал. — Вы прекрасно все разобъяснили. Продолжайте ваш рассказ, мистер Бакстер, и помните, что я не стыжусь ничего, что сделал, будь то у меня дома или в другом месте.

Бакстер продолжил рассказ.

— 16 февраля 1880 года Долли Перкинс вошла в дом 19 по Порчестер-террас через черный ход. Она была измучена, оборвана, голодна и не имела в кармане ни гроша. Кухарка миссис Блаунт усадила ее на стул, налила ей чашку чаю, дала поесть и вновь занялась своими делами. Через некоторое время она увидела, что на стуле никого нет. Долли Перкинс пробралась наверх, в гостиную, повстречалась с леди Коллингтон, рассказала ей свою историю...

— Большей частью враки, — вставил генерал.

— ...и взмолилась о помощи. Леди Коллингтон уже доставала деньги, когда вошел сэр Обри, позвал своих лакеев, велел им вышвырнуть Долли Перкинс на улицу и с помощью личного слуги затащил жену наверх...

— Перенес наверх. Она была в обмороке, — сказал генерал.

— Значит, она быстро пришла в себя. Вы заперли ее в спальне, но она распахнула окно и принялась кидать стоявшей внизу Долли разные вещи — вначале кошелек и драгоценности, затем все мало-мальски ценное, что попадалось под руку. Постепенно, хотя мела метель, под окном стала собираться толпа зевак. Воображаю...

— То, что вы воображаете, не есть улика, — заметил адвокат, не поднимая глаз от копии отчета.

—...каким экстатическим возбуждением преисполнили леди Коллингтон ее безоглядные действия на виду у столь благодарной публики. Еще бы. Скорее всего, это был первый решительный поступок в ее жизни. Она стала выкидывать туалетные наборы, туфли, шляпки, перчатки, чулки, корсеты, платья, подушки, постельное белье, каминные принадлежности, часы, зеркала, хрустальные вазы и вазы китайского фарфора, которые, конечно, разбились...

— И маленький портрет моей матери в детстве работы Энгра, — сказал генерал сухо. — По нему проехало колесо кеба.

— Поначалу сэр Обри подумал, что на улице просто шумят Долли Перкинс и ее дружки-оборванцы. Когда наконец он понял, в чем дело, и бросился в спальню жены, леди Коллингтон уже метала в окно стулья и туалетные столики. Лакеи и личный слуга затащили ее в полуподвал...

— Перенесли! — упорствовал генерал. — Все-таки она была в положении, хоть и превратились в буйнопомешанную. Полуподвал — единственное помещение в доме с решетками на окнах.

— Тем не менее вы ее заперли в угольном чулане без окон.

— Да. Я вдруг сообразил, что ключи от всех этих чертовых помещений там внизу, кроме угольного чулана, гуляют где-то у слуг, а им я не мог доверять. Виктория всегда была с ними запанибрата, и я боялся, что они ее выпустят. Что и произошло. Мне три часа понадобилось, чтобы вызвать Приккета и еще одного врача для освидетельствования, найти приют для душевнобольных, где согласились принять беременную, и договориться, чтобы они прислали обитую войло-

ком карету «скорой помощи» с тремя дюжими санитарками. Когда я вернулся, птичка уже улетела.

— Ваш бывший лакей Тим Блэчфорд утверждает, что сбил замок кочергой, — сказал адвокат, глядя на последнюю страницу отчета. — Миссис Блаунт, ваша бывшая кухарка, сказала: «Мы все умоляли его об этом. Бедная леди так плакала и кричала, что по всему дому было слышно. Мы боялись, что она начнет рожать и в этой проклятой темнице погибнут и она, и ребенок». Однако леди Виктория вышла оттуда целая и невредимая. Ваша бывшая экономка миссис Маннери дала ей одежду, которую подобрала на улице (она была чище, чем ее вымазанное углем платье), и деньги на проезд к отцу в Манчестер.

— Виктория опять обезумела, — сказал генерал.

Мы все посмотрели на Беллу, и старый мистер Хаттерсли издал стон ужаса.

Ее плоть так тесно прилегла к костям, что фигура стала угловатой, но самая жуткая перемена произошла с лицом. Бледный заострившийся нос, впалые щеки и глазницы с глубоко ушедшими в них глазами давали совершенно отчетливые очертания черепа, причем каждый зрачок расширился почти до размеров целого глаза, оставив только крохотные треугольнички белка по краям. Темная масса вьющихся волос тоже словно разбухла — все они на целый дюйм от корня встали дыбом, «как иглы на сердитом дикобразе». Без всякого сомнения, передо мной стоял изможденный призрак леди Виктории Коллингтон, какой она появилась из угольного чулана. Но голос, как ни печально он звучал, был, безусловно, голосом Беллы.

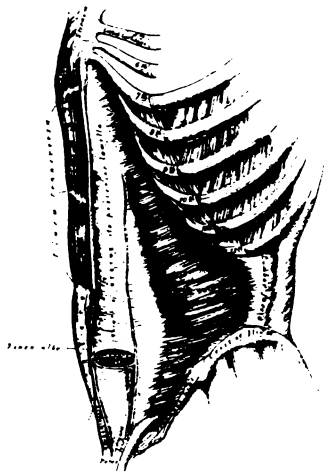
— Я чувствую то же, что чувствовала бедняжка, — сказала она, — но безумной от этого не стану. Значит, я приехала к тебе в Манчестер, папа. Как же ты поступил?

— Плохо! Плохо поступил, Викки! — воскликнул старик, молотя кулаками по ручкам кресла. — Надо было оставить тебя в своем доме, послать за сэром Обри и договориться с ним по-хорошему — так договориться, чтоб и тебе была выгода, и мне. А я стал объяснять, что жена, покидающая мужа, есть нарушительница долга в глазах человеческих и Божеских. Я сказал, что семейный поединок надо вести у своего домашнего очага, иначе никогда его не выиграть. Еще я попросил тебя передать сэру Обри, что если у него не хватает денег, чтобы затыкать рты брошенным девкам, пусть посылает их ко мне — я-то умею обращаться с женщинами такого сорта. Все, что я говорил, было *верно,* Викки, но говорил-то я это потому, что хотел вытурить тебя из дома, с глаз долой, и чем скорее, тем лучше. Я боялся, что ты рожать у меня начнешь, ведь я НЕНАВИЖУ, когда рядом женщина щенится, ненавижу всю эту кровь, вопли и вонючую мерзость, брр, только подумаю — и тянет на рвоту. Так что я быстренько отвез тебя обратно на вокзал и купил билет до Лондона. Ты казалась очень спокойной и благоразумной, Викки, сказала, что мне не обязательно отхода поезда дожидаться, а я и рад был — опасался, что ты разродишься у меня прямо на платформе. Струсил, признаю и прошу прощения. А ты, едва я ушел, видать, поменяла первый класс до Лондона на третий до Глазго. Вот ты и здесь!

— И здесь останусь, — промолвила Белла спокойно, и по мере того, как она говорила дальше, линии ее тела и черты лица приобретали прежнюю мягкость, шапка волос опадала, глаза возвращали свою обычную глубину, размер и теплый золотисто-коричневый цвет. — Благодарю тебя, папа, за то, что ты дал мне жизнь, хотя, судя по всему, в сотворении меня все тяготы легли на маму, а на тебя — никаких. К тому же, если не иметь свободы выбора, то и жить не стоит. Благодарю вас, сэр Обри, за то, что вы забрали меня из отцовского дома, спасибо и за то, что вынудили меня уйти из вашего. Или, скорее, мне Долли Перкинс надо за это благодарить. Без нее я, пожалуй, и дальше бы за вас цеплялась. Благодарю вас, доктор Приккет, за то, что вы пытались сделать жизнь выносимой для такого несчастного глупого существа, каким я была. Но сами-то вы таким существом были и остаетесь. Благодарю вас, мистер Граймс, за то, что вы узнали и рассказали мне, как мне пришлось пройти через воду, чтобы смыть мое бесполезное прошлое. Благодарю тебя, Бог, за то, что ты починил меня и ввел в дом, который не похож на тюрьму. Я буду и дальше здесь жить. И как отрадно, Свечка, когда есть человек, которого вовсе и не нужно благодарить, с которым мы милуемся каж-

дую ночь, с которым приятно поговорить утром и вечером и который днем оставляет меня наедине с моей работой.

С улыбкой она подошла ко мне, обняла меня и поцеловала, и я не мог воспротивиться, хотя мне было неловко, что мы так открыто выказываем наши чувства в присутствии ее первого мужа. Как-никак он был членом парламента от либеральной партии и знаменитым военачальником.



23 *Последний бой Коллингтона*

Примечательно, что с того момента, как Белла резко отдернула руку от руки генерала, он лежал плашмя совершенно неподвижно, если не считать движений губ и языка при разговоре и век при мигании; поэтому когда старый мистер Хаттерсли назвал его на три четверти покойником, это прозвучало скорее как диагноз, чем как оскорбление. Теперь он негромко спросил:

— Как ваше мнение, Харкер?

— Они не выиграют у вас дело о разводе, сэр Обри. Обвинения в любовной связи с Долли Перкинс ничего не значат. Измена мужа не составляет основания для развода, если только она не совершена в извращенной форме — анально, инцестуально, гомосексуально или с животным. Если они будут напирать на жестокое обращение, их же собственные свидетели не смогут отрицать, что вы заперли леди Коллингтон в чулане, потому что она сделалась буйнопомешанной и необходимо было до прибытия медицинской помощи держать ее в таком месте, где она не причинила бы себе вреда. Бракоразводный процесс окончится взятием леди Коллингтон под опеку суда и помещением ее под стражу в целях ее безопасности. Если бы не скандал, это было бы нам на руку.

— Нет уж, пожалуйста, без скандалов, — сказал генерал со слабой улыбкой. — Я уезжаю, Харкер. Спуститесь и попросите подать кебы к парадному. Убедитесь, что мой кеб стоит прямо против двери, и пришлите Мэхуна, чтобы помог мне спуститься. Спуск для меня тяжелее подъема.

Адвокат встал и молча вышел из комнаты.

После этого генерал Коллингтон сел, спустил ноги на пол и, положив руки на колени, с улыбкой обвел глазами комнату, кивая всем по очереди. Щеки его внезапно тронул румянец, в глазах появился озорной блеск, что мне показалось странным для человека, признавшего свое поражение.

— Выпьете на дорогу чаю? — спросил Бакстер. — Или чего-нибудь покрепче?

— Не надо, благодарю вас, — ответил генерал, — и прошу прощения, мистер Бакстер, за то, что отнял у вас столько времени. Парламентские методы всегда только время отнимают. Готовы, Граймс?

— Да, сэр, — отозвался тот отрывисто, как бывший военный.

— Берите Свичнета, — скомандовал генерал и, вынув из кармана револьвер, снял его с предохранителя и направил на Бакстера.

— Сядьте-ка, мистер Свичнет, — произнес Граймс вежливым и дружелюбным тоном.

Я сел на ближайший стул, скорее завороженный, чем испуганный маленькой черной дырочкой в стволе оружия, которым он так решительно в меня целил. Я глаз не мот от нее оторвать. Послышался бодрый голос генерала:

— Смертоубийства не будет, мистер Бакстер, но, если вы двинетесь с места, обещаю пустить вам пулю в пах. Приккет, хлороформ приготовили?

— Я... я... я... делаю это с ве-ве-величайшей неохотой, сэр Обри, — забормотал врач. Он сидел рядом с Граймсом, и я видел, как он вяло пытается встать и одновременно шарит во внутренних карманах в поисках пузырька и тряпочки.

— *Еще бы* вы делали это с охотой, Приккет! — сказал генерал с добродушным нажимом. — Но, так или иначе, вы это сделаете, потому что вы хороший человек и хороший врач, и я вам доверяю. Ну, Виктория, ты, конечно, крепко любишь мистера Бакстера, который спас тебе жизнь и оказал ряд других мелких услуг. Сядь, посиди рядом со мной, пока Приккет тебя усыпит. Если будешь артачиться, моя пуля сделает Бакстера калекой, а тебя придется оглушить рукояткой. ПРОЧЬ С ДОРОГИ, ЖЕНЩИНА!

Я повернул голову.

Повернул и увидел, что Белла вступила на линию между Бакстером и Коллингтоном и движется к Коллингтону, протянув правую руку к его пистолету. Он начал перемещаться вдоль дивана, чтобы прицелиться в Бакстера в обход ее, но, легко прыгнув, она оказалась прямо перед ним и, схватив дуло пистолета, наклонила его к полу. Он выстрелил. Похоже, генерал был так же ошарашен этим, как все прочие, кроме Беллы. Она без труда выдернула за дуло пистолет из его руки и взяла его левой рукой за рукоятку. Как и Бакстер, она одинаково владела (и владеет) обеими руками, поэтому палец ее совершенно естественно лег на курок, а дуло теперь было направлено генералу прямо в лицо.

— Глупый ты вояка, — произнесла она, потирая правую ладонь, обожженную горячим дулом, о подол свадебного платья, — ты же ногу мне прострелил.

— Игра кончена, генерал, — сказал Сеймур Граймс и, как бы в извинение передо мной пожав плечами, поставил револьвер на предохранитель и спрятал в карман.

— Неужто *действительно* кончена, Граймс? — спросил генерал, не отрывая взгляда от сосредоточенно нахмурившейся Беллы. — Нет, Граймс, я не думаю, что игра совсем кончена.

С усилием он внезапно встал прямо, по стойке «смирно», как солдат на смотру, и теперь дуло пистолета упиралось в ткань его мундира на дюйм выше сердца.

— Огонь! — скомандовал он, холодно глядя прямо перед собой.

Прошло несколько секунд, и он сверху вниз ласково улыбнулся Белле, которая ответила удивленным взглядом.

— Виктория, милая моя, — сказал он мягким, уговаривающим голосом, — нажми курок. Это последняя просьба твоего мужа. Пожалуйста, выполни ее.

В следующий миг его лицо побагровело.

— ОГОНЬ! ПРИКАЗЫВАЮ ОТКРЫТЬ ОГОНЬ! — закричал он, и в моих ушах раскаты этого отчаянного приказа прогремели вспять по истории через Балаклаву, Ватерлоо, Каллоден и Бленхейм к Азенкуру и Креси. Я понял, что генерал Коллингтон взаправду *хотел* быть убитым, хотел всю жизнь, вот почему он так часто оказывался ранен. Столько властной мощи было в этом историческом приказе и пламенном призыве, что мне почудилось, будто все убитые в выигранных им сражениях поднимаются из могил, чтобы застрелить его на месте. Белла отчасти ему повиновалась. Повернувшись верхней половиной тела, она выпустила оставшиеся пять пуль в камин. Грохот был такой, что уши заложило; от дыма у меня начали слезиться глаза, а другие раскашлялись. Сдувая дым, она поднесла к губам курящийся ствол характерным жестом, который я вспомнил позже, когда мы были на гастролях цирка Буффало Билла на Большой ист-эндской выставке 1891 года. Затем она сунула револьвер в карман генеральского мундира и упала в обморок.

После этого стремительно произошло несколько событий. Бакстер неуклюже ринулся к Белле, поднял ее, уложил на диван, снял с ноги туфлю и чулок. Я метнулся к буфету, где мы держали аптечку. К счастью, пуля прошла навылет, пробив перепонку между пяточной и малоберцовой костями плюсны и даже не задев кость. А старый мистер Хаттерсли тем временем хлопал в ладоши в кричал:

— Ну не славная ли девка! Видали таких боевых? Побожусь, что нет! Истинно дочь Блайдона Хаттерсли, вот кто она такая!

Отворилась дверь, и в ней показались две удивительно не похожие друг на друга фигуры: миссис Динвидди и высокий смуглый человек в тюрбане и пальто до самых пят. Я понял, что это Мэхун, личный слуга генерала.

— Вызвать полицию, мистер Бакстер? — спросила экономка.

— Нет, принесите лучше кипятку, миссис Динвидди, — сказал Бакстер. — Тут один из наших гостей произвел неудачный эксперимент, но никто серьезно не пострадал.

Миссис Динвидди вышла. Генерал стоял к нам боком, угрюмо пощипывая кончики длинных усов.

— Уходим, сэр? — деловито спросил Сеймур Граймс.

— Прошу вас, прошу, уйдем поскорее! — взмолился доктор Приккет, и, послушайся его генерал Коллингтон, он, вероятно, прожил бы еще несколько лет и удостоился пышных официальных похорон и памятника.

Я думаю, он потому не уходил, что был озадачен: он и не одержал победы, и не потерпел полного поражения. Белла, хоть и не была усыплена хлороформом, лежала без сознания, мы с Бакстером склонились над ней, повернувшись к нему спиной, словно он вовсе не существовал. Рукояткой пистолета, который лежал у него в кармане, он легко мог оглушить меня и, пожалуй, Бакстера тоже, после чего с помощью Мэхуна мог вынести Беллу в поджидавший кеб. Но это был бы трусливый поступок, а трусом генерал не был. Может быть, он медлил, потому что искал короткую, хлесткую, джентльменскую фразу, которой он привлек бы перед уходом наше внимание — ведь он не привык, чтобы его не замечали. Тем временем мы впрыскивали Белле морфий, промывали рану йодом и накладывали повязку. Вдруг она открыла глаза, посмотрела на генерала и задумчиво сказала ему:

— Теперь я вас вспомнила: Париж, отель «Notre-Dame», Темничные апартаменты. Вы человек в маске — месье Заголизад.

Потом между взрывами хохота она громко выкрикивала:

— Генерал сэр Обри ле Диш Заголизад, кавалер креста Виктории, вот уморато! В бордель публика ходит и так все больше скорострельная, но вы самый шустряк из всех были! Что вы девчонок вытворять заставляли, чтобы не кончить в первые полминуты, — Господи, это же, ха-ха-ха-ха, это же курам на смех! Но они вас любили, надо сказать. Генерал Заголизад платил щедро и вреда не делал — даже гонорейкой никого не наградил. Самое у вас дерьмовое — помимо того, что вы уйму народа положили и слугами помыкаете, — то, что Приккет называет «чи-чи-чистотой вашей су-супружеской постели». Fuck off! Проваливай, несчастный мерзкий чудной дурной старый мудила, ха-ха-ха-ха! Проваливай!

Я судорожно глотнул воздух. Позже мне говорили, что только в английском языке есть слово, обозначающее телесную любовь, которое используют и как существительное, и как глагол, и как прилагательное, — непристойное, запретное слово. С малых лет я то и дело слышал, как его употребляли батраки на Уопхиллских фермах, но и мама, и Поскреб, услышь они его от меня, дух из меня бы вышибли. Бакстер, однако, улыбнулся, как будто прозвучало волшебное слово, избавляющее нас от всех напастей. Генерал побледнел так, что его седые усы и борода стали темнее лица. С полузакрытыми глазами и разинутым ртом он заковылял куда-то боком, пока не наткнулся на Приккета, потом его повело в сторону Граймса, и наконец, поддерживаемый ими обоими, он на дрожащих ногах направился к двери, которую услужливо придерживал Мэхун. За ним медленно, как лунатик, проследовал мистер Хаттерсли, но прежде чем Мэхун закрыл за ним дверь, он повернулся к нам и протяжно, со стоном в голосе проговорил:

— Нет, это не дочь Блайдона Хаттерсли.

И вот все они ушли.

— Хорошо, — сказал Бакстер мгновение спустя, убедившись, что температура и пульс Беллы не внушают опасений. — Я думаю, генерал согласится на раздельное проживание без скандального развода. Это, конечно, означает, что вы с Беллой не сможете пока пожениться, но развод серьезно осложнил бы карьеру начинающей женщины-врача у нас в Шотландии. Благоразумное конфиденциальное соглашение будет лучшим выходом для вас с Беллой, пока генерал Коллингтон не умрет от естественных причин.

Но через два дня газеты объявили, что генерал Коллингтон найден мертвым на полу оружейной комнаты своего загородного дома в Лоумшир-даунс*. Револьвер в руке и угол, под которым пуля пробила череп, исключали возможность несчастного случая. Как заключил коронер, он умер «в состоянии душевного расстройства», поэтому его похоронили по англиканскому обряду, но без официальных почестей. Лондонская «Таймс» в некрологе писала, что, по всей видимости, избрать «конец римлянина» его подвигли политические неурядицы, и намекала, что винить в его смерти следует Гладстона.

24 *Последнее «прости»*

Читатель, мы поженились, и мне мало что осталось сказать. Наша семья процветает. Наша общественная служба приносит пользу и получила признание. Доктор Арчибальд Свичнет — председатель Городской комиссии по благоустройству; доктора Беллу Свичнет, известную по руководству Гинекологической клиникой имени Боглоу Бакстера, фабианским брошюрам и деятельности в поддержку предоставления женщинам избирательного права, приглашали для выступлений чуть ли не во все европейские столицы, и ее старый знакомый доктор Хукер сейчас готовит ее лекционное турне по Америке. Когда приятели в городском «Клубе искусств» посмеиваются над тем, что моя жена более знаменита, чем я, у меня всегда наготове ответ: «Одной знаменитости на семью вполне довольно». Верю, что наши сыновья оценят флегматичного отца как необходимый противовес блестящей, не укладывающейся в привычные рамки матери. Верю, что их мать думает обо мне именно так. Она — наполненный ветром парус, элегантная оснастка и деятельная, залитая солнцем палуба нашей супружеской яхты; я же — крепкий подводный корпус со скрытыми от глаз балластом и килем. Это сравнение преисполняет меня глубокого довольства.

С тяжким сердцем приступаю я теперь к описанию последних дней того, кто навсегда останется для меня лучшим и мудрейшим из людей.

На следующий день после нашей победы над генералом Коллингтоном в телесном здоровье Бакстера произошло ухудшение, степень которого он тщательно скрывал даже от близких людей. Он позвал нас к своей постели, объяснил, что на несколько недель ему понадобится покой, и попросил поставить приборы, необходимые для его питания, на скамью подле кровати. Мы так и сделали. Счастье превратило нас с Белл в эгоистов — мы получали больше удовольствия от еды, не ощущая неприятных запахов с его конца стола и не вздрагивая от его резких, неожиданных отлучек к дистилляционной установке. Через неделю мы уехали за границу на медовый месяц. Когда мы вернулись, Белла возобновила учебу на курсах медицинских сестер в больнице на Дьюк-стрит, я — работу в Королевской лечебнице, потому что планы, которые мы для себя строили, нельзя было осуществить немедленно. Каждый вечер перед сном мы час или больше проводили у постели Бакстера: я играл с ним в шахматы или криббидж, Белла обсуждала свою работу. Порой она приходила из-за нее в бешенство. Мисс Найтингейл выстрои-

ла британскую сестринскую службу наподобие армии, для которой она первоначально была предназначена. Врачи соответствуют офицерам, старшие сестры — сержантам и старшинам, младшие — рядовым. Нижестоящие редко сами обращаются к вышестоящим, поскольку их мыслительные способности *сознательно* почти не используются. Я видел смысл и благоразумие такого порядка, но благоразумно молчал, потому что Белла не могла их увидеть. Бакстер убеждал ее:

— Не ссорься с учреждением, пока ты не узнала досконально, как оно действует. Используй тем временем свой свободный разум, чтобы спланировать дело лучше.

Он указывал ей на слабые места в ее планах — не для того, чтобы отбить у нее охоту искать лучшие пути, а чтобы помочь ей сделать эти пути практическими. Гинекологическая клиника имени Боглоу Бакстера построена согласно принципам, обсуждавшимся весной 1884 года. К тому времени нам уже стало привычно, что Бакстер не встает с постели. Он не открывал тайн своего обмена веществ, и мы были бессильны ему помочь.

Однажды утром, когда я уходил на работу, миссис Динвидди подала мне записку от него.

Дорогой Арчи! Пожалуйста, попроси сегодня кого-нибудь тебя подменить и зайди ко мне точно в полдень. Хочу побеседовать с глазу на глаз. Белла о нашем разговоре пока что знать не должна. Прости за беспокойство — это в последний раз.

Твой Б.

Меня обеспокоил дрожащий и корявый почерк записки, а также то, что он назвал меня по имени, а не по фамилии. Этого я за ним не помнил. В полдень я поспешил домой и увидел в вестибюле миссис Динвидди. Лицо у нее было заплаканное, и она сказала:

— Я только что помогла мистеру Боглоу одеться и перейти в старый кабинет сэра Колина. Вы ему очень нужны, доктор Свичнет. Идите скорее.

Я побежал.

Открыв дверь, я услышал смесь глухого стука, жужжания и струнного звона, в которой угадывалось чудовищно усиленное биение человеческого сердца. Звук исходил от Бакстера, который сидел за столом, стиснув его края изо всех сил, так что жуткая дрожь, сделавшая черты его лица неясными, рукам не передавалась.

— Быстро! Укол! Подкожно! — прозвучал его искаженный дрожью голос, и он повелительно мотнул головой. Перед ним на подносе лежал наполненный шприц, рукав рубашки на одной руке был закатан. Я взял шприц, ухватил двумя пальцами кожу и сделал ему инъекцию. Через несколько секунд дрожь прекратилась и ужасный звук сделался тише. Он вздохнул, вытер лицо платком, улыбнулся и сказал:

— Спасибо, Свичнет. Молодец, что пришел. Я тут умирать собрался.

Я сел и заплакал, не в силах сдерживаться или прикидываться, что не понял. Улыбка его стала шире, он похлопал меня по плечу со словами:

— Еще раз спасибо, Свичнет, эти слезы мне в утешение. Значит, тебе добро было от меня.

— Почему ты не можешь еще пожить?

— Могу, но в сплошных муках и унижениях. С моей ранней юности сэр Колин постоянно твердил, что мне жизненно важно всегда поддерживать душевное равновесие, что сильные чувства фатально усугубят рассогласование в функциях внутренних органов. Когда Белла сказала, что помолвлена с тобой, переживание нарушило работу дыхательной системы. В ночь ее возвращения из Парижа она задала мне пугающий вопрос, от последствий которого моя нервная система так и не оправилась. Шесть недель спустя адвокат Коллингтона так меня разозлил, что мой пищеварительный тракт пришел в полную негодность. По моему внешнему виду этого, может быть, и не скажешь, но я умираю голодной смертью, Свичнет, и только производные опиума и кокаина позволяли мне поддерживать видимую непринужденность во время ваших вечерних посещений. Я надеялся встретить с вами апрель, подышать свежим воздухом, но вчера вечером, когда мы расставались, я уже знал, что отпущенное мне время кончилось. Конечно, это была слабость — просить о твоем обществе в последние минуты, но... я слабый человек!

— Я приведу Беллу! — воскликнул я, вскакивая с места.

— Нет, Арчи! Я слишком ее люблю. Если она взмолится, чтобы я пожил дольше, мне не хватит сил ей отказать, и в ее памяти потом останется пачкающий все вокруг парализованный идиот. Я уйду из жизни, пока могу сказать последнее «прости» с достоинством. Но слишком много достоинства — выйдет уже напыщенность. Давай-ка выпьем с тобой deoch an doruis[1], нальем по глотку отцовского портвейна. Помнится, два года назад я запер графин, который ты опорожнил только наполовину. Выдержка, говорят, идет вину на пользу. Вот ключ. Где буфет, ты знаешь.

Его последние слова прозвучали приветливо и игриво, отчего я чуть было не улыбнулся; но, когда я вынимал старинный графин и два хрупких бокала на высоких ножках, меня бросило в дрожь. Я протер бокалы платком из нагрудного кармана, налил каждый из них до половины, и мы чокнулись. Он с любопытством понюхал вино и сказал:

— По завещанию я все оставляю вам с Беллой. Рожайте детей, учите их хорошему поведению и честному труду на собственном примере. Никогда не будьте с ними жестоки и не читайте им мораль. Позвольте миссис Динвидди и другим слугам спокойно дожить свой век здесь, когда они не смогут больше работать, и про собак моих не забывайте. Итак, — он залпом осушил бокал, — вот, значит, какое вино на вкус.

Он поставил бокал, обхватил свои гигантские колени гигантскими ручищами, откинул назад голову и засмеялся. Никогда прежде я не слышал его смеха. Звук поначалу был тихий, но потом обрел оглушительную силу, заставив меня притиснуть к ушам ладони, биение его сердца тоже стало неимоверно громким — и внезапно все оборвалось. Полнейшая тишина. Он не качнулся ни вперед, ни назад, но продолжал сидеть совершенно прямо.

Миг спустя я уже стоял над ним и, стараясь не смотреть на огромную, обрамленную зубами пещеру, которая так страшно зияла, обратясь к потолку, обнаружил, что шея у него сломана и трупное затвердение наступило мгновенно. Не желая ломать ему суставы, я заказал гроб в форме куба* со стороной в четыре с половиной фута и скамеечкой внутри, куда его поместили в сидячем положении. Он и поныне так сидит под плитой мавзолея, выстроенного по воле сэра Колина в нашем Некрополе и глядящего на городской собор и Королевскую лечебницу. В надлежащее время мы с женой, которая была горько удручена его смертью, присоединимся к нему там, и так же могут поступить наши дети и внуки, если только ради экономии места будут кремированы.

Эту повесть о делах нашей молодости я посвящаю моей жене, хоть и не смею дать ей прочесть, ибо здесь говорится о вещах, в которые ни она, ни медицинская наука пока что не в силах поверить. Но научный прогресс убыстряется год от года. И, может быть, уже очень скоро то, что сэр Колин Бакстер передал только своему сыну, станет достоянием ученых, чем и будет доказана истинность моего повествования.

КОНЕЦ

Прошу, вспоминай обо мне подчас.

[1] Букв.: «питье двери» (*гэльск.*), то есть «на посошок».

Письмо от Виктории Свичнет, доктора медицины, старшему из ее потомков, живущих в 1974 году, с замечаниями по поводу ошибок во «ФРАГМЕНТАХ МОЛОДОСТИ ИНСПЕКТОРА ШОТЛАНДСКОЙ САНИТАРНОЙ СЛУЖБЫ», написанных ее покойным мужем Арчибальдом Свичнетом, доктором медицины (1857 — 1911)

Дорогой мой внук или правнук!

В 1974 году мои трое сильных, цветущих сыновей уже сойдут в могилу или будут дряхлыми стариками, а все остальные живущие на свете члены династии Свичнетов, имея по два деда и по четыре прадеда, с легкостью посмеются над чудачеством одного из них. Я не могу смеяться над этой книгой. Я содрогаюсь над ней и благодарю Силу Жизни за то, что мой покойный муж напечатал и переплел ее только в одном экземпляре. Я сожгла всю его рукопись до последнего клочка и книжку бы тоже сожгла, как он предлагает мне поступить в стихотворении на форзаце, но — увы! Без нее что́ на целом свете будет напоминать о существовании бедного глупца? К тому же опубликовать ее стоило маленького состояния — на эти деньги целый год можно было бы кормить, одевать и обучать с дюжину сирот. Из-за иллюстраций книга, должно быть, обошлась ему вдвое дороже. Мой портрет сделан с портрета, напечатанного в иллюстрированной газете в 1896 году, и нравится мне за хорошее сходство. Если отвлечься от головного убора в стиле Гейнсборо и претенциозной подписи, становится ясно, что я простая здравомыслящая женщина, а не та наивная Лукреция Борджия или La belle dame sans merci[1]*, что выведена в тексте. И вот я шлю книгу потомству. Мне дела нет до того, что́ потомство о ней подумает, — важно лишь, что никто из ныне живущих не связывает ее со МНОЙ.*

По только что написанному абзацу могут, пожалуй, заключить, что мой второй муж был столь же омерзителен, как первый. Нет, это не так. Я вышла замуж за Арчибальда Свичнета, потому что он был удобен, и с течением лет привыкла к нему и стала на него полагаться. Прочим людям пользы от него было мало. Он назвал свою книгу «Фрагменты молодости инспектора шотландской санитарной службы», а между тем он был таковым ровно одиннадцать месяцев и покинул должность, как только стал председателем Городской комиссии по благоустройству. Это назначение он получил благодаря нашим деньгам, а вовсе не своим блестящим способностям. Он должен был председательствовать на тех или иных собраниях, но большую часть времени был предоставлен самому себе. Не все его свободное время ушло впустую. Он помогал миссис Динвидди, моей преданной экономке, взращивать наших детей — водил их гулять, рассказывал им сказки, ползал с ними по полу, строил с ними фантастические города из кубиков и картона, рисовал карты и писал исторические хроники выдуманных стран. Эти игры и истории дали детям богатую пищу идей и сведений. Благодаря научному складу его ума самые диковинные чудища имели безупречную родословную по Дарвину, самые невероятные машины строились в согласии с законами термодинамики. Образование, которое он дал нашим детям, очень похоже на игровое образование, данно́е мне Боглоу Бакстером, и в нем использовались многие из моих старых игр, книжек и приспособлений. На заднем дворе у нас по-прежнему был маленький зверинец, хотя последняя из собак Боглоу́ умерла через пять лет после него.

Недаром говорят — сапожник без сапог. Не кто иной, как я, бесстрашная поборница воспитания в игре и домашнем милованье, почти все время проводила в клинике за работой, да к тому же часто отлучалась из Глазго по общественным делам. Мой муж исполнил на практике то, что я проповедовала. Я порой тревожилась, что он делает раннее детство для наших ребят чересчур привлекательным,

[1] Прекрасная безжалостная дама (*франц.*) — из стихотворения Дж. Китса.

из-за чего их взрослые жизни (как у моего первого мужа, Бисмарка, Наполеона и более заурядных преступников) станут попыткой воплотить в жизнь скверные мальчишеские фантазии. Я тревожилась зря. Оказавшись среди других мальчиков в городской школе, основанной уже в XX столетии, они начали стыдиться своего праздного мечтателя-отца и взяли за образец практичную, деятельную мать. Старший, Бакстер Свичнет, — наш математик. В прошлом году он получил диплом с отличием и теперь работает в Лондоне в Департаменте имперской статистики. Боглоу, наш инженер, так быстро перемещается между Гилмор-хиллом и Андерсоновским институтом, что я никогда не знаю, где он в данный момент находится. Он говорит, что паровые котлы и мазутные топки — опасные и вредные анахронизмы, что мы должны учиться перерабатывать в электричество энергию высокогорных озер и водопадов, постепенно сводя на нет использование нефти и угля, отходы от сжигания которых отравляют воздух и портят людям легкие. Младший, Арчибальд, кончает школу, и им владеют две страсти. Одна — рисование кричаще-ярких акварельных пейзажей, другая — командование школьным кадетским корпусом. Разумеется, я ненавижу воинскую муштру. От вида молодых людей, марширующих ровными рядами и подражающих механическим движениям заводной куклы под злобные крики сержанта, — от этого вида меня тошнит еще больше, чем от вида молодых девиц в мюзик-холле, синхронно взбрыкивающих ногами. Однако я понимаю, что тяга юного Арчи к одетым в мундиры товарищам уравновешивает его художнический индивидуализм. Когда обе стороны его натуры придут наконец к согласию, он тоже станет прекрасным тружеником на благо общества — может быть, лучшим из троих.

Заговорившись о мальчиках, я позабыла про их отца; впрочем, в его последние годы о нем легко было забыть. Он проводил все больше времени в своем кабинете, кропая книги, которые потом печатал за свой счет, поскольку ни один издатель не хотел на них раскошеливаться. Примерно раз в два года, спустившись к завтраку, я находила подле своей тарелки очередной черно-синий томик с закладкой на чистой странице, где всегда стояло посвящение: ЕДИНСТВЕННОЙ, РАДИ КОГО МНЕ СТОИТ ЖИТЬ. Пока я листала книгу, пытаясь изобразить интерес, ощущать который никак не могла, он смотрел на меня с приводившим меня в бешенство выражением, где робкая надежда пряталась за наигранным равнодушием, — выражением, из-за которого мне хотелось схватить его и трясти, трясти, пока он не найдет себе полезного занятия. Не воспользуйся он деньгами Бакстера, чтобы купить себе праздность, которую ошибочно принимал за свободу, из него бы вышел вполне приличный врач-терапевт. Осуществив мечту матери, он выбился в средний класс, но не испытывал никакого желания ни преобразовывать этот класс изнутри, ни помогать рабочему классу преобразовывать нас (и самих себя) извне. Однако лучшее возражение, лучший упрек, какой я знаю, — личный пример. Я клала книжку на стол, подходила к нему, нежно его целовала, благодарила и шла работать в клинику.*

В 1908 году у него обнаружился рассеянный склероз (он диагностировал его сам), после чего быть к нему доброй стало и вовсе не трудно. Он с облегчением ушел в болезнь, велел перенести свою кровать в кабинет и заказал особый стол, позволявший писать не вставая. Он, конечно, мог продлить себе жизнь, давая себе большую физическую нагрузку, но он знал это и сам, а я не хотела его ни к чему принуждать. Я поддерживала с ним дружеское общение, приходя почти каждый вечер перед сном сыграть партию в шашки, съесть легкий ужин, поболтать о том о сем. Чем дальше, тем больше наши беседы возвращались к дням молодости с Боглоу Бакстером. Я также видела, что он пишет новую книгу.

— Интересно тебе, о чем она? — спросил он однажды вечером с некой игривостью, которую он, безусловно, приписывал творческому вдохновению, а я — легкой лихорадке, вызванной болезнью.

— Расскажи, если хочешь, — ответила я с улыбкой.

— А вот на этот раз не хочу. Мне хочется, чтобы ты прочла ее с изумлением, когда меня не будет. Пообещай прочесть ее от начала до конца хотя бы раз. Пообещай не класть ее со мной в гроб.

Я пообещала.

Когда наконец из типографии прислали переплетенный том, это была для него радость на много недель. Ложась спать, он клал книгу под подушку. Когда служанка меняла ему постельное белье, он лежал на диване, листал страницы вперед и на-

зад и над иными из них посмеивался. Позже, когда он начал слабеть, главным его чувством было жестокое нетерпение, а в самом конце он не хотел ничего, кроме прикосновения моей руки к его лбу — когда я убирала ее, он начинал хныкать. Я была с ним рядом, хотя могла принести больше пользы у постелей других больных. Не беда. Мне перед смертью, может быть, тоже захочется общества близкого человека, и я рада, что ему в этом не отказала.

Я прочла книгу три года назад, вскоре после похорон, и две недели потом ходила сама не своя. Я и теперь делаюсь сама не своя, когда о ней вспоминаю. Чтобы объяснить почему, я должна в двух словах рассказать историю своей жизни.

Первое жилье, какое я помню, состояло из двух комнатушек и кухни, где мы ютились впятером, а иногда и вшестером (это было, когда к нам заявлялся отец). Воду мы и еще несколько семей брали из единственного крана на заднем дворе. Отец мог снять нам квартиру и получше. Он был главным мастером (сейчас бы сказали — заводским управляющим) на близлежащем сталелитейном заводе в Манчестере, и его страстью было копить деньги. Того, что он давал маме, не хватало даже на сносную еду.

— Я не могу много тратить на жизнь, пока не заимею хороший патент, — говорил он нам, — а для этого мне нужны все деньги, какие есть.

С женой и детьми он обращался так же, как с рабочими, — то есть как с потенциальными врагами, которых надо держать в нищем состоянии силой или угрозой силы. Каждое замечание в свой адрес, которое не содержало очевидной лести, он расценивал как вызов. Пяти лет от роду я однажды увидела, как он стоит перед зеркалом в нашей сырой убогой кухоньке и поправляет свой темно-зеленый галстук и жилет, отделанный зеленым вельветом, — на свою наружность, в отличие от нашей, он не жалел денег и был даже модником на свой грубый манер. Пораженная контрастом между тоном его одежды и темно-красным цветом лица, я сказала: «Ты настоящий мак, папа».

Дальше помню только, как я очнулась в постели. Оказывается, он сшиб меня с ног кулаком, я ударилась головой о каменный пол и несколько часов лежала без памяти с кровоточащей раной. Не думаю, что мать осмелилась позвать врача. До сих пор над левым ухом под волосами у меня прощупывается неровный рубец в три дюйма длиной. Это означает, что чешуйчатая височная кость у меня слегка разошлась; но, если не считать того периода бессознательности, память моя никак не пострадала. Вот о чем мой покойный муж пишет как о «на удивление правильной трещине», опоясывающей всю голову под волосами.

О матери своей я могу сказать только вот что: она была самоотверженна и трудолюбива, и на ее примере я увидела, как бесполезны эти достоинства, если они не соединены с разумом и отвагой. Она чувствовала себя воистину дурной женщиной в те минуты, когда не стирала, не штопала, не мыла полы, не выбивала ковры и не варила суп из таких обрезков, какие мясник и на кошачью еду стеснялся продавать. Не знаю, умела ли она читать, но всякий раз, застав меня с книжкой, она вырывала ее у меня из рук — «девочке не пристало бездельничать». Я очень ясно помню, как в зимние месяцы мы мучительно мылись и стирали холодной водой, не имея угля, чтобы ее согреть, и экономя мыло. Жизнь для нас с мамой главным образом сводилась к борьбе за чистоту жилья и самих себя, однако мы никогда не чувствовали себя чистыми, пока не умерли мои братья и пока отец (словно этого-то и ждал) не перевез нас в трехэтажный дом, окруженный садом, сказав: «Теперь я это могу себе позволить».

Думаю, он позволял себе это уже год, не меньше. Дом был роскошно обставлен, его обслуживал десяток или больше слуг, которыми распоряжалась миловидная дама с желтыми волосами и в платье более светлых тонов, чем носили экономки, каких я встречала в последующие годы. Она была с нами ласкова.*

— Вот ваша гостиная, — сказала она, вводя нас в комнату с узорчатыми обоями и занавесками, толстым ковром на полу, богато обитой мебелью, самым большим камином, какой я когда-либо видела, и блестящим медным ведерком для угля. — Тут печенья, пирожные, херес, портвейн и крепкие напитки, — объяснила она, открывая дверцу огромного буфета, — а это сифон для содовой воды, его носят заряжать в мастерскую. Если чего-нибудь захотите, дерните за этот шнурок два раза, и придет служанка. Чего бы вы хотели прямо сейчас? Чаю?

— А чего ОН хочет? — спросила мама шепотом, кивая в сторону отца, который стоял на ковре у камина и курил сигару.

— Блайдон, твоя жена хочет знать, будешь ты пить чай или нет! — сказала дама, и мы поняли, что она перед отцом ни капельки не робеет.

— Нет, Мейбл, — ответил он зевая. — Я бренди выпью. Дай миссис Хатперсли и Викки хересу, а потом спускайся вниз. Я приду через десять минут. Да сядь ты, мамочка, Бога ради, и расцепи свои руки.

Мама повиновалась и, когда экономка ушла, принужденно отпила из рюмки, а потом спросила:

— Заимел, значит?

— Что заимел?

— Патент.

— И патент, и до черта всего прочего, — ухмыльнулся отец. — До черта всего заимел от твоего братца.*

— От Илии?

— Нет, от Ноя.

— Свидеться с ним можно?

— Да нет, с ним сейчас никто не видится, — сказал отец, ухмыльнувшись ядовитее. — Было бы на что смотреть. Послушай моего совета, мамочка. Не зови сюда гостей, пока не научишься вести себя как леди. Мейбл тебе покажет, как сидеть, одеваться, стоять и ходить. И, само собой, как разговаривать. Она до черта всего знает. Она даже МЕНЯ научила кой-каким новым штучкам. Сейчас я ухожу. Ради всего этого вам пришлось потерпеть, но тут дело надежное. Можете не сомневаться.

Он допил бренди и вышел.

Через две недели, встретив его на лестнице, я сказала:

— Папа, мать каждый день напивается допьяна. Ей тут больше нечем заняться.

— Ну и что? Хочет именно так себя угробить — пускай гробит. Лишь бы делала это тихо в своей гостиной. А тебе чего бы от меня хотелось?

— Я хочу читать книги и узнавать новое.

— То, в чем Мейбл не смыслит?

— Да.

—Хорошо.

Через неделю я отправилась в Лозанну, в школу при монастыре.

Я не буду подробно описывать мое заграничное воспитание. Мать учила меня быть домашней рабыней работающего человека; монахини учили меня быть домашней игрушкой богатого человека. Когда они отослали меня домой, мамы уже не было на свете, а я умела говорить по-французски, танцевать, играть на пианино, двигаться как леди и говорить о мировых событиях в духе консервативных газет, потому что, как считали монахини, мужчинам нравится, когда жена знает, что творится на свете. Генералу сэру Обри ле Диш Коллингтону было все равно, что я знала и чего не знала, но он прекрасно вальсировал, несмотря на раны. Военная форма, конечно, тоже сделала свое дело. Я высокая, но он был еще выше, и другие пары, глядя на нас, останавливались. Я влюбилась в него по многим причинам. Молодой женщине в моем возрасте пора уже было обзаводиться мужем, домом, детьми. Он был богат, знаменит и все еще красив. К тому же, я хотела освободиться из-под власти отца, который сам и предложил этот путь освобождения. В день свадьбы я была совершенно счастлива. И в первую же ночь поняла, почему сэра ле Диш Коллингтона знакомые офицеры прозвали Ледышкой, но решила, что сама во всем виновата. Шесть месяцев спустя, после третьей ложной беременности, я взмолилась о клиторотомии. Доктор Приккет сказал, что в Лондоне как раз находится один искусный шотландский хирург, который «сделает все как надо». И вот однажды вечером ко мне пришел тот единственный мужчина, которого я по-настоящему полюбила, — Боглоу Бакстер.

С какой стати мой второй муж изобразил Боглоу чудовищем, от одного вида которого ребенок мог заплакать, няня — увести его, лошадь — взбрыкнуть? Бог был крупный, печального вида мужчина, но такой заботливый, чуткий и непринуждающий *во всех своих словах и движениях, что животные, дети, обиженные и одинокие люди, все женщины — я повторяю и подчеркиваю,—* ВСЕ ЖЕНЩИНЫ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА *чувствовали себя с ним в покое и безопасности. Он спросил, почему я хочу сделать эту операцию. Я объяснила. Он задал новые вопросы. Я рассказала ему про свое детство, ученье, замужество. После долгого молчания он мягко сказал:*

— Дорогая моя, вы всю жизнь тяжко страдали от эгоистичных, жадных, глупых мужчин. Хотя их в общем-то винить не в чем. Они тоже получили ужасающее воспитание. Доктор Приккет искренне считает, что вам поможет операция, которой генерал хочет вас подвергнуть. Не поможет. Боже упаси вас ее сделать. Я повторю Приккету то, что сказал вам. Он с моим мнением не согласится, но вы имеете право его знать.

Я заплакала от горя и благодарности, потому что знала, что он сказал правду. Я чувствовала *это всегда, но не могла осознать, пока не услышала из его уст. Я крикнула:*

— Они сведут меня с ума, если я тут останусь! Куда мне деваться?

— Если у вас нет ни друга, согласного вас приютить, ни денег, ни умения их зарабатывать, — сказал он, — уходить от мужа будет самоубийством. Мне очень жаль. Помочь вам я не могу.

Меня воодушевила его доброта. Я бросилась к нему, сидящему на стуле, стала на колени между его ног и подняла сомкнутые ладони к его лицу.

— Если! — требовательно сказала я. — Если когда-нибудь ночью через несколько недель, месяцев или лет к вашему шотландскому дому подойдет бесприютная, отчаявшаяся, одинокая женщина и взмолится об убежище — женщина, с которой вы однажды обошлись по-доброму, — сможете ли вы ее прогнать?

— Нет, не смогу, — ответил он, вздыхая и глядя в потолок.

— Это все, что я хотела знать, — сказала я, вставая, — не считая вашего адреса, который наверняка есть в Британском медицинском справочнике.

— Да, — пробормотал он, тоже вставая, — но воздержитесь от этого, если сможете, леди Коллингтон.

— До свидания, — сказала я, подала ему руку и кивнула.

Кто так хирурга обольстить пытался? Кто так хирурга обольстить сумел?[1]

Мое последнее терпение кончилось через два месяца, и я не была беременна, и у меня в мыслях не было прыгать с моста, когда я приехала в Глазго и взяла кеб до Парк-сёркес, 18 — дома с большими собаками. Я только что узнала, что муж, который не хотел подарить мне ребенка, вот-вот заимеет его от служанки на десять лет меня младше. Увидев меня, Бакстер не задал ни единого вопроса. Он провел меня в комнату, где сидела миссис Динвидди (ей тогда было лет сорок пять, ему — тридцать), и сказал:

— Мама, с этой дамой плохо обращались, она приехала к нам отдохнуть и останется до тех пор, пока не сможет обзавестись собственным жильем. Относись к ней как к моей сестре.

Да, у Парк-сёркес, 18 и Порчестер-террас, 49 была одна общая черта. И там, и тут хозяин вне брака прижил сына от служанки. Но Боглоу любил мать и не скрывал, кто она ему, хоть она и носила другую фамилию. Самых дорогих ему гостей Бакстер приглашал выпить чаю с «моей мамой — миссис Динвидди». И такое чаепитие не было просто уютной формальностью. Наделенная живым умом и острым чувством юмора, она умела поддержать разговор с кем угодно.

— Ну, что вы там теперь изобретаете, сэр Уильям? — могла она спросить ученого, получившего рыцарский титул за прокладку трансатлантического кабеля. — Исправит это вред от той вашей большой работы? — Она шутки ради прикидывалась, что считает телеграф виновником ухудшения погоды и всевозможных войн. Моя родная мать вырастила меня простой манчестерской девчонкой. Монахини сделали из меня француженку. Благодаря дружбе и беседам с миссис Динвидди я стала говорить и вести себя как прямая, непредубежденная шотландка. Коллеги, не знающие о моем происхождении, все еще забавляют меня порой замечаниями о том, какая я шотландка до мозга костей.

Бог мог откровенно говорить о своей незамужней матери, потому что он был холостяк и наследник состояния. Он не мог откровенно говорить о том, что предоставил убежище беглой жене английского баронета и прославленного генерала. Чтобы избавить нас от неприятных вопросов, он выдумал историю о южноамериканских супругах, их гибели в железнодорожной катастрофе и их потерявшей память дочери Белле Бакстер, которой была я. Это дало хороший повод, чтобы обучить меня важным вещам, о которых мне прежде не говорили; однако он не велел мне ничего забывать из усвоенного раньше.

---

[1] «Кто так хирурга...» — видоизмененные шекспировские строки из «Ричарда III» (акт I, сцена 2).

— Не забывай о прошлом, — сказал он. — Тягчайшие из твоих переживаний в Манчестере, Лозанне и на Порчестер-террас расширят твое сознание, если ты будешь вспоминать их с разумным интересом. Если ты этого не сможешь, они не дадут тебе ясно мыслить.

— Не смогу! — воскликнула я. — У меня болели пальцы, когда я отстирывала грязную одежду в корыте с ледяной водой; они болели не меньше, когда я играла на пианино бетховенскую «Элизу» девятнадцать раз без остановки, потому что учительница после каждой фальшивой ноты заставляла меня начинать сызнова. У меня болела голова, в которой отец сделал трещину ударом кулака; она болела не меньше, когда я страницами заучивала наизусть Фенелонова «Телемака» — несомненно, скучнейшую книгу на свете. Такие вещи нельзя вспоминать разумно — они принадлежат разным мирам, Бог, и ничто их не связывает, кроме боли, которую я хочу забыть.

— Нет, Белла. Это только кажется, что они в разных мирах, потому что ты пережила их далеко друг от друга; но смотри: я поворачиваю на петлях фасад этого большого кукольного дома. Загляни во все комнаты. Таких домов тысячи в каждом крупном британском городе, сотни — в каждом маленьком городке, десятки — в каждой деревне. Таков дом на Порчестер-террас, таков и этот дом — мой дом. Слуги живут по преимуществу в полуподвалах и мансардах, где холодней и тесней всего, где комнаты меньше. Тепло их тел, когда они спят, согревает их хозяев на средних этажах. Эта куколка на кухне — судомойка, а заодно и черная прачка, она отстирывает и катает одежду. У нее будет вдоволь горячей воды, если ей достанутся щедрые хозяева, и ей не придется работать сверх сил, если поставленные над ней слуги будут обходиться с ней по-человечески; но мы живем в такой век, когда алчность и жестокое соперничество прославлены как основа общества, поэтому, если из нее будут выжимать все соки, никто и бровью не поведет. Теперь загляни в гостиную на втором этаже. Здесь стоит пианино, а за ним сидит другая куколка. Если поменять ее платье и прическу на судомойкины, их не отличишь друг от друга, но менять никто не будет. Может быть, она как раз пытается сыграть бетховенскую «Элизу» без единой фальшивой ноты — ее родители хотят, чтобы когда-нибудь она завлекла богатого жениха, который использует ее как светское украшение и средство для продолжения рода. Теперь скажи мне, Белла, что общего между судомойкой и хозяйской дочкой, если не считать возраста, телосложения и дома, где они живут?

— Обеих используют другие люди, — ответила я. — Им не позволяют ничего за себя решать.

— Вот! — обрадованно воскликнул Бакстер. — Ты поняла это мгновенно, потому что помнишь уроки ранней юности. Никогда не забывай их, Белла. Большинство людей в Англии и Шотландии воспитаны так, чтобы не знать этого вовсе, — воспитаны, чтобы стать орудиями в чьих-то руках.

И Бакстер учил меня свободе, окружая меня игрушками, о которых ребенком я не имела понятия, и показывая, как пользоваться приспособлениями (тогда их называли философскими приспособлениями), с помощью которых его отец учил его самого. Не могу описать восторга от собственной власти, с каким я осваивала земной и небесный глобусы, зоотроп[1], микроскоп, гальванический элемент, камеру-обскуру, правильные многогранники и счетную машинку Непера. Мелкие точные движения получались у меня без труда — сказались шитье в родительском доме и фортепьянные упражнения в монастыре. В моем распоряжении были книги по ботанике, зоологии, географии и истории с будившими воображение гравюрами и цветными картинками. Данкан Парринг, юрист и приятель Бога, водил меня в театры —Бог не мог этого делать сам, он страдал боязнью толпы. Я любила театр; даже вскидывающий ноги опереточный кордебалет заражал меня ощущением счастливой беззаботности! Но больше всего я любила Шекспира. Я принялась читать его дома — сначала «Шекспировские истории» Лэма, потом сами пьесы. В библиотеке, выискивая книжки с картинками, я также нашла сказки Андерсена, «Алису в Стране чудес» и «Тысячу и одну ночь» во французском переводе, включавшем эротические места. На какое-то время Бакстер нанял мне учительницу мисс Мактавиш. Но она долго не продержалась. Я не хотела учиться ни у кого, кроме Бога. С ним ученье было восхитительным лакомством; с ней — повинностью. Примерно в это время я

[1] Вращающийся цилиндр с отверстиями и картинками внутри; создает иллюзию движущихся фигур.

впервые встретила молодого Арчи Свичнета.

Это произошло прелестным теплым свежим днем, и я, наверно, выглядела слегка по-детски, стоя на коленях на траве нашего маленького дворика и глядя в глубь клетки, где спаривались Мопси и Флопси. Со стороны переулка в калитку вошел Бакстер, а с ним — застенчивый, плохо одетый молодой человек с оттопыренными ушами. Бакстер нас познакомил, но юноша до того смутился, что слова не смог выговорить, отчего и я почувствовала себя не в своей тарелке. Мы поднялись наверх выпить чаю, но без миссис Динвидди, и это значило, что Бакстер не считает Свичнета своим близким другом. Пока готовили чай, Бакстер весело болтал об университетских медицинских делах, но Свичнет просто ел меня глазами и даже двух слов не произнес в ответ. Ужас! Тогда я пошла к пианино и сыграла одну из простеньких песен Бёрнса. Может, это и вправду был «Зеленый берег Лох-Ломонд», но я не пользовалась педалями пианолы. Играла сама и держала ритм превосходно. Кроме того, я отчетливо помню, что пианолу мы купили в 1897 году — в год шестидесятилетия восшествия королевы на престол. Кажется, тогда этот инструмент только-только появился. Напоследок Свичнет настоял на том, чтобы поцеловать мне руку. В доме сэра Обри этот изысканный континентальный ритуал не был в ходу даже у гостей из Франции и Италии. Я была ошеломлена и, возможно, в изумлении посмотрела потом на свои пальцы. Наш гость страдал повышенным слюноотделением, и мне не хотелось ни вытирать руку, ни трогать ею свое платье, пока он не уйдет. Я долго потом его не видела и, честно говоря, не жалела об этом.*

Только одно омрачало эти счастливые, счастливые дни. Бог не позволял мне соблазнить его.

— Прошу тебя, не влюбляйся в меня, Белла, — говорил он. — Пойми, я не мужчина вовсе, я большой смышленый пес в облике человека. Кроме наружности, меня отличает от собаки только одно. Мне не нужен хозяин — и не нужна хозяйка.

Это была правда, но я не могла смириться с этой правдой. Я любила его всем сердцем, всем разумом, всей душой и жаждала превратить его в человека. Однажды ночью, сгорая от желания, я со свечой в руке, обнаженная, вошла в его спальню. Лежавшие на полу псы ревниво заворчали, но я знала, что меня они не укусят. Увы, на кровати тоже были псы — и рядом с ним, и в ногах. Эти зарычали враждебнее.

— Виктория, тут нет для тебя места, — пробормотал он, открыв глаза.

— Бог, пожалуйста, пусти меня хоть ненадолго! — взмолилась я со слезами. — Дай мне от себя ровно столько, чтобы у нас родился ребенок, маленькое существо из нас обоих, чтобы мне было кого кормить, любить и миловать всю жизнь.

— Они ведь вырастают, — сказал он зевая, — и главное, есть медицинская причина, по которой я не могу быть отцом.

— Ты болен?

— Неизлечимо.

— Тогда я стану врачом и вылечу тебя! Врач может сделать такое, что не под силу хирургу! Я буду твоим врачом.

Он прищелкнул языком. Две собаки, встав с пола, осторожно взяли икры моих ног в свои могучие челюсти и стали подталкивать меня к двери. Хочешь не хочешь, пришлось подчиниться.

Наутро за завтраком Бог объяснил все как есть — он не любил ненужных секретов. От отца, знаменитого хирурга, он унаследовал сифилитическое заболевание, которое рано или поздно должно закончиться безумием и общим параличом.

— Когда придет беда, я не знаю, — сказал он. — Может быть, спустя месяцы; может быть, спустя годы. Но я к ней готов. Единственное средство, которое мне поможет, — это безболезненный яд, который я выпью при появлении первых симптомов. Этот медикамент у меня всегда с собой, так что тебе не нужно ради меня становиться врачом.

— Тогда я стану врачом ради всех! — выкрикнула я среди рыданий. — Хоть чью-нибудь жизнь спасу, если не твою. Я заменю тебя! Я стану тобой!

— Это хорошая мысль, Виктория, — сказал он серьезно, — и если ты не передумаешь, нам нужно будет должным образом направить твои занятия. Но прежде всего я бы хотел, чтобы ты обзавелась подходящим мужем — дельным, самоотверженным человеком, который поможет тебе добиться, чего ты хочешь, и удовлетворит твои любовные инстинкты, которые страшно изголодались.

— Если не ты, пусть голод будет моим мужем! — заявила я сквозь сжатые зубы. Он улыбнулся и покачал головой. О моем знаменитом муже, оставшемся в

Англии, мы давно уже и думать забыли.

Он взял меня в кругосветное путешествие. Идея была моя — я хотела разлучить его с собаками. Он согласился, желая не только расширить мой кругозор, но и (как я теперь понимаю) избавиться от меня. Мы посещали больницы и слушали медицинские лекции в четырнадцати столицах. Одна венская специалистка обучила меня самым современным методам половой гигиены и предохранения от беременности, после чего Бакстер принялся всюду, где только мог, знакомить меня с мужчинами. Но при том, что чувственное начало было во мне очень сильно, я не могла или не хотела отделить его от начала нравственного, побуждающего отдаться лишь тому, кто достоин восхищения; а кто был достоин его больше, чем Бог? Когда наконец мы вернулись в Глазго, он стал из-за меня очень несчастен. Мое общество лишало его всякой свободы. Я ничего не позволяла ему без меня делать, никуда ходить. Мне такая жизнь доставляла больше радости, чем ему, потому что я, хоть и не могла проглотить его целиком, выйдя за него замуж, все же обладала им больше, чем кто-либо другой. И вот однажды, гуляя у мемориального фонтана в Западном парке, мы вновь повстречали Свичнета.

Я уже говорила, что животные, дети, все маленькие и застенчивые люди в присутствии Бога чувствовали себя увереннее. Свичнет в первый раз увидел Бога в университетском анатомическом классе, где тот проводил демонстрации, когда основной лектор был болен. Маленький, застенчивый Свичнет влюбился в Бога так же страстно, как влюбилась в него я. Меня он тоже, конечно, любил, но потому лишь, что видел во мне женское воплощение Бога, которое он мог обнять, в которое мог внедриться. Но Бог был первой большой любовью в его жизни, и любовью безответной. Задолго до того, как я появилась на Парк-сёркес, Свичнет выследил, по каким маршрутам Бог гуляет с собаками по воскресеньям, и стал к нему примазываться. Бог ни с кем не мог вести себя иначе как по-доброму, и все же однажды, когда Свичнет не только дошел с ним до самого дома, но и имел наглость проникнуть внутрь, моему бедному милому ПРИШЛОСЬ сказать, что он нуждается в большем уединении, чем оставляет ему назойливость Свичнета. После этого Свичнет от него поотстал, хотя порой они случайно встречались и Бог приглашал его домой. По бесконечной доброте Бога это изредка происходило, и в один из этих визитов мы со Свичнетом и познакомились.

Когда мы встретились вновь, Бог прямо-таки толкнул меня к несчастному коротышке. Он сел на скамейку, сказал, что ему надо отдохнуть, и попросил Свичнета прогуляться со мной по парку. Теперь, глядя назад, я вижу, что он хотел только избавиться на время от несносного, болтливого, навязчивого существа, которым я стала; но, бродя по тропинкам среди кустов под руку со Свичнетом, я по-иному представляла себе намерения Бакстера. Уж не Свичнета ли он видит в роли подходящего мне самоотверженного мужа, который поможет мне добиться чего я хочу, и удовлетворит... и тому подобное? Я понимала, что такой человек неизбежно будет в глазах посторонних (да вероятно, и в моих собственных глазах) существом слабым, потому что он НЕ ДОЛЖЕН разлучать нас с Богом. Просто-напросто ему нужно будет жить с Богом и со мной, не стремясь обзавестись собственным домом. Пока я над всем этим размышляла, повисший на моей руке тщеславный человечек лепетал что-то о своем нищем детстве, о своих выдающихся успехах в университете и о своей блестящей деятельности в должности врача при Королевской лечебнице. Стало быть, ЭТО и есть тот, кто мне нужен? Я остановилась, чтобы взглянуть на него пристальнее. Тут он меня поцеловал — сначала робко, а потом и со страстью. Раньше меня никогда не целовал мужчина. Радости любви я испытала только во время сафического романа с учительницей музыки в Лозанне. Я любила бы ее всю жизнь, но — увы, — на мой эгоистический вкус, она любила еще слишком многих, и я воспылала к ней ненавистью. Я была поражена тем, какое удовольствие доставил мне Свичнет. Когда мы разлепились, я посмотрела на него чуть ли не с уважением. На его предложение пожениться я ответила согласием, добавив: «Давай скажем Богу прямо сейчас». Я не сомневалась, что Бог будет несказанно счастлив обрести больше свободы, разделив меня со Свичнетом.

Какой же я была тогда чудовищной эгоисткой! Ни капли нравственного воображения, ни капли зрячего сострадания к людям. Бог хотел найти для меня хорошего мужа, чтобы он сам мог вернуться к привычной жизни, которую я нарушила; он не ожидал, что мой брак принесет ему ЕЩЕ ОДНОГО домочадца! К тому же человека не слишком-то ему симпатичного. Выслушав новость, он едва не упал в

обморок. Он попросил нас отложить окончательное решение на две недели. Мы, конечно, согласились.

Людей 1974 года, надеюсь, не так будут шокировать вопросы пола, как моих современников из поздневикторианской эпохи. Если я ошибаюсь, это письмо по прочтении немедленно сожгут.

Всю последующую неделю мои мысли и мечты были заняты поцелуем Свичнета. Его ли это заслуга, недоумевала я, или любой другой мужчина тоже способен дать мне это ощущение немыслимой власти и одновременно немыслимой беспомощности? Может быть, осмеливалась я думать, С ДРУГИМ МУЖЧИНОЙ БУДЕТ ЕЩЕ ЛУЧШЕ! Чтобы это выяснить, я соблазнила Данкана Парринга, на которого раньше у меня не было никаких видов и у которого (отдадим ему справедливость) не было никаких видов на меня! Это было заурядное создание, столь безраздельно преданное властной эгоистке матери, что до того, как мы стали любовниками, мысль о женитьбе его ни разу не посещала. Но едва мы ими стали, она не замедлила его посетить. Я не думала, что предложенный им побег может быть как-то связан с бракосочетанием. Для меня это был восхитительный эксперимент, путешествие с целью увидеть в сравнении достоинства и недостатки Свичнета. Я объяснила это Богу, который потерянно сказал:

— Поступай как знаешь, Виктория, не мне учить тебя делам любви. Но не будь жестока к бедному Паррингу, у него не слишком-то крепкая голова. Свичнет, когда узнает, тоже будет страдать.

— Но ты не закроешь передо мной дверь, когда я вернусь? — спросила я бодро.

— Нет. Если только буду жив.

— Еще как будешь! — воскликнула я, целуя его. Я больше не верила в его сифилис. Мне легче было думать, что он сочинил себе болезнь, чтобы женщины вроде меня не пытались обводить его вокруг своих изящных пальчиков.

Что ж, я от души насладилась моим Паррингом, пока он был целехонек, и была к нему добра, когда он рассыпался на куски. До сих пор я раз в месяц навещаю его в приюте для умалишенных. Он всегда приветлив и весел; меня он встречает озорным подмигиваньем и понимающей ухмылкой. Я уверена, что его сумасшествие началось как симуляция, чтобы избежать тюрьмы за растрату вверенных ему клиентами средств, но теперь-то оно всамделишное.

— Как твой муж? — спросил он меня на прошлой неделе.

— Арчи умер в 1911 году, — ответила я.

— Нет, меня ДРУГОЙ твой муж интересует — Преисподний Бакстер-Левиафан Вавилонский, царь-хирург окаянной материальной Вселенной.

— Он тоже умер, Парень, — сказала я с горестным вздохом.

— Фью! Этот-то никогда не умрет, — хихикнул он. Как бы я хотела, чтобы эти слова оказались правдой.

Когда я вернулась на Парк-сёркес, он уже умирал. Я поняла это по его обмякшей фигуре и дрожащим рукам.

— О Бог! — закричала я. — О Бог! — И бросившись на колени, обвила руками его ноги и прижала к ним орошенное слезами лицо. Он сидел в гостиной миссис Динвидди; рядом сидела она, а позади него стоял Свичнет. Меня изумило присутствие здесь моего жениха, хотя, конечно, я писала ему из-за границы. Когда Богу стало хуже, ему понадобилась медицинская помощь и услуги такого рода, какие его матери были не под силу. С приближением смерти его неприязнь к Свичнету отступила.

— Виктория, — с трудом заговорил он, — Белла-Виктория, прекрасная ты Победа, мой разум скоро вконец иссякнет, иссякнет вконец, и ты перестанешь меня любить, если наш друг свечник не даст мне очень сильное средство. Но я счастлив, что не выпил его, не увидев тебя. Выходи за эту свечку, Белла-Виктория. Все, что у меня есть, будет твое. Обещай заботиться о собаках, о моих бедных, бедных, одиноких собаках без хозяина. Бедные собаки. Бедные собаки.

У него затряслась голова, изо рта струйкой потекла слюна.

Свичнет закатал ему рукав и сделал укол. На несколько минут он опять пришел в сознание.

— Да, и водите собак на воскресные прогулки, Арчи, Виктория. Вдоль канала до Боулинга, потом мимо Строванского родника к Лэнг-Крэгс, что близ Дамбартона, дальше пересечь Стокимьюр в направлении Карбета и вернуться домой мимо озера Крэйгаллион-лох через Алландер и Магдок, минуя водопроводную станцию Милнгэви. Или вверх вдоль Клайда до Резерглена или Камбесланга, взобраться на Кэткинс-

кие кручи через Дехмонт, потом через Гарганнок и Моллетсхью выйти на Нилстонский тракт. Чудесные есть места для прогулок вокруг Глазго, высокие места, роскошные виды на горы, озера, холмистые пастбища, леса и величественный залив — все это обрамляет наш город, который маловато мы любим, а то бы мы его сделали лучше, чем он сейчас. Порадуйтесь за меня камням, по которым переходят речку у церкви Кэддер-керк, чистому озеру Бардови-лох, Холмам старых жен, Кафедре дьявола, Дамгойаху и Дангойну. Если у вас будут сыновья, назовите одного в мою честь. Мама вам поможет их вырастить. Мама! Мама! Относись к детям Свичнетов как к собственным внукам. Жалко, что я сам не мог тебе их подарить. И постарайся простить моего отца, сэра Колина. Чертов старый мерзавец. Заварил кашу, а расхлебывать другим. Но мы все так делаем, ха-ха. Живей, Свичнет! Средство!

Арчи принес склянку, но я забрала ее у него из рук и, прижав на мгновение губы к губам моего любимого в первом и последнем поцелуе, приподняла рукой его голову и дала ему выпить.

Так умер Боглоу Бакстер.

Теперь у тебя, дорогой читатель, есть на выбор два отчета о событиях, и не может быть двух мнений о том, какой из них достовернее. Книга моего второго мужа прямо-таки смердит всем, что было болезненного в самом болезненном из столетий — девятнадцатом. Он сделал рассказ, сам по себе достаточно странный, еще более странным, вставив в него эпизоды и фразы из «Могилы самоубийцы» Хогга и добавив сверхъестественных штучек, позаимствованных у Мэри Шелли и Эдгара Аллана По. Какими только болезненными викторианскими бреднями он не поживился! Я нахожу здесь следы «Грядущей расы», «Доктора Джекилла и мистера Хайда», «Дракулы», «Трильби», книги Райдера Хаггарда «Она», «Записок о Шерлоке Холмсе» и, увы, «Алисы в Зазеркалье», вещи куда более мрачной, чем солнечная «Алиса в Стране чудес». Он воспользовался даже произведениями моих близких друзей — «Пигмалионом» Дж. Б. Шоу и научно-фантастическими романами Герберта Джорджа Уэллса. Перечитывая снова и снова эту мрачную пародию на историю моей жизни, я снова и снова задавалась вопросом: ЗАЧЕМ АРЧИ ЭТО НАПИСАЛ? Я чувствую себя способной отослать это письмо потомству именно потому, что нашла наконец ответ.

Как колеса локомотива приводятся в движение сжатым паром, так рассудок Арчибальда Свичнета приводила в движение тщательно скрываемая зависть. Несмотря на свалившееся на него состояние, он всю жизнь в душе оставался «приблудным сыном бедной крестьянки». Зависть, которую бедные и эксплуатируемые испытывают к богатым, — вещь хорошая, если только она направлена на преобразование этого несправедливо устроенного общества. Вот почему мы, фабианцы, считаем профсоюзы и лейбористскую партию в такой же степени своими союзниками, как любого честного политического деятеля, будь то либерал или тори, который стремится предоставить достойный прожиточный минимум, чистое жилище, здоровые условия труда и право голоса каждому взрослому жителю Британии. К несчастью, мой Арчи завидовал именно тем двоим, кого он любил, тем, кто только и мог его терпеть. Он завидовал Богу из-за того, что у него был знаменитый отец и нежная, любящая мать. Он обижался на меня из-за богатого отца, пансионского образования и знаменитого первого мужа, обижался на блеск моих достоинств. Больше всего он завидовал заботе и теплу, которыми окружал меня Бог, и страстной любви, которую испытывала к Бакстеру я; его злило, что наши чувства к нему самому ограничиваются дружеским расположением, приправленным в моем случае некоторой долей чувственности. Потому-то в последние месяцы жизни он и выдумал в утешение себе фантастический мир, где он, Бог и я пребывали в совершеннейшем равенстве. Прожив детство, которое, на взгляд обеспеченного человека, и детством-то назвать нельзя, он сочинил книгу, где утверждалось, что Бог тоже был его лишен, что он всегда был таким, каким знал его Арчи, ибо сэр Колин сработал его по методе Франкенштейна[1]. Мало того, он и меня лишил детства и школьных лет, написав, что при первой встрече с ним умственно я была не я, а моя маленькая дочь. Выдумав для нас троих это общее равенство в нищете, он потом с легкостью мог изображать мою любовь к нему с первого взгляда и зависть к нему Боглоу! Но

[1] Франкенштейн — персонаж романа Мэри Шелли «Франкенштейн, или Современный Прометей», создавший искусственного человека-гиганта.

сумасшедшим Арчи, безусловно, не был. Он прекрасно знал, что его книга полна хитроумной лжи. Потому-то он и посмеивался в последние недели жизни — он видел, как ловко его вымысел берет верх над истиной. Во всяком случае, мне так кажется.

Но почему же он не позаботился сделать вымысел еще более убедительным? В двадцать второй главе, описывая, как мой первый муж прострелил мне ступню, он пишет: «К счастью, пуля прошла навылет, ПРОБИВ ПЕРЕПОНКУ МЕЖДУ ПЯТОЧНОЙ И МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТЯМИ ПЛЮСНЫ и даже не задев кость». Выделенные слова могут показаться убедительными разве что человеку, ничего не понимающему в анатомии, но это вздор, чушь, чепуха, бессмыслица и ахинея, и Арчи не мог забыть медицину до такой степени, чтобы этого не знать. Он должен был написать «разорвав сухожилие косой приводящей мышцы большого пальца между проксимальными фалангами второго и третьего пальцев», потому что произошло именно это. Но у меня нет времени разбирать страницу за страницей, отделяя правду от вымысла. Если отбросить то, что противоречит здравому смыслу и этому письму, останется описание некоторых реальных событий, случившихся в мрачную эпоху. Как я уже говорила, на мой нюх, книга так и смердит викторианством. Она исполнена в таком же ложноготическом стиле, как памятник Скотту, университет Глазго, вокзал Сент-Панкрас и здание парламента. Я ненавижу подобную архитектуру. Эта избыточная бесполезная декоративность оплачена неоправданно высокими доходами — доходами, выдавленными из чахнущих жизней детей, женщин и мужчин, работающих больше двенадцати часов в день шесть дней в неделю на НЕОПРАВДАННО грязных фабриках; ибо в XIX веке нам уже было известно, как производить вещи чисто. Мы не воспользовались этим знанием. Колоссальные доходы правящих классов были слишком священны, чтобы на них посягать. По-моему, эта книга пахнет так же, как пахло у простой женщины под кринолином после дешевой двухдневной железнодорожной экскурсии в Хрустальный дворец. Может быть, я принимаю все слишком всерьез, но я счастлива, что дожила до XX столетия*.*

И вот, дорогой мой внук или правнук, мои мысли обращаются к тебе, потому что я не в состоянии представить себе мир, в котором это послание будет прочитано — если оно вообще будет прочитано. В прошлом месяце Герберт Джордж Уэллс (этот пахнущий медом человек!) выпустил книгу под названием «Война в воздухе». Действие происходит в двадцатые или тридцатые годы нынешнего века; книга описывает налет немецкой авиации на США и бомбардировку Нью-Йорка. Вследствие этого весь мир втягивается в войну и все крупнейшие центры цивилизации оказываются разрушены. Уцелевшим приходится куда хуже, чем австралийским аборигенам, ведь они лишены первобытных навыков охоты и собирательства. Конечно, книга Г. Дж. — предостережение, а не предсказание. Он, и я, и многие другие — мы надеемся на лучшее будущее, потому что активно его строим. Глазго — волнующее место для убежденного социалиста. Даже в ранний, либеральный период этот город дал миру пример муниципального управления общественным достоянием. Наши квалифицированные рабочие ныне самые образованные в Британии; кооперативное движение популярно и развивается; телефонная система Глазго принята министерством связи как образец для всего Соединенного королевства. Я знаю, что деньги, которыми оплачиваются наши достижения и наша вера в себя, имеют опасный источник — огромные военные корабли, что строятся на верфях Клайдсайда по государственным заказам в ответ на такие же смертоносные громадины, сооружаемые немцами. Так что предостережениями Г. Дж. Уэллса не стоит пренебрегать.

Но международное социалистическое движение столь же сильно в Германии, как и в Британии. Деятели рабочих партий и профсоюзов в обеих странах согласились, что, если правительства объявят друг другу войну, они немедленно призовут ко всеобщей забастовке. И мне чуть ли не хочется даже, чтобы наша военно-капиталистическая верхушка объявила-таки войну! Если рабочий класс тут же прекратит ее мирными средствами, моральная и материальная власть в крупных промышленных странах перейдет от хозяев к производителям всего насущного, и мир, в котором будешь жить ТЫ, дорогое мое незнакомое дитя, будет здоровее и счастливее нынешнего. Благословляю тебя.

Виктория Свичнет, доктор медицины.

Парк-сёркес, 18, Глазго.
1 августа 1914 года

КРИТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ Аласдера Грея

Гл.1, стр.11 *Как большинство сельских жителей в старые времена, моя мать не доверяла банкам.*

Это не было предрассудком невежественной женщины. В XVIII и XIX столетиях банки часто лопались, отчего страдали в основном мелкие вкладчики, потому что состоятельные люди были лучше осведомлены о надежности тех или иных финансовых фирм. В XX веке в Британии подобные крахи случаются только с пенсионными фондами.

Гл.2, стр.13 *Он был единственным сыном Колина Бакстера, первого медика, получившего от королевы Виктории рыцарский титул.*

В историческом исследовании «Королевские врачи» (изд-во «Макмиллан», 1963 г.) Джервес Тринг уделяет отцу Боглоу сэру Колину Бакстеру гораздо больше внимания, чем сыну, но при этом пишет: «Между 1864 и 1869 годами его менее знаменитый, но столь же одаренный сын ассистировал при рождении трех принцев и принцесс крови, и, вероятно, именно он спас жизнь герцога Кларенса. По-видимому, из-за слабого здоровья Боглоу Бакстер оставил практику и несколькими годами позже умер в безвестности». В эдинбургской Регистрационной палате нет записи о его рождении, а в записи о смерти за 1884 г. в графах «возраст» и «сведения о матери» стоят прочерки.

Стр.15 *Они свели с ума несчастного Земмельвейса, который потом покончил с собой в попытке всколыхнуть общественность.*

Земмельвейс был венгерский врач-акушер. Встревоженный высокой смертностью в венском родильном доме, где он работал, он применил асептику, из-за чего смертность снизилась с 12 до $1^1/_4$ процента. Но начальство отказалось признать его выводы и принудило его уйти. Он намеренно вызвал у себя заражение крови через палец и умер в 1865 г. в психиатрической лечебнице от болезни, борьбе с которой он посвятил жизнь.

Стр.15 *...все благодаря медицинским сестрам. Ими-то и живо сейчас искусство врачевания. Если все врачи и хирурги Шотландии, Уэльса и Англии в одночасье перемрут, а сестры останутся, восемьдесят процентов больных в наших больницах поправятся.*

Приведу относящийся к этой теме отрывок из статьи «Женщины и медицина» Джоанны Гейер-Кордеш в «Энциклопедии по истории медицины» под редакцией У.Ф. Байнема: «Флоренс Найтингейл однажды написала, что она вовсе не хочет, чтобы женщины становились врачами, потому что тогда они уподобились бы врачам-мужчинам. От широты поставленных Найтингейл задач захватывало дух. Она замышляла не больше и не меньше, чем такую реформу здравоохранения, после которой профилактика и гигиена сделали бы врачей вовсе ненужными».

Гл.3, стр.17 *...маленький дворик, окруженный высокими стенами.*

Майкл Донелли, неутомимый в своих усилиях доказать, что этот рассказ вымышлен, замечает, что в приводимом здесь описании дворика ничего не сказано о каретном сарае в дальней от дома части. Он посетил старый дом Бакстера (Парк-сёркес, 18) и утверждает, что пространство между домом и сараем слишком мало и сумрачно, чтобы использовать его иначе, как для сушки белья. Это, конечно, говорит только о том, что каретный сарай был выстроен позже.

Гл.4, стр.19 *...прекрасной, прекрасной женщины, Свичнет, которая обязана жизнью вот этим пальцам — умельным, умельным пальцам!*

«Умельный» означает «умелый», как в старинной шотландской балладе «Сэр Патрик Спенс»:

Король в Данфермлине сидит,
Душу вином веселя.
«О, где мне умельного кормчего взять
Для нового корабля?»

Стр.20 *...кобольдов, обнаруживающих скелет ихтиозавра в горной пещере Гарца.*

Первый ихтиозавр был открыт Мэри Аннинг — «раскопщицей из Лайм-Реджис» — в 1810 г. Здесь идет речь об иллюстрации из книги Пуше «Вселенная» — популярного в XIX веке введения в естественную историю.

Гл.5, стр.22 *— Джорди Геддес работает в городском Обществе человеколюбия, которое предоставило ему в бесплатное пользование дом в парке Глазго-грин.*

Общество человеколюбия города Глазго для обнаружения и спасения утопающих было основано факультетом хирургии университета Глазго в 1790 г.; первый эллинг и дом для служителя Общества были построены в Глазго-грин в 1796 г. Джордж Геддес, первый служитель Общества, работавший на полную ставку, занимал эту должность с 1859 по 1889 г.; его сын Джордж Геддес-младший работал с 1889 по 1932 г. Потом место досталось столь же известному Бену Парсониджу, чей сын в настоящее время (июль

1992 г.) занимает дом Общества человеколюбия, что близ подвесного моста.

Подвесной мост Св. Андрея, находящийся рядом с лодочным причалом и выше его по течению, с давних пор облюбовали самоубийцы. Это малолюдный пешеходный мост с железным решетчатым парапетом, на который, пока над ним не возвели дополнительное ограждение из мелкой сетки, было легко взобраться. Внук Джорджа Геддеса-старшего утонул, пытаясь спасти человека, прыгнувшего с моста Св. Андрея в 1928 г.

Гл.7, стр.28 *...я двинулся к мемориальному фонтану «Лох-Катрин»...*

Правильное название — мемориальный фонтан Стюарта, поскольку он был воздвигнут в память о трудах мистера Стюарта из Мердостуна, мэра Глазго с 1854 г. Преодолевая сильное сопротивление частных водопроводных компаний, он добился постановления парламента, давшего возможность муниципалитету сделать озеро Лох-Катрин, что находится в тридцати трех милях от города посреди гор Троссах, главным резервуаром городского общественного водоснабжения.

Впрочем, ошибка доктора Свичнета вполне понятна. Спроектированный Джеймсом Селларсом и построенный в 1872 г. по заказу Комиссии по водоснабжению, фонтан искусно украшен резными фигурами зверей и птиц, обитающих на островах озера Лох-Катрин: цапли, выдры, ласки и совы. Венчает сооружение изящная фигура не кого иного, как Элен — Озерной Девы. С веслом в руке она стоит во весь рост на носу воображаемой ладьи — в точности такая, какой увидал ее Фиц-Джеймс в самом знаменитом поэтическом произведении сэра Вальтера Скотта.

Около 1970 г. власти отключили воду и позволили детям беспрепятственно лазить по каменным уступам. Скульптуры были разбиты. В 1989 г., когда город Глазго готовился стать культурной столицей Европы, фонтан полностью восстановили и пустили воду. В июле 1992 г. он вновь бездействует. Его окружает высокий деревянный забор.

Стр.30 *Она взяла свой зонтик и приветливо помахала им каким-то зевакам, наблюдавшим за нами с уступа холма.*

Террасы на крутых склонах Западного парка в Глазго были устроены в начале 1850-х Джозефом Пакстоном, который разбил также Парк королевы и Ботанический сад. На этих склонах Перси Пилчер испытывал один из своих планеров, что в 1899 г. стоило ему жизни, но привело к установлению главных принципов строения аэроплана, каким мы его видим и в наши дни; само слово «аэроплан» пошло именно оттуда. Полеты Пилчера могли натолкнуть Г.Дж. Уэллса на мысль использовать Западный парк в своем романе «Война в воздухе», вышедшем за месяц до начала войны 1914—1918 гг. Уэллс описывает первый успешный беспосадочный полет британского авиатора от Лондона до Глазго и обратно. Кружа над парком на уровне верхней террасы, он кричит с шотландским акцентом собравшейся на ней восторженной толпе: «Моя мать была шотландка!», что вызывает бурную овацию.

Стр.31 *И когда он закричал, мне почудилось, что кричит все небо.*

Сводки погоды показывают, что 29 июня 1882 г. стояла необычная жара и духота. Во время захода солнца большинство жителей Глазго слышало странный звук, о причине которого местная печать гадала потом целых две недели. Писавшие большей частью сходились на том, что звук имел промышленное происхождение и его источник находился очень далеко. На северо-западе жители Сарасен-кросса решили, что произошел взрыв на кузнице в Паркхеде; на юго-востоке вокруг Паркхеда подумали, что случилась авария на заводе декоративных и санитарно-гигиенических металлоизделий в Сарасенхеде. В Говане (юго-запад) сочли, что на северо-восточном локомотивном заводе испытывают новый паровой гудок; на северо-востоке же рассудили, что, наверно, на одном из пароходов на Клайде взорвался котел. Научный обозреватель «Глазго геральд» отметил, что явление «больше походило на электрический разряд, чем на звук», и выразил мнение, что, возможно, причина его кроется «в погодных условиях: ненормальная жара в сочетании с обилием дымов в атмосфере». Юмористическое издание «Блюститель порядка» указало, что в центре района, где был слышен загадочный звук, находятся Западный парк и университет, и предположило, что профессор Томсон экспериментирует с небывалым телеграфом, чьи сигналы идут не по проводам, а прямо по воздуху. Наконец, автор шутливого письма в эдинбургскую газету «Скотсмен» выдвинул гипотезу, что некий горе-музыкант из Глазго пытался играть на усовершенствованной им волынке.

Гл.9, стр.36 *Придут сумерки, и с ними он, тихо прокрадется из переулка сквозь калитку в дальней стене...*

Майкл Доннелли продемонстрировал мне первоначальные чертежи Парк-сёркес, выполненные в 1850-е гг. Чарльзом Уилсоном, где показан каретный сарай, отделяющий задний двор дома 18 от переулка. Однако это сооружение, несмотря на его наличие в проекте, могло быть построено гораздо позже. Строителям готических соборов иной раз нужны были столетия, чтобы исполнить замысел архитектора. Национальный монумент в Эдинбурге, задуманный как дань памяти шотландским солдатам, погибшим в боях с Наполеоном, доныне представляет собой немногим более чем фасад.

Гл.12, стр.46 *Ибо, когда в тот теплый летний вечер мы садились на лондонский поезд, я предполагал выйти в Килмарноке...*

Железнодорожные расписания 1880-х гг. показывают, что с первого ночного поезда

Глазго — Лондон Центральной железной дороги можно было сойти в Килмарноке и продолжить путь на следующем поезде часом позже.

Стр.48 *...чтобы продать мои акции «Шотландских вдов и сирот»...*
Парринг поступил неразумно — эта страховая компания (теперь называемая «Шотландские вдовы») процветает и поныне. В марте 1992 г. в рамках агитации консерваторов перед всеобщими выборами директор «Шотландских вдов» заявил, что если Шотландия получит собственный парламент, главное управление компании будет переведено в Англию.

Гл.14, стр.58 *Ты помнишь, как водил меня на биржу?/ Тут было очень на нее похоже.*
Королевская биржа на Куин-стрит открылась 3 сентября 1829 г. Здание, строительство которого обошлось в 60 000 фунтов, собранных по подписке, стало не только долговечным памятником богатству городских коммерсантов, но и самым величественным сооружением подобного рода во всей Британии на много десятилетий вперед. Эта дивная постройка выполнена в греческом стиле по проекту Дэвида Гамильтона. Фасад украшает царственная колоннада, увенчивает его изящная башня-фонарь. Громадная крыша имеет 130 футов в длину и 60 в ширину; высота крыши, поддерживаемой коринфскими колоннами, составляет 30 футов. Интерьер здания, в котором теперь располагается Публичная библиотека Стирлинга, ныне столь же великолепен, как и в прошлом.

Стр.61 *Она такая широкая, что по ней может промаршировать целая армия, и очень напоминает лестницу, ведущую в Западный парк, — ту, что рядом с нашим домом.*
Почти все, кто побывал в Одессе, видели громадную лестницу, спускающуюся с высокого берега к гавани. Гранитная лестница в Западном парке Глазго, построенная в 1854 г. и обошедшаяся в 10 000 фунтов, столь же велика и красива, но, к сожалению, находится в малопосещаемой части парка. Если бы ее соорудили ближе к центральному спуску с Парковых террас, она оказалась бы напротив университета Глазго, по другую сторону узкой ложбины, и смотрелась бы куда выигрышнее.

Стр.64 Сказанное русским игроком, начиная со слов «*Ну, например*» и кончая словами «*и у клопов есть свой неповторимый взгляд на мир*», означает, что он весь погружен в прозу Федора Достоевского. Белла не могла этого знать, ибо великий писатель умер только годом раньше (в 1881 г.) и не был еще переведен на английский язык.

Гл.15, стр.69 *Движение превращает... муку масло сахар яйцо и столовую ложку молока в печенье «абернети»...*
Как явствует из книги «Шотландская кухня» (Мариан Макнил, изд-во «Блэкки и сын», Бишопбриггс, 1929 г.), в этом рецепте пропущены два важных ингредиента — $^1/_2$ чайной ложки соды и умеренное количество тепла.

Гл.16, стр.79 *Ваше предложение не соблазняет меня, Гарри Астли, потому что я не люблю вас.*
Тщательные розыски в справочниках и газетах того времени не принесли доказательств существования Гарри Астли[1]. Все шотландские и некоторые английские читатели, должно быть, удивленно вскинули брови, прочтя, что он признал себя двоюродным братом лорда Пиброка. «Пиброк» — гэльское слово, означающее «волынка», а между тем шотландский генеалогический колледж, как и английский, утверждает, что все дворянские родовые имена происходят от топонимов. На заграничное ухо, однако, все фамилии, звучащие на шотландский лад, кажутся равно подходящими, что заставляет видеть в Астли самозванца. В коммерческих справочниках того времени сахарозаводчики «Ловел и К°» не значатся. Кто же такой мог быть Астли? Основания для ответа дают только его несомненная связь с Россией и исторические лекции, прочитанные им Белле. Последние показывают, что за английской личиной у него не было ни капли почтения к Британской империи. Возможно, он был царский агент, направляющийся в Лондон для слежки за русскими революционерами-эмигрантами, которые нашли там убежище. Самыми знаменитыми из них были Герцен и (много позже) Ленин. Словом, хорошо, что Белла отказалась выйти за Астли замуж.

Стр.80 *Мы отправляемся в Париж... Передай меня с рук на руки мидинеткам...*
Мидинетка — французская девушка-работница, чаще всего молодая модистка или швея. Зарабатывали они мало, но обычно умели хорошо одеваться, поэтому мужчины со средствами рассматривали их как потенциальных дешевых любовниц.

Гл.17, стр.81 *Помнишь... как ходили к профессору Шарко в больницу Сальпетриер?*
Шарко Жан Мартен (1825—1893) — французский врач, родился в Париже. В 1853 г. получил диплом доктора медицины в Парижском университете, тремя годами позже стал врачом Центрального управления больниц. С 1860 г. профессор патологической анатомии в медицинских учреждениях Парижа, с 1862 г. до конца жизни работал в больнице Сальпетриер. В 1873 г. избран в Медицинскую академию, с 1883 г. член Французской академии. Был хорошим лингвистом и прекрасно знал не только французскую литерату-

[1] Как и его русский знакомец, Астли сошел со страниц романа Достоевского «Игрок» (там его фамилия пишется «Астлей»).

ру, но и литературы других стран. Был величайшим клиницистом и патологом. Много внимания уделил изучению неясно очерченных болезненных состояний, в частности истерии и ее связи с гипнотическим внушением. В Сальпетриер главным образом занимался исследованием нервных заболеваний, но, кроме того, опубликовал много важных работ о болезнях печени, почек, суставов и т. д. Полное собрание его сочинений в девяти томах вышло в 1886—1890 гг. Он был необычайно талантливым педагогом и воспитал немало врачей-энтузиастов. Среди его учеников был и доктор З.Фрейд.

«Энциклопедия для всех», 1949 г., под ред. Ателстана Риджуэя.

Стр.82 — *Ха-ха, от собственного пороха взлетел.*

Это выражение означает «подорвался на собственной мине». Его употребил Шекспир.

Гл.18, стр.87 *Я сказала... что ей нужно думать о моих нежных объятиях, а не о каком-то непонятном тесте...*

Белла не поняла выговор мадам Кронкебиль. Несчастная дама, вероятно, сказала «пустого места».

Гл.21, стр.94 *Ближе всего к нам была церковь Парк-чёрч, но я не хотел, чтобы соседские дети устраивали у дверей «кучу малу», и поэтому выбрал Лэнсдаунскую церковь Объединенных пресвитерианцев на Грейт-вестерн-роуд, до которой было не больше десяти минут ходу.*

«Куча мала» — шотландский обычай, который заключается в следующем: перед бракосочетанием у дома жениха или невесты собираются дети, дожидаясь выхода. Жених или кто-то из кортежа невесты должен кинуть в толпу горсть монет; если этого не происходит, толпа начинает выкрикивать: «Голытьба! Голытьба!» — то есть денег, знать, у вас не хватает, чтобы все было чин чином. Когда детям кидают монеты, начинается яростная схватка, в которой побеждают самые сильные, цепкие и безжалостные, а маленькие и слабые, хныча, уходят с отдавленными пальцами. Обычай до сих пор распространен в некоторых районах Шотландии. Иные современные мыслители консервативного толка считают его хорошей подготовкой к взрослому миру, полному конкурентной борьбы.

Всякий, кто захочет поставить маленький эксперимент, может легко дойти парком от Парк-сёркес, 18 до Лэнсдаунской церкви менее чем за десять минут. Здание (архитектор Джон Ханимен) построено из кремового песчаника в стиле французской готики и имеет самый стройный шпиль (беря отношение ширины к высоте) в Европе. Вид этой церкви произвел на Джона Рёскина столь сильное впечатление, что он разрыдался. В интерьере сохранен такой ненужный элемент, как ряды отгороженных сидений, и обращают на себя внимание два интересных витража работы Альфреда Уэбстера, изображающих библейские сцены среди пейзажа современного Глазго. И церковь, и конгрегация основаны в 1863 г.

Гл.22, стр.99 *...Джордж Геддес (кстати, весьма известное и уважаемое лицо в нашем городе)утверждает, что он вытащил мертвое тело.*

Об известности Джорджа Геддеса говорит шуточная песенка, которую в свое время часто исполняли в мюзик-холлах Глазго. В ней идет речь о весьма неудачной прогулке по Клайду на увеселительном пароходике; кончается песенка словами: «Зовите Джорди Геддеса — мы все идем ко дну».

Стр.100 *Известно, что в 1820-е годы один из ваших оживил труп повешенного преступника, который сел и начал говорить. Публичный скандал был предотвращен только тем, что кто-то из демонстраторов взял скальпель и перерезал ему горло.*

Этот анекдот в XIX веке столь часто рассказывался и пересказывался в различных юмористических «историях Глазго», что его источники сами стали предметом исчерпывающей монографии профессора Генриха Сверчке «War Frankenstein Schotte?»[1] (изд-во Нишкнера, Нигдебург, 1929 г.). Кто не знает немецкого, может найти тщательно собранные главные выводы в «Гарскадденских сплетнях» Фрэнка Куппнера (изд-во «Молендинар-пресс», Глазго, 1987 г.)[2].

Гл.23, стр.113 *Но через два дня газеты объявили, что генерал Коллингтон найден мертвым на полу оружейной комнаты своего загородного дома в Лоумшир-даунс.*

Начало карьеры этого знаменитого в свое время военачальника, как и конец, было отмечено трагедией. В 1846 г. в Сандхерстском военном училище Коллингтон стал инициатором выходки, из-за которой его однокашник разбился насмерть, хоть, может быть, и не наш герой развязал шнурки на башмаках жертвы. Вероятно, благодаря связям его семьи с герцогом Веллингтонским он не был исключен, а отделался выговором. В 1848 г. герцог был Лордом Главным Констебелем Англии и занимался организацией военного отпора лондонским чартистам. Он взял Коллингтона себе в помощники, но остался им недоволен. Ригби приводит в своих мемуарах слова герцога, сказанные лорду Монмуту: «Обри — храбрый и толковый солдат, но он оживляется, только когда можно убивать. К сожалению, бóльшую часть службы проводишь в ожидании этой возможности. Его надо послать за моря, и чем дальше от Англии, тем лучше. Там и держать все время».

[1] «Не был ли Франкенштейн шотландцем?» (*нем.*).

[2] Гарскадден, Молендинар — названия улиц Глазго.

Герцог умер в 1852 г., но к его совету прислушались. Британские газеты захлебывались от восторга, описывая заморские победы Коллингтона, зачастую одержанные с помощью туземных войск. Джордж Огастус Сала окрестил его в «Дейли телеграф» Громобоем Коллингтоном. Хоть его и не жаловало собственное сословие, ему оказывала почести королева — то есть его рекомендовали для оказания почестей Пальмерстон, Гладстон и Дизраэли. Парламент, в свой черед, воздавал ему дань благодарности и назначал денежные премии, хотя временами тот или иной депутат-радикал выражал мнение, что он «умиротворяет» территории с недолжной жестокостью. Писатели большей частью его хвалили. Карлейль охарактеризовал его так:

«Он худой, устремленный ввысь человек-сосна, и хоть ветви его обломаны непогодой, он каждым дюймом своей прямоты указует в небеса, ибо укоренен в Действительности. Хорошее дерево для копья! Слова для него не более чем ветер. Нечего удивляться, что на него ополчилась вся братия вестминстерской говорильни. Стань же, копье, ланцетом, вскрой гнойные болячки парламентского пустословия, избавь тело страны от гнилостных ядов!»

Теннисон впервые увиделся с ним на публичном банкете в поддержку губернатора Эйра[1] и под впечатлением от встречи написал стихотворение «Орел». Хотя оно известно многим, мало кто понимает, что это романтический портрет знакомого автору человека:

ОРЕЛ

Вонзивши коготь, как багор,
Стоит он, страж прибрежных гор,
Вокруг — лишь синевы простор.

Глядит с заоблачных высот
На пенную пустыню вод
И падает, как громом бьет.

Но, бесспорно, лучшую стихотворную дань Коллингтону воздал Редьярд Киплинг, который считал, что генерал был затравлен до смерти парламентскими хулителями:

КОНЕЦ ГРОМОБОЯ

Канадскому охотнику метис уже не страшен,
И в Патагонии крестьян никто не гонит с пашен.
Купец китайский мирно считает свой барыш —
Полиция не дремлет, и с ней не пошалишь.
Кому же мы обязаны идиллией такой?
ТОМУ, КТО НА ПОЛУ ЛЕЖИТ С ПРОБИТОЙ ГОЛОВОЙ.

В парламенте раздолье для плута и глупца,
Там радикал-сентиментал поносит храбреца,
Там правит тряпка «реалист», что действия боится,
А тот, кто дело делает,— «ах, преступил границы».
Да, кто-то дело делает — одним мы рукоплещем,
Как Китченеру, на других, как Коллингтон,— клевещем.
Пусть радуются радикал и «реалист» гнилой —
ЛЕЖИТ НЕДВИЖЕН КОЛЛИНГТОН С ПРОБИТОЙ ГОЛОВОЙ.

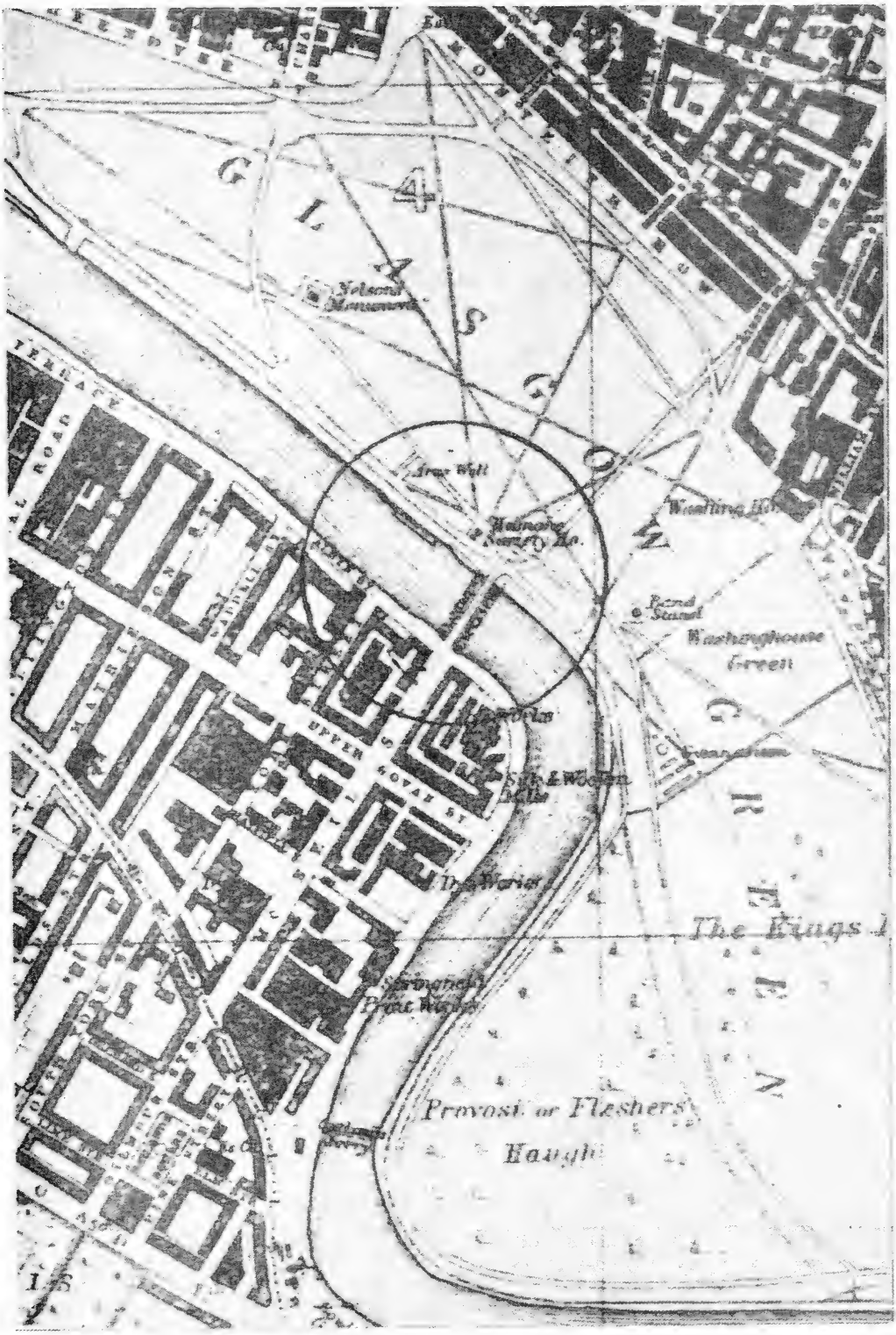
Немало мест на свете есть, где бритт как дома ныне,
Но где вчера кочевник злой лишь крался по пустыне.
Туземец мирный сеет, жнет, спускается в забой —
Собратьям его диким дал острастку Громобой.
За нас крушил их Громобой — нам вопли режут слух.
Огнем палил их Громобой — претит нам гари дух.
За нас лупил их Громобой — нас пробирает дрожь.
За нас рубил их Громобой — пустились мы в скулеж.
Как обожает домосед покой, пристойность, меру!
Датчан он Дрейку предпочтет, а буйных негров — Эйру.
Плывут на родину суда с зерном, скотом, рудой...
СЭР ОБРИ НА ПОЛУ ЛЕЖИТ С ПРОБИТОЙ ГОЛОВОЙ.

После подобного панегирика будет только справедливо, если мы приведем два менее лестных косвенных упоминания о Коллингтоне. В 1846 г., когда Диккенс писал роман «Домби и сын», стало известно о роковой выходке Коллингтона в Сандхерсте. Отсюда — разговор на набережной в Брайтоне, где майор Бэгсток спрашивает Домби, пошлет ли он сына в школу.

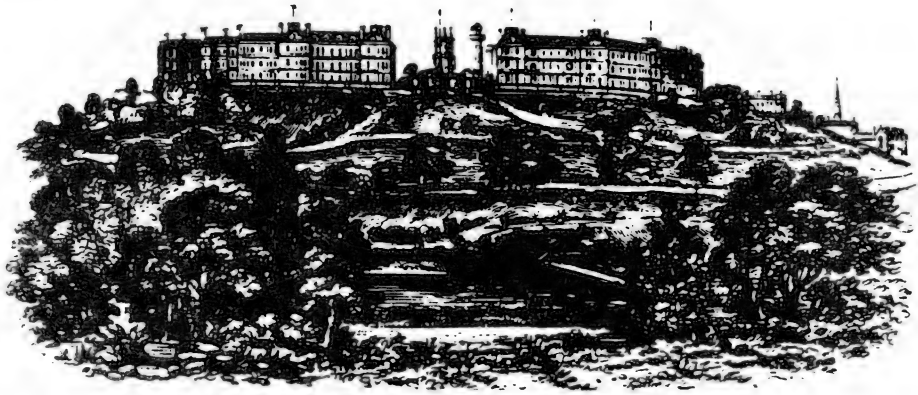
— Я еще не решил, — отвечал мистер Домби. — Вряд ли. Он слабого здоровья.

— Если слабого здоровья, — сказал майор, — то вы правы. Только крепкие ребята могли выдержать жизнь у нас в Сандхерсте, сэр. Мы там друг друга пытали, сэр. Новичков поджаривали на медленном огне, подвешивали вниз головой за окном четвертого этажа. Джозефа Бэгстока, сэр, так вот продержали за пятки башмаков ровно тринадцать минут по школьным часам.

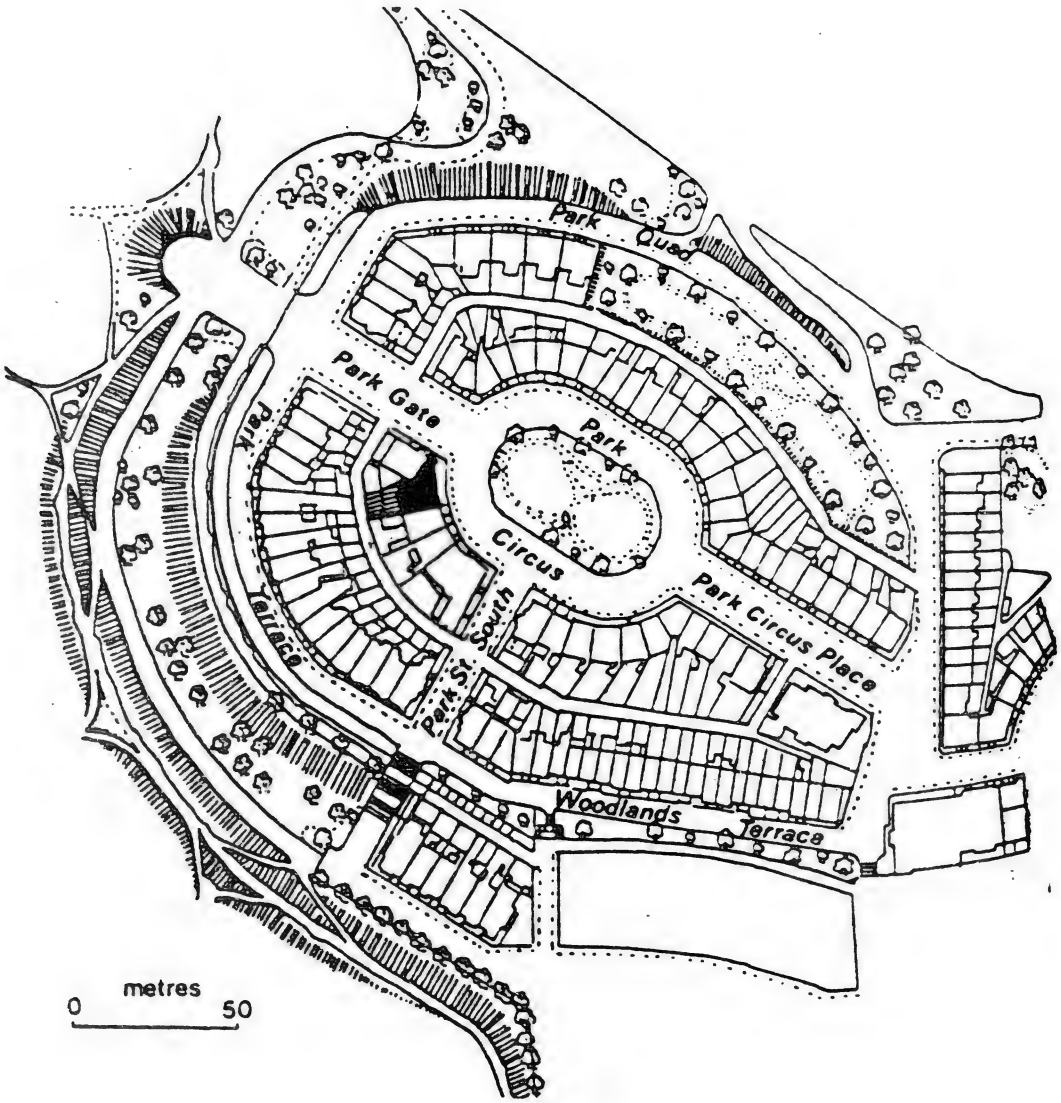
[1] Эдвард Джон Эйр (1815—1901) был в 1864 г. назначен губернатором Ямайки, в 1866 г. отозван после жестокого подавления восстания негров.



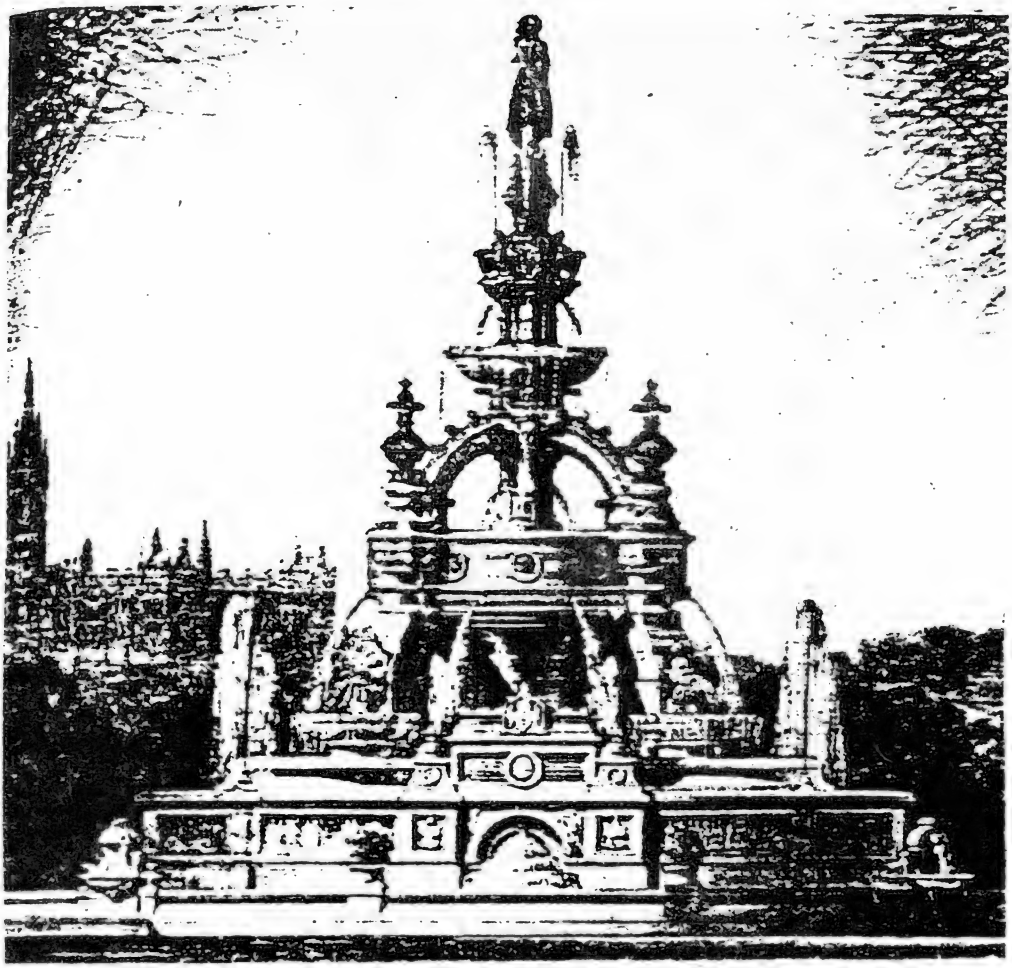
ГЛАЗГО-ГРИН, 1880 г. Кружком обведено место, где утопилась леди Виктория Коллингтон. Здесь же — мост, с которого она прыгнула в воду; набережная, откуда это увидел Геддес; дом Общества человеколюбия, где Боглоу Бакстер обследовал ее труп.



Вход на Парк-сёркес со стороны Западного парка.



Первоначальный план Парк-серкес (застройка сохранилась до наших дней).



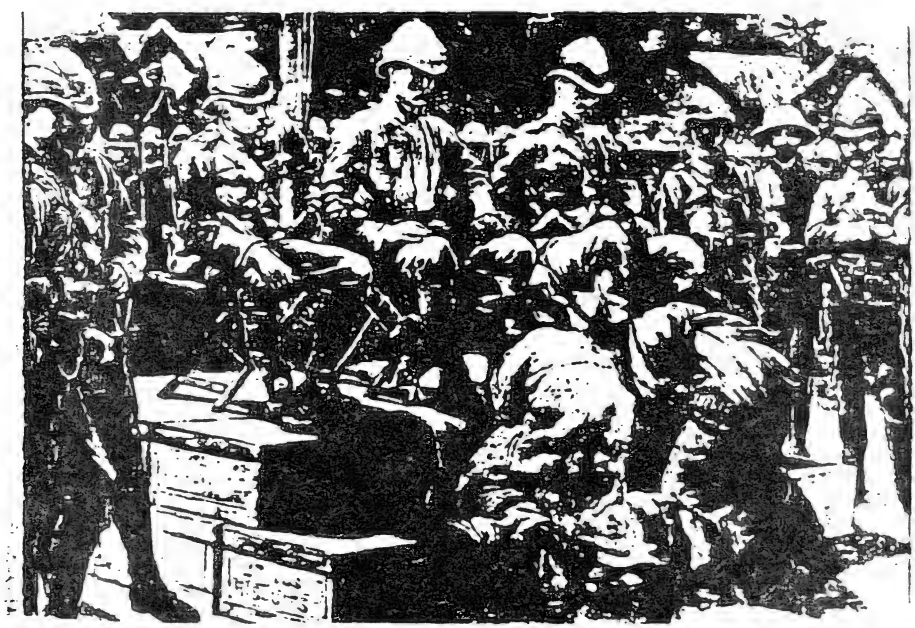
Мемориальный фонтан Стюарта; слева на заднем плане — университет Глазго, справа — Парк-сёркес.

Привокзальный отель «Сент-Панкрас», где Белла и Парринг провели вторую ночь после своего побега.

Лэнсдаунская церковь Объединенных пресвитерианцев, где в день Рождества 1883 г. было прервано бракосочетание.

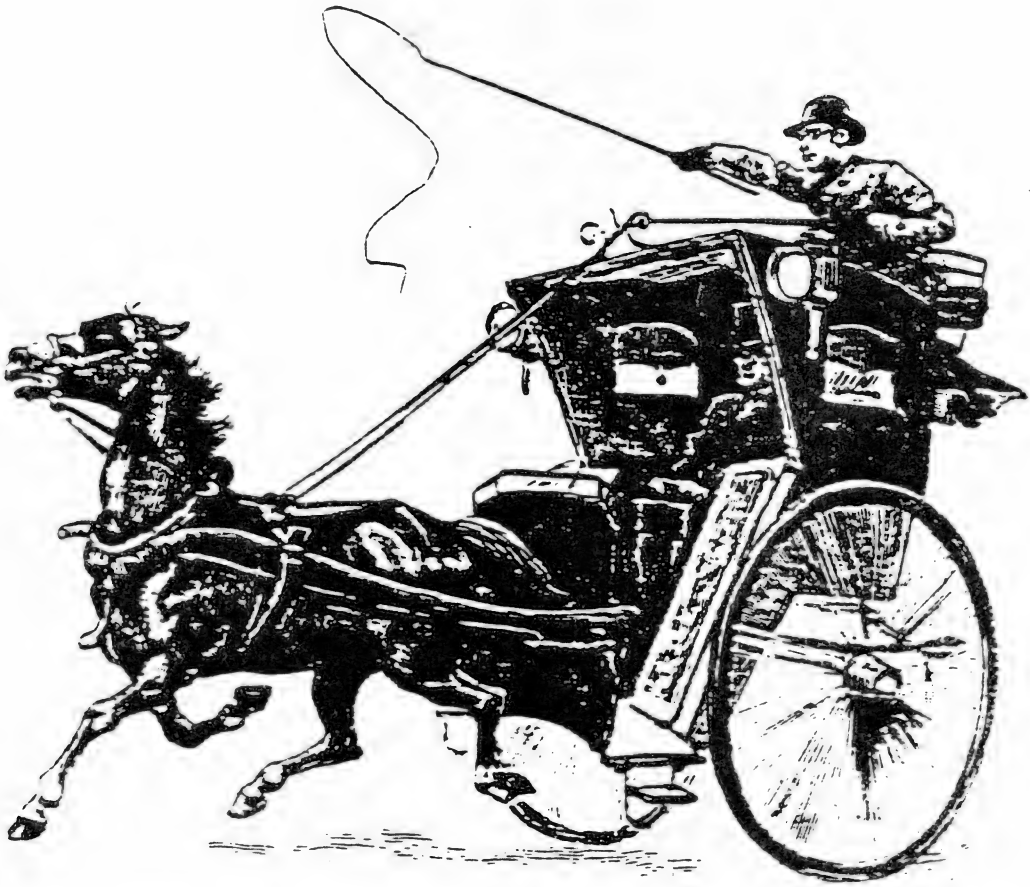
***ЭПИЗОДЫ ВОЕННОЙ КАРЬЕРЫ ГЕНЕРАЛА КОЛЛИНГТОНА** (рисунки и комментарии к ним взяты из еженедельника «График иллюстрейтед уикли ньюс»).*

РАСПРОДАЖА С АУКЦИОНА В МАНДАЛАЕ ДОБЫЧИ, НАГРАБЛЕННОЙ В БИРМАНСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ: «Громобой» Коллингтон полагает, что рядовой солдат, охраняющий покой Империи, заслуживает большего, чем простое жалованье».



УНИЖЕНИЕ КОРОЛЯ ПРЕМПЕ: «После подавления восстания ашантийцев губернатор, в числе прочего, потребовал, чтобы король Премпе изъявил победителям свою покорность по местному обычаю. Разувшись и сняв корону, король вместе с королевой-матерью подошел к возвышению, на котором сидели сэр Фрэнсис Скотт, генерал Коллингтон и мистер Максвелл. Встав на колени, король и королева на глазах у изумленных ашантийцев припали к сапогам англичан».

УБИЙСТВО В СЕВЕРНОЙ ИНДИИ: «Во время карательной экспедиции против племен, населяющих холмы Лушай, в могиле старейшины по имени Хаусата было обнаружено ружье покойного лейтенанта Стюарта. По сведениям, полученным в соседних деревнях, если лейтенанта действительно убил Хаусата, то ружье Стюарта должно было находиться в могиле старейшины. Могилу раскопали. В ней рядом с набальзамированным телом Хаусаты лежало ружье; это убедительно доказывает, что генерал Коллингтон по праву сжег дома провинившихся индусов»



Кеб, подобный тому, в котором генерал Коллингтон хотел увезти свою «жену» Беллу Бакстер, усыпив ее хлороформом.

Некрополь в Глазго, где в мавзолее Бакстера (романская ротонда на заднем плане справа) похоронены три главных героя этой книги.

Наконец, прототипом капитана Пли из стихотворной карикатуры Хилэра Беллока на строителя империи в такой же степени, как Сесила Родса, можно считать генерала Коллингтона:

Пли знал туземные замашки.
«Будь добр, но не давай поблажки», —
Любил он говорить.
В итоге — смута. Помню ясно,
Как Пли всех нас в тот день ужасный
От гибели спасал.
Он, стоя на холме зеленом,
Обвел округу взглядом сонным
И тихо так сказал:
«Что б ни случилось, худо им
Придется, ведь у нас «максим».

Гл.24, стр.115 *Не желая ломать ему суставы, я заказал гроб в форме куба...*
Если бы доктор Свичнет терпеливо подождал, пока начнется разложение, тело его друга Бакстера вышло бы из трупного затвердения и, размягчившись, поместилось бы в гроб обычной формы. Но, возможно, диковинный обмен веществ Бакстера препятствовал нормальным процессам разложения.

ПИСЬМО ВИКТОРИИ СВИЧНЕТ, стр.117
Он проводил все больше времени в своем кабинете, кропая книги, которые потом печатал за свой счет, поскольку ни один издатель не хотел на них раскошеливаться.
Помимо этой, за свою жизнь доктор Свичнет напечатал еще четыре книги за собственный счет. В отличие от «Бедных-несчастных», он послал экземпляры перечисленных ниже произведений в Эдинбург в Шотландскую национальную библиотеку, где они каталогизированы под его псевдонимом «Галлоуэйский простофиля».

1886 г. «Где бродили мы вдвоем»
Сборник стихотворений, навеянных теми местами в Глазго, что связаны с его ухаживаньями за будущей женой. Одно из стихотворений (озаглавленное «Мемориальный фонтан в честь водопроводной системы Лох-Катрин, Западный парк») приведено в гл. 8 «Бедных-несчастных» и, безусловно, является лучшим.

1892 г. «Торговцы трупами»
Эта пятиактная пьеса о преступлениях Берка и Хэара[1] нисколько не лучше, чем многие другие драмы XIX века на тот же самый весьма популярный сюжет. К Роберту Ноксу, покупавшему трупы хирургу, наш автор относится более сочувственно, чем прочие, так что пьеса, возможно, повлияла на «Анатома» Джеймса Брайди.

1897 г. «Уопхиллские деньки»
Воспоминания о детстве на галлоуэйской ферме. Хотя книга претендует на автобиографичность, в ней так мало говорится об отце, матери и друзьях автора, словно у него никогда их не было. Единственный персонаж, описанный во всех чувствительных подробностях, — чудовищно строгий «господин учитель», чье одобрение успехов автора в постижении наук отнюдь не умеряло жестокости назидательных побоев. Но главным образом книга описывает такие радости, как ловля форели руками, облавы на кроликов и более мелких вредителей, опустошение птичьих гнезд.

1905 г. «Завещание Соуни Бина»
Эта длинная поэма, написанная бёрнсовской строфой, начинается с того, что Бин лежит в вереске на вершине горы Меррик, откуда он обозревает страну, завлекшую и ввергшую его в людоедство. Время действия — 1603 год, незадолго до объединения корон. Бин страдает от пищевого отравления, поскольку недавно заел бродягу-кальвиниста куском сборщика налогов — епископала. Упор делается не на комизме, а на символическом смысле этой желудочно-кишечной свары. В безумии своем Бин взывает к теням всех шотландских правителей, начиная от Калгака и кончая Яковом VI. Ему являются призраки из прошлого и будущего Шотландии: Фингал, Дженни Геддес, Джеймс Уатт, Уильям Юарт Гладстон и т.д.; наконец, «поэт грядущих дней,/ Что Родину, подобно мне,/ Терял, искал, обрел...» Тут становится ясно, что Бин и его голодное семейство (которые вскоре будут арестованы королевскими солдатами и сожжены живьем в эдинбургском Грассмаркете) символизируют шотландский народ. Главная трудность для читателя, помимо чрезмерной длины этой поэмы и нудного языка, состоит в невозможности точно установить, символом чего является людоедство. Возможно, низкой культуры питания, которая, как считал доктор Свичнет, некогда отличала Шотландию; как бы то ни было, он пишет так, словно клан Бинов действительно существовал. Небольшое исследование показало бы ему, что это имя не встречается ни в шотландской истории, ни в легендах, ни в народных сказаниях, ни в художественной литературе. Оно впервые появилось в издании «Ньюгейтский альманах, или Летопись кровавых злодеяний», вышедшем в Лон-

[1] Речь идет о громком деле 20-х годов XIX века: Уильям Берк и Уильям Хэар душили людей и продавали тела эдинбургскому анатому Роберту Ноксу.

доне около 1775 г. Прочие собранные в этой книге истории — опирающиеся на факты описания самых мрачных преступлений, совершенных в Англии на памяти жившего тогда поколения. История Соуни Бина рассказана в таком же фактографическом стиле, но совершается на диком шотландском берегу почти двумя веками раньше. Это небылица, основанная на сказках, бытовавших в *Англии,* — страшных сказках, выдуманных англичанами о шотландцах в те столетия, когда два народа были либо в состоянии войны друг с другом, либо на грани ее.

Я так подробно описал эти четыре не стоящие внимания книги лишь для того, чтобы читатели не тратили на них время. Они, среди прочего, показывают, что доктор Свичнет не обладал ни творческим воображением, ни памятью на диалоги, и поэтому он, безусловно, писал «Бедных-несчастных», пользуясь очень подробными дневниками. Сожженная его женой рукопись наверняка бы это подтвердила.

Стр.118 *Жизнь для нас с мамой главным образом сводилась к борьбе за чистоту жилья и самих себя, однако мы никогда не чувствовали себя чистыми, пока... отец... не перевез нас в трехэтажный дом... сказав: «Теперь я это могу себе позволить». Думаю, он позволял себе это уже год, не меньше.*

Есть основания думать, что он позволял себе это уже четырнадцать лет. В гл. 22 Блайдон Хаттерсли похваляется, что он «давал работу половине квалифицированной рабочей силы Манчестера и Бирмингема» через десять лет после того, как он «стер в порошок Короля Хадсона». Джордж Хадсон, прозванный «рельсовым кролем», был очень удачливым спекулянтом акциями и недвижимостью, пока железнодорожная лихорадка 1847 — 1848 гг. не привела его к разорению. Это означает, что отец Беллы стал миллионером, когда ей было три года.

Стр.119 *— Что заимел? — Патент. — И патент, и до черта всего прочего.*

Патент на парные направляющие муфты Макгрегора Шанда дал паровозостроительной компании Блайдона Хаттерсли преимущество над конкурентами, которое длилось до 1889 г., когда трубчатый клапан Белфрейджа сделал муфты излишними. Макгрегор Шанд умер от чахотки в палате для неимущих Манчестерского королевского приюта для умалишенных в 1856 г.

Стр.122 *...я... сыграла одну из простеньких песен Бёрнса. Может, это и вправду был «Зеленый берег Лох-Ломонд».*

Доктор Виктория ошиблась. Эта народная песня не была ни сочинена, ни записана Робертом Бёрнсом.

Стр.126 *Но почему же он не позаботился сделать вымысел еще более убедительным? В двадцать второй главе... он пишет: «К счастью, пуля прошла навылет, ПРОБИВ ПЕРЕПОНКУ МЕЖДУ ПЯТОЧНОЙ И МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТЯМИ ПЛЮСНЫ и даже не задев кость». Выделенные слова... вздор, чушь, чепуха, бессмыслица и ахинея.*

Если бы доктор Виктория больше любила своего мужа, ей легко было бы понять, почему он написал эту ахинею. Арчибальд Свичнет явно хотел, чтобы она отредактировала книгу для публикации. Ей, с ее опытом и медицинским образованием, это место должно было броситься в глаза, так что его можно считать своеобразным приглашением к сотрудничеству. Но приглашение пропало втуне.

Стр.126 *...я счастлива, что дожила до XX столетия.*

Последующая жизнь Беллы Бакстер прошла под именем Виктория; в 1886 г. под этим именем она поступила в женское медицинское училище Джекс-Блейк в Эдинбурге, под ним же в 1890 г. в университете Глазго она получила диплом доктора медицины. В этом же году она открыла Гинекологическую клинику имени Боглоу Бакстера в Доббислоун близ Каукэдденса. Это было чисто благотворительное заведение, и она управлялась с ним при помощи очень небольшого штата местных женщин, которых сама же и обучала. Они постоянно уходили и заменялись новыми, потому что после обучения она никого не держала дольше года. Одной преданной сотруднице, которая не хотела уходить, она сказала: «Вы замечательная помощница, но учить вас мне больше нечему. Мне нравится обучать новых людей. Ступайте, помогайте вашим соседкам или найдите другого врача, который научит вас чему-нибудь новому».

Некоторые из ее бывших помощниц поступили сестрами в городские больницы, но мало кто преуспел, потому что, как сказала одна палатная сестра, «они слишком много задают вопросов».

Между 1892 и 1898 гг. доктор Виктория родила троих сыновей с интервалом в два года, каждый раз прерывая работу в клинике только за два-три дня до родов и возобновляя ее очень скоро после них. Она говорила: «Именно так приходится поступать моим неимущим пациенткам — для них слишком большая роскошь быть горизонталистками. А у меня к тому же есть перед ними преимущество. Мой муж — великолепная жена».

В 1899 г. Фабианское общество опубликовало ее брошюру по общественной гигиене. Она называлась «Против горизонтализма»; в ней говорилось, что врачи любят укладывать пациентов в постель, потому что это помогает врачам (не пациентам) чувствовать себя сильными. Признавая, что для лечения многих болезней постельный режим необходим, доктор Виктория утверждала, что роды, как бы ни было при них больно, болезнью назвать нельзя и что рожать легче, сидя на корточках. Она пропагандировала родильные

скамеечки, какие были в ходу в XVIII веке. Горизонтализм, продолжала она, — это состояние не только тела, но не в меньшей степени и духа. Горизонтализм видит во внутренних телесных отправлениях священные тайны, проникнуть в которые могут лишь врачи, поэтому хороший пациент должен иметь нерассуждающую веру в докторов. Она писала:

«Когда священники и политики требуют от нас нерассуждающей веры, мы знаем, что они думают прежде всего о себе. Но почему мы, люди науки, ТОЖЕ хотим, чтобы те, кому мы служим, отключили свои мыслительные органы и пали перед нами ниц? Нет, пациенты обретут истинное уважение к врачам, врачи обретут истинное уважение к пациентам, лишь когда все будут знакомы с разумными повседневными основами врачебного искусства».

Она настаивала, чтобы в начальной школе всех детей обучали основам гигиены и первой помощи («там они легко освоят это в игре»), а в старших классах — начаткам медицины. Благодаря этому люди будут знать не только, как и в каком случае врач может оказать им помощь, но и как вести более здоровый образ жизни, как лучше заботиться друг о друге и почему не следует мириться с условиями жизни и труда, вредными для здоровья их самих, их детей и всего общества.

А вот типичные отклики газет того времени:

«Создается впечатление, что доктор Виктория Свичнет хочет сделать каждую британскую школу — да, каждую, включая начальные школы! — базой для подготовки революционеров-социалистов».

«Таймс»

«Мы прослышали, что доктор Виктория Свичнет — замужняя женщина, мать троих сыновей. Это ошеломляющая новость — в нее просто невозможно поверить! Из ее писаний возникает образ одной из тех костлявых, мужеподобных женщин, которым небольшой курс «горизонтализма» пошел бы на пользу. В данных обстоятельствах мы можем только выразить ее мужу наше сердечное сочувствие».

«Дейли телеграф»

«Мы не сомневаемся ни в квалификации доктора Виктории Свичнет, ни в доброте ее сердца. Ее клиника расположена в очень бедной части Глазго и, вероятно, приносит больше пользы, чем вреда, тем несчастным, кто туда обращается. Но клиника для нее — хобби: она не живет на доходы от своих пациенток. Мы, зарабатывающие на жизнь стетоскопом и скальпелем, мягко улыбнемся в ответ на ее утопические прожекты и вернемся на грешную землю — к нашим больным».

«Ланцет»

«Доктор Свичнет хочет превратить мир из поля битвы в санаторий, где все по очереди, как в детской игре, становятся то врачами, то пациентами. Совершенно очевидно, что в подобном мире процветать будет только одно — недуг!»

«Скотс обсервер»

Начиная с 1900 г. доктор Вик (так ее окрестили газеты) была активной суфражисткой, и ее имя сохранилось в истории этого движения. Война 1914 г. нанесла ей удар, от которого она так и не оправилась. Она рассчитывала, что рабочие и солдаты остановят войну, объявив забастовку, а на деле два ее младших сына почти сразу же пошли в армию и вскоре были убиты на Сомме. Она порвала с фабианцами из-за того, что она назвала их «бесхребетной терпимостью к преступной бойне», и стала появляться на одной трибуне с Киром Харди, Джимми Максгоном, Джоном Маклином и другими социалистами Клайдсайда (и сторонниками шотландской автономии), которые были против войны. Она поссорилась со старшим сыном Бакстером, который работал на войну за своим письменным столом в Департаменте имперской статистики. В письме Патрику Геддесу она писала:

«Бакстер совершает чудеса фальсификации, доказывая, что огромное количество убитых и искалеченных во Франции не столь ужасно, как думают, потому что оно включает в себя многие тысячи тех, кто был бы убит или искалечен в мирное время из-за несчастных случаев. Это, видимо, успокаивает совесть дельцов и воротил, жиреющих на военном производстве. Это означает, что миллионы убитых молодых солдат будут вскоре так же забыты, как те, кто погиб в промышленных и дорожных авариях».

По иронии судьбы, Бакстер Свичнет погиб, не оставив потомства, в 1919 г. в возрасте двадцати семи лет — его сбило парижское такси во время Версальской мирной конференции, на которую он приехал в качестве помощника Ллойд Джорджа.

Как многие в те годы, она долго и тяжело размышляла, почему богатейшие народы мира — народы, с гордостью называвшие себя самыми цивилизованными на том основании, что у них была самая развитая индустрия, — развязали самую жестокую, самую кровавую войну в истории. Она не могла постичь, почему миллионы людей, которые, взятые по отдельности, не были ни кровожадными, ни глупыми (она вспоминала своих сыновей), повиновались правительствам, приказавшим им убивать и идти на смерть в столь невероятных, катастрофических масштабах. Она разделяла мысль Толстого о том, что человеческое животное подвержено эпидемиям безумия; пример тому — орды французов, вторгшихся в Россию с Наполеоном и сгинувших там, хотя, покори они даже ее, их страна не получила бы от этого никаких выгод. Как врач она знала, что, поняв причины эпидемии, ее можно предотвратить. Она знала, что люди, которые живут и работают в перенаселенных кварталах, так же предрасположены к эпидемическим вспышкам враж-

дебности, как любые лишенные жизненного пространства существа, — но ведь по меньшей мере четверть из тех, кто сражался и погиб в мировой войне, были обеспечены и имели просторные жилища, и к этому же классу принадлежали почти все, кто затеял и направлял смертоубийство. Она заключила, что, хотя мировую войну породили те же национальные и коммерческие свары, которые были причиной британских войн с Францией, Испанией, Голландией и Соединенными Штатами, участвовавшие в ней и поддерживавшие ее люди пали жертвой «эпидемии самоубийственного послушания», потому что родительское воспитание посеяло в их душах ощущение малоценности собственной жизни.

«Может ли мужчина, уважающий свое тело, раздетым становиться в очередь, чтобы другой, одетый, мужчина обследовал его гениталии? Может ли врач, уважающий свой разум, зарабатывать этим деньги? Медицинский осмотр новобранцев — не что иное, как крещение в религию человекоубийства, где лучшим солдатом считается тот, кто относится к собственному телу как к самой грубой машине — и даже не ему принадлежащей, а управляемой на расстоянии. Два моих младших сына по собственной воле стали такими машинами и позволили расплющить и вдавить в грязь свои прекрасные тела. А старший не тело, а разум свой сделал частью военной машины. Он для меня — такая же жертва пренебрежения к самому себе, как его братья. И при этом первые десять лет жизни три мальчика провели в чистом, просторном доме, их воспитывали заботой и личным примером любящие, образованные и предприимчивые родители. Я была (и остаюсь) радикальной социалисткой. Мой муж был либералом. Все наши мальчики готовились стать мирными, образованными слугами общества, использующими самые гуманные современные идеи для решения великой задачи XX столетия — создать такую Британию, где у каждого будет добротное, чистое жилище и каждому будут достойно платить за полезную работу. Но вот объявили войну — и трое моих мальчиков ТУТ ЖЕ повели себя как сыновья кровожадного английского тори. Они знали, *что я считаю их поведение отвратительным. Почему же они* чувствовали, *что должны так поступить? Я отказываюсь искать ответ во внутренней испорченности человеческой или мужской натуры. Не могу я также сваливать вину на милитаристские курсы истории, которые они проходили в школе, — их, безусловно, перевешивало домашнее чтение и обучение. Мне приходится искать причину в самой себе. Благодаря богатству и любящему мужу в первые шесть или семь лет их жизни я имела над этими мальчиками безраздельную власть. И я не воспитала в них достаточного уважения к самим себе, чтобы противостоять той эпидемии самоосквернения, какой стала война 14 — 18 годов. Почему я потерпела неудачу? Не отыскав зерно болезни в себе самой, как я могу быть полезна другим? Но я его отыскала. Читайте, пожалуйста, дальше».*

В приведенном абзаце суммируется и цитируется введение к брошюре, которую она опубликовала в 1920 г. за свой счет: «Экономика любви. Мамашин рецепт — как покончить с национальной и классовой враждой». На титульном листе напечатано: «Пацифистское издательство им. Боглоу Бакстера. Выпуск 1». Второй выпуск так и не появился. Брошюра не привлекла к себе большого внимания, хотя Виктория разослала ее лидерам и секретарям всех британских профсоюзов в конвертах с надписью «и Вашей жене» после мужского имени или «и Вашему мужу» после женского. Она также отправила брошюру врачам, священникам, военным, писателям, служащим общественной сферы и членам парламента, поименованным в справочнике «Кто есть кто». Еще две тысячи экземпляров она пыталась разослать деятелям подобного профиля в Северной Америке, но брошюры задержала и сожгла американская таможня. В письме к Джорджу Бернарду Шоу, который отдыхал тогда в Италии, Беатриса Уэбб[1] писала:

«Когда Вы вернетесь, Вас будет ожидать дома последняя брошюра доктора Вик. Бредовая мешанина идей, нахватанных у Мальтуса, Д.Г.Лоуренса[2] и Мари Стоупс[3]. Она винит себя за мировую войну, потому что родила слишком много сыновей и недостаточно их милова́ла. *Она призывает каждую рабочую семью ради уменьшения будущих армий ограничиться одним ребенком. Родители должны дать ему почувствовать свою бесконечную ценность, деля с ним постель, где он на живом примере узнает все, что нужно, о плотской любви и предохранении от беременности. Таким образом, рассуждает она, ребенок вырастет свободным от эдипова комплекса, зависти к пенису и прочих напастей, открытых или изобретенных доктором Фрейдом, и вместо того, чтобы драться с братьями и сестрами, будет играть с соседским ребенком в мужа и жену. Она теперь помешана на сексе — стала эротоманкой, если использовать более привычное слово, — и пытается скрыть это под ханжескими иносказаниями, которые показывают, что она все еще в глубине души остается подданной королевы Виктории. Для любовных ласк у нее есть словечко «милованье», половой акт она называет «парьба». А ведь раньше это была блестящая голова. Жаль, умер ее бедный коротышка муж. Как-то ему удалось привести ее в норму между головокружительными романами с Уэллсом и Фордом Мэдоксом Хьюффером[4]. И конечно, для нее тяжелейшим ударом была утрата сыновей. В последние шесть лет не пошатнулись только самые крепкие умы».*

Социалисты из Независимой лейбористской партии Клайдсайда тоже не приняли

---

[1] Беатриса Уэбб (1858 — 1943) — английский экономист, историк и общественная деятельница левого направления.

[2] Дэвид Герберт Лоуренс (1885 — 1930) — английский писатель, с неслыханной для своего времени смелостью разрабатывавший эротическую тему.

[3] Мари Кармайкл Стоупс (1880 — 1958) — английская писательница, биолог — пропагандист ограничения рождаемости.

[4] Форд Мэдокс Хьюффер (псевдоним — Форд Мэдокс Форд; 1873 — 1939) — английский писатель.

«Экономику любви». Том Джонстон писал, рецензируя ее в «Форвард»:

«Доктор Виктория Свичнет призывает рабочие семьи объявить своего рода родительскую забастовку ради того, чтобы единственный ребенок в будущем больше получал за свой труд. В нынешнем году, году локаутов и снижения заработной платы, году повсеместных требований рабочего класса к правительству о ликвидации безработицы путем нормирования рабочего времени, подобный призыв со стороны доброго товарища выглядит легкомысленным заблуждением. Бороться с голодом и нехваткой жилья надо сейчас — нечего откладывать это до будущих поколений».

Священнослужители всех христианских церквей осудили книгу за поддержку идеи об ограничении рождаемости, но сторонников ограничения она тоже разозлила, потому что утверждала, что имеющиеся в продаже контрацептивы вредны. Доктор Виктория писала:

«Они сосредоточивают внимание тех, кто ими пользуется, на гениталиях, тем самым отвлекая их от милованья. Милованье — как молоко. Оно может и должно питать нас от рождения до самой смерти. Парьба — снятые с милованья сливки, главная радость срединных лет нашей жизни (если нам повезет), но по сути дела между ней и милованьем разницы нет. Однако все, чему мы учим людей, — увы, даже то, чему учит добрая Мари Стоупс, — создает *эту разницу, выделяя парьбу особо и* расхваливая *ее как редкий товар. Вот почему немилованные мужчины боятся половой любви или действуют в ней по принципу «бей-хватай».*

Так что, хотя Виктория Свичнет рекламировала «Экономику любви» во всех главных британских газетах, брошюра получила только два положительных отклика: один от Гая Олдреда в некоем анархистском издании, другой от резчика по камню и типографа Эрика Гилла в «Нью эйдж». Бивербрук[1] чутко уловил сигнал от церквей и увеличил популярность «Дейли экспресс», проведя успешную кампанию за лишение Виктории Свичнет клиники. Вот выдержка из заметки под заголовком «ЖЕНЩИНА-ВРАЧ НАЗНАЧАЕТ ЛЕЧЕНИЕ — ИНЦЕСТ»:

«Мы все знаем, что такое маменькин сынок — голубое женоподобное создание, ожидающее от всех восхищения, но притом слишком трусливое, чтобы в случае опасности нанести хоть один удар. Дай доктору Вик волю — и всех британских мальчиков отныне будут превращать в плаксивых девчонок; но прежде чем испортить наших детей, ей нужно испортить родителей. Именно это она и пытается делать».

А через два дня появилось вот что:

ДОКТОР ВИКТОРИЯ ПРОПИСЫВАЕТ НАМ НАЦИОНАЛЬНОЕ САМОУБИЙСТВО

Если «секс через простыню» по методу доктора Вик станет популярен (а это вполне возможно — она истратила бешеные деньги на его пропаганду), то через несколько лет ирландцы-католики превзойдут числом британских мужчин, годных к военной службе. Если этот метод распространится по всему цивилизованному миру, нас захлестнет лавина большевиков, китайцев и негров. Не случайно она состоит в близкой дружбе с Джоном Маклином, большевистским генеральным консулом в Британии. Не случайно она была одной из тех гарпий-«пацифисток», которых кайзер Вильгельм наверняка удостоил бы Железного креста, если бы немецким ордам удалось посадить его на британский трон.

Вскоре последовало:

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДОКТОРА ВИК!

Самые мрачные личности XX века — это люди с незаработанными доходами, которые, прикрываясь социалистической фразой, с помощью тугих кошельков распространяют недовольство среди бедного населения и толкают его на дурные дела. «Экспресс» имеет сведения о том, что вот уже тридцать лет Виктория Свичнет, врач-большевик, тайно практикует то, что теперь она проповедует открыто. В своей так называемой «благотворительной» клинике в трущобах Глазго она подбивала тысячи бедных женщин бросать вызов природе, христианской вере и законам нашей страны; мы говорим кое о чем посерьезней, чем ее смехотворный «секс через простыню». Мы говорим об аборте. Вот к чему, в конечном счете, сводится ее «экономика любви».

Сотрудники «Экспресс» не располагали доказательствами того, что доктор Виктория делала аборты. Однако они предъявили двух бывших сотрудниц клиники, которые под присягой показали, что она учила женщин делать аборты друг другу; последовало публичное судебное разбирательство. Дело лопнуло (во всяком случае, обвинение не добилось полного успеха), поскольку удалось доказать, что эти сотрудницы были до некоторой степени подкуплены «Дейли экспресс» и, кроме того, что они умственно отсталые. Прокурор Кэмпбелл Хогг попытался во время перекрестного допроса извлечь из последнего обстоятельства некую выгоду и едва не преуспел:

КЭМПБЕЛЛ ХОГГ. Доктор Свичнет! Часто ли вы брали себе в помощники умственно отсталых женщин?

ВИКТОРИЯ СВИЧНЕТ. Старалась брать как можно чаще.

КЭМПБЕЛЛ ХОГГ. Почему?

ВИКТОРИЯ СВИЧНЕТ. По экономическим причинам.

---

[1] Лорд Уильям Бивербрук (1879 — 1964) — британский газетный магнат и политический деятель.

КЭМПБЕЛЛ ХОГГ. Вот оно что! Дешевле, значит, выходило?

ВИКТОРИЯ СВИЧНЕТ. Нет. По бухгалтерским книгам можно проверить, что я платила им так же, как сестрам с более быстрым умом. Говоря об экономических причинах, я имею в виду не финансы, а общественную пользу — экономику любви. Люди с мозговыми отклонениями часто проявляют больше сердечности, если им дать такую возможность, чем те, кого мы называем «нормальными». Во многих случаях они делают для больных все необходимое эффективней, чем умственно развитые, которым хочется выполнять более почетную работу.

КЭМПБЕЛЛ ХОГГ. Например, писать книги про экономику любви?

ВИКТОРИЯ СВИЧНЕТ. Нет. Например, разыгрывать клоуна в судебном спектакле, затеянном на потребу бульварной прессе.

(Смех в зале суда. Шериф предупреждает обвиняемую, что она может быть заключена под стражу за неуважение к суду.)

КЭМПБЕЛЛ ХОГГ (с напором). Я утверждаю, что вы сознательно выбирали себе в помощницы кретинок, потому что нормальный человек не в состоянии поверить вашим благостным байкам о клинике!

ВИКТОРИЯ СВИЧНЕТ. Вы ошибаетесь.

КЭМПБЕЛЛ ХОГГ. Доктор Свичнет, вы когда-нибудь *(подумайте хорошенько прежде, чем ответить). вы* когда-нибудь *учили ваших пациенток, как избавиться от нежелательного ребенка?*

ВИКТОРИЯ СВИЧНЕТ. Я никогда не учила их ничему, что могло бы повредить их телесному или душевному здоровью.

КЭМПБЕЛЛ ХОГГ. Я хочу услышать либо «да», либо «нет».

ВИКТОРИЯ СВИЧНЕТ. Вы ничего больше от меня не услышите, молодой человек. Других пожилых людей учите, как им работать. Начать советую с безработного инженера, прошедшего войну.

(Шериф предупреждает обвиняемую, что она *должна* отвечать на вопросы прокурора, но может сама выбирать слова для ответа.)

ВИКТОРИЯ СВИЧНЕТ. Понятно. Тогда я повторяю, что не учила людей ничему, что могло бы повредить их телу или душе.

Так как суд проходил в Шотландии, он имел право вынести приговор «не доказано», как и поступил. Доктора Вик не вычеркнули из Британского врачебного регистра, но и не признали невиновной.

Когда в 1890 г. Виктория и Арчибальд открывали гинекологическую клинику, они вложили в фонд ее поддержки все средства Бакстера. В руководящий комитет вошли сэр Патрик Геддес и ректор университета Глазго Джон Кэрд. Но к 1920 г. им на смену пришли более слабые люди, которые не смогли устоять перед бурей возмущения в прессе. Они отстранили Викторию и передали клинику Оукбэнкской больнице на правах отделения для приходящих больных. Доктор Виктория уже истратила свои сбережения на публикацию, рассылку и рекламу «Экономики любви», и единственное, что у нее осталось, — дом 18 по Парк-сёркес. Все старые слуги Бакстера уже умерли. Она стала сдавать верхние комнаты студентам университета, а сама перебралась в полуподвал, где, в гораздо более скромных масштабах, возобновило работу то, что по-прежнему именовалось Гинекологической клиникой имени Боглоу Бакстера.

С той поры до 1923 г. о ней было известно главным образом то, что она поддерживала Джона Маклина[1]. В письме К.М.Гриву (Хью Макдиармиду[2]) она писала:

«Я не люблю коммунистов-ортодоксов. У них заготовлен один-единственный простой ответ на любой вопрос, и, подобно фашистам, они считают, что все непонятное можно упростить силой. Разговаривая с таким деятелем, я чувствую себя ученицей, стоящей перед дурным учителем, который хочет поскорее заткнуть мне рот. А вот Маклин — хороший учитель».

Когда Маклин не вступил в только что организованную Британскую коммунистическую партию и основал Шотландскую рабочую республиканскую партию, она предложила ему свой дом как место собраний. Когда в 1923 г. он умер от переутомления и пневмонии, она произнесла короткую речь у его могилы. Его дочь Нэн Милтон привела эту речь в письме, и Арчи Хинд цитирует ее в конце своей пьесы о Маклине «Плечом к плечу»:

«Джон не был Сапатой[3], гордо скачущим на коне по кукурузным полям . Он был одним из тех крестьян, что кормили Сапату. Он не был Лениным, замыслившим сделать Кремль своей резиденцией. Он был одним из кронштадтских матросов, чье восстание дало Ленину шанс. Джон был не из тех, кто возглавляет революции. Он был из тех, кто их делает».

Два года спустя «Дейли экспресс» вновь направила к ней репортера, вероятно, рассчитывая раздобыть более убедительные доказательства того, что она делает незаконные аборты; однако вышедшая статья скорее походила на портретный очерк — видимо,

[1] Джон Маклин (1879 — 1923) — деятель рабочего движения в Шотландии.

[2] Кристофер Марри Грив (псевдоним — Хью Макдиармид; 1892 — 1978) — шотландский поэт коммунистической ориентации.

[3] Эмилиано Сапата (1879 — 1919) — мексиканский революционер.

потому, что почти все, кто еще помнил «доктора Вик», думали, что ее уже нет в живых. Репортер проведал, что окрестные дети прозвали ее Собачьей Леди, потому что она часто прогуливалась по Западному парку в сопровождении собак всевозможных размеров; у некоторых были перевязаны лапы. Вход в клинику был из переулка, во дворе по обе стороны дорожки пышно рос ревень. Приемная была загромождена массивной мебелью средневикторианского периода, особенно бросался в глаза громадный диван из конского волоса. Стены были украшены только старыми плакатами Шотландской рабочей республиканской партии. В комнате также стоял увесистый ящик с висячим замком, прорезью в крышке и приколотой сбоку запиской, гласившей: «Бросьте сюда сколько можете — эти деньги будут потрачены с толком. Если вы голодны, не крадите, пожалуйста, этот ящик, а поговорите со мной в кабинете: голод — болезнь излечимая». Половину из ожидавших приема составляли бедные старики и старухи. Другую половину — дети с больными животными, большей частью собаками. Репортер заметил только одну беременную женщину.

Когда его пригласили в кабинет, оказалось, что это огромная освещенная газом кухня, где на плите кипела кастрюля супа, по углам притулились разнообразные домашние животные, а за кухонным столом, на котором лежали книги, бумаги и медицинские инструменты, восседала высокая прямая женщина. На ней был белый фартук от шеи до щиколоток, поверх рукавов ее черного платья были надеты целлулоидные манжеты. Ее на удивление гладкое лицо могло принадлежать женщине любого возраста от сорока до восьмидесяти. Когда репортер подошел к ней и сел, она тут же сказала:

— Вы выглядите как газетчик. Не из «Дейли экспресс»?

Он сказал, что она угадала, и спросил, не ответит ли она на несколько вопросов.

— Конечно отвечу, если, уходя, вы мне оплатите потраченное время.

Он спросил, все ли пациенты платят ей в таком же добровольном порядке.

Она ответила:

— Да. Это либо бедняки, либо дети. Как я могу знать, сколько они в состоянии заплатить?

Он спросил, дает ли она деньги голодным нищим.

— Нет. Я кормлю их супом.

Он спросил, не уменьшила ли ее ветеринарная практика количество пациентов-людей.

— Конечно, уменьшила. Человеческое животное подвержено глупым предрассудкам.

Он спросил, не предпочитает ли она собак людям.

— Нет, я не сентименталистка такого сорта. Я до конца дней буду сочувствовать моему глупому, напичканному предрассудками виду. Но теперь люди с больными животными сторонятся меня меньше, чем те, что болеют сами.

Он спросил, было ли что-нибудь в ее жизни, о чем она искренне сожалеет.

Она ответила:

— Мировая война.

Он сказал, что она его не поняла — он хочет знать, сожалеет ли она о чем-нибудь, за что чувствует личную ответственность.

— Да. О мировой войне.

Он спросил, что она думает об Ирландской республике де Валеры, укороченных женских юбках, популярных песнях и исключении Троцкого из Российской коммунистической партии. Она ответила:

— Ничего не думаю. Я больше не читаю газет.

Он спросил, хочет ли она обратиться с чем-нибудь к британскому юношеству. Она лучезарно улыбнулась и сказала, что за пять фунтов даст очень быстрый ответ, заключающий в себе все, что она ценит в жизни, но только она хочет получить деньги вперед. Он дал ей пять фунтов. Она взяла из лежавшей рядом стопки и протянула ему тоненькую книжечку — «Экономику любви» в твердой обложке, — после чего распрощалась с ним.

Эта газетная статья — единственное письменное свидетельство о Виктории Свичнет за 1925 — 1941 гг., если не считать фамилии и адреса в городском справочнике Келли.

Вторая мировая война на время оживила промышленную и интеллектуальную жизнь Клайдсайда. Глазго был главным транзитным портом между Британией и США. Бомбардировки юга Британии обратили взоры многих к северной промышленной столице. Среди других в Глазго вернулся художник Дж.Д.Фергюссон с женой Маргарет Моррис. В прежние времена они были знакомы с доктором Викторией, и Маргарет Моррис арендовала верхний этаж дома 18 по Парк-сёркес для репетиций своего «Кельтского балета». До 1945 г. дом был одним из нескольких неофициальных маленьких центров изящных искусств, расцветших на Сочихолл-стрит или поблизости от нее. Художники Роберт Кохун, Стэнли Спенсер и Дженкел Адлер жили в нем некоторое время или, по крайней мере, его посещали; также и поэты Хэмиш Хендерсон, Сидни Грэм и Кристофер Марри Грив, известный под псевдонимом Хью Макдиармид. В автобиографии «С кем я водил дружбу» (1966 г., Хатчинсон и К°) Макдиармид пишет:

«Похоже, кроме меня, никто из жильцов не знал, что странная старуха хозяйка, ютящаяся в полуподвале, была единственной шотландской женщиной-врачом — помимо «долговязой Мэри», — чье имя должно гордо стоять рядом с именами госпожи Кюри, Элизабет Блэквелл и Софии Джекс-Блейк. Может быть, ее ветеринарная лечебница и отпугивала самых трусливых, но ее шотландская похлебка была превосходна и выдавалась всем желающим бесплатно и щедрой рукой».

Он порицает *«наш трусливый шотландский медицинский истеблишмент, который*

должен был дать ей университетскую кафедру по гинекологии, но наложил в штаны от страха перед английской желтой прессой, возглавляемой безграмотным громилой Бивербруком».

Последнее утверждение, совершенно верное по сути, звучало бы более убедительно, будь оно сформулировано сдержаннее. Так или иначе, мы должны быть благодарны Макдиармиду за то, что он целиком привел письмо, которое Виктория Свичнет написала ему незадолго до смерти. Будь он менее благороден, он утаил бы его, потому что наверняка многое в этом письме пришлось ему не по вкусу. Письмо не датировано, но, без сомнения, было написано вскоре после всеобщих выборов 1945 года.

Дорогой Крис!

Наконец-то впервые в этом столетии, у нас лейбористское правительство с подавляющим большинством в парламенте! Я вновь начинаю читать газеты. В Британии вдруг стало интересно жить. Антипрофсоюзные законы 1927 года отменяются, и, похоже, у нас БУДУТ социальные пособия и национальная программа медицинской помощи для всех, и топливо, энергия, транспорт, чугун и сталь БУДУТ Общественной Собственностью! Такой же, как радио, телефон, вода из крана и воздух, которым мы дышим! И мы СБРОСИМ этот висящий у нас на шее жернов — Британскую империю! Неужели ты не чувствуешь себя хоть немножко счастливее, Крис? Я — так намного счастливее. Мы подаем миру гораздо лучший пример, чем когда-либо подавал Советский Союз. Я вижу, что все случившееся между 1914 годом и нынешним днем было отвратительным заблуждением, отходом от верного пути социального прогресса, последней вехой на котором стал бюджет Ллойд Джорджа, упразднивший приюты для нищих пенсиями по старости и положивший начало дроблению огромных поместий налогом на наследство. Сдается мне, Джон Маклин был не прав. Кооперативное рабочее государство будет создано из Лондона без того, чтобы независимая Шотландия прокладывала путь.

Знаю, знаю, мрачный старый чертяка, что ты ни единому слову тут не поверишь, ты считаешь, что сердце у меня «излишне к радости готово»[1]*, и небось уже тянешься за пером и бумагой, чтобы описать всех мерзких червей, подтачивающих корни Цветущей Британии. Оставь перо в покое! Я хочу умереть счастливой.*

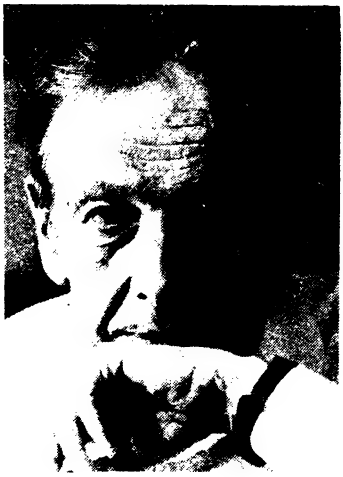
Если ты читал мои публикации (но читал ли их хоть один из ныне живущих?), если ты читал «Экономику любви» (которую следует читать как стихотворение — точно так же, как худшие из твоих стихов читаются как трактаты), если ты пробежал глазами хоть абзац из моего бедного, забытого маленького magnum opus[2]*, ты понимаешь, что я совершенно накоротке с внутренними отправлениями моего тела. Еще бы! Меня познакомил с ними гений. Кровоизлияние в мозг высвободит меня из этой бренной оболочки в начале декабря. Я закрываю мою маленькую клинику, которую так отважно и так роскошно затеяла пятьдесят шесть лет назад. Нет ничего проще! Мои пациенты — несколько зверюшек, принадлежащих соседским детям, и два старых ипохондрика, которым становится чуть легче после того, как они, борясь с одышкой, проговорят со мной час о вещах, в которых разбирался один Зигмунд Фрейд. Я пристроила всех собак, кроме ньюфаундленда Арчи. Ему я тоже нашла хозяев, но его отведут к ним не раньше, чем приятельница, которая заходит ко мне после завтрака (Нелл Тодд, отважная лесбиянка, что дразнит городскую полицию, щеголяя в мужском наряде), отопрет дверь полуподвала и увидит, что меня нет дома. Я бы предпочла напоследок теплого надежного мужчину, но в моей жизни был только один такой, и он умер тридцать пять лет назад. Не то чтобы я совсем уж не любила всяких безобразников — с иными было безумно весело. Но теперь мне нужно надежное тепло, и мой Арчи мне его даст.*

Если ты оскорбишь меня тем, что предложишь это тепло сам, между нами все кончено. Сердечный поклон Валде.

Твоя
Виктория Свичнет.

Доктор Виктория Свичнет умерла от инсульта 3 декабря 1946 г. Считая от рождения ее мозга в морге Общества человеколюбия в Глазго-грин 18 февраля 1880 г., ей было шестьдесят шесть лет, сорок недель и четыре дня. Считая от рождения ее тела в манчестерских трущобах в 1854 г., ей было девяносто два года.

[1] Цитата из стихотворения Р.Браунинга «Моя последняя герцогиня».
[2] Magnum opus — главный труд (*лат.*).



ФИЛИПП ЖАКОТЕ

Стихи

Перевод с французского В. ШВЫРЯЕВА

От переводчика

Поэзия Филиппа Жакоте пробуждает доверие. В самом деле, современная поэзия, поражая виртуозной образностью, а иногда и несомненной смысловой глубиной, все же зачастую оставляет впечатление словесного трюка, искусной подделки. Жакоте очень остро ощущает это:

> Нет голоса, нет слов, способных, как ружье,
> пространство прострелить и подстрелить мгновенье.
> Нет этой стали в нас — и кто мы без нее?

Сам Жакоте стремится именно к тому, чтобы его стихи стали благородной «сталью». Отсюда его художественная скромность, даже аскетичность, несколько сглаженный и традиционно-литературный французский, опора всегда и везде на то, что ему известно досконально: на собственное ощущение действительности. Как и русский поэт Георгий Иванов, он «хлороформирует поэзией свое сознание», описывает в самых простых словах этот процесс и тем самым становится интересным читателю, который попросту не может остаться равнодушным к этому синтезу правды и поэзии.

В смысле философском исходной точкой поэзии Жакоте является принципиальное «неведение». Жакоте — Сократ современной европейской лирики; он знает то, что ничего не знает. Не случайно один из его ранних сборников носит название «Невежда». По сути дела, вся его поэзия есть развернутое вопрошание. Начиная с вопроса, он как бы приглашает читателя отнестись к теме так же непредвзято, как и он сам. А последний вопрос, которым поэт заканчивает стихотворение, сливается, как правило, с вопросом, рождающимся в душе самого читателя.

Пейзаж, столь обязательно присутствующий в поэзии Жакоте, приобретает смысл символический. Это сияющая высота, это здание из воздуха и ветра, населенное птицами, это, конечно же, образ видимого мира, подвластного закону смерти. Но всякий раз нет-нет да и возродится жгучее чувство вечности, дарующее смысл как нашей жизни, так и нашей смерти. Без вечности, или без беспредельности, как ее именует Жакоте, ни одно из наших бренных слов не могло бы существовать. Беспредельность, может быть, единственное наименование того, что раньше было Богом. И если современная европейская поэзия уже не стремится к беспредельности, то она — в лице Филиппа Жакоте — от беспредельности все же не отворачивается. «Может быть, красота рождается только тогда, когда предел и беспредельное становятся видимы одновременно, то есть когда мы, видя формы, догадываемся, что они чего-то недоговаривают и что они не сводятся к ним самим, что они оставляют место неуловимому», — утверждает он в эссе из книги «Пора посева» (1968).

В этом году Филиппу Жакоте исполняется 70. Он родился в Швейцарии, ныне живет во Франции. Его перу принадлежат поэтические сборники «Сова и другие стихотворения» (1953), «Напевы» (1959), «Уроки» (1969), «В свете зимы» (1974), а также сборники эссе «Прогулки под деревьями» (1957), «Пейзаж с отсутствующими фигурами» (1970) и переводы из Гёльдерлина, Рильке, Музиля, Унгаретти.

До настоящего времени с поэзией Филиппа Жакоте русский читатель мог познакомиться, обратившись к тому «Западноевропейская поэзия XX века» (БВЛ) и томику «Из современной швейцарской поэзии», выпущенному издательством «Прогресс» полтора десятка лет назад. Предлагаемая подборка взята из книги Ф. Жакоте «В свете зимы», подготовленной к печати издательством «Русский путь».

* * *

Я хотел бы лишь одного:
суть очистить от шелухи,
да еще местечко найти
презираемой доброте.

Все понятней мне старики,
что день за день живут, шажком,
я терпенью у них учусь,

нерадивейший ученик.

Невежда

Чем старше я, тем больше я невежда.
Чем дольше я живу, тем обладанье,
равно как власть, все дальше от меня.
Владею лишь пространством за окном
заснеженным, сияющим, пустынным:
ни господина щедрого, ни стража.
Я в комнате живу, храню молчанье
(и тишина ко мне служанкой входит
порядок хоть какой-то навести)
и жду, покуда вымыслы исчезнут.
А что еще способен сделать смертный,
противящийся смерти столь успешно?
Не знаю я, невежда беспокойный,
какая сила говорить меня
здесь заставляет, в четырех стенах...
Но слышу я того, кто шепчет мне,
чье слово проникает на рассвете:

«Любовь живет как пламя: в красоте
и пораженье тлеющего пепла...»

* * *

«Кто мне поможет?
Никто не в силах добраться сюда.
Кто протянет мне руки,
не сдерживая моих, дрожащих,
кто поставит ширму перед моими глазами,
не мешая мне видеть,
кто будет денно и нощно
окутывать меня, словно шубой,
не защищая ни от огня, ни от холода?
Ни у кого нет щита
против осаждающих меня воинов,
их факелы уже на моих улицах,
слишком все поздно.
Отныне меня ожидает
только самое долгое, самое худшее».

Не о том ли и он молчит
в средостении ночи?

© Éditions Gallimard, 1977

Зима

Жильберу Куллу

Сумел я все же крылья дать словам:
они парили в воздухе, сверкая,
и я хотел последовать за ними...

Но замкнут был в студеном декабре,
подобно старику, который молча
из-за стекла глядит в вечерний мрак,
блуждая средь своих воспоминаний.
Порой он улыбается: когда
по улице проходит освещенной
иль тень встречает, чьи глаза закрыты,
сейчас встречает, после стольких лет,
студеных, бесконечных, как декабрь...

Но если замолчу я, кто прикажет
той женщине, сгорающей под снегом,
светиться вновь и вновь, не превращаться
в скелет лесов? И кто укажет мне
во мраке этом росную дорогу?

Но вот уже легко, едва заметно
рассветный час касается травы.

* * *

Если не первый удар, то первый раскат
горя: как будто низвержен
учитель, семя,
как будто добрый учитель наказан,
словно слабый мальчишка,
и снова лежит
в слишком большой кровати,
даже не смея плакать,
даже не ожидая,
что кто-то его утешит,
если он оторвет голову от подушки,
загнанный, распятый, опустошенный.

Он не весит почти ничего.

Земля, что несла нас, дрожит.

* * *

Едва войдя в продрогший лес,
увидишь, что в стволистой клетке
неповторимый свет царит:
но это не костер горит,
не лампа, что висит на ветке,

а день, дрожащий на коре,
любовь, что, излучась, застыла,
иль ясность Божия, чья сила
до срока дремлет в топоре.

* * *

Нищета
придавила нас, будто гора.

Никакая мечта,
что рассеивается сама собой,
не могла быть к нам столь жестокой.

Если человек всего лишь узелок из воздуха,
неужели необходимо
столь острое железо,
чтобы его развязать?

Мы все ошалели от слез,
бьемся лбом об стену,
и нас учат не собственные ошибки,
а действительность нашей жизни.

Дрессированные плетью.

* * *

Дыханья простота, зерно, что одолело
безумьем Времени взращенное репье,—
лишь голос, что вершит призвание свое —
напев, из мрака в свет перелетая смело, —

все это поглотил чертополох забвенья.
Нет голоса, нет слов, способных, как ружье,
пространство прострелить и подстрелить мгновенье.
Нет этой стали в нас — и кто мы без нее?

* * *

Это уже больше не он.
Дыхание вырвано: неузнаваем.

Труп. Даже метеор
менее далек от нас.

Пусть это унесут.

Человек — это дышащая случайность,
более хрупкая под молнией,
нежели насекомое из стекла и тюля,
это скала ворчливой доброты и улыбки,
это тяжелый сосуд
для измерения трудов и воспоминаний...
Вырвите из него дыхание — получите падаль.

Кто мстит и за что этим плевком?

Очистите поскорей это место.

* * *

Если еще и возможен
(а кто хоть что-нибудь знает?)
сегодня какой-либо род бытия,
даже сознанья, который нам близок,
не здесь ли и быть ему, где он и есть,

в этом загоне, а не на лугу?
Может быть, он нас здесь ожидает,
как на свидании, данном у камня,
или находит себе выраженье
в наших шагах онемелых, в наших слезах?
Как знать? Сегодня иль завтра,
глядь, эти камни ушли уже в вечные травы,
нет никого, чтоб назначить свиданье,
ни условного места, что тоже исчезло,
нет ни теней их, ни тени вообще.

* * *

В конце концов, говорит отпуск,
у меня осталось одно желание:
прислониться к стене
и всего лишь смотреть в лицо дню,
помогая потокам,
берущим начало в этих горах,
разрыхлять травяное гнездо
и нести сквозь августовскую ночь
под нависшими ветвями смоковниц
лодки, полные пламенных вздохов.

* * *

Выбирает ребенок среди игрушек своих
ту, что к смерти его доставит, —
лодку земную.
Может быть, Нил потечет к этому сердцу?

Когда-то я долго рассматривал
эти погребальные барки,
с двурогим месяцем схожие.
Сегодня я больше не верю,
что душа там на что-то сгодится,
в утешенье не верю,
не верю в топографию ада.

Но быть может, нежное
детское воображение,
изойдя из этого мира,
соединит несоединимое?

Или мы обретем утешение там,
на борту этой лодки?

■

Т.КОРАГЕССАН БОЙЛ
Рассказы

С английского

Крупная дичь

Охотиться надо всю жизнь, пока не переведется зверь, на которого охотишься.

Эрнест Хемингуэй. «Зеленые холмы Африки»

В принципе перестрелять можно было хоть всех, даже слониху — только плати, — но Бернард не поощрял подобных поползновений. Во-первых, слишком много кровищи и грязи, да и потом, что ни говори, именно крупная дичь — слониха, носорог, водяной буйвол, жираф — придавала заведению солидность и, так сказать, масштаб. Между прочим, раздобыть замену тоже непросто. Бернард до сих пор жалел, что позволил парнишке из рок-группы завалить жирафа, хоть и заработал тогда двенадцать тысяч долларов чистыми. А тот кретин из Голливуда! Как начал палить по стаду зебр, так не угомонился, пока заодно не отстрелил головы двум страусам, да еще абиссинского осла подранил. Ничего не поделаешь — охота есть охота. Ну и, само собой, крупная дичь застрахована на такую сумму, что можно при желании половину лос-анджелесского зоопарка закупить. Слава богу, никто из клиентов до сих пор не прострелил себе ногу. Или башку. Правда, на этот случай страховка тоже имелась.

Бернард Паф рывком приподнялся над столом красного дерева и выплеснул опивки кофе в раковину. С утра он был на нервах. Не то чтобы паниковал, но в животе было как-то скверно, завтрак засел комом, пальцы после крепкого кофе слегка дрожали. Чтобы успокоиться, он зажег сигаретку и принялся смотреть в окно. Там, в верблюжатнике, томился изъеденный молью аравийский дромедар, методично мочаля кору вяза. Бернард уставился на жующее создание с таким изумлением, словно видел его впервые: мягкая губища, тупые глаза, лениво двигающаяся челюсть. Надо будет предложить на верблюдов суперскидку, подумал Паф. Сигарета отдавала свинцом. Хуже чем свинцом — смертью. Где-то неподалеку сварливо замяукал дрозд.

С минуты на минуту должны были приехать новые клиенты, а в подобных случаях Бернард всегда нервничал. Мало ли что они учудят. Многие вообще винтовки в руках не держали. Думают, им тут в двенадцать ноль-ноль второй завтрак подадут, а еще через час сделают массаж. Как начнут ныть — и жарко, мол, и мухи летают, и львы ночью рычат, спать не дают. А как они обращаются с ним, с Пафом? Мужики считают его каким-то работягой, недочеловеком, несут всякую похабень, одаривают идиотскими ухмылками, уродуют грамматику — чтоб ему было понятней. Бабы еще хуже — для них он что-то среднее между метрдотелем и разносчиком холодных напитков. У, придурки, руки из задницы растут. Денежные мешки. Нувориши поганые. Где им распознать настоящий класс?

Бернард свирепо раздавил окурок в кофейной чашке, решительно крута-

© T.Coraghessan Boyle, 1994

нулся на каблуках и, толкнув створки дверей, двинулся по темному коридору в сторону вестибюля. Духотища уже с утра была зверская — вентиляторы под потолком без толку гоняли мертвый воздух, на свежевыбритых бралях Пафа выступили капельки пота. Бернард Паф: брюхастый детина в шортах цвета хаки и охотничьих сапогах — суетливые движения, дерганая походка. В вестибюле было пусто. (Эспиноза отправился кормить животных — вон как гиены расхрюкались. А новенькая — как бишь ее — опять опаздывает. Ни разу не соизволила прийти вовремя.) Прямо пустыня какая-то, вздохнул Бернард, хотя отлично знал, что Орбалина сейчас убирает постели, а Роланд пристроился где-нибудь за клеткой со львами и втихаря поддает.

Паф долго торчал у регистрационной стойки (над ним на стене красовались охотничьи трофеи — головы сернобыков и антилоп куду) и в сотый раз разглядывал запись в книге заказов:

Майк и Николь Бендер
Компания «Бендер», торговля недвижимостью
Бульвар Вентура, 15125
Энсино, Калифорния

Торговцы недвижимостью. О Господи. Лучше уж киношники или даже рок-звезды со своими козлиными причесочками и кожаными шипастыми браслетами. Те, по крайней мере, не крутят носом, для них «Африканское сафари Бернарда Пафа» (две с половиной тысячи акров Африки в непосредственной близости от калифорнийского Бейкерсфилда) — не липа, а настоящее приключение, дикая саванна, заповедник Нгоронгоро, парк Серенгети. Но торговца недвижимостью на мякине не проведешь. Эту публику интересует только одно — сколько он заплатил за участок и не уступит ли кусочек по сходной цене.

Паф взглянул на желтозубую ухмылку леопарда (отец подстрелил в британской Африке еще в тридцатые) и тяжело вздохнул. Бизнес есть бизнес. Какая, в конце концов, разница, кто дырявит его львов и газелей, лишь бы платили сполна. А с этим у Пафа было все в ажуре — стопроцентная предоплата.

— Ты помнишь, Ник, шесть месяцев назад, когда мы ужинали в ресторане «У Джино Пардуччи», я пообещал, что через шесть месяцев устрою тебе африканское сафари? Помнишь? Ну как, держу я слово?

Николь Бендер сидела, откинувшись на сиденье белоснежного «ягуара» (подарок мужа на День Валентина), машину вел сам Майк. На коленях у миссис Бендер лежала стопка журналов по вязанию, а на бамбуковых спицах зарождалось нечто воздушное невыразимо нежного цвета. Николь Бендер: двадцать семь лет, блондинка, в прошлом актриса/манекенщица/поэтесса/певичка; два дня назад личный тренер сказал ей, что в жизни не видывал такой идеальной фигуры. Разумеется, ему за то и платят, чтобы говорил подобные вещи, но все же Николь выслушала его заявление с удовлетворением, а в глубине души подозревала, что тренер ни капельки не соврал.

Она обернулась к мужу.

— Да, было такое. Но я грешным делом думала, что мы поедем куда-нибудь в Кению или в Танзанию.

— Да-да-да-да, — нетерпеливо зачастил Майк. Слова вылетали у него с неимоверной быстротой, очередями — как пули из новехоньких крупнокалиберных винтовок, что до поры до времени мирно поблескивали стволами в багажнике. — Но ты же знаешь, я не могу взять отпуск на полтора месяца, ведь новый офис в Беверли-хиллс вот-вот откроется, и сделка с Монтеморетто наклюнулась... И потом, в Африке небезопасно. У них там каждые шесть минут то война, то революция, а кто во всем виноват, если начинается очередная заваруха? Ясное дело — белые. Как, захочется тебе оказаться в Африке в такой момент?

Майк Бендер: генератор, захлебывающийся от переизбытка энергии, не человек, а асфальтовый каток — за двенадцать лет из рядовых клерков выбился в самодержцы целой империи по торговле недвижимостью. Большой любитель поразглагольствовать: в такие минуты бесценная мудрость обрушивалась с его уст, как победный поток монеток из игрального автомата, а неугомонные пальцы порхали по волосам, теребили мочки ушей, соскальзывали к ширинке и вновь взметались куда-нибудь к локтю. Нервная энергия била из Майка ключом; она-то и сделала его богатым.

— Плюс мухи цеце, гадюки мамбы, болезнь бери-бери, бубонная чума и еще бог знает что. В общем, представь себе Мексику, только в сто раз паршивей. Слушай, когда я тебя обманывал? Джино клянется, что тут все по люксу — как настоящее сафари, только без всяких пакостей. — Он спустил темные очки на кончик носа и покосился на жену. — Неужели ты хочешь жить в поганой палатке, да еще чтобы тебе задницу оторвали в ... — Майк хотел назвать какую-нибудь африканскую страну пострашней, но ничего подходящего не придумал и сымпровизировал: —В каком-нибудь Замбезиленде?

Николь пожала плечами и улыбнулась, слегка надув губки — эту миленькую гримаску она отработала еще в девятнадцатилетнем возрасте, когда рекламировала летнюю одежду для дешевых каталогов.

— Ты получишь свой коврик из зебры, я тебе обещаю, — уверил ее Майк. — И еще парочку голов каких-нибудь там львов или газелей для стенки в гостиной.

«Ягуар» летел по пустыне белым лучиком света. Николь подняла спицы, посмотрела на них и, передумав, положила вязание обратно на колени.

— Ладно, — выдохнула она. — Надеюсь только, что там не будет чересчур — как бы это сказать, — ну, кичово.

С заднего сиденья донеслось презрительное фырканье. Там развалилась двенадцатилетняя дочь Майка от первого брака Жасмина-Фиалка-Роза Бендер, экипированная десятью комиксами и шестью банками содовой.

— Да вы чего, ей-богу? — хмыкнула она. — Проснитесь. Охотиться на львов в Бейкерсфилде? Конечно кичня. Кичня кичневая.

Майк Бендер крутил баранку, ерзал ягодицами по мягкой лайке сиденья и начинал злиться. Он всю жизнь мечтал поохотиться на львов, слонов и носорогов — еще с тех пор, как мальчишкой прочитал «Признания белого охотника» и «Копи царя Соломона» (серия «Классика в комиксах»). И вот наконец у него появился шанс. Ну пусть не Африка, но где же взять столько времени, чтобы отправиться в настоящее сафари? На три дня бы вырваться, и то счастье. И потом, в Африке все равно теперь не поохотишься, там сплошь заповедники да национальные парки. Великих белых охотников больше нет, остались одни фотографы.

Он хотел прикрикнуть своим знаменитым властным басом, от которого трусливо разбегались подчиненные и втягивали голову в плечи конкуренты: «А ну заткнулись все, живо!» — но передумал, сдержался. Не испортят они ему праздник, дудки.

Перевалило за полдень. Солнце висело, похожее на яичный желток в чашке. Термометр в сарайчике для корма переполз за сто пятнадцать по Фаренгейту, все вокруг застыло, только стервятники вяло парили в застиранном небе. Мир погрузился в спячку. Бодрствовал лишь Бернард Паф. Он бесился. Бендеры должны были прибыть в десять, а уже четверть третьего. Эспиноза выпустил из загонов антилоп и газелей в девять, к полудню они совсем скисли от жары, пришлось загонять их обратно. Жирафы успели разбрестись, а слониха, привязанная к дубу, загримированному под зонтичное дерево, стала похожа на пыльный тайваньский саквояж, брошенный в зале ожидания за ненадобностью.

Бернард томился на самом солнцепеке, посреди выжженного двора, то и дело поглядывая на заросли слоновой травы и африканского кустарника, специально посаженные камуфлировать нефтенасос (если знать, что к чему,

можно было, присмотревшись получше, заметить ритмичные покачивания стальной руки: вверх-вниз, вверх-вниз). Полная безнадега, думал Паф. Столько деньжищ убухано, а все впустую. Чертово заведение похоже на цирковой табор, на разбомбленный зоопарк, на дотла сожженную солнцем бывшую миндальную плантацию в юго-восточном углу Сан-Хоакинской долины (последнее в точности соответствовало действительности). Как отнесутся ко всему этому Бендеры? Особенно если учесть, что они заплатили вперед по шесть сотен в день плюс за каждый выстрел отдельно — от тысячи за газель до двенадцати тысяч за льва, а на слона особая такса «в случае обнаружения». Торговцы недвижимостью, бывало, взбрыкивали, а бизнес в последнее время идет не сказать чтобы очень гладко.

Стервятники все водили по небу свой хоровод. Бернард обливался потом. Солнце буквально выпихивало его из двора к прохладной кухне, где в высоком стакане ждала вода с раствором хинина (малярийных комаров в радиусе тысячи миль не водилось, и хинин Паф пил исключительно эффектности ради). Он уже приготовился капитулировать, но тут вдали вспыхнуло пятнышко отраженного ветровым стеклом луча, и на горизонте показалась машина Бендеров.

— Роланд! — заорал Паф, и бренная его плоть вся разом пришла в движение. — Мартышек на деревья! И попугаев, попугаев не забудь!

Рысцой он протрюхал через пыльный двор к распластавшейся под зонтичным дубом слонихе. Трясущимися руками отцепил повод, очень переживая, сообразит ли Роланд расшевелить львов и гиен на предмет шумовых эффектов. Внезапно слониха поднялась на ноги, оглушительно фыркнула и даже попыталась протрубить, правда, довольно хило.

Уф, уже лучше. По крайней мере, не придется ее стрекалом тыкать.

Бернард любовно посмотрел на старушку. Надо же, жив еще актерский дух. А может, просто старческий маразм начался. Один Бог знает, сколько ей годков. Достоверно известно лишь, что в течение тридцати восьми лет она верой и правдой служила в цирке «Братья Ринглинг», потом в «Барнум и Бейли». Тогда ее звали Бесси-Би, а на арене она отзывалась (если показать стрекало) на сценическое имя Шамба.

Паф покосился в сторону дороги. В облаке пыли уже можно было различить силуэт белого «ягуара». С визгом из клеток сыпанули мартышки, резво заскакали по веткам, и Бернард немного успокоился. Порепетировал улыбку: красные щеки, длинные зубы. Поправил пояс из леопардовой шкуры, чуть сдвинул пробковый шлем и отправился встречать гостей.

К тому моменту когда Бендеры подрулили к веранде, попугаи успели обосноваться на ветках, марабу деловито клевал разбросанную в грязи требуху, а львы кровожадно порыкивали из своих упрятанных подальше за дом клеток. Роланд наспех расправил складки своего туземного одеяния (национальный наряд племени масаи), нацепил на шею ожерелье из львиных зубов и бросился открывать дверцу «ягуара». Бесси-Би тем временем держалась неподалеку — помахивала ушами, пофыркивала хоботом, вздымая тучи пыли.

— Мистер Бендер! — возопил Паф, протягивая руку мужчине лет сорока пяти в темных очках. — Добро пожаловать в Африку.

Майк выпрыгнул из машины с нетерпеливостью мальчишки, наконец-то попавшего в зоопарк. Высокий, загорелый, поджарый, он на миг замер, задохнувшись от зноя, а Бернард подумал: и чего это все они непременно хотят выглядеть, как профессиональные теннисисты? Майк энергично потряс Пафу руку и разразился длиннющими извинениями, ежесекундно дергая себя за ухо, подпрыгивая на месте, строя гримасы и т.д.:

— Извини, Бернард, мы припоздились, это все моя жена — кстати, познакомься, это моя жена, — так вот, она хотела купить пару пленок, а в результате мы закупили чуть ли не весь товар в магазине «Рейносо» в Бейкерсфилде — знаешь, где фотоаппараты продают и все такое, — там совершенно потрясные цены. Уж можешь мне поверить — просто невероятные. А, чего там, все равно пора было новую видеокамеру покупать, тут ведь столько вся-

кого-разного. — Он обвел жестом дом, пристройки, слониху, обезьян на деревьях, выжженную солнцем равнину.

Бернард улыбался, кивал, поддакивал, но на полном автопилоте — переключил внимание на миссис Бендер, которую Роланд почтительно извлекал из противоположной дверцы. Миссис Бендер вскинула белые тонкие руки, поправила прическу и водрузила на нос солнечные очки. Бернард приветствовал ее с чистейшим колониально-британским прононсом (хотя кроме крови предков в нем не было ничего английского, и он в жизни не покидал пределов американского Запада). Понятно, подумал он, вторая жена. Николь неопределенно улыбнулась, чуть надув губки.

— Да-да, разумеется, — пробормотал Бернард в ответ на какое-то очередное идиотское замечание торговца недвижимостью. Водянисто-голубые глаза Пафа нацелились на дочку. Смуглая, черноволосая — прямо индианка. Сразу видно, проблем с ней не оберешься. Такие самоутверждаются, делая всем гадости.

Николь Бендер оценивающе осмотрела охотника с головы до ног, протянула пальчики, и Бернард ринулся в обход капота — совать пятерню.

— Несносная погодка, — сказал он, очень довольный тем, что так кстати ввернул истинно британскую реплику.

Он предложил даме руку и повел ее по широкой лестнице в дом, а муж остался выгружать ружья. Дочурка вертелась возле папаши и уже канючила мерзким, сварливым голоском.

— Да нет, Майк, я этого не говорила! Ты меня совсем не слушаешь. Я сказала, что газели — это очень мило, для кабинета будет в самый раз, но я хочу что-нибудь *большое* для холла и еще зебр штуки три: две для гостиной и одну для солярия. Там такая жуткая стена возле бара, надо ее чем-то закрыть.

Майк Бендер досасывал четвертый джин с тоником. Возбуждение после первой удачной охоты тускнело, вытесняемое злостью, — да заткнется Ники когда-нибудь или нет? Хоть секунду бы помолчала. Начала нудить с самой первой минуты, едва они успели переодеться и выйти в саванну или, может, вельдт — как он тут называется? Майк с двухсот шагов классным выстрелом уложил газель, та еще об землю брякнуться не успела, а жена уже завела: ох! ах! (можно подумать, ее с толчка спугнули), да какая она крошечная, прямо кролик с рогами, и все такое. Выпендривалась перед Пафом и этим туземцем, который таскает ружья и свежует добычу.

Вот и сейчас великий белый охотник сюсюкал с ней, навалившись на край стола брюхом, затянутым в защитного цвета рубашку (этот его липовый британский акцент — прямо пародия какая-то, ей-богу):

— Миссис Бендер, Николь. — Промокнул багровую, как содранная мозоль, рожу большим клетчатым платком. — Утром, по холодку, пойдем на зебр. Хотите подстрелить трех — добудем трех, никаких проблем. Захотите — возьмем четыре. Пять. Ваши пули — наши звери.

Стриженная бобриком башка качнулась в сторону Майка.

— А вечером мы с Майком пойдем на большого зверя. На царя зверей, добычу настоящих мужчин.

Бернард говорил вроде бы угодливо, как подобает зазывале, но при этом не забывал подбавить в голос мужественного металла.

Словно в ответ на его слова, откуда-то из темноты донесся гулкий рык, и Майк вдруг остро ощутил запах дикой природы, которым была пропитана ночь. Где-то там бродил лев, настоящий лев! Майк мечтал о таком еще с того самого дня, когда тетя впервые отвела его в Центральный зоопарк, и мальчонка затрепетал от первобытного ужаса, услышав рев косматых желтоглазых зверюг. И вот за окном африканская ночь, а в ней бродят хищники — большеголовые, с крепкими, толстенными шкурами. Прыг на мягких лапах, хрясь, хрумк, захрустели кости и жилы — ужасно и восхитительно. Только чего это нефтью попахивает?

— Ну как, старина? Не сдрейфишь? — ухмыльнулся Паф. Из-за его туши

на Майка пялились жена и дочь, их лица были похожи на ритуальные африканские маски.

Майку Бендеру, королю Энсино, нет равных. Покупатель у него цену не собьет, продавец лишку не получит. Его контракты — как клещи, деловые проекты — как танки; бизнес крепок, как стальная гора.

— Ну уж нет. — Майк провел пальцами по губам, по шевелюре, ущипнул себя за локоть, за подмышку — адреналин из него так и брызгал. — Только смажь получше мой «магнум» и покажи, куда стрелять. Я этого дня всю жизнь ждал.

Слова Майка повисли в воздухе — прозвучали как-то неубедительно. Дочь ссутулилась над тарелкой, кривясь так, словно ее кормят блевотиной. Маленькие глазки жены горели боевым азартом, как перед большим походом за покупками.

— Нет, правда, я с детства об этом мечтал. Сколько тут у вас львов? Они считанные?

Паф почесал седеющий бобрик волос. Из темноты снова донесся рык, уже тише, заполошно хохотнула гиена.

— У нас тут приличная стая — голов двенадцать, может, четырнадцать. И еще несколько самцов-одиночек.

— А здоровенные есть, с настоящими гривами? Я такого хочу. — Бендер взглянул на жену. — Представляешь, чучело в полный рост? Чтоб на задних лапах стояло, а? Поставлю в приемной, в Беверли-хиллс, а? — И закончил на шутливой ноте. — Если, конечно, секретарша не перетрусит.

Вид у Николь был вполне довольный, у Пафа тоже, но дочку мирный исход не устраивал. Она презрительно фыркнула, и взрослые разом обернулись к ней.

— Значит, пристрелишь несчастного льва, который никому ничего плохого не сделал? И что ты этим докажешь?

Паф переглянулся с Майком, как бы говоря: «Ну что за милый ребенок».

Жасмина-Фиалка-Роза отпихнула тарелку с недоеденным салатом. Ее черные волосы свисали на лоб сальными кудряшками. Салат она, собственно, не ела, а сепарировала: собрала отдельно помидоры, отдельно зелень, отдельно горошек, отдельно бобы.

— Вот Стинг, Брижит Бардо и «Нью кидс» говорят, что заведеньица вроде этого — концлагеря для животных, — прошипела она. — А вы вроде гитлеров! В Париже — это во Франции — будет целый концерт, чтобы зверей спасти, ясно?

— Да ладно тебе, — оборвала ее Николь, поджав сочные губки. — Одним львом больше, одним меньше. Идея Майка — просто шик. Входят клиенты в офис, а там — лев в прыжке. Классная символика.

Майк не понял — серьезно она говорит или опять ехидничает.

— Слушай, Жасмина, — начал он, одновременно топнув ногой, ухватив себя за мочку уха и взмахнув вилкой.

— Не Жасмина, а Жасмина-Фиалка-Роза, — мстительно поправила его дочка.

Бендер знал, что она ненавидит свое имя — изобретение чокнутой мамаши, которая имела обыкновение на закате общаться с призраками, а Майка считала реинкарнацией Джона Д. Рокфеллера. Желая отыграться на папочке за все им содеянные и помысленные прегрешения, девчонка требовала, чтобы он называл ее только полным именем. Всегда.

— Ну хорошо. Жасмина-Фиалка-Роза, послушай-ка, что я тебе скажу. В двенадцать лет можно воспринимать всерьез всю эту хипповую лабуду про окружающую среду, но когда повзрослеешь, поймешь, что охота — один из основных человеческих инстинктов, это вроде как потребность...

— ...в питье и питании, — подхватил Паф, щеголяя псевдоитонским произношением.

— Понятненько! — завопила Жасмина, вскакивая на ноги. Глаза — как две мутные дырки, уголки рта дергаются. — А также в*срании*, *пердении* и *е..нии*!

Она бросилась вон из увешанной охотничьими трофеями столовой, громко топая, и на прощание оглушительно хлопнула дверью.

За столом воцарилось молчание. Паф посмотрел на Николь, та закинула руки за голову — потянулась, а заодно продемонстрировала бюст и целомудренную белизну выбритых подмышек.

— Очаровательная малышка, — обронил Паф с явным сарказмом в голосе.

— Это уж точно, — подхватила Николь, и стало ясно, что они — союзники.

В этот момент в столовую вошел туземец, принес поднос с бифштексами из газели и жареными побегами маиса. Паф доверительно понизил голос и сообщил Бендеру:

— Итак, Майк, утром нас ждут зебры. Тебе они понравятся. — Водянистые глаза охотника смотрели на Бендера в упор. — А потом... — Тут туземец шмякнул об стол поднос с ошметками сочащегося кровью мяса. — Готовься к встрече со львом.

Нельзя сказать, чтобы торговец недвижимостью драпанул — Бернарду приходилось видеть трусов куда как похуже, — но был близок к тому, и даже весьма. А может, собирался в обморок бухнуться. Так или иначе, ситуация вышла препаршивая. В такие минуты Бернард мысленно проклинал и Африку, чтоб ей провалиться, и львов, и охотничьи заповедники, и торговлю недвижимостью.

На льва они набрели в старой миндальной роще. Деревья там были безлистные, мертвые, голые, как оленьи рога — выстроились ровными шеренгами до самого горизонта, а земля под ними вся в сломанных сучьях.

— Близко не подходить, — предупредил Паф, но Бендер хотел стрелять наверняка и допрыгался-таки. Застрял по колено в палых ветках и мусоре — ни туда, ни сюда, — плечи трясутся, винтовка ходуном ходит, а лев несется прямо на него, да с такой лютой яростью, что Паф и тот опешил. За четырнадцать лет существования «Африканского сафари» ничего подобного не видывал. Бернард предпочитал не вмешиваться во взаимоотношения клиента с дичью — потом обид не оберешься, — но в данном случае миссис Бендер и впрямь чуть не стала безутешной вдовой. Можно себе представить, что последовало бы дальше: стоимость страховки клиентов взмыла бы в облака, а еще судебное разбирательство... В общем, момент был не из приятных.

Накануне ночью, когда Бендеры ушли спать, Бернард отрядил Эспинозу подразнить львов, после чего их выставили из клеток, не покормив ужином. Такое обхождение любого льва, даже самого старого и беззубого, приводило в скверное расположение духа. Паф знал: за ночь они без своей конины так оголодают, что с дикостью и свирепостью у них будет все в порядке. Метода отработанная и многократно проверенная. Лозунг Бернарда был такой: клиент заплатил деньги — должен получить качественный товар. Не хватало еще, чтобы гости догадались, что лев девяносто девять процентов своей жизни проводит в клетке. Пусть думают, что царь зверей так и бегает себе с утра до вечера среди мертвых миндальных рощ и замаскированных нефтенасосов. Удрать-то львам все равно некуда — заповедник окружен рвом глубиной в двадцать футов, да еще двенадцатифутовая изгородь под током. Кто убережется от пули охотника, через денек-другой вернется в клетку сам, соскучится по конине и требухе.

Утром, когда девчонка еще спала, Бернард накормил гостей завтраком (яйца и лососина) и повез охотиться на зебр. Путь их лежал к «водопою», бывшему бассейну, которому Паф при помощи кое-каких ухищрений придал вид дикого озерка. После недолгого препирательства по поводу цены Бендеры, точнее миссис Бендер, остановились на пяти головах. Жена была шикарная штучка. Во-первых, Паф отродясь не видывал такой красотки, а во-вторых, и стреляла она куда лучше, чем муженек. Двух зебр уложила со ста пятидесяти ярдов, почти не повредив шкуру.

— Ну вы и стреляете, маленькая леди, — восхитился Бернард, когда они приблизились к подстреленной добыче.

Зебра лежала на боку, люто палило солнце, по шкуре уже ползали мухи. Бендер присел над вторым трупом, разыскивая дырку от пули, а Роланд тем временем вострил в джипе разделочный нож. Откуда-то с холмов донесся раздраженный рев льва.

Николь улыбнулась Пафу. В шортах-«бананах» и рубашке «сафари» она была чудо как хороша.

— Стараемся, — скромно потупилась Николь и расстегнула ворот, чтобы показать Бернарду золотой значок на персиковой маечке. Значок был в виде ружьеца, и, придвинувшись, Паф прочел: «Николь Бендер, Снайпер года, 1989».

Далее последовали ленч и сиеста, потом джин и пиво, партия в канасту. Нужно было убить время до вечера. Бернард из кожи вон лез, чтобы произвести на дамочку впечатление, и не только в интересах бизнеса. Что-то жаркое и упруго пульсирующее ощущалось в этом размалеванном личике, в изгибе пухлых губок. Паф и не пытался сопротивляться искушению. С тех пор как сбежала Стелла, ему жилось несладко, приходилось довольствоваться тем, что само шло в руки. Слава богу, специфика работы этому способствовала.

Стало быть, загрузили они в джип «ранглер» морозильник с пивом, «холланд энд холланд» 375 калибра мистера Бендера, «винчестер-магнум» 458 калибра миссис Бендер, гаубицу самого Пафа, «нитро»-шестисотку, и поехали в дальний конец ранчо, где по склонам холмов пластались узловатые черные ветки миндальных деревьев. Обычно львы, выгнанные из клеток, отправлялись именно туда, где меж холмов петляла речушка, весной бурливая и полноводная, летом же пересыхавшая в худосочный ручеек. Но напиться воды хватало, а заодно львы могли покататься по траве и поваляться в полосатой тени безжизненной рощи.

Бендер сразу же начал психовать — еще когда они потягивали джин и пиво, пережидая жару. Этот тип просто не умел сидеть спокойно. Нес какую-то ахинею про ипотечные счета, закладные и тому подобное, судорожно облизывался, дергал себя за уши, строил гримасы — прямо тренер захудалой команды во время бейсбольного матча. А все нервы. Паф столько раз водил на льва этих городских хлыщей, что научился сразу определять, для кого большая рыжая кошка не просто добыча, а способ проверить себя на вшивость — мол, мужик я или тряпка. Один тип, актер с телевидения (наверно, гомик), так накрутил себя, так нагрузился джином, что надул в штаны еще до того, как джип тронул с места. Бернард с тех пор видел этого героя раз сто по ящику. Этакий крутой парень с ямочкой на подбородке и горящим взором — все время колошматит негодяев и ловко обхватывает баб за талию. Но разве забудешь, как у него вдруг глаза стали пустыми-пустыми, а по штанинам поползло мокрое пятно?

В общем, одного взгляда на Бендера было достаточно, чтобы понять: дело швах.

Сторговались на одиннадцати с половиной за большого самца с гривой. Бернард скинул пятьсот с первоначальной цены, потому что Бендеры заказали две лишних зебры, да и вообще совесть надо иметь. Из мало-мальски презентабельных самцов на ранчо имелся только Клод. В свое время он, надо думать, был молодцом, но по человеческим меркам ему уже перевалило за девяносто; бедолага доживал свой век, точно какой-нибудь дряхлый старичок, кушающий кашку в богадельне. Паф приобрел льва за бесценок, выкупил у занюханного бродячего цирка в Гвадалахаре. Доходяге было никак не меньше двадцати пяти лет, он плохо видел, несло от него, как от покойника, а резцы на нижней челюсти совсем сгнили — жуя, Клод выл от боли. Но стать он сохранил, кое-какие мускулы уцелели, и издалека старикан смотрелся хоть куда, а из-за больных зубов характер у него совсем испортился. Пожалуй, вполне сойдет за дикого. То что надо, подумал Паф. Самое оно.

Но идиот Бендер застрял среди сучьев — весь трясется, как под ледяным душем, а Клод мчится прямо на него. Первая пуля, отрикошетив от земли, прострелила льву заднюю лапу, и зверь взревел так свирепо (когтями разорву, клыками растерзаю!), что придурок с перепугу чуть винтовку не уронил. Бернард очень хорошо все видел, потому что они с миссис Бендер и Роландом стояли всего в пятнадцати шагах — сзади и чуть сбоку. Надо признать, Клод удивил. Вместо того чтобы завертеться на месте волчком, а потом сигануть в заросли, он, взревев, ринулся вперед — только комья глины полетели из-под когтей. Словно кто подпалил старичка. А Бендер только дергается, вихляется да губами шлепает. В таком состоянии он и в бочку с пивом не попал бы. У Пафа у самого чуть сердце из груди не выпрыгнуло. Он вскинул к плечу свою мортиру, бухнул оглушительный выстрел, и в следующий миг Клод превратился в свернутый рыжий коврик, на который зачем-то вывалили целую корзину свежего фарша.

Бендер обернулся, лицо — белее мела.

— Что т-такое? — поперхнулся он, размахивая руками. — На хрена ты это сделал?

Классный был момент. Высоко в небе серебряной рыбкой плыл реактивный лайнер, вокруг царила полнейшая, неправдоподобная тишина, жена Бендера помалкивала, уцелевшие львы попрятались в траве, даже птички на деревьях заткнулись, напуганные перекатывающимся эхом пальбы.

— Я всего лишь спас тебе жизнь, дружище, — в царственном гневе обронил Бернард, внутренне гордясь такой по-британски эффектной фразой.

Майк Бендер был зол — так зол, что ему не лезла в горло ни рыба какого-то там посола, ни пережаренные тосты, ни сопливого вида яичница. И где, черт подери, кофе? Ведь тут, в конце концов, Бейкерсфилд, а не палаточный городок в Уганде! Он рявкнул на цветного (весь размалеванный под туземца, а говорит с калифорнийским прононсом), чтобы добыл кофе, черный и крепкий, хоть из-под земли. Если надо, пускай в Ойлдейл за ним сгоняет. Николь сидела напротив, смотрела насмешливо. Она-то своих двух зебр уложила грамотно, а он из трех остальных с двумя облажался: «Но Майк, эти шкуры на стенку не повесишь — они как решето!» И со львом такая гнусь вышла... Конечно, проявил он себя погано, а что еще паршивей — пролетел на одиннадцать с половиной тысяч, и всё впустую. После выстрела Пафа от зверя одни ошметки остались. Мясо да кости. Какая там грива, и башки-то не отыщешь — вот как постарался великий белый охотничек.

— Брось, Майк, — сказала Николь и хотела похлопать его по руке, но Бендер свирепо отшатнулся. — Брось. Это еще не конец света.

Майк взглянул на нее, увидел светящиеся торжеством глаза, и ему неудержимо захотелось врезать ей по физиономии, вцепиться в горло или еще лучше — отлучиться за винтовочкой и всадить суке пару зарядов в брюхо.

Бендер открыл было рот — выдать жене на всю катушку, но тут из кухни вернулся цветной с кофейником. Роланд, вот как его зовут. Спасибо еще не назвали каким-нибудь Джамбо или Мамбо, чтобы имя получше соответствовало этим идиотским юбкам. Нашли туземца! Хорошо бы и его заодно отлупить как следует. Единственная милость судьбы — что Жасмина-Фиалка-Роза дрыхнет как убитая до самого обеда и носа не кажет.

— Ну Майк, Майк, — пыталась урезонить мужа Николь, однако он был глух к ее призывам.

Бендер пылал яростью, вынашивал кровожадные планы мести — ух и отыграется же он по возвращении на всех арендаторах, квартиросъемщиках и лавочниках. Стон будет стоять от долины Сан-Фернандо до Ханкок-парка. Майк угрюмо потягивал остывший растворимый кофе и ждал, пока явится великий белый охотник.

Паф к завтраку припозднился, зато вид у него сегодня был какой-то омолодившийся. Волосы подкрасил, что ли? Ишь как сияет, ишь как лучится.

Будто похитил священный огонь у самого повелителя Энсино.

— Добрейшего утра, — поздоровался он с липовым вест-эндским шиком, шумно втянул воздух, чуть не проглотив при этом усы, и бросил на Николь такой недвусмысленный взгляд, что у Майка внутри все закипело, забурлило и выплеснулось наружу огненной лавой.

— Что, других львов так и не обнаружилось? — сипло осведомился он.

— К сожалению. — Паф уселся во главе стола, мазнул на тост мармелада. — Я еще вчера объяснил, Майк, что львиц у нас сколько угодно, а самцы все еще зеленые, даже не успели гривой обзавестись.

— Рассказывай сказки!

Бернард внимательно посмотрел на Майка, увидел мальчишку, который так и не стал взрослым. Богатого, балованного мальчишку, который привык хапать, командовать, делать все по-своему. У, выскочка.

Перевел взгляд на миссис Бендер. Что она нашла в этом клоуне? Бернарду явилось краткое, но мощное видение: миссис Бендер раскинулась рядом с ним в постели — сиськи, ляжки, припухшие губки и все такое.

— Послушай, Майк, забудь ты о льве, — сказал Бернард. — С кем не бывает. Я вот думаю, не поохотиться ли нам сегодня на антилоп.

— Да пошли они, твои антилопы.

— Ну тогда на дикого буйвола, а? Многие говорят, что свирепый мбого — самое опасное животное во всей Африке.

Желтые глаза Бендера потемнели от злости.

— Тут не Африка, — процедил он. — Мы в Бейкерсфилде.

Вот это было уже свинство. Бернард терпеть не мог подобных заявлений. Он приложил столько усилий, чтобы создать этот волшебный мир. Ведь собственно говоря, он продавал мечту, иллюзию (закройте глаза, и вы в Африке), он из кожи вон лез, чтобы ранчо на самом деле превратилось в Африку, чтобы ожили старые легенды, возродилась великая эпоха — пусть ненадолго, хоть на пару дней. И еще «Африканское сафари Бернарда Пафа» было монументом, мемориалом незабвенного родителя, Бернарда Пафа-старшего.

Он считался одним из последних великих охотников Восточной Африки. Друг и соотечественник Персиваля и Ионидеса, он устраивал сафари для голливудских звезд и европейских аристократов. Потом женился на американской миллионерше, и они построили себе дом в Кении, на Белом Нагорье. На ужин к ним (а подавали гостям круглый год исключительно дичь) заглядывала сама Исаак Динесен[1]. Началась война, все пошло кувырком, и супруги перебрались в Америку, где охотник совершенно сник, раздавленный просторами американского Юго-Запада и богатством жениных родственников. В детстве Бернард-младший, затаив дыхание, слушал рассказы о старых славных деньках, проводил пальцем по белому шраму на отцовском предплечье (клыки кабана), смазывал допотопные ружья, которые когда-то валили с ног носорогов, слонов, леопардов и львов, часами завороженно пялился на стеклянные глаза развешанных в гостиной охотничьих трофеев. Какие у них были названия — антилопа гну, куду, бушбак, конгони! Не слова, а музыка. Бернард старался не подвести отца, можно сказать, жизнь посвятил светлой памяти великого охотника, а теперь этот недоумок, этот спекулянт квартирами пытается все опошлить.

— Ладно, допустим, — вздохнул он. — Но что ты предлагаешь? В конце месяца завезут новых львов, великолепные экземпляры прямо из Кении, из парка Цаво. (Наврал, конечно. Один лев закуплен в Сан-Францисском зоопарке, где выставлять его по причине дряхлости и костлявости стало уже неприлично; второй — из немецкого цирка, где прыгал через обруч, пока не допрыгался до тройного перелома.) Зато есть антилопы, дикие буйволы, сернобыки, газели, гиены, могу даже пару страусов уступить. Но львов, извини, нет — одни самки.

---

[1] Псевдоним датской писательницы Карен Бликсен (1885—1962).

И тут потускневший взор спекулянта вдруг обрел былое сияние, губы расползлись в улыбке, недоносок-вундеркинд вновь превратился в грозу теннисных кортов и плавательных бассейнов. Широко ухмыльнувшись, Бендер наклонился вперед и спросил:

— А слон?

— Что «слон»?

Бернард поднес ко рту тост, но не откусил, а аккуратно положил обратно на тарелку. Миссис Бендер смотрела на него выжидательно, даже Роланд, подошедший подлить в чашки кофе, замер и уставился на хозяина.

— Хочу слона.

Паф разглядывал тарелку. Рассеянно провел пальцем по кофейнику, по сахарнице, по сливочнику. Жалко будет потерять Бесси-Би. Конечно, замену найти нетрудно, да и жрет она столько, что не напасешься. Эта бабуся зараз уплетает больше корма, чем стадо коров за целую зиму.

Холодно посмотрев на дамочку, Паф перевел взгляд на Бендера и отрезал:

— Восемнадцать штук.

Майк заерзал. Взгляд по-прежнему горел, но уже чуть тусклее — видать, захватило дух от масштаба сделки.

— Тогда так, — помолчав, сказал он. — Сделаешь мне голову. Целиком. На щите. Конечно, она здоровенная, но места у меня хватит, можешь быть уверен. И еще... Ноги мне тоже нужны. Пойдут на эти, как их... подставки для зонтиков.

Слониху отыскали в кустистом овраге, рядом с бассейном-водопоем. Она принимала пылевую ванну: вся обвалялась в пыли и сделалась похожа на гипертрофированный пончик, обсыпанный мукой. Бесси-Би успела погулять вдоль бассейна — растоптала траву, демаскировав голубой кафель, нарвала целую гору водяных лилий, да еще, зараза такая, измочалила эвкалипт и ободрала всю кору с импортного хинного дерева. Бернард вполголоса выругался. Чертову слониху потому и держали круглые сутки на привязи, чтобы она не устраивала бардак. Но во время приезда клиентов хочешь не хочешь приходилось ее отвязывать. Может, и не следовало этого делать, сокрушенно подумал Паф. Не забыть сказать Эспинозе, чтобы с утра пораньше позвонил в садоводческую фирму. От деловых раздумий Пафа отвлек голос Бендера.

— Но у него всего один бивень! — возмущенно заверещал Майк.

Бернард тяжело вздохнул. Что правда, то правда — во время очередной прогулки Бесси-Би умудрилась обломить левый бивень, но дело было давнее, и Паф как-то запамятовал об этом прискорбном обстоятельстве. Бендер же весь напрягся на сиденье джипа. Жена притихла сзади, кондиционер жужжал на всю катушку, ружья лежали наготове. Сейчас начнет сбивать цену, понял Паф.

— Когда мы сговорились на восемнадцати, я полагал, что речь идет о первоклассном экземпляре, — протянул Бендер. — А теперь прямо не знаю...

Бернарду уже хотелось только одного — поскорее покончить с этим делом. Внутренний голос подсказывал, что он делает ошибку, отдавая Бесси-Би, без нее ранчо потеряет вид, но раз решение принято — обратной дороги нет.

— Ладно, — пропыхтел он, поправляя съехавшее набок брюхо. — Семнадцать.

— Шестнадцать.

— Шестнадцать пятьсот, и это мое последнее слово. Ты не представляешь, Майк, сколько трудов стоит освежевать этакую махину, а ведь потом еще и скелет нужно куда-то деть.

— Договорились.

Бендер кинул победительный взгляд на жену, и все вылезли из джипа, стали проверять свой арсенал. Сегодня Бендер вооружился винтовкой «ригби» 470-го калибра, а Паф прихватил все тот же «нитро» — вдруг опять приключится конфузия, как со львом. Дамочка стрелять не собиралась, поэтому

ограничилась видеокамерой. Роланд сидел дома, ждал вызова — с грузовиком, пилами и рабочими-мексиканцами. Ему предстояло возиться с тушей, когда дело будет сделано.

Было рано, и зной еще не успел набрать силу, но Паф все равно обливался потом. Перед охотой он всегда немного нервничал, особенно если приходилось иметь дело с кретинами вроде Бендера. Достаточно вспомнить льва... Майк махал руками, топтался на месте, но сегодня взгляд у него был холодный и сосредоточенный. Вдвоем они стали медленно спускаться по поросшему мескитом и сорной травой склону.

Белая от пыли Бесси-Би захлопала ушами и выдула из хобота целое облако. Со ста шагов видны были только клубы пыли и разлетающиеся во все стороны комья глины; с пятидесяти уже можно было разглядеть морщинистую шишковатую голову старой слонихи. Риску было не больше, чем при забое коровы в стойле, но Бернард все же решил перестраховаться — велел Бендеру ближе не подходить. Над джипом заинтересованно кружила пара стервятников — знали, что дело пахнет кровью и мертвечинкой. Бесси-Би оглушительно чихнула. Ей громким карканьем завторила ворона.

— Всё, дальше ни шагу, — сказал Паф.

Бендер взглянул на него, пуча глаза и вихляясь всеми суставами. Он был сейчас похож на школьника, которого не пускают в бар, где полным-полно потрясных девчонок.

— Да я кроме пыли ничего не вижу.

Бернард сконцентрировался. Проверил затвор на своей пушке, щелкнул предохранителем.

— Надо немного подождать. Найди место поудобней — вон там будет в самый раз. Положи ствол на камень, как следует прицельсь и жди. Через минуту-другую ей надоест валять дурака, пыль осядет, и тогда пали.

Охотники присели на корточки, положив винтовки на плиту грубого красного песчаника. Они ждали, пока рассеется облако пыли, а солнце припекало все сильней. Стервятники кружили заметно ниже, чем раньше.

Бесси-Би следила за происходящим весьма настороженно. Зрение у нее порядком ослабело, но уж джип как-никак разглядеть она могла, а запах человека чуяла минимум за полмили. Ей бы доживать мирно свой век бабушкой-матриархом слоновьего стада где-нибудь в Амбосели, или Цаво, или среди великих болот Бахи, но весь свой век, пятьдесят два года, Бесси провела на чужом, противоестественном континенте, насквозь пропитанном человечьей вонью и дурью. Ее лупили, кололи палкой с гвоздем, держали на привязи, заставляли стоять на одной ноге и приплясывать, держась губами за чахлый хвост другого слона, тощего собрата по несчастью. Слоны вереницей топали по круглой арене, а вокруг бесновалось скопище обезьян, и так год за годом. А потом Бесси оказалась здесь, где тоже были люди и палки, отличался только воздух, пропахший маслянистыми соками земли. Иногда слониха слышала грохот выстрелов, ветер доносил запах крови, и Бесси знала, что здесь убивают. Вот и сейчас она сразу поняла, что джип приехал за ней.

Пыль оседала, посверкивая белыми искорками. Бесси помахала ушами, протрубила, подняла бревнообразную ногу, помахала ею туда-сюда. Старуха устала от палки, от привязи, от сухой невкусной травы и коровьего силоса, устала от солнца, воздуха, ночи, от того, что каждый день начинается с рассвета. Вот почему она вскочила и бросилась вперед.

Она бежала на запах, а потом раздался грохот — раз, два, три раза, и невидимая палка с гвоздем трижды обожгла слонихину плоть, но Бесси-Би от этого лишь разозлилась еще пуще, понеслась еще стремительней: непобедимая, неостановимая, гора в двенадцать футов ростом и восемь тонн весом. Всё, больше никаких цирков, паланкинов и палок. Тут она увидела впереди человечков — две щепки, прятавшиеся за камнем, который Бесси запросто могла проглотить и выплюнуть.

Бернард запаниковал, но не сразу. Майк выстрелил рановато, а потом замер, ошеломленный мощной отдачей. Бесси-Би бежала прямо на них, и Паф, прикусив ус, крикнул:

— Стреляй! Стреляй же ты, идиот!

Бендер послушался, выстрелил, но пуля едва чиркнула по щетинистой спине слонихи. Тогда Бернард вскочил, вскинул винтовку и пальнул сам, хотя отлично помнил скандал из-за льва и заранее представлял, как разгноится Бендер за обедом — еще один трофей загублен, и все такое, — но ситуация складывалась критическая, даже, можно сказать, отчаянная. Кто мог ожидать от старушки Бесси-Би такой прыти?

Результат — ноль. Неужели промазал? В следующий миг Пафу показалось, что он подхвачен снежной лавиной. В лицо ударил ветер, ядрено пахнуло слоном, и Паф взлетел, по-настоящему взлетел над долиной, в самое синее небо.

Приземлившись и немного очухавшись, он обнаружил, что плечо выбито из сустава, а правый глаз залит какой-то жидкостью. Это же кровь, его собственная кровь! Бернард подумал, что у него шок, и пробормотал вслух: «У меня шок, у меня шок». Все как бы подернулось дымкой, плечо почему-то не болело, разодранный лоб тоже. Стоп, у него ведь было ружье. Где оно?

Шум, крик — весьма впечатляющий крик. Паф увидел, как Бесси-Би ставит ножищу на лежащего Бендера и вдумчиво, почти нежно приминает, приминает... Бендер почему-то голый. На нем нет не только одежды, но и кожи, а голова у него плоская и при этом удивительно компактная. Однако события развивались дальше, и Бернард смутно подумал, что страховой компании придется туго. «У меня шок», — повторял он. Снова визг — явно человеческий. Визг прервался, возобновился, прервался, возобновился. Между воплями — кратчайшая пауза, едва уловимый вакуум тишины, и снова пронзительные всплески звука, за которыми и слоновьего рева почти не слышно.

Звуки производила миссис Бендер, Николь, дивный образец своего биологического вида. Она бежала по траве и изо всех сил напрягала легкие. Джип лежал на боку, в весьма непривычном ракурсе, а гибкая фигурка миссис Бендер почти сразу же пропала, заслоненная стеной бегущего мяса. Ариетта визгов оборвалась, барабанным аккомпанементом затопали слоновьи ноги.

Прошло несколько секунд или часов, Бернард и сам толком не понял. Он сидел себе смирно, одна рука безвольно болталась, ладонью другой Паф лениво утирал со лба кровь. Черные птицы с голыми шеями дрейфовали прямо у него над головой, проявляя к охотнику явно профессиональный интерес. Потом вдруг произошло примечательное природное явление — исчезло солнце, и стервятники вместе с ним. Бернард оказался в густой тени. Он вяло поднял голову, увидел необъятную морщинистую физиономию в обрамлении колышущихся ушей. «Бесси-Би? — удивился Бернард. — Бесси-Би? Шамба?»

Примерно в полумиле от места, где происходила эта сцена, Жасмина-Фиалка-Роза Бендер, обдуваемая легким бризом кондиционера, заворочалась на подушке и открыла глаза. Юной девице (через два месяца тринадцать) после гор съеденного шоколада всю ночь снились тощие подростки в кожаных куртках, с гитарами и прическами «дикобраз». Она и понятия не имела, что с данной минуты является единственной наследницей империи Майка Бендера, всех банковских счетов, домов, участков, акций и облигаций плюс пляжный коттедж и новенький «феррари-тестаросса». Жасмина проснулась от какого-то неуловимого сотрясения, словно легкая рябь пробежала по великому озеру бытия. Кажется, кто-то кричал. Или послышалось?

Да нет, наверняка какой-нибудь очередной павлин-бабуин разверещался. Или этот жалкий слонишка. Жасмина села на кровати, потянулась к холодильнику — взять бутылку шипучки — и обреченно покачала головой. Вот кичня, подумала она. Кичня кичневая.

Перевод Г. ЧХАРТИШВИЛИ

Плотское познание[1]

Что-что, а мясо никогда моих мыслей не занимало. Оно лежало себе в супермаркете в прозрачной обертке; подавалось между двумя половинками булочки с майонезом, горчицей и соленым огурчиком; скворчало и дымилось на гриле, пока его не переворачивала чья-то рука, и возникало потом на тарелке с гарниром из печеной картошки и нарезанной соломкой моркови, все в четком волокнистом узоре и обильно политое красным соусом. Говядина, баранина, свинина, дичь, сочные гамбургеры и жирные ребрышки — все это было для меня без разницы, еда, топливо для тела, пожуешь, почувствуешь вкус и проглотишь, давай трудись, пищеварительная система. Впрочем, не то чтобы я совсем уж скользил по поверхности. Каждый раз, обедая дома — разделанный цыпленок, гарнир из полуфабриката, замороженная фасоль, кекс из готовой смеси, — уминая пупырчатую желтую кожу и розовое мясо термически обработанной птицы, я задумывался о приставших к ребрам темноватых кусочках — что это, печень? почки? — но, в общем-то, это мне нисколько не мешало смаковать цыпленка по-кентуккийски или от Макнаггетса. И фотографии эти в журналах я видел, конечно, где мясные телята стоят по уши в собственных выделениях, с атрофированными конечностями и до того напичканные антибиотиками, что не могут управлять своим кишечником; но за ужином с Анной-Марией я от телячьего эскалопа никогда не отказывался.

И вот я познакомился с Алиной Йоргенсен.

Это случилось прошлой осенью, за две недели до Дня благодарения — я точно запомнил, потому что как раз был мой день рождения, тридцать стукнуло, я сказался на работе больным и пошел на пляж греться на солнышке, читать книжку и чуточку себя жалеть. Вовсю дул теплый ветер от Санта-Аны, и до самой Каталины небо было ясное, но холодок в воздухе тоже чувствовался, предвестье, что ли, зимы, и берег в обе стороны был совсем безлюдный. Я нашел среди развала камней укромное местечко, расстелил одеяло и давай уписывать бутерброды с копченым мясом, которые взял для подкрепления сил. Потом открыл книгу — успокаивающе-апокалипсический трактат о гибели планеты Земля — и подставился солнышку, читая о сведении тропических лесов, отравлении атмосферы и тихом деловитом уничтожении видов. Над головой проплывали чайки. Вдали временами мерцали крылья воздушных лайнеров.

Я, должно быть, задремал с раскрытой книжкой на коленях, запрокинув голову, потому что вдруг вижу — надо мной стоит какой-то пес, и солнце уже за скалу опустилось. Большой такой пес, шерсть всклокочена, один глаз голубой, и этим глазом он на меня таращится, уши чуть навострил,словно какую-нибудь собачью усладу хочет от меня получить. Мне это не понравилось — не то что я не люблю собак, но зачем морду прямо в лицо совать, — и я жест, наверно, защитный сделал, потому что он неловко так на шаг отступил и замер. С первой же секунды, хоть я и был застигнут врасплох, я увидел, что у пса не в порядке с ногами, пошатывался он как-то, не очень твердо стоял. Я почувствовал жалость и отвращение — машина, что ли, его стукнула — и вдруг понял, что ветровка на груди у меня мокрая, и в ноздри шибанул недвусмысленный запах: пес на меня помочился.

Вот так вот, помочился. Пока я, ничего не подозревая, лежал-полеживал, наслаждаясь солнцем, пляжем, безлюдьем, эта тварь глупая задрала ногу и использовала меня как писсуар, а теперь сидит себе на краю одеяла и словно награды ждет. Я вдруг рассвирепел. С ругательством встал с одеяла, и только тогда в другом собачьем глазу, карем, возникло смутное предчувствие; пес отпрянул и упал на брюхо, чуть за пределами досягаемости. Опять

[1] Рассказ войдет в антологию американских рассказов первой половины 90-х годов «Пригоршня прозы», подготовленную издательством «Текст». Печатаем с любезного разрешения издательства.

отпрянул и опять шлепнулся, заковылял неуклюже по песку, как выбравшийся на берег тюлень. Я уже был на ногах, жаждущий крови, довольный тем, что сволочь хромает — легче будет догнать ее и забить до смерти.

— Альф! — послышался голос, и пока пес барахтался на песке, я обернулся и увидел Алину Йоргенсен, стоящую на камне позади меня. Не хочу слишком уж расписывать это мгновение, мифологизировать его, нагружать всякими ассоциациями типа Афродиты, встающей из морских волн или принимающей от Париса золотое яблоко, — но выглядела она впечатляюще. С обнаженными ногами, текучая вся, такая же стройная и гордая, как ее нордические предки, в бикини «гортекс» и фуфайке с капюшоном, расстегнутой до самой талии, она меня просто сразила. Обмоченный и ошарашенный, я мог только на нее пялиться.

— Ах ты безобразник, — сказала она с упреком, — а ну иди сюда! — Она смотрела то на меня, то на пса. — Что наделал, негодяй такой?

Я уже был готов сознаться в любом прегрешении, но она-то обращалась к Альфу, который от ее слов рухнул на песок, как подстреленный. Алина легко спрыгнула с камня и в следующий миг, прежде чем я смог хоть как-то воспротивиться, уже вытирала пятно на моей ветровке скомканным нижним краем своей фуфайки.

Я пытался ее остановить.

— Не надо, ничего страшного, — говорил я , как будто собаки постоянно на мою одежду мочились, но она не слушалась.

— Нет, — сказала, не прерывая работы; ее волосы овевали мне лицо, обнаженное бедро она бессознательно прижала к моему, — нет, это просто ужасно, не знаю, что делать. Безобразник ты, Альф. Я вам ее вычищу, иначе как... Ой, беда, и на майку прошло...

Я вдыхал ее аромат — гель для волос, сиреневое мыло или духи, солоновато-сладкий запах пота — а, понятно, трусцой бегала. Я пробормотал, что отдам майку в чистку.

Она перестала тереть и выпрямилась. Была она с меня ростом, может, даже, чуть повыше, и глаза у нее были немножко разные, как у Альфа: правый полон глубокой, серьезной голубизны, левый голубовато-зеленый, цвета бирюзы или морской волны. Мы стояли совсем рядом, точно танцевать собрались.

— Знаете, — ее лицо осветила улыбка, — раз вы так мило это стерпели, как мало кто бы смог, даже если услышал, что́ пришлось вынести бедному Альфу, дайте уж мне все постирать, в смысле, и майку тоже.

Я смущен был несколько — ведь, как ни верти, меня облили мочой, — но злость прошла. Я стал невесомым, летучим, как пушинка на ветру.

— Послушайте, — сказал я, вдруг почувствовав, что не могу смотреть ей в глаза, — мне не хочется вас затруднять...

— Я на берегу живу, ходу десять минут, у меня есть стиральная машина с сушилкой. Пошли, какое там затруднять. Или у вас другие планы? В смысле, я могу просто заплатить за стирку, если хотите...

Постоянных отношений у меня тогда ни с кем не было — особа, с которой я время от времени встречался весь предыдущий год, даже не отвечала на мои звонки, — и планы мои состояли в том, чтобы по случаю дня рождения пойти одному в кино на последний дневной сеанс, а потом к маме на ужин и пирог со свечами. Будут тетя Айрин с бабушкой, станут охать и ахать, какой большой я вырос да какой красивый, примутся сравнивать меня теперешнего с моими прежними, более мелкими воплощениями, и под конец хлынет настоящее половодье воспоминаний, которое прекратится, только когда мама посадит обеих в машину и отвезет домой. А потом я поеду в бар для одиночек и, если повезет, познакомлюсь с разведенной программисткой лет

под сорок с тремя детьми и дурным запахом изо рта.

Я пожал плечами.

— Планы? Да нет, пожалуй. Никаких особенных планов.

Алина занимала однокомнатный домик, торчавший прямо из песка наподобие пня шагах в пятидесяти, не больше , от линии прилива. Дом с задним двориком, где росли деревья, был зажат между двумя крепостями из стекла и бетона на огромных неуклюжих опорах, с хлопающими на ветру флагами и окнами-бойницами. Сидя в кресле, я ощущал содрогание берега от каждой набегавшей волны — ровный медленный пульс, который память связала с этим местом навсегда. Алина дала мне выцветшую фуфайку почти моего размера с надписью «Колледж Дэвиса», прыснула пятновыводителем на ветровку и майку, одним плавным движением закрыла крышку стиральной машины и извлекла из стоявшего рядом холодильника две бутылки пива.

Когда она села напротив меня и мы сосредоточились на пиве, наступила минутная заминка. Я не знал, что сказать. У меня голова кругом шла, я все пытался уразуметь, что произошло. Пятнадцать минут назад дремал на пляже, один-одинешенек в день рождения и жалеючи самого себя, а теперь вот сижу в уютном домике на берегу, смотрю на Алину Йоргенсен с ее ливнем обнаженных ног, потягиваю пиво.

— Так вы чем занимаетесь? — спросила она, поставив бутылку на кофейный столик.

Я уцепился за вопрос — слишком уж явно уцепился, наверно. Стал пространно рассказывать, какая нудная у меня работа: десять лет почти на одном месте, пишу рекламу, мозги ссохлись уже от неупотребления. Примерно на середине подробного отчета о нашей теперешней кампании по рекламе водки из Ганы, которую гонят из кожуры тыквы-горлянки, я услышал: «Мне это очень даже понятно», и она рассказала, как ушла из ветеринарной школы.

— После того как увидела, что они там с животными вытворяют. Например, стерилизуют собак просто ради нашего удобства, просто потому, что нам легче, когда у них нет половой жизни. — В ее голосе послышалась ярость. — Все та же старая песня, видовой фашизм худшего толка.

Альф лежал у моих ног, тихонько ворча и скорбно глядя на меня голубым глазом, — безобиднейшее из существ. Я издал неопределенный звук, означавший согласие, и показал на Альфа:

— А пес ваш, у него что, артрит? Или дисплазия бедра?

Я был доволен своим вопросом: помимо глистов, дисплазия была единственным ветеринарным термином, какой я мог извлечь из кладовой памяти, и мне было ясно, что проблемы Альфа посерьезней, чем просто глисты.

— Еще чего! — рассердилась Алина. Она горько, глубоко вздохнула. — Все несчастья Альфа не от природы, а от людей. Его измучили, искалечили, изуродовали.

— Искалечили? — повторил я, чувствуя, как во мне вскипает возмущение — за прекрасную девушку, за невинное животное. — Кто?

Алина подалась вперед, глаза ее зажглись подлинной ненавистью. Она назвала крупную обувную фирму, вернее, прошипела название. Привычное и знакомое, оно повисло между нами в воздухе, внезапно сделавшись зловещим. Альфа использовали в эксперименте по проверке собачьей обуви — замша, кордовская цветная кожа, разные способы обработки. Собак ставили в этой обуви на бегущую дорожку, чтобы оценить скорость износа; Альф был в контрольной группе.

— В контрольной группе? — я почувствовал, как у меня на затылке волосы встают дыбом.

— Для убыстрения дела дорожку покрыли крупнозернистой наждачной бумагой. — Отвернувшись к окну и закусив губу, Алина смотрела на бьющие в берег волны. — Контрольная группа была без обуви.

Я был ошарашен. Хотел к ней подойти, утешить, но словно врос в кресло.

— Невероятно. Как они могли...

— Очень даже вероятно, — сказала она. Бросила на меня изучающий взгляд, потом прошла через комнату к стоявшей в углу картонной коробке. Я был взволнован ее рассказом и еще больше взволнован ее видом, когда она склонилась над коробкой в своем бикини «гортекс»; я вцепился в подлокотники кресла, словно это была тележка на «русских горках». Спустя мгновение она кинула мне на колени дюжину папок. На верхней стояло название той самой обувной фирмы, и она содержала вырезки из газет, несколько страниц журнала с записями о работе оборудования и сменах сотрудников на предприятии в Гранд-Рапидс, да еще план лаборатории. На других папках были названия косметических фирм, биомедицинских исследовательских центров, меховых и консервных фабрик, предприятий по переработке мяса. Сев на край кофейного столика, Алина смотрела, как я все это листаю.

— Про тест Дреза слыхали?

Я ответил пустым взглядом.

— Кроликам пускают в глаза всякую химию и смотрят, когда они ослепнут. Кролики сидят в клетках, их тысячи там, а эти берут шприцы и колют им в глаза — и вы знаете, для чего; ради какой такой высокой цели это делается даже сейчас, пока мы разговариваем?

Я не знал. Прибой накатывал на берег. Я посмотрел на Альфа, потом опять в ее гневные зрачки.

— Тушь для ресниц, вот для чего. Тушь для ресниц. Они калечат тысячи и тысячи кроликов, чтобы женщины могли, как шлюхи, краситься.

Я подумал, что тут она хватила через край, но, взглянув на ее светлые ресницы и крепко сжатые губы без следа помады, понял, что она за свои слова отвечает. Как бы то ни было, она завелась не на шутку и закатила мне лекцию часа на два, жестикулируя безукоризненными руками, приводя цифры, роясь в папках с диковинными фотографиями безногих крыс и накачанных морфием мышей-песчанок. Рассказала, как самолично вызволила Альфа, проникнув в лабораторию с шестью другими членами Армии любителей фауны — боевой организации, в честь которой Альф получил свое имя. Поначалу Алина довольствовалась рассылкой писем и демонстрациями с плакатами на шее, но потом ради спасения бесчисленных жизней животных перешла к более радикальным действиям: нападениям, взломам, диверсиям. Она описала, как с ребятами из организации «Вначале — Земля!» загоняла стальные прутья под кору деревьев, предназначенных к рубке в лесах Орегона, как вырезала мили колючей проволоки на скотоводческих ранчо Невады, как уничтожала записи в биомедицинских лабораториях по всему побережью, как вставала между охотниками и горными баранами в горах Аризоны. Я мог только кивать, издавать отрывочные восклицания, печально улыбаться и присвистывать — вот те на, дескать. Наконец она остановила на мне свои беспокойные глаза.

— А вы знаете, что Айзек Башевис Зингер сказал?

Мы откупорили уже по третьей бутылке. Солнце село. Я понятия не имел.

— У животных каждый день — новый Освенцим.

Я опустил глаза, поглядел на янтарную жидкость сквозь горлышко бутылки и горестно кивнул головой. Сушилка отключилась полтора часа назад. Я стал раздумывать, поедет ли она со мной ужинать и, если поедет, что будет есть.

— Э, мне тут пришло в голову, — начал я, — если... если бы вы согласились поехать куда-нибудь перекусить...

Альф выбрал этот момент, чтобы подняться с пола и помочиться на стену позади меня. Алина соскочила с края стола, выбранила его и мягко выпроводила за дверь; мое предложение об ужине повисло в воздухе.

— Бедный Альф, — сказала она со вздохом, вновь поворачиваясь ко мне и пожимая плечами. — Слушайте, я, наверно, совсем тут вас заговорила; честно, я не хотела, но это ведь такая редкость — найти человека, настроенного на твою волну.

Она улыбнулась. *Настроенного на твою волну.* Эти слова взбудоражили меня и зажгли, вызвали во мне дрожь, добравшуюся до самых глубин репродуктивного тракта.

— Так как насчет ужина? — настаивал я. В голове мелькали названия ресторанов — это непременно вегетарианский должен быть? Сможет она хотя бы запах жареного мяса вынести? Творог из козьего молока, арабский салат «табуле», соевый сыр, чечевичная похлебка, брюссельская капуста. *У животных каждый день — новый Освенцим.* — Там, где без мяса, конечно.

Она посмотрела на меня, и только.

— Дело в том, что я и сам мяса не ем, — соврал я, — во всяком случае, больше не ем, — на бутербродах с копченым мясом, выходит, точку поставил, — но я не очень-то знаю места, где... — тянул я неуверенно.

— Я веганка, — сказала она.

После двух часов ослепших кроликов, четвертованных телят и изувеченных щенков я не смог удержаться от шутки:

— А я венерианец.

Она засмеялась, но, мне показалось, как-то принужденно. Веганы, объяснила она, не едят мяса, рыбы, сыра, яиц, не пьют молока, не носят шерсти и кожи — и меха, конечно.

— Конечно, — сказал я. Мы оба стояли над кофейным столиком. Я чувствовал себя немножко по-дурацки.

— Почему бы нам просто-напросто здесь не поужинать, — предложила она.

Глубокое биение океанских волн, казалось, проникло в меня до самой сердцевины, когда мы с Алиной в ту ночь лежали в постели, и я узнал все о текучести ее рук и ног, о сладости ее растительного языка. Альф, распростертый на полу подле нас, во сне скулил и постанывал, и я благословлял его за недержание мочи и за собачью тупость. Что-то со мной творилось — я чувствовал, как подрагивали подо мной доски пола, чувствовал каждый удар прибоя и был готов со всем этим слиться. Утром я позвонил на работу и сказал, что еще не выздоровел.

Алина наблюдала из кровати, как я набираю номер фирмы и объясняю, что воспаление переместилось из верхних дыхательных путей в кишечник и ниже, и ее глаза говорили мне, что я весь день проведу здесь, рядом с ней, снимая кожицу с виноградин и опуская их одну за другой в ее полуоткрытый ожидающий рот. Но тут я ошибся. Уже через полчаса, позавтракав пивными дрожжами и какой-то корой, вымоченной в йогурте, я ходил взад и вперед по тротуару около большого мехового магазина в Беверли-хиллс, размахивая плакатом с надписью КАКОВО ВАМ КУТАТЬСЯ В ТРУП? красными буквами, стекавшими как кровь.

Это было нечто. Я видал по телевизору марши протеста, антивоенные митинги, демонстрации негров и тому подобное, но сам никогда на улицах не околачивался, лозунгов не выкрикивал, палку с плакатом в руке не сжимал. Нас было человек сорок, женщины в основном, мы махали плакатами проезжавшим машинам и мешали людям ходить по тротуару. Одна женщина вымазала себе лицо и руки кольдкремом, смешанным с чем-то красным, Алина где-то откопала драный норковый палантин из тех, что сшиты из цельных шкурок, от головы до хвоста, со свисающими крохотными лапками, и разрисовала зверькам морды алой краской, чтобы они выглядели только что убитыми. Она нацепила этот зловещий стяг на длинную палку и стала им размахивать, дико завывая и крича: «Мех — это смерть, мех — это смерть», пока заклинание не подхватила вся толпа. День был не по сезону жаркий, мимо, сверкая на солнце, проносились «ягуары», пальмы под легким ветерком покачивали листьями, и никто не обращал на нас ни малейшего внимания, кроме одного-единственного продавца, плотно сжавшего губы и пялившегося на нас из-за безупречно чистой витрины.

Я вышагивал по тротуару, чувствуя себя уязвимым, выставленным на

всеобщее обозрение, но вышагивал все-таки — ради Алины, ради всех лисиц и куниц и ради себя самого тоже; я ощущал, как с каждым шагом гордость моя надувается воздушным шаром, как в меня вливается воздух святости. До сих пор я, как все, носил замшу и кожу — высокие ботинки, кроссовки на воздушной подошве, куртку военного образца, которая у меня еще со школы. И если в отношении меха я был чист, то потому только, что не испытывал в нем ни малейшей нужды. Жил бы я на Юконе — а иногда, клюя носом на рабочем совещании, я ловил себя на таких мечтах, — носил бы мех как миленький, без всяких угрызений совести.

Но теперь-то другое дело. Теперь я борец, демонстрант, защитник права любой распоследней ласки и рыси состариться и спокойно умереть, теперь я возлюбленный Алины Йоргенсен — сила, с которой нельзя не считаться. Хотя, конечно, ступни мои ныли, я обливался потом и молился, чтобы никто из сослуживцев не проехал мимо и не увидел меня на тротуаре с бесноватыми сподвижниками и грозным плакатом.

Шел час за часом, мы ходили взад и вперед и, наверно, уже ложбину в тротуаре протоптали. Мы кричали, мы скандировали, но, посмотрев на нас мельком, второго взгляда никто нашу братию не удостаивал. С таким же успехом мы могли быть кришнаитами, спортивными фанатами, противниками абортов или прокаженными — какая разница? Для остального мира, для убогих непросвещенных масс, к которым и я принадлежал всего двадцать четыре часа назад, мы были невидимы. Я проголодался, устал, пал духом. Алина не обращала на меня внимания. Даже женщина в кровавой маске слегка подвяла, ее голос сел до хриплого шепота, легко перекрываемого шумом машин. И вдруг, когда уже наступил вечерний час пик, у бордюра остановилась длинная белая машина, из нее вышла сухая седовласая дама, похожая на бывшую кинозвезду, или мамашу кинозвезды, или даже на первую смутно припоминаемую жену директора киностудии, и бесстрашно двинулась в нашу сторону. Несмотря на жару — 80 по Фаренгейту, не меньше, — на ней была длинная песцовая шуба, пухлая переливающаяся волнистая масса меха, ради которой в тундре пришлось опустошить едва ли не каждую вторую нору. Этого-то мы и ждали.

С пронзительными воплями и улюлюканьем пошли мы в атаку на одинокую старушку, как боевой отряд индейцев, спускающихся с гор на равнину. Парень рядом со мной встал на четвереньки и завыл собакой, Алина рассекала воздух своей ветхой норкой. Кровь бросилась мне в голову. «Убийца! — кричал я, распаляясь. — Палачиха! Нацистка!» На шее у меня взбухли жилы. Я орал сам не знаю что. Толпа галдела. Вокруг плясали плакаты. Старуха была так близко, что я чувствовал ее запах — духи, нафталин от шубы, — и он опьянил меня, с ума меня свел, я встал перед ней и преградил ей путь всеми своими ста восемьюдесятью пятью фунтами разгоряченных, воинственных мускулов.

Шофера я так и не увидел. Алина потом сказала, что он в прошлом был чемпионом по кикбоксингу, но его дисквалифицировали за жестокость на ринге. Первый удар обрушился с неба, словно пущенный из вражеского тыла снаряд; дальше пошло-поехало — точь-в-точь ветряная мельница в бурю. Кто-то вскрикнул. Передо мной вдруг возникли безукоризненные складки шоферских брюк, а потом все слегка затуманилось.

Я очнулся от монотонного шума прибоя и прикосновения Алининых губ. Казалось, меня колесовали, четвертовали, а потом опять составили из кусочков. «Лежи тихо», — сказала она и провела языком по моей опухшей щеке. Я смог только повернуть голову на подушке и заглянуть в глубину ее разноцветных глаз. «Теперь ты один из нас», — прошептала она.

На следующее утро я даже и не стал звонить на работу.

К концу недели я поправился настолько, чтобы тосковать по мясу, за что чувствовал глубокий стыд, и, надев виниловые сандалии, ходить в пикеты. Вдвоем или с разнообразными группами противников вивисекции, воинству-

ющих вегетарианцев и защитников кошек мы с Алиной протопали по тротуарам, наверно, миль сто, малюя зажигательные лозунги на витринах супермаркетов и закусочных, понося кожевников, меховщиков, торговцев сосисками и птицей; между делом мы еще расстроили петушиные бои в Пакойме. Было весело, пьяно, опасно. Словно раньше я был обесточен, а теперь меня взяли и подключили к сети. Я ощущал свою правоту — впервые в жизни я стоял за общее дело, — и у меня была Алина, Алина прежде всего. Я был одержим ею, зациклился на ней, чувствовал себя котом, вспрыгивающим на второй этаж, не боясь торчащих внизу кольев забора. Тут, конечно, красота ее, торжество эволюции, счастливое сочетание генов начиная с пещерных людей; но не только это делало ее неотразимой — еще и сострадание к животным, нравственный взгляд на вещи, приверженность улучшению мира. Любовь? Со словом этим у меня всегда были трудности, но, думаю, да. Конечно да. Любовь, простая и чистая. Любовь во мне, я в любви.

— Знаешь что? — сказала Алина однажды вечером, стоя перед маленькой плитой и обжаривая соевый сыр с чесноком в растительном масле. Всю вторую половину дня мы демонстрировали перед пекарней, где в маисовые лепешки-тортильи клали животный жир как вяжущий компонент, а потом за нами три квартала гнался помощник управляющего из ресторана Вона — ему не понравилось, что Алина написала краской МЯСО — ЭТО СМЕРТЬ на витрине с образчиками деликатесов. От мальчишеской радости я прямо как пьяный был. Развалился на диване с бутылкой пива в руке и смотрел, как Альф ковыляет через всю комнату, ложится и начинает вылизывать подозрительное пятно на полу. Прибой грохотал, как гром.

— Что? — спросил я.

— Скоро День благодарения.

Секунду-другую я соображал, стоит ли мне пригласить Алину к матери на большую жирную птицу, фаршированную консервированными устрицами и толчеными сухарями в масле; потом до меня дошло, что это не совсем удачная идея. Я ничего не сказал.

Она взглянула на меня через плечо.

— Животным в этот день благодарить некого и не за что, это уж точно. Просто мясные магнаты получат повод угробить лишнюю пару миллионов индеек, вот и все. — Она помолчала; на сковородке трещало горячее масло. — Я думаю, настало время немного прокатиться. Можно будет твою машину взять?

— Конечно, но куда мы едем?

Она улыбнулась загадочной улыбкой Джоконды.

— Да так, кой-каких индюшек повыпускаем.

Утром я позвонил начальнику и сказал, что у меня рак поджелудочной железы и поэтому я несколько дней еще пропущу; мы побросали вещи в багажник, помогли Альфу забраться на заднее сиденье и дунули по пятому шоссе в сторону долины Сан-Хоакин. Мы ехали три часа через такой плотный туман, что окна словно ватой были обложены. Алина больше помалкивала, но была возбуждена — я видел. Я понял только, что мы должны встретиться с неким Рольфом, ее старым другом и большим человеком в мире защитников природы и прав животных, после чего совершить отчаянный и противозаконный поступок, за который индейки будут вечно нам признательны.

Знак поворота на Кальпурния-спрингс был загорожен стоящим грузовиком, и мне пришлось резко тормознуть и вывернуть руль, чтобы не вылететь с полотна. Алину подняло с сиденья, Альф шмякнулся о подлокотник, как куль с провизией, но все обошлось. Через несколько минут мы уже ехали через призрачно-пустой городок, огни проплывали мимо в туманном ореоле — розовые, желтые, белые, — а потом остались только черное асфальтовое шоссе и белесая пустота вокруг. Проехали миль десять; тут Алина сказала ехать потише и начала что-то выискивать справа за окном острым, пристальным взглядом.

Дорога шла то вверх, то вниз. Я, не отрываясь, смотрел на мягкий плывущий свет моих фар. «Здесь, здесь!» — закричала она, я крутанул руль вправо, и нас затрясло по ухабистой грунтовой дороге, которая забирала от асфальта круто вверх, как протоптанная на склоне горы козья тропа. Через пять минут Альф привстал на заднем сиденье и заскулил, и вот в окутавшей нас хмари начала вырисовываться грубая некрашеная хижина.

Рольф встретил нас на крыльце. Он был высокий и сухой, лет пятидесяти с гаком, с копной волос и морщинистым лицом, этакий Сэмюэл Беккет. На нем были резиновые сапоги, джинсы и выцветшая, раз сто стиранная короткая куртка. Альф по-быстрому справил нужду на стену дома, потом заковылял вверх по ступенькам и стал кататься у ног Рольфа и ласкаться к нему.

— Рольф! — крикнула Алина, и слишком уж много было в ее голосе радости, слишком много близости, на мой вкус.

Одним прыжком Алина взлетела на крыльцо и кинулась ему на шею. Я смотрел, как они целовались, и не был это отцовско-дочерний поцелуй, хоть убейте. Этот поцелуй что-нибудь да значил — в общем, не понравился он мне. Рольф, подумал я, что за имя такое?

— Рольф, — выдохнула Алина, все еще запыхавшаяся после стремительного броска, словно предводительница болельщиков, поздравляющая победителя, — познакомься с Джимом.

Вот и моя очередь подошла. Я поднялся на крыльцо, протянул ему руку. Рольф взглянул на меня глубоко посаженными глазами и стиснул мою ладонь крепким мозолистым пожатием, пожатием плотника и лесоруба, освободителя индюшек и лабораторных мышей.

— Очень рад, — сказал он шершавым, как наждак, голосом.

В хижине горел камин, мы с Алиной сели перед ним и стали отогревать руки, пока Альф принюхивался и скулил, а Рольф разливал зингеровский чай в японские чашечки размером с наперсток. С того момента, как мы переступили порог, Алина болтала не переставая, Рольф скрипел ей в ответ, как старое дерево, они обменивались именами, новостями, слухами — для меня это было как шифрованный язык. Я рассматривал изображения чирков и крякв, развешанные на стенах с отслаивающимися обоями, приметил в углу коробку с вегетарианской фасолью Хайнца и на камине большую бутыль виски «Джек Дэниэл». После третьей чашки чая Алина, наконец, откинулась в кресле — старой громадине в стиле Армии спасения с грязными салфеточками на подлокотниках и спинке — и спросила:

— Так какой же у нас план?

Рольф бросил на меня еще один взгляд, быстрый и хищный, как будто не знал, можно ли мне доверять, потом повернулся к Алине.

— Индюшачья ферма естественного вскармливания «Гедда Габлер». Кто как, а я ничего остроумного в этом названии не нахожу. — Он опять посмотрел на меня, на этот раз долго, испытующе. — Головы они перемалывают на кошачий корм, а шею, внутренности и все прочее заворачивают в целлофан и суют обратно в брюшную полость, вот ведь садисты. Что им эти индейки такого сделали?

Вопрос был чисто риторический, даже если он и был ко мне обращен, никакого ответа я не дал, только на моем лице изобразились скорбь, гнев и решимость. Я думал обо всех индейках, к чьей злой судьбине я приложил руку и зубы, о сломанных на счастье грудных косточках, о «пасторских носах», как назывались у нас птичьи гузки, о поджаристой кожице, которую я смаковал в детстве. От этих мыслей к горлу подступил комок, но было и другое: я почувствовал, что проголодался.

— Бен Франклин хотел их сделать национальным символом, — вставила Алина. — Слыхали про это? Но любители мяса взяли верх.

— Пятьдесят тысяч птиц, — сказал Рольф, быстро посмотрев на Алину и опять устремив на меня прожигающий взгляд. — Есть информация, что завтра их начнут убивать для рынка парной индюшатины.

— Самое лакомство для яппи, — голос Алины источал отвращение.

Помолчали. Стало слышно, как потрескивает огонь. Туман давил на окна. Темнело.

— Ферма видна с шоссе, — сказал наконец Рольф, — но проезд только через Кальпурния-спрингс. Около двадцати миль — двадцать две и три десятых, чтоб быть точным.

Глаза Алины сияли. Она не сводила их с Рольфа, словно он был посланцем небес. Я почувствовал, как что-то поднимается у меня в желудке.

— Ночью махнем.

Рольф настоял, чтобы поехали на моей машине — «Мой пикап вся округа знает, я не могу рисковать на такой небольшой операции», — но мы залепили номерные знаки спереди и сзади дюймовым слоем грязи. Лица затянули черным, как коммандос, из сарая взяли все необходимое — кусачки, ломы и две большие канистры бензина.

— А бензин-то зачем? —спросил я, прикидывая канистру на вес.

— Мы ж диверсанты, — блеснул глазами Рольф. Альфа по очевидным причинам оставили дома.

Если днем туман был густой, то теперь он стал и вовсе непроницаемый — казалось, само небо сошло на землю . Свет фар отбрасывало мне в глаза, и от напряжения они скоро начали слезиться. Если бы не ухабы и выбоины, можно было подумать, что мы в космосе летим. Алина сидела впереди между мной и Рольфом и загадочно молчала. Рольф тоже мало что изрекал, если не считать скрипучих команд: «Тут правей», — «Круто влево»,— «Не спеши, не спеши». Я думал о мясе, о тюремной решетке, о том, до каких героических размеров я вырасту в глазах Алины и что с ней сделаю, когда мы наконец доберемся до постели. По часам на приборном щитке было два ночи.

— Так, — прозвучал голос Рольфа, и я вздрогнул от неожиданности. — Здесь тормози — и гаси фары.

Мы вышли в тишину ночи и осторожно, стараясь не шуметь, закрыли дверцы. Не видно было ни зги, но я слышал недалекий шум машин на шоссе и другой еще звук, смазанный и приглушенный, — мягкое, невозмутимое дыхание тысяч моих собратьев по существованию. И обонять их я тоже мог — в воздухе висел едкий прогорклый запах фекалий, перьев и голых чешуйчатых лап; он жег мне ноздри и полз по пищеводу вниз.

— Ух ты, — сказал я шепотом. — Я их уже чую.

Рольф и Алина смутно маячили где-то сбоку. Рольф открыл багажник, и в следующий миг я почувствовал у себя в руке тяжелый лом и кусачки.

— Слушай теперь, Джим, — прошептал он, взяв меня за запястье железной хваткой и проведя чуть вперед. — Чувствуешь?

Я нащупал проволочную сетку ограды, которую он стал быстро перекусывать: чик, чик, чик.

— Это индюшачий загон, тут они днем грязь скребут. Заблудишься, иди вдоль сетки. Ты с этой стороны секцию вырежешь, Алина с запада, я с юга. Как управимся, я просигналю фонариком, и мы двери птичников настежь — вон они, птичники, большие, белые такие, приземистые, поближе подойдешь, увидишь — и выпускаем птиц. О нас с Алиной не беспокойся. Твоя задача — выпустить их побольше.

Но я беспокоился. Беспокоился обо всем на свете: вдруг ополоумевший фермер выскочит с дробовиком, автоматом Калашникова или чем они там сейчас вооружаются; вдруг Алина потеряется в тумане; а сами индейки — большие они? Злые? Ведь и когти, и клювы у них имеются, так? И что они обо мне подумают, когда я ворвусь среди ночи к ним в опочивальню?

— А когда канистры взорвутся, рви к машине прямо, понял?

Я слышал, как мечутся во сне индейки. На шоссе грузовик переключил скорость.

— Вроде понял, — прошептал я.

— И еще: оставь ключ в зажигании.

Я замялся.

— Но...

— Чтобы смыться побыстрей. — Алина стояла так близко, что я чувствовал, как она дышит мне в ухо. — В смысле, чтоб не возиться с ключами, когда тут начнется ад кромешный, согласен?

Я открыл дверь и вставил ключ в замок зажигания, не обращая внимания на предупреждающий зуммер.

— Ладно, — пробормотал я, но они уже ушли, растворились в темноте и тумане. Сердце у меня так застучало, что шорох индеек стал почти не слышен.

Это безумие, думал я, это неправильно и вредно, не говоря уж о том, что незаконно. Одно дело — лозунги малевать... Мне представился спящий в своей постели фермер-птицевод, труженик из тех, на ком зиждется Америка, глава большой семьи, взявший кредит под залог недвижимости... но потом я подумал обо всех этих невинных птицах, приговоренных к смерти, и об Алине, длинноногой и любящей, о том, как она выходила ко мне из тьмы ванной комнаты и грохота прибоя. Кусачки начали работать.

Прошло полчаса или чуть побольше, я постепенно приближался к длинным белым строениям, замаячившим впереди, и тут слева вспыхнул фонарик Рольфа. Значит, бежать к ближайшему птичнику, сбивать ломом замок, распахивать дверь и гнать в ночь стаю капризных, подозрительных птиц. Теперь или никогда; я дважды обернулся и, неуклюже пригнувшись, двинулся к птичнику. Индейки, должно быть, что-то почуяли — из-за белой стены без окон раздался бдительный гогот и шелест перьев, словно дерево зашумело под ветром. *Крепитесь, индюки,* думал я, *свободы дни близки!* Одно движение — и замок шлепнулся на землю. Кровь стучала у меня в ушах, я взялся за дверь, распахнул ее с тяжелым гулким грохотом — и вот они все здесь, индейки мои, тысячи и тысячи, укутанные в белые перья и освещенные тусклыми желтыми лампочками. Свет отражался в их рептильных глазах. Где-то залаяла собака.

Я собрал волю в кулак и с воплем ринулся в дверной проем, размахивая ломом над головой. «Ура! — кричал я, и мне вторило стократное эхо. — Вот оно пришло! Индейки, на крыло!» Тишина. Никакой реакции. Если бы не шелест перьев и не тревожно вскинутые головы, их можно было бы принять за изваяния, за пуховые подушки, они с таким же успехом могли быть уже убиты, выпотрошены и поданы на стол со сладкой картошкой, луком и всеми приправами. Собака стала лаять заливистей. Мне показалось, что я слышу голоса.

Индейки сидели на бетонном полу, волна за волной, тупые и неподвижные; ими были покрыты все стропила, насесты и возвышения, они теснились в деревянных отсеках. В отчаянии я бросился на передние сомкнутые ряды, я потрясал ломом, топал ногами и завывал, как удачливый игрок в грудную косточку, каким я когда-то был. Это сработало. Ближайшая птица крикнула, другие подхватили, и все помещение наполнилось невообразимым шумом, и теперь они зашевелились, стали падать с насестов, хлопая крыльями, гоня по полу тучи сухого помета, зерен и шелухи, затопляя бетонный пол, пока он не исчез под ними совсем. Ободренный, я опять заорал: «Йиии-хааха-ха-ха!», стал бить ломом по алюминиевым стенам, и индейки повалили в ночь сквозь распахнутую дверь.

И в этот миг черный дверной проем озарился светом, землю сотрясло мощное «бабах» канистр с бензином. *Беги!* — зазвенело у меня в голове, в крови вскипел адреналин, и я стал продираться к двери сквозь индюшачий ураган. Они были повсюду — хлопали крыльями, гоготали, визжали, в страхе опорожняли кишечник. Что-то ударило меня по ногам сзади, и вот я уже барахтаюсь среди них на полу в грязи, перьях и жидком птичьем дерьме. Я стал дорожным полотном, индюшачьим скоростным шоссе. Когти впивались мне в спину, плечи, затылок. Теперь уже в панике, задыхаясь в перьях, пыли и кое в чем похуже, я с трудом поднялся на ноги в камнепаде больших визжащих птиц и кое-как проковылял во двор. «Эй, кто там?» — взревел голос,

тут-то я и припустил.

Ну что сказать? Я прыгал через индеек, расшвыривал их ногами, как футбольные мячи, лупил и кромсал , когда они сталкивались со мной на лету. Я бежал, пока не почувствовал, что воздух прожигает мне грудь, бежал не зная куда, оглушенный, в ужасе от сознания, что в любую секунду меня может сразить выстрел. Позади бушевал огонь, окрашивая туман адским кровавокрасным заревом. Но где же забор? И машина где?

Тут я опять ощутил под собой ноги и встал как вкопанный в потоке индеек, вглядываясь в стену тумана. Что это там? Машина или нет? Вдруг я услышал, как сзади где-то заводят мотор — знакомый мотор со знакомым булькающим покашливанием в карбюраторе, — и увидел, как шагах в трехстах замигали фары. Мотор завелся, и я мог только беспомощно слушать шум удаляющейся машины. Несколько секунд я еще постоял, потерянный и заброшенный, потом побежал в темноту, не разбирая дороги, — подальше от огня, криков, лая и неутихающего бессмысленного гогота индеек.

Когда наконец-то рассвело, это едва чувствовалось, такой густой был туман. Я дошел до асфальтированной дороги — что за дорога и куда она ведет, я понятия не имел — и сел, сгорбившись и дрожа, в бурьян у самой обочины. Алина не бросит меня, я был в этом уверен — она любит меня, как я ее люблю, нуждается во мне, как я в ней нуждаюсь, — и я уверен был, что она объедет в поисках меня все проселки. Конечно, я был уязвлен, и встречаться вновь с Рольфом, мягко говоря, желания не испытывал, но по крайней мере меня не нашпиговали дробью, меня не растерзали сторожевые собаки и не заклевали до смерти разъяренные индейки. Я был весь покрыт синяками, в ушибленной во время ночного галопа ноге пульсировала боль, волосы были полны перьев, лицо и руки разрисованы порезами, царапинами и длинными потеками грязи. Я сидел, по ощущению, долгие часы, кляня Рольфа на чем свет стоит, давая волю всяким подозрениям насчет Алины и предаваясь нелестным мыслям о защитниках окружающей среды вообще, — и вот наконец услышал знакомое тарахтенье моей машины, выплывающей впереди из тумана.

За рулем с бесстрастным лицом сидел Рольф. Я кинулся на дорогу, как оборванный нищий, размахивая над головой руками и всячески выражая радость, так что он едва меня не сшиб. Алина выскочила , не дожидаясь, пока машина остановится, обвила меня руками, затолкала на заднее сиденье к Альфу, и мы поехали в наше убежище.

— Что случилось? — кричала она, как будто очень трудно было догадаться. —Где ты был? Мы ждали, сколько могли.

А я чувствовал себя обиженным, преданным, считал, что куда большего заслуживаю, чем небрежное объятие и бестолковые вопросы. Правда, рассказывая свою историю, я начал воодушевляться — они укатили в теплой машине, а я остался сражаться с индейками, фермерами и стихиями, и если это не героизм, то я уж и не знаю, что такое героизм. Я смотрел в восхищенные глаза Алины, и мне уже рисовались хижина Рольфа, глоток-другой «Джека Дэниэла», может, бутерброд с арахисовым маслом и соевым сыром, а потом постель, постель с Алиной. Рольф молчал.

У Рольфа я принял душ, выскреб из пор и складок тела индюшачий помет, хлебнул виски. В десять утра в доме все равно было темно — если когда-нибудь мир существовал без тумана, тут и намека на это не было. Когда Рольф вышел принести охапку дров, я притянул Алину к себе на колени.

— Ого, — тихо сказала она. — А я думала, ты совсем обессилел.

На ней были джинсы в обтяжку и широковатый свитер на голое тело. Я запустил под него руку, и не напрасно.

— Обессилел? — возразил я, уткнувшись лицом ей под мышку. — Черт, я же освободитель индеек, экопартизан, друг всех животных и окружающей среды.

Она засмеялась, но встала с моих колен и прошла через комнату выгля-

нуть в ослепшее окно.

— Послушай, Джим, — сказала она, — то, что мы ночью сделали, замечательно, просто замечательно, но это только начало. — Альф смотрел на нее вопросительным взглядом. На крыльце послышались шаги Рольфа, стукнули поленья. Она повернулась ко мне. — Я в том смысле, что Рольф зовет меня съездить в Вайоминг, в одно место рядом с Йеллоустонским парком...

Меня? Рольф зовет *меня*? В этих словах не было приглашения, не было множественного числа, не было и намека на то, что мы с ней сделали и что друг для друга значили.

— Зачем? — спросил я. — О чем ты говоришь?

— Там эти самые медведи гризли — всего пара медведей, по правде сказать, — выходят из парка и устраивают набеги. У мэра был доберман, так они его угробили, и народ похватался за оружие. Мы — в смысле, мы с Рольфом и еще ребята из Миннесоты — едем туда, потому что не хотим допустить, чтобы работники парка или местные жлобы их уничтожили. Медведей, в смысле.

— Вы с Рольфом, значит? — Мой тон был убийственно саркастичен.

— Да ничего между нами нет, если тебя это волнует, дело только в животных.

— Таких, как мы?

Она медленно покачала головой.

— Нет, не таких. Мы чума этой планеты, разве ты не знаешь?

Вдруг я рассвирепел. Закипел просто. Я тут шарахаюсь ночь напролет по кустам, весь в индюшачьем дерьме, и я же, выходит, чума этой планеты. Я встал.

— Нет, не знаю.

Она бросила на меня взгляд, который означал, что это не имеет ровно никакого значения, что она уже, считай, уехала, что в ее планы, по крайней мере на ближайшее время, я не вхожу и спорить тут нечего.

— Ну ладно, — она понизила голос, когда Рольф, хлопнув дверью, вошел с дровами. — Увидимся в Лос-Анджелесе через месяц, хорошо? — На ее лице появилась извиняющаяся улыбка. — Будешь мои цветы поливать?

Час спустя я опять был в дороге. Я помог Рольфу сложить дрова у камина, позволил Алине тронуть мои губы прощальным поцелуем, потом стоял на крыльце, а Рольф тем временем запер дом, усадил Альфа в свой пикап и покатил с Алиной по ухабистой грунтовой дороге. Я смотрел на них, пока свет задних фар не растворился в плывущем сером тумане, потом завел машину и затрясся по рытвинам вслед. *Через месяц*; я почувствовал внутри пустоту. Представил себе, как они с Рольфом едят йогурт и пшеничные хлопья, ночуют в мотелях, сражаются с гризли и защищают леса от вырубки. Пустота лопнула, выкинула из меня сердцевину, и мне почудилось, что я ощипан, выпотрошен и подан на стол.

Через Кальпурнию-спрингс я проехал без осложнений — ни тебе дорожных постов, ни мигалок, ни угрюмых полицейских, обыскивающих багажники и задние сиденья в поисках тридцатилетнего экотеррориста ростом выше среднего со следами индюшачьих лап на спине, — но уже свернув на шоссе к Лос-Анджелесу, я настоящий шок испытал. Вот он, мой кошмар: кругом красные огни, мигалки, и вдоль обочины выстроились полицейские машины. Я был на грани паники — еще немного, и перевалил бы через осевую, пусть догоняют,— но тут увидел впереди сложившийся, как перочинный нож, грузовик. Я сбавил скорость до сорока, потом до тридцати миль, потом встал в пробке. Что-то было рассыпано по дороге, белое что-то и плохо различимое в тумане. Поначалу я думал, с грузовика попадало — то ли рулоны туалетной бумаги, то ли стиральный порошок. Ан нет — ни то, ни другое. Шины стали проскальзывать, мигалки слепили глаза, я двигался с черепашьей скоростью и наконец увидел, что дорога покрыта перьями, индюшачьими перьями. Сугробы целые. Как метелью намело. И не только перьями, плоть там

тоже была, жирная и склизкая, красная мякоть, вдавленная в полотно дороги, брызжущая, как жидкая грязь, из-под колес машины, сплющенная широкими шинами тяжелого грузовика. Индейки. Сплошь индейки.

Мы ползли вперед. Я включил дворники, нажал кнопку «промывка стекол», и на секунду кровь пополам с водой заслонила мне вид, как ширмой, и пустота внутри стала разверзаться, пока мне не почудилось, что меня наизнанку выворачивает. Задние загудели. Из тумана выплыл полицейский и просигналил мне желтым неживым глазом фонарика — проезжай давай. Я подумал об Алине, и подступила тошнота. Вот к чему, значит, свелось все, что между нами было, — прокисшие надежды, грязное месиво на дороге. Мне хотелось выйти из машины и застрелиться, сдаться полиции, закрыть глаза и проснуться в тюрьме одетым во власяницу, в смирительную рубашку — во что угодно. Долго меня не отпускало. Я ехал. Ничего не менялось. И вдруг за грязным стеклом и серой толщей тумана — чудесное видение, золотые огни среди пустыни. Я увидел надпись БЕНЗИН/ЕДА/ГОСТИНИЦА, и рука сама легла на сигнал поворота.

Мне секунды хватило, чтобы представить себе все заведение: стандартная черепичная крыша, фальшиво-приветливые огни, густой запах жареной плоти, биг-мак, три куска темного мяса, мексиканское жаркое, чизбургер. Мотор кашлянул. Мигнули фары. Я уже не думал ни об Алине, ни о Рольфе, ни о гризли, ни об обреченных блеющих стадах, ни о массе слепых кроликов и больных раком мышей — думал только о зиянии внутри и о том, как его заполнить.

— Мясо, — сказал я вслух, словно успокаивал себя, пробудившись от дурного сна, — просто мясо.

Перевод Л. МОТЫЛЕВА

■

КАРЛО ЭМИЛИО ГАДДА

Театр

РАССКАЗ

Перевод с итальянского и вступление Н.СТАВРОВСКОЙ

Творчество Карло Эмилио Гадды — «великана Гадды» (Ф.Феллини), «несравненного Гадды» (И.Кальвино) — практически незнакомо российскому читателю. Причиной тому исключительная сложность встающих перед переводчиком задач. Гадда выработал литературную манеру, названную критикой «плюрилингвизмом». Впрочем, это лишь самое известное из множества определений; так, крупнейший литературовед Джанфранко Контини отнес Гадду к макароническим авторам и охарактеризовал его стиль как «экспрессионистический маньеризм». Суть его манеры — в сплетении в единую словесную ткань архаизмов, латинизмов, диалектальных речений (порой это контаминация различных диалектов), неологизмов, научных терминов, жаргонизмов, слов из других языков и прочая, и прочая, не говоря уж о симбиозе просторечия с высоким штилем... Но с точки зрения Гадды, его литературные пастиши — адекватный способ отображения на бумаге того гротескного пастиша, каковым видится ему мир — сумбурный, иррациональный, барочный. Соответственно, в его новеллах, романах без толку искать четко выстроенную интригу, каждое из его произведений — даже «детектив» «Пренеприятнейшее происшествие на улице Мерулана» — представляет собой череду импрессионистических зарисовок (порою Гадда их публиковал отдельно, как рассказы) — чаще сатирических, карикатурных, иногда окрашенных лиризмом; автор ухватывается за малейший повод растечься мыслью и словом по древу повествования, причем детали зачастую разрастаются настолько, что заслоняют саму картину. Рассказ «Театр» — образчик такой зарисовки, относительно «простой», пока лишь с некоторыми намеками на «плюрилингвизм»; это одна из первых проб пера Гадды, каковой, впрочем, уже присущи такие константы его стиля, как прихотливый — не в ущерб динамике и экспрессивности повествования — синтаксис и длинные ряды перечислений.

Меня накрыла тьма.

Не различить было ни Джузеппины, ни четы Бьяссонни, ни супругов Пицигони, ни даже такого важного лица, как Пешателли.

Сердце мое припустило. Я стал разбираться, что же происходит, и тут возникли скалы, по которым пробегала дрожь; они то раздувались, точно парус из муара, то сникали, будто воцарился штиль. Над скалами — несколько метров небосвода на заре с приличествующим такому случаю сапфиром, сбоку вследствие починки чуть позеленевшим.

Из-за утесов показались, вызвав всеобщий интерес, упитанный субъект и пышная особа, телеса которой сдерживались крепкою обшивкой, сплошь усыпанной стеклом.

В воздухе запахло застарелой неприязнью.

В самом деле, каждый стал отчитывать другого за дурное поведение: она,

с глазами экс-гадюки, издавала жавороночьи трели, он свирепо бормотал полнейший вздор. Сперва держались оба робковато, но довольно скоро осмелели.

Возгордившись от индигового, фиолетового, канареечного света, коим поливали их подручные электротехников, распаляемые завистью и восхищением, которые они внушали прочим, прозябающим во мраке, упиваясь собственным великолепным «я», в паузах они жадно заглатывали скудную слюну.

У него к тому же были основания гордиться золоченым шлемом и кривою серебристой саблей, звякавшей, как в раковине вилки.

Костюм на нем — персидском адмирале — весь сверкал, а хромовая обувь была вся разубрана стеклянными сокровищами; одолев Сарданапала и его опасных родственников, Агамемнона с Пигмалионом, он от возбуждения изъяснялся усеченными семисложниками с ударением на третьем слоге от конца.

Наиболее выразительные вызывали бурный чих восьми десятков человекоинструментов, каковых держал в распоряжении адмирала господин во фраке.

Дама, фараонша, тоже была разодета паче всяких чаяний.

Дюжина торчавших веерообразно жестких перьев образовывала индюшачий ореол вокруг святилища прически.

Диадемы, ожерелья, синие подглазья. Облачение цвета розы с умопомрачительными металлическими блестками, снабженное метлою-шлейфом.

Упомянувши о своих кудрях, она подробно изложила основные перипетии собственной груди, не позабыв и о душе, продемонстрировала в самых его характерных проявлениях глагол «грясти», ввернув его в причастной форме, в имперфекте, в законченном прошедшем времени, в потом давно прошедшем, но в несовершенном виде, а также предложила несколько примеров части речи, именуемой грамматиками междометием, к месту и со вкусом выбрав их из наименее употребительных в родной литературе, как-то: «увы мне!» и «ну же, ну!».

Причем все — безукоризненной колоратурой; заключительные ноты, самые высокие, звучали прямо как «и, и!» коварно заржавевшей двери, которую из вредности толкает юный хулиган.

Когда последняя вибрация последней фиоритуры наконец угасла в склепе ночи, нашим завороженным душам улыбнулся луч надежды, но адмирал, успевший отдышаться, только этого и ждал и разразился исключительно свирепыми тирадами.

Я оробел. Зато мне стало ясно, сколь серьезен его случай по сравнению с моими скромными заботами инженера-электротехника: наследование египетского трона, коему и так грозили шуры-муры пресловутой царицы Семирамиды, еще больше осложнилось вследствие честолюбивых планов Иокасты и Марии-Терезы.

Последние две обрабатывали (втайне друг от друга) знаменитую гетеру Анаксагору, дабы та в грядущую ночь полнолуния, услаждая адмирала, разделила с оным яблоко кафира, почти полностью отравленное, чем бы ввергла выдающегося человека в бедственное положение.

В конечном счета двоица на сцене вовсе разругалась; что и говорить, вели они себя довольно неприлично, обойдясь, однако, без битья майолики, в отличие от того, что происходит в дюжинном кино. Довольно быстро собирались любопытные.

Тем временем орлиное крыло, привычное к высоким слоям атмосферы, будоражило скалу, одну из главных составляющих сего внушительного образца рельефа.

Возник пожарник. Я решил, что он сейчас вмешается и скандалистов усмирит, что с помощью уместно применяемых предписанных уставом средств победитель Агамемнона им будет принужден вести себя учтивее. Но, поразмыслив, понял, что он вылез по ошибке — был, наверно, привлечен кружа-

щимся магнитным полем некоторых танцовщиц, кои казалось, силились избавиться от неудобных туфель, делая попытки скинуть их то в нашу сторону, то близ себя.

То был не персонаж шедевра, а взаправдашний пожарник, для того чтоб погасить огонь, случись в этих стенах пожар, — сейчас в театрах предусматривают все. Жаркое в городе — лишь исключение, подтверждающее правило; впрочем, роль пожарников обычно сводится к тому, чтобы усердно и организованно сдерживать толпу спасателей-любителей.

Тем временем электрики сменили освещение на ярко-апельсиновое и лимонно-желтое, так как — по сведениям, полученным и согласованным в узком кругу, — вслед за рассветом воцарился день. Они преследовали отражателями адмирала с фараоншею, круживших по подмосткам с воплями, и, ежели случалось промахнуться, украшали нимбами и вспышками пожарника.

Сбежалась уже целая толпа. Нетрудно было отличить по характерным одеяниям из набивного полотна в ней рыбарей и лучников, префектов, пехотинцев со щитами, прорицателей, ассиро-вавилонских мельников, римских легионеров, кормчих и творцов самосских ваз, мавританских лоцманов и хиромантов из Кирены, претора со свитой из трех лиц, глашатаев и фарисеев, зубодеров, токарей, вытачивающих для стульев ножки, отставных сарданапаловых министров и иных, чья нравственность была неоспорима, — уж во всяком случае, носителей месопотамской доброй воли или основателей классической культуры, чему были свидетельством многообразные покрои их одежд.

И все они пришли враз в исступление и стали ушераздирающими унисонами сопровождать созвучия этой двоицы: горланили что было сил напыщеннейшие экстравагантности, наинесусветнейшие нелепицы, не двигаясь, не глядя друг на друга, красные, распухшие, со вздувшимися венами на шеях, со сновавшими, как лифт, отростками височной кости, сложив руки и как будто бы не обращаясь ни к кому и никуда, как будто бы для них была совсем не обязательна какая-либо связь с реальным положением вещей. Каждое лицо — маска безумия — изливало голос, сколько его было, в резервуар абсурда.

«Дивно, дивно...» — доносился из соседней ложи шепоток четы Бьяссонни. Даже кавалеру Пешателли, который не дивится никогда и ничему, поскольку выдает себя за англичанина, не удалось не заразиться общим восхищением.

Громоздившийся на подиуме господин во фраке мог бы предложить свои услуги и авторитет для наведения порядка, однако он, напротив, лез из кожи вон, усугубляя суматоху, игнорируя евангельские заповеди и тот факт, что накрахмаленные его атрибуты постепенно размягчались.

За что и был наказан по заслугам: от вымачивания в кислотах ароматического ряда, жирных и амино-, в разных альбуминовых соединениях и иных азотистых субстанциях они теперь имели совсем неприличный вид.

Чтоб он пошел на все это, дирекция театра положила ему царский гонорар.

Вдруг свет разлился и вокруг меня.

Сверкающие люстры озарили самых юных горожанок, превознося мягчайшие их линии или «изысканную худобу резко очерченного плечика». У некоторых на лилейных шеях каплей крови полыхал рубин.

Их ждут подушки неизвестных мне расцветок, а теперь дух мелодрамы утоляет жажду душ их соком вечной красоты.

Я не запасся перламутровым биноклем и стал разглядывать их невооруженным глазом, благо он меня пока не подводил.

Того, что видел я, не передать: в Понкьелли в этот вечер собралась культурнейшая часть вавилонского сообщества. Внутри подковы двигались серьезнейшие господа, и безупречные манишки, прилегающие фраки, белоснежные манжеты, отрешенно-важный вид занявших самые дорогие ложи словно говорили: «Мы-то знакомы с закулисной стороною жизни! Мы — те, кто

пропускает тайные челноки мира сквозь основу, состоящую из всех этих тупых плебеев. Мы, с присущими нам знаниями и умом, деньгами и могуществом, мы позволяем гению, чтоб он нас развлекал, как шут. Поскольку это — настоящий гений». И впрямь, гурманы, почитатели и критики поздравляли друг друга. Сверху послышался призыв отведать оранжада. Ягоды из жемчуга на маслянистых, второй молодости бюстах, капли бриллиантов... Небывалая картина!

Аромат пирожных, как и прочего мучного, рождал в моем воображении картины сказочного гинецея, куда вхожи, к сожалению, лишь специфические толстоватые субъекты.

Вдалеке загрохотало — это приближался к вратам Тартара Сарданапал.

Затопотала по подмосткам куча дьяволов с картонными хвостами и покрытыми фольгою деревянными трезубцами; их бедра, точно у античных фавнов, были обернуты козлиной шкурой, ноги обтянули красные чулки. На висках торчали парочки тряпичных конусов, изображавших свойственные этим страшным духам роговые выступы.

Я их себе представлял довольно бойкими созданьями, из глаз которых брызжет извращенное лукавство, наряду с движеньями хвоста толкающее дев на самое рискованное ослушание, но в этот вечер они выглядели до предела несуразно, будто бы стремились уличить в обмане флорентийского туриста, который их запечатлел в не слишком чинных позах и утверждает, что они горазды на чудовищные непотребства.

«Подвинься, дай и мне местечко», — говорил, казалось, каждый своему собрату, когда они явились — скованные, мешкая, толкаясь, как пришедшие фотографироваться школяры.

Наверное, через какую-нибудь дверцу, за которой был служебный ход, ведущий в Тартар, тянуло холодом, и плутоническому населению было не по себе — поскольку все они косились в одну сторону, как будто бы прося: «Прикрой же поплотней!»

При этом, следует отметить, раздавался глуховатый скрежет — будто кто-то что-то тер на терке, — какового ныне добивался от своих сообщников субъект во фраке; этот экс-неистовец, казалось, наглотался валерьянки. В просторных панталонах, с малодушною улыбкой на лице и мимикой мошенника, который ощущает устремленный на него суровый, полный подозрения взгляд, он умолял всю братию вести себя благоразумнее. Особое внимание уделял теперь он медным духовым и контрабасам: вздергивая левое плечо, то опуская, то выбрасывая вперед руку, он как будто звал: «Пошли!», а правою пытался удержать от устрашающих рывков фаготы, укротить всё норовившие встать на дыбы кларнеты, скрипки и гобой. Колени его в это время выполняли гимнастические упражнения.

Позже я узнал, что все старания сии прикладывались, дабы вызвать у нас ощущение течения Ахерона.

Вносили свою лепту также газовые лампы, исправно контролируемые электриками: складывалось впечатление, будто они полоскали горло или норовили что-то выплюнуть, но тщетно. Терка же произвела на всех благоприятнейшее впечатление. «Чудо, чудо...» — приговаривали Бьяссонни.

Союз искусств... сплетение девяти муз...

Почему испытывать всего одно-единственное удовольствие?

Вот здесь — глаз видит, ухо слышит, мускулы трепещут в порыве подражания Терпсихоре. Но почему же обоняние, осязание, вкус и прочие должны присутствовать на этом пиру фаворитов обделенными?

На следующей стадии развития славной мелодрамы этот недочет будет восполнен. Для осязания — теплая ножная ванна с регулирующим краном, по желанию — массажный аппарат, весьма полезный для здоровья. Обонянию доставит радость целая фантасмагория запахов. Начиная с духа маринованных огурчиков. Польются ароматы снизу; поступление их из кухни обеспечит батарея мощных вентиляционных труб; благодаря манипулирова-

нию клапанами в зал вводиться они будут сообразно партитуре, выходить же станут через верх, как это им удобно в соответствии с небезызвестным физическим законом тяги.

Главное — единение Мельпомены и Евтерпы, главное — их союз, пусть дерзкий! Не останутся без дела Клио, Талия, Эрато и все прочие, входящие в эту чудесную команду.

Что до того, кем был ободран Марсий[1], все литературные полиции Европы вынудили его стать неуловимым.

Однако ножик божества пришелся б очень кстати.

К странным дьяволам довольно скоро примешались полные коварства алые создания с такими крыльями, какими обладали, надо полагать, ассировавилонские стрекозы; задирая выше некуда нервические ноги в блекло-розовых трико, они придали вихрю пируэтов истинно геометрическую четкость.

Тут некоторые из почтенных зрителей — из тех, кого французы именуют рамоли, — должно быть, побледнели. Ритм танца представлял собою натуральный усеченный восьмисложник: ралла лилла трилла ри — тарантелла пилигрим.

Грохот сделался вдвое неистовей, из-под земли сквозь люки повалил сернистый дым.

«Сарданапал!» — проговорила Джузеппина, охваченная объяснимым возбуждением.

Но этот развращеннейший монарх заставил себя ждать, и вскоре стало ясно почему. Измученный тревогою и угрызениями совести, преследуемый проклятием богов, весь в ледяном поту, он подъезжал верхом, но конь тащился так, как будто его ноги были шоколадные, ведомый под уздцы красавчиком слугой. Последний вообще характеризовался наилучшим образом и в вихрь событий оказался вовлечен Сарданапалом исключительно из-за своей доверчивости; в данный миг его заботили, похоже, не одни лишь вечные муки, но и то, что, не ровен час, отчебучит конь.

А царь, обмякнувший в седле, как тюк, с парализованною волей, временами взглядом умолял того, во фраке: «Придержи ты трубы, заклинаю тебя всей твоей покойною родней!»

Когда прижмет, то присмиреет самый что ни есть надменный и жестокий властелин!

Кем управляет человек во фраке? Тот скакун, которого он держит под уздцы, — крылатый гиппогриф.

Все завершилось наилучшим образом: четвероногое, как можно было догадаться, оказалось совершенно безобидным.

Я силился понять: как духу нашему удастся выбраться из этого нагромождения картона, повелителей Месопотамии, жестяных щитов, надменных ослепительных владычиц, выцветших трико, тенденциозных сведений и древних доблестных воителей, которому не видно было ни конца, ни края?

Об этом позаботился ниспосланный Всевышним ангел. «Ангел, ангел... вон, гляди...» — проговорила Джузеппина.

Посланник неба прибыл, что вполне логично, с потолка, но я его тотчас же опознал. То был не кто иной, как Карло, рассыльный нашего молочника; третьего дня я задал ему знатную головомойку — чтоб не малевал и ножиком не вырезал на стенах вдоль служебной лестницы картинки, угрожающие нравственности персонала.

Крюк, на коем Карло был подвешен, к облегчению присутствующих наконец-то опустил парнишку на пол. Карло весьма хорош собой, но в ипостаси ангела он нем (хоть с Сильвией беседует на нескольких наречиях), поэтому каденций божественного голоса, музыки высших сфер нам даже в этих, исключительно благоприятных, обстоятельствах услышать не пришлось.

Несовершенство херувимских крыльев в том, что оные всегда на удивле-

[1] В греч. мифологии — сатир, или силен, вызвавший на состязание в игре на флейте Аполлона; последний, победив, содрал с несчастного кожу.

ние стоят колом, рассекает ли носитель их прозрачные безбрежные небеса или шагает по греховным узеньким земным дорожкам, хотя общеизвестно, что все опытнейшие летуны в полете крылья расправляют, а как только сядут, складывают. А у херувима Карло крылья неподвижны, он таскает их, как ранец, и тогда, когда летает на крюке, ну хоть бы раз раскинул!

Правда, этот резвый агнец опускает занавес после второго действия, вслед за которым под полночный бой часов настанет третье.

О чем там речь, я не вполне уразумел, так как во время первой его части приключилось со мной то, чего еще ни разу не бывало пред лицом творения человеческого духа: одолела дрема!

Оркестровые бомбарды пробовали меня вырвать из нее. О, восемьдесят злодеев!

В чувство привели они меня, однако, только к часу ночи, когда снова принялись производить своими инструментами такие звуки, будто бы, охваченные страстью к истреблению, замышляли взрыв. Подумать только, все ведь как один с дипломами и все во цвете лет!

Продрав глаза свои, я им сначала не поверил. Распростершись на ковре средь райских кущ, агонизировал тот самый адмирал, что ссорился с толстухой. В энный раз пустился он перечислять серьезнейшие обвинения в ее адрес; на лицах всех присутствующих изображена была глубокая печаль.

Так продолжалось сорок пять минут — помню как сейчас, — в течение которых довелось ему продекламировать еще сто семь одиннадцатисложников и тридцать восемь пятисложников; кое-какие прозвучали дважды, некоторые исполнялись в форме фуги, скандировались на манер припева или бормотались нараспев. Неудобоваримый фрукт кафира произвел, конечно, предусмотренное действие, так что трагическая адмиральская натура впала в баритональную агонию.

Но чрезвычайно крепкое его сложение позволило нам досконально уяснить себе малейшие детали завещательных его распоряжений, прежде чем саван тьмы окутал его очи, сверкавшие отблесками стольких битв, не дав дослушать нам последнее полустишье.

Беда застала всех врасплох. Ведь смерть такого Человека — невосполнимая утрата для всего людского рода. Сжимает грудь, едва подумаешь, что завтра ровно в полдевятого продолжится торговля шинами, медикаментами, молочными продуктами, мануфактурой, стройматериалами, что с десяти возобновится котировка сахароносных, минералов и недвижимости, металлургов и механиков, электриков, текстильщиков, — а Он сейчас здесь угасает в несказанных муках! Супружеские распри, денежные затруднения, династические осложнения, вероломные наместники, шатающийся трон, Иокаста и Мария-Тереза накануне их триумфа, сомнения, каковыми полнилась великая душа, фальшивые векселя, неблагодарность главного бухгалтера!

О, доблесть! Звук простой!

Добавим: не исключено, что он пал жертвой зависти Сарданапала, ибо поговаривают, что последний — в особенности с той поры, как помер, — причиняет вред.

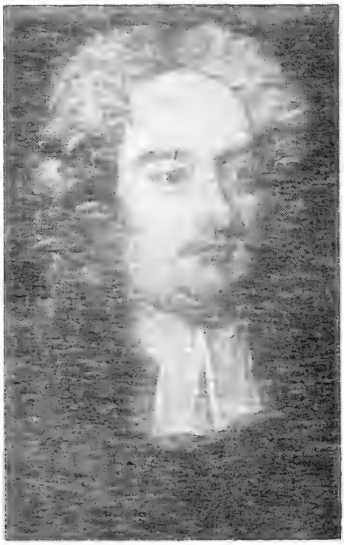
С отбытием избранной души все звуки, вспышки и окуривания той незабвенной ночи прекратились.

Господа и психопомпы[1], сжав в руках картонные номерки, принялись толкаться и пихаться, как плебеи, чтобы ухватить скорее свои шубы.

Глава пожарников (у коего на шлеме особенный плюмаж) собрал свою восьмерку, произнес пред нею речь, и все они отправились бай-бай; примеру их последовал безукоризненный отряд карабинеров-бергамасцев. К счастью, за весь этот дивный вечер жареным ни разу так и не пахнуло.

1927

[1] Проводник душ умерших в Аид.



ДЖОНАТАН СВИФТ

Когда я состарюсь...

К 250-летию со дня смерти

Перевод с английского и вступление А.ЛИВЕРГАНТА

«Когда я состарюсь» Свифт написал в 1699 г. Тридцатидвухлетнему сатирику, в то время капеллану Дублинского замка, оплота британского владычества в Ирландии, до старости было еще далеко. Еще не написаны ни «Скромное предложение», ни «Письма суконщика», ни «Путешествие Гулливера», однако созданы и «Сказка бочки», и «Битва книг», сформировался уже тот скепсис, который сам Свифт называл «sin of wit», «грех остроумия», и который дает себя знать даже в этих вроде бы легковесных изречениях.

Когда я состарюсь, то обязуюсь:

Не жениться на молодой.
Не водить дружбы с юнцами, не заручившись предварительно их согласием.
Не быть сварливым, угрюмым и подозрительным.
Не критиковать современные нравы, обычаи, а также политиков, полководцев и т. д.
Не любить детей, не подпускать их к себе.
Не рассказывать одну и ту же историю по многу раз одним и тем же людям.
Не скупиться.
Не пренебрегать приличиями.
Не относиться к молодежи с пристрастием, делать скидки на юность и неопытность.
Не обращать внимания на глупые сплетни, болтовню прислуги и т. д.
Не навязывать свое мнение, давать советы лишь тем, кто в них заинтересован.
Не пускаться в бесконечные споры, в том числе и с самим собой.
Не хвастаться былой красотой, силой, успехом у женщин и т. д.
Не прислушиваться к лести, не верить, будто меня, старика, может полюбить прелестная юная особа.
Не быть самоуверенным и самодовольным.
Не браться за исполнение всех этих обетов из страха, что исполнить их не удастся.

ЛУИС СЕРНУДА

«Молчаливый, траурный, тонкий...»

Перевод с испанского и вступление Н.ВАНХАНЕН

«Признаюсь, впервые в жизни отваживаюсь я напрямую встретиться с публикой. Странное ощущение: прежде всего потому, что поэт не предполагает наличия у него публики. Он беседует сам с собой или с кем-то, едва ли реально существующим. Правда, в наши дни круг слушателей, заслуживший уже название «меньшинство», сузился настолько, что поэту, может быть, позволительно предстать перед ним, не нарушив тем самым своего неизменного одиночества, где слышатся ему райские голоса». Так обратился к собравшимся испанский поэт Луис Сернуда перед чтением стихов. Шел неспокойный для Испании 1935 год. Тянуло дымком близкой гражданской войны, и оттого особенно странным должно было выглядеть упрямое меньшинство, готовое как ни в чем не бывало слушать стихи о любви, о поэзии, о бог весть почему печальных весенних листьях.

Дело, впрочем, не только в эпохе. Такая уж участь выпала Луису Сернуде при жизни — быть поэтом для меньшинства. Есть, наверное, два вида творческой, и особенно поэтической, судьбы. Первый: блеск, фейерверк, полет, часто обрывающийся трагически. Второй: слабое, но стойкое горение, «угрюмый, тусклый огонь» — здесь хочется сказать «терпенья», ибо словно из одного терпенья созданы обладатели таких судеб. Свое назначение они несут, как герой фильма Андрея Тарковского «Ностальгия» зажженную свечу: с отчаянием и упорством. Прикрытая ладонью, защищенная от ветра полой пальто и потому совсем уж никому не видная, свеча может погаснуть только со смертью несущего. Первые — это Пушкин, Лермонтов, Лорка. Вторые — Тютчев, Анненский, Мачадо. Луис Сернуда принадлежал ко вторым.

Рассказывая об истории создания своей основной книги «Желаемое и действительное», поэт среди прочего приводит такую семейную легенду. На его крестинах стайке слетевшихся на праздник детей по обычаю бросили горсть монет. Малыши весело кинулись собирать их, и только его маленькая сестренка осталась в стороне, робко схоронившись в углу. «Что же ты?» — удивились взрослые. «А я подожду, пока они закончат», — серьезно ответила девочка.

Эту модель поведения Сернуда, посмеиваясь, относил и к себе, добавляя: «Со временем понимаешь, что они никогда не закончат, а если и закончат, то ничего не оставят, но, увы: характер — это судьба».

Сейчас о творчестве Луиса Сернуды написаны толстые монографии. Он один из самых почитаемых испанских поэтов в США и Англии. Его собрания сочинений — стихи, эссе, критика — то и дело переиздаются в Испании, всякий раз в более расширенном составе, с новыми дополнениями. Он признан одним из крупнейших представителей так

называемого «поколения 27 года», подарившего миру творчество Гарсиа Лорки, Рафаэля Альберти, Хорхе Гильена, Висенте Алейсандре. Между тем его путь к читателю был не из легких.

«Великий поэт тайны, изысканнейший Луис Сернуда», как назвал его Гарсиа Лорка, родился в 1902 году в Севилье, в Андалусии — области, неистощимо поставлявшей стране таланты. В Севилье прошла его юность, там он закончил университет, написал первые стихи. Однако он, пожалуй, не был сильно привязан к этому городу, страдал от его отдаленности, провинциальности. Впрочем, тоскливое чувство провинциальности окружающего подчас охватывало его в самых неожиданных местах — в Мадриде, в Тулузе — и, возможно, не имело отношения к географии. В Мадрид он приехал в 1928 году, незадолго перед тем похоронив мать, а еще раньше — отца. «Молчаливый, траурный, тонкий» — таково первое впечатление от него у Висенте Алейсандре. В то время Луис Сернуда выпустил свою первую книгу, «Воздушный контур», принятую критикой весьма недоброжелательно, — воспоминание об этом навсегда осталось болезненным. Вскоре молодой поэт отправился во Францию, где его ждало место преподавателя испанского языка в Тулузском университете. «Странствия притягивали меня с детства», — напишет Сернуда позже. Мечта сбылась: странствий ему досталось в избытке. Другое его увлечение — музеи, живопись. Пусть немодно, несовременно, приехав в европейскую столицу, где царствует авангард и пышно цветут разнообразные «измы», немедленно направляться в хрестоматийные центры туристского паломничества, но для него Мадрид — это прежде всего Прадо, Париж — Лувр.

Вслед за «Воздушным контуром» выходят две небольшие поэтические книжки «Где спит забвенье» (1934) и «Молодой моряк» (1936), а затем сборник, включивший ранее опубликованные и новые стихотворения, «Желаемое и действительное» — книга, которой в дальнейшем предстоит расширяться, видоизменяться, перерабатываться и множество раз переиздаваться под тем же названием, пока не превратится она в полное собрание его стихотворений и поэм.

Вспыхнувшая в Испании гражданская война вызвала у Сернуды одно чувство — жажду быть полезным стране. Он снова в Мадриде, и его симпатии на стороне Республики. Всю жизнь чуждый идее ангажированности, «полезности» искусства, теперь он хотел одного — помочь и отчаянно надеялся: вот сейчас, не продлившись долго, конфликт разрешится, Испания выйдет из страданий обновленной и справедливой, свободной от бедности и унижений. Родина — его любовь и боль:

В тебя одну я верил,
жил мыслями твоими,
и сны мне полнит мукой
твое святое имя.

(Перевод Б.Дубина)

Известие о страшной смерти Лорки потрясает его, и как-то само собой становится ясно: нет, сейчас ничего не разрешится, надвигается глухая ночь. Друг- англичанин не без труда уговаривает его на время, совсем ненадолго, перебраться в Англию. Позже Сернуда признается: «Я был уверен, что покидаю Испанию на один-два месяца, не больше». Оказалось — навсегда. Ему предстояли годы жизни в Лондоне, Глазго, Кембридже, Нью-Йорке, Мехико, занятые преподаванием и творчеством. Умер он в 1963 году в чужих краях, так и не свидевшись с Испанией.

Как проживет без почвы
цветок, на ней взращенный?
Он вечен, день мой черный,
и горек век никчемный,
бессрочным ожиданьем
на память обреченный.

(Перевод Б.Дубина)

Его биография — история странствий. И еще — история чтения. Сернуда говорил, что книги часто заменяли ему жизнь. Это и испанская классика — Гарсиласо, Гонгора, Лопе де Вега, Кеведо, Кальдерон, и французы — Верлен, Рембо, Андре Жид, и английская поэзия, оказавшая на Сернуду огромное влияние, и философия Ницше и Шопенгауэра, и многое другое.

Но два имени повторяет он с особой настойчивостью. Это испанец Беккер и немец Гёльдерлин. Оба — романтики особого, чистого и одинокого склада. Беккер, прочитанный в детстве, привел Сернуду в поэзию, Гёльдерлин заворожил его в зрелости — Луис Сернуда один из его переводчиков на испанский язык.

Любовь и одиночество — эти две главные темы Беккера и Гёльдерлина станут основными и для Сернуды. И еще — безысходность. Думаю, трудно найти поэзию более безысходную, безутешную. Исхода нет ни в чем: ни в любви, ни в творчестве, ни в вере.

Желание и реальность не совпадают. Желание реет, поет и просит о жизни, действительность ложится на него гробовой плитой. Но может быть, явленная нам реальность — лишь видимость, а истинный мир — мир желания? Не его ли следует сберечь и сохранить? Не для того ли существует поэзия?

Почитатель и знаток культуры, Сернуда против чрезмерного «окультуривания», «олитературивания» поэтического языка. Язык не музейный экспонат, а часть мирового потока. Поэт любил приводить высказывание классика испанской поэзии Хуана Рамона Хименеса: «Пишущий так, как говорят, имеет больше шансов шагнуть в отдаленное будущее по сравнению с тем, кто предпочитает писать так, как пишут».

Его мечта — сочинить стихотворение-песню, естественную, как дыхание, чуть ли не освобожденную от слов, такую, что не привалить ее надгробным камнем реальности.

Гнет действительного, непобедимая, бессмертная природа желаемого и возникновение на их стыке некой иной реальности — та ось, вокруг которой вращается творчество Луиса Сернуды.

На склоне лет он не без удивления спросит себя, что давало ему силу жить и писать даже в полном вакууме. И сам ответит: «Поэзия; меня всегда поддерживало сознание, что я поэт. Может быть, я ошибался. Но эта ошибка подарила мне столько счастливых минут, что остальное уже не имеет значения».

Желание

Покой сентябрьской долины.
Среди тиши окрестной
падучей звездой небесной
слетает лист тополиный.

Господь тополино-звездный,
когда бы, покинув тело,
вот так же душа летела —
утешенной и бесслёзной.

Зимняя песня

Пылает, ликуя,
как небо огнями
на кромке заката.

И в сердце векуя,
туманными снами,
как сердце, объята.

Вокруг поцелуя,
как птица кругами —
крылато и свято.

***

Я был.
Как огненный столп, как серп луны по весне,
гигантский раскрытый глаз.

Искал, за желанным шел,
за всем, что приснилось мне,
пускался в который раз.

И, в гору взбираясь, пел,
недолгим светом горел,
пока не затмился свет.

И тьма сошлась надо мной,
и канул я
в дол земной.
Я жил. Я был.

Меня нет.

Осеннее

Льет, а не пожелтело,
мрамор дряхлеет глухо,
спать остается тело,
отъединясь от духа.

Призрачней тени стали,
и высоко над нами
плещут пустые дали
ангельскими крылами.

Голос в зыбучей сфере
смертного ореола.
Радости и потери
память перемолола,

всё принимая, кроме
ненависти и гнева
на огневистом сломе
облака или неба.

Терновник

Зелень вновь воскресших терний,
на холме взойдя побегом,
в дрожи воздуха вечерней
дышит пурпуром и снегом.

Сколько раз весенний вечер
ты встречал; холмы и поле
вновь придут к заветной встрече,
ты ж обманешь поневоле.

Но пока хватает света
и не давит тьма земная,
наглядись на счастье это.
Задохнись, запоминая.

О былом и минувшем

(Отрывок из поэмы «Поклонение волхвов»)

Взгляни туда, на желтый свет вечерний —
он землю охватил на косогоре
и золотится пеплом на осенних
оливах с почернелыми плодами.

Гляди, туман накатывает светлый.
Так, год за годом, наша жизнь проходит,
пока стада мы гоним по равнинам
вдоль травяного русла резвых речек.

Ночами жмемся в хижине с загоном.
В безлюдье наше гость не забредает.
Лишь изредка себе подобных встретим
в базарный день в селенье по соседству.

Какая тишь! И жаворонок молча
пересекает ясные просторы.

Но тишина, укачивая землю,
воспоминанья будит в человеке.

Давным-давно — я был в то время молод —
явился мне однажды на рассвете
престранный караван: верблюды, люди
и тусклый блеск одежд под слоем пыли.

Они спускались с гор, пройдя пустыни,
из дальних стран, где даже снег не диво,
и оттого была усталой поступь,
немой вопрос стоял в печальных взорах.

То были три царя. Еще волхвами
их, помню, звали. Праздность и богатство
так помрачили их монарший разум,
что за звездой они пустились следом,

провозглашавшей царствия иные.
Звезда-то и замри над ветхим кровом —
пригрелась там чета бездомных нищих,
младенчик хилый дан им был под утро.

И возгласы на языках нездешних
смешались с ревом, с блеяньем овечьим,
когда волхвы застыли на пороге,
впервые увидав людскую сирость.

Потом в обратный путь они пустились.
И те, с дитём, пошли своей дорогой.
Их след простыл. Никто о них не помнит.
И то сказать! Сменялись солнца, луны —

я стал старик. На рынке толковали,
что царь один по возвращеньи помер,
другой без трона стал рабом и нищим,
а третий цел, да будто бы невесел.

Искали бога и нашли, по слухам.
Да что с того? У нас и люди в редкость.
Не то что боги! Где уж их увидит
пастух, как я? Гляди, садится солнце.

Birds in the Night[1]

Французское правительство — впрочем, может быть,
и английское? —
установило памятную доску:
Лондон, Campden Town, Great College Street 8 —
в этом доме снимали комнату Верлен и Рембо,
дивная парочка.
Здесь они жили, пили, сменяли труд на блуд и наоборот —
и так несколько бестолковых недель.
На открытии не обошлось, разумеется, без посла и мэра —
усердных гонителей Рембо и Верлена при жизни.

Дом печален и беден — под стать кварталу.
Это скудная, грязненькая печаль нищеты,
ничуть не похожая на гулкую похоронную грусть бездушного достатка.

[1] «Птицы в ночи» *(англ.)* - название стихотворения Верлена.

Когда над тротуаром, совсем как при прежних жильцах,
сгущаются сумерки — воздух сер и влажен, и слышна
шарманка,
и соседи, возвращаясь с работы, кто помоложе, отправляются
потанцевать,
кто постарше — устраиваются за стойкой.

Краткой была дружба пропойцы Верлена
и бродяги Рембо — долго тянулись лишь взаимные жалобы.
И все же, осмелюсь предположить, здесь им жилось
неплохо:
по крайней мере, вдали от несносной маменьки
и докучной супруги.
Но царство свободы — не от мира сего, и жрецы его,
разорвав все путы,
в конце концов расплачиваются втридорога.

Да, гласит доска на стене, они жили здесь,
пленники своей участи: трудная дружба,
горечь разрыва, скандал. Одному —
суд и два года тюрьмы (что поделаешь, его привычки
и по сей день неприемлемы для закона и общества),
другому — одинокие мытарства, шатания по свету,
старательное бегство в мир, в его хваленый прогресс.

Молчание одного и — точно для равновесия — пустая
говорливость другого.
Рембо отталкивает карающую
руку; Верлен целует ее, мирясь с приговором.
Один зашивает золото в пояс,
другой лихо проматывает его — терпкая настойка,
женщины. Но оба
в одинаковой мере не внушают доверия властям
да и всем тем,
кто жиреет за чужой счет.

А раз так — их вправе оскорбить последняя шлюха.
Сейчас, по прошествии стольких лет,
их жизнь отщепенцев, содомия, пьянство,
глумливые строки —
все прощено; отечество горделиво поднимает на щит
оба имени —
к вящей славе Франции и ее здравомыслящего искусства.

Ни один их поступок, ни один шаг не ускользает
от внимания —
публика желает знать все в подробностях. И никого это
не пугает, никого не шокирует.

«Верлен? Ну, это, братец, сатир, чистый
сатир —
в том, что касается женщин. В полном порядке был —
не хуже нас с вами». «Рембо? Истинный католик,
дело известное».
И дальше — отрывки из «Пьяного корабля» и «Сонета гласных».
А из Верлена ничего не читают: он не в моде,
не то что другой, чьи стихи выходят в роскошных
изданиях, с кучей ошибок в тексте.
Разве что молодые стихотворцы нет-нет да и поспорят

с жаром о Верлене
где-нибудь в отдаленной провинции.
Слышат ли мертвые, что говорят о них живые?
Бог даст — нет. Бескрайняя тишина — какое благо
для тех, кто жил и умер во имя слова,
подобно Рембо и Верлену. Увы, тишина там
не избавляет от пошлых славословий здесь.
Кто-то пожелал однажды,
чтобы все человечество состояло из одной-единственной головы, —
отрубить ее, и дело с концом.
По мне — так много чести. Быть бы ему тараканом:
наступил — и готово.

■

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС

От составителя

Второй выпуск рубрики «Портрет в зеркалах» — первым, борхесовским, журнал открывал 1995 год — отведен греческому поэту Константиносу Кавафису (или, на европеизированный лад, Константину Кавафи). Нельзя сказать, чтобы он был вовсе не известен русскоязычному читателю. В 1984 г. вышла книжечка стихов Кавафиса и монография С. Ильинской о нем, позднее было несколько тонких, хотя и труднодоступных из-за малотиражности, статей Т.Цивьян и Вл.Топорова о его поэтике[1]. И все же его литературное значение оценено публикой, как мне кажется, недостаточно.

Не подменяя всего, что читатель найдет в помещенных ниже эссе, ограничусь двумя замечаниями. Автор двух крошечных сборников, сведенных уже после его смерти в небольшой томик, Кавафис сделал для новогреческой лирики то, что и полагается делать родоначальникам — позже таких называют классиками. Благодаря переводам Кавафиса, сначала — на английский (его открыл в 1920-е гг. летописец кавафисовской Александрии британский романист Эдвард Форстер, потом блестяще перевел Джон Маврогордато, а опубликовал в своем журнале «Критерион» в 30-е гг. Томас Стернз Элиот), а затем — на французский, немецкий, испанский, румынский, польский и другие языки, греческая литература вошла (вернулась) в круг мировой словесности, что фактически и признано позднейшими Нобелевскими премиями соотечественникам Кавафиса Сеферису и Элитису. Для XX века подобная роль — назову ее ролью Моисея — не уникальна, но в высшей степени характерна (а раньше мы ее едва ли и обнаружим за неимением самой «мировой литературы»); вот лишь несколько сомасштабных имен: Пессоа для Португалии, Эсприу для Катало-

[1] Следует упомянуть также и о двух публикациях стихов Кавафиса в нашем журнале («ИЛ», 1967, № 8 и «ИЛ», 1983, № 12). Кроме того, в настоящее время в издательстве «Индрик» при поддержке посольства Греции в России готовится к изданию трехтомник «Русская Кавафиана» (составитель — С.Б. Ильинская): в первый том войдет полное собрание стихотворений Кавафиса, во второй — полный (без цензурных купюр) текст монографии С.Б. Ильинской, в третий (озаглавленный «По прочтении Кавафиса») — критические и аналитические материалы, а также впечатления о Кавафисе русских авторов: Р.Якобсона, И.Бродского, В.Н.Топорова и др. (*Прим. ред.*)

нии или Борхес для Аргентины (и испаноязычной Америки в целом), Уолкотт для Вест-Индии, Уайт для Австралии или Акутагава для Японии.

Другая особенность Кавафиса относится уже не к его репутации, а к самому складу его как бы камерных стихов и к воплощенному в них пониманию поэзии и роли поэта — они, опять-таки, показательны, а может быть, и магистральны для лирики завершающегося столетия в ее наиболее значительных образцах. Возьмем ли мы Аполлинера, Клоделя или Валери, Йейтса или Унгаретти, Рильке или Стивенса, Лорку или Паса, их зрелая поэзия — в отличие от поэзии века предшествующего и даже в полемике с нею — внесубъективна и идет от более сложного, протеического представления о личности автора по направлению к своего рода драматическому театру теней либо мифологических масок «лирического героя», перекличке или сплаву в них современности и архаики, традиции и поиска. В этом смысле долг поэтов середины и второй половины XX века перед Кавафисом, уже в начале столетия нащупавшим этот путь в глухой египетской провинции на краю культурной ойкумены (а когда-то, за две тысячи лет до Кавафиса, Диодор Сицилийский причислял Александрию к «первым городам мира»), трудно переоценить, и свидетельств всемирной признательности умершему почти в безвестности греческому лирику — сегодня необозримое множество.

Выбирать из них было нелегко. Пришлось (может быть, до лучших времен и более развернутых публикаций) оставить в стороне благодарности итальянца Монтале и немца Энценсбергера, румына Баконского и испанца Сернуды, англичанина Энрайта и скончавшегося в этом году американца Меррила, поляка Зенона Кубяка и русского Льва Лосева, не говоря уж о соотечественниках, и в первую голову — о широко известном в Европе Георгосе Сеферисе... Хочу лишь напомнить об образе и мотивах поэзии Кавафиса в замечательном «Александрийском квартете» Лоренса Даррелла, без них попросту непредставимом, как непредставима без него самого литературная панорама столетия. И еще одна деталь: и сведенные здесь, и многие из только что перечисленных авторов связаны между собой и помимо данной публикации, но, осмелюсь предположить, небезотносительно к Кавафису. Связаны переводами друг друга, перекличкой в творчестве, а нередко и дружбой в жизни, составляя, при резкой поэтической индивидуальности, что-то вроде незримого родословного древа Кавафиса, как бы семью его сегодняшних символических, словесных потомков, перевоплощений или двойников.

Давно зная переводы из Кавафиса моих коллег (в том числе Евгения Солоновича, чьи переводы представлены в этом выпуске рубрики) и любя многие из них, я все же рискнул наново перевести цитаты в эссе Одена и Юрсенар сам, пользуясь доступными мне английскими, французскими и польскими переложениями. Такой способ работы — через язык-посредник — существовал, думаю, везде и всегда, практиковался он некогда и в России, да и мир узнал Кавафиса, конечно же, через английский: так его переводили Милош и Бродский. Но даже не в этом и вообще не в оправданиях тут дело (равно как и не только в естественном соображении технического свойства: чтобы словесные рисунки прозаических эссе и вкрапленных в них стихов максимально сходились, проще всего сделать их перевод одной рукой). Как ни странно, словесно сдержанные и ритмически неброские стихи Кавафиса обладают мало с чем сравнимой — я почувствовал ее на себе — привлекательностью для переводчика. Тайна этого, думаю, как раз в их недостижимой для обычного переложения «простоте», когда — при языковой недоступности подлинника — невозможно взять реванш за неизбежные переводческие измены и срывы с помощью каких-то — лексических, синтаксических, ритмических, рифменных и т.п. — эквивалентов. Я бы сказал, стихи Кавафиса не преображают язык и не выражают нечто через его посредство, а как бы говорят именно то, что говорят, причем делают это здесь и сейчас, и к тому же — с твоей помощью: ты можешь либо вобрать их в себя, заговорив ими (и тогда с тобой что-то произойдет), либо нет. По-моему, в этом и заключается дело лирики (или, если угодно, «чистой лирики»): она направлена не столько на мир вне себя (но и не внутрь языка), сколько вглубь пишущего (а потом, может быть, и читающего), изменяя его сознание и самочувствие, кристаллизуя и концентрируя его внутренний строй. Испытав такое, его не забудешь, от него не откажешься.

Посвящаю эту публикацию светлой памяти Наталии Казарцевой, без чьей настойчивости и терпения работа вряд ли была бы доведена до конца.

БОРИС ДУБИН

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС

Вмешательство богов

Май 1899

Heartily know
.....
The gods arrive
Emerson[1]

R é m o n i n . ...Il disparaîtra au moment nécessaire; les dieux interviendront.
M m e d e R u m i è r e s. Comme dans les tragédies antiques?
(Acte II, sc. i)
M m e d e R u m i è r e s. Qu'y a-t-il?
R é m o n i n . Les Dieux sont arrivés.
(Acte V, sc. x)
Alexandre Dumas, fils, L'Etrangère[2]

Должно случиться то, потом другое,
и незаметно время небольшое
пройдет (полгода или год примерно) —
и мы сочтем, что все закономерно.
Какие мы старанья ни приложим,
чтоб сделать мир на прежний не похожим,
мы лишь вконец развалим все, что сможем,
и, убедившись в этом, руки сложим.
Хаосу положить предел в итоге
возьмутся, из машин явившись, боги.
Они покончат быстро с лихолетьем,
спасая тех, неся погибель этим,
все по обыкновению исправят
и каждому приняться предоставят
за старое, и, как не раз бывало,
потом опять начнется все сначала.

[1] Сердцем знаю
.....
Появляются боги.
Эмерсон (англ.).

[2] Р е м о н е н . ...Он исчезнет в нужный момент. Вмешаются боги.
Г - ж а д е Р ю м ь е р. Как в античных трагедиях?
(Действие II, сц. i)
Г - ж а д е Р ю м ь е р. Кто это?
Р е м о н е н . Явились боги.
(Действие V, сц. x)
Александр Дюма-сын, «Незнакомка» (франц.).

Дом с садом

Февраль 1917

Люблю мечтать о загородном доме
с огромным садом — не затем, чтоб в нем
цвели цветы, росли деревья и трава
(пусть будут и они, ведь это так красиво!),
но главное, чтоб завести животных.
Семь кошек минимум: двух белоснежных
и двух как сажа черных — для контраста.
Я умного завел бы попугая
и слушал болтовню его задорную.
Что до собак — и трех бы мне хватило.
Я с удовольствием завел бы двух лошадок
и обязательно трех-четырех
милейших осликов — пусть млеют, пусть блаженство
не гаснет в их упрямых головах.

В месяце Атире

На древнем камне надпись пытаюсь разобрать.
Прочел ГОСП(ОД)НЯ ВОЛЯ. Читаю имя ЛЕВКИ(Й)
и В МЕ(СЯ)ЦЕ АТИРЕ У(С)НУЛ ПОСЛ(ЕДН)ИМ СНОМ.
ЛЕТ ОТ Р(ОЖ)ДЕНЬЯ вижу и XXVII, и значит,
он, этот самый Левкий, почил во цвете лет.
Больших усилий стоит прочесть АЛЕКСА(НДР)ИЕЦ.
Три следующих строчки изрядно пострадали,
и все же разбираю Л(Ь)ЕМ СЛ(Е)ЗЫ... СКОРБЬ Д(Р)УЗЕЙ
и ниже снова СЛЕЗЫ и В ПАМЯ(Т)И ПРЕ(БУ)ДЕТ.
Знать, все его любили, души не чая в нем.
Он в месяце Атире уснул последним сном.

Тоска в деревне

Тоска в деревне. Скучная работа
для юноши — конторщик в магазине.
Он изнывает. Остается ждать,
ждать по два, по три месяца, когда убавится
работы наконец-то
и можно будет в город поспешить
и позабавиться, предаться удовольствиям.
Тоска в деревне. Остается ждать.
Сегодня вечером в истоме он свалился на кровать,
жар юности дал волю плотской жажде,
накал прекрасный юности прекрасной.
Потом, уже во сне, прихлынет похоть,
во сне желанье примет форму, обретет телесность...

Дни 1909, 1910 и 1911 годов

Матроса с одного из островов эгейских
он сыном был. Работал в скобяной лавчонке.
Жил впроголодь, несчастный. Одевался
как нищий. На ногах худые башмаки,
в ладони въелись ржавчина и масло.

После того как лавку на замок
хозяин закрывал, нигде на огонек
не ждали юношу. Мир был к нему жесток.
Ах, если б он надеть нарядную рубашку мог,
которой столько раз в витрине любовался!
И чтоб ее купить позволил кошелек,
он торговал собой — за талер или за два отдавался.

Не думаю, что славная Александрия знала в прошлом
нежнее красоту. Увы, он не привлек
вниманья скульптора, и живописец не увековечил
его таким, каким он прежде был.
Он в лавке красоту свою калечил,
беспутством по ночам себя губил —
и скоро из него все соки выжали работа и порок.

По тавернам

По тавернам бейрутским, по борделям шатаюсь,
боль глуша, — докатился. Я бежал без оглядки
прочь из Александрии. Я не ждал от Тамида,
что меня променяет он на сына епарха
ради виллы на Ниле и дворца городского.
Я бежал без оглядки прочь из Александрии.
По тавернам бейрутским, по борделям шатаюсь,
боль глуша, — докатился. В этой жизни беспутной
мне одно помогает, как соприкосновенье
с красотой долговечной, как держащийся запах
на губах и на теле, — то, что целых два года
мой Тамид несравненный, мальчик мой, был со мною —
и не ради чертогов или виллы на Ниле.

Перевод с новогреческого ЕВГЕНИЯ СОЛОНОВИЧА

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН

Кавафис

С тех пор как ныне покойный профессор Р.М. Доукинс больше тридцати лет назад познакомил меня с поэзией К.П. Кавафиса, она оставила не один след в моих собственных стихах. Иначе говоря, я без труда перечислю вещи, которые, не зная Кавафиса, написал бы по-другому, если бы вообще написал. И это притом, что я ни слова не понимаю по-новогречески и стихи Кавафиса мне доступны лишь в английских и французских переводах.

Последний факт не оставляет меня в покое и даже несколько выводит из себя. Как, видимо, любой из пишущих стихи, я всю жизнь верил, будто в том и состоит непереходимая грань между поэзией и прозой, что проза переводу на другой язык поддается, а поэзия — никогда.

УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН (WYSTAN HUGH AUDEN, 1907-1973) — английский поэт, прозаик, драматург, эссеист, переводчик поэзии народов мира (с 1939 г. — в США, в 1946 г. принял американское гражданство), автор сборников стихов «Посмотри, чужеземец!» («Look, Stranger!», 1936), «Щит Ахилла» («The Shield of Achilles», 1955), «В честь Клио» («Homage to Clio», 1960), «Послание крестнику» («Epistle to a Godson», 1972), книги эссе «Рука красильщика» («The Dyer's Hand», 1962) и др.

Эссе Одена опубликовано в виде предисловия к томику переводов из Кавафиса, выполненных Раей Далвен («The Complete Poems of Cavafy Translated by Rae Dalven». New York, Harcourt, Brace and World, 1961), и переведено по этому изданию.

Но если можно попасть под влияние стихов, которые знаешь только по переводам, стало быть, несокрушимость упомянутой веры оказывается под вопросом.

Значит, одни стороны поэзии от исходной словесной формы отделяются, а другие — нет. К примеру, ясно, что любая связь идей через созвучия слов ограничивается языком, в котором эти слова созвучны. Только в немецком Welt[1] рифмуется с Geld[2], и лишь в английском возможен каламбур Хилэра Беллока:

When I am dead, I hope it may be said:
«His sins were scarlet, but his books were read»[3].

Когда поэт — допустим, чистый лирик — не «рассказывает», а «поет», он почти или даже вовсе не переводим. «Смысл» песенки Кэмпиона не отделить от звука и ритма именно тех слов, которые он нашел. Может быть, по-настоящему двуязычный поэт и сумеет написать на обоих доступных ему языках то, что сам сочтет одним и тем же стихотворением, но сделайте буквальный перевод каждого из вариантов на язык другого, и пусть потом хоть один читатель признает их родство.

С другой стороны, условности и приемы стихотворной техники я в силах усвоить и помимо стихов. Скажем, мне вовсе не нужно знать валлийский язык, чтобы оценить, какие возможности для моего родного английского открывают внутренние рифмы и аллитерации, которыми так богата валлийская поэзия. Вполне понимая, что в точности скопировать их не удастся, я тем не менее могу их переиначить и добиться нового, любопытного результата.

Другой практически неистребимый при переводе элемент — это образность: сравнения и метафоры. Они куда реже диктуются местным словесным обиходом, а гораздо чаще — общим для всех и каждого образом чувств.

Мне вовсе не нужно читать Пиндара в подлиннике, чтобы почувствовать красоту и точность слов, которыми он славит остров Делос:

Недвижимое чудо широкой земли,
От людей именуемое Делосом,
А от блаженных олимпийцев — Звездою,
Далеко сияющей по синей земле...[4]

С трудностями в переводе образов сталкиваешься обычно тогда, когда словарные запасы твоего языка не дают донести смысл без многословия, ослабляющего оригинал. Строку Шекспира «The hearts that spanielled me at heels»[5] не передашь по-французски, не обратив метафору в куда менее результативное сравнение.

Однако ничего из перечисленного и доступного переводу в поэзии Кавафиса не найти. К чуть расшатанному ямбу, которым он в большинстве случаев пользуется, мы давно привыкли. А самую яркую черту его стиля — смешение ученого и народного языков в словаре и синтаксисе — нам как раз и не передать. Ничего похожего на соперничество между высоким и низким наречием, возбуждавшее в Греции пылкие страсти литературного и политического свойства, в английском нет. У нас есть лишь общепринятый английский, с одной стороны, и местные диалекты — с другой. Так что если говорить об этой стилистической краске у Кавафиса, то англоязычному переводчику ее не донести, а англоязычному поэту — не извлечь из нее для себя ни малейшей пользы.

О кавафисовской образности говорить не приходится: к таким приемам, как метафора и сравнение, он не прибегает. Передает ли он сцену, событие или чувство, любая его строка — это просто сухое описание фактов без самомалейших красот.

Тогда что же в стихах Кавафиса сохраняется и волнует даже в переводе? Не умею назвать это точней, чем «склад речи», «собственный голос». Я читал его вещи в разных переводах, но Кавафиса узнавал сразу, таких стихов никто другой написать не мог. Читая их, я чувствовал: это сказано человеком, у которого свой взгляд на мир. Саморазоблачения поэта вообще, по-моему, редко поддаются переводу, но эти, без сомнения, поддавались. Так я пришел к выводу, что единственное свойство, которым наделен каждый без исключения, — это неповторимость. С другой стороны, сколько

---

[1] Мир (*нем.*).
[2] Золото (*нем.*).
[3] Надеюсь, после моей смерти скажут: «Грехи его были алы, зато книги — красны» (*англ.*; игра на одинаково звучащих словах «read» — читать и «red» — красный). (*Здесь и далее — прим. перев.*)
[4] Перевод М.Л.Гаспарова.
[5] Псы-прихвостни, лизавшие мне пятки (*англ.*) — Шекспир, «Антоний и Клеопатра», IV, 12.

ни назови у любого из нас общих черт со всеми прочими, начиная с рыжих волос и кончая английским языком, всегда найдутся десятки качеств, под эту классификацию не подпадающих. Поскольку стихотворение — составная часть той или иной культуры, перенести его в другую — нешуточный труд; но поскольку оно воплощает опыт одного-единственного человека, человеку другой культуры оценить его так же легко (или так же сложно), как любому из той культурной группы, к которой довелось принадлежать автору.

Но если главное у Кавафиса — это собственный голос, то литературному критику тут добавить нечего. Критика живет сопоставлениями, а собственный голос описать нельзя, его можно лишь воспроизвести — в виде пародии либо цитаты.

Поэтому, взявшись представить читателям книгу Кавафиса, оказываешься в непростом положении: твои слова могут иметь какой-то смысл только до тех пор, пока их не прочли, а потом они улетучиваются, и притом немедленно, — так познакомившийся на вечеринке начисто забывает, кто его представил новому другу.

Главных тем у Кавафиса три: любовь, искусство и политика, как ее понимают греки.

Кавафис был гомосексуалистом, и его любовная лирика вовсе не намерена это обстоятельство скрывать. Написанные людьми стихи подлежат моральному суду точно так же, как совершенные ими поступки, но по разным основаниям. Задача стихов, среди прочего, — нести свидетельство об истине. Мораль же свидетеля в том, чтобы дать как можно более точный отчет о случившемся и помочь суду (или читателю) судить о происшедшем по справедливости. Свидетель погрешает против морали, если утаивает правду или просто лжет, но выносить приговор — не его дело. (В искусстве, понятно, приходится различать прямую ложь и неубедительную выдумку. Выдумщик рано или поздно разоблачит себя подмигиванием или каменным лицом; напротив, прожженный враль выглядит совершенно натурально.)

Кавафис — свидетель предельно честный. Он не подчищает, не лакирует, не подхихикивает. Любовный мир его лирики — мир случайных встреч и мимолетных связей. Любовь здесь почти всегда ограничивается физической близостью, а нежность если и возникает, то, как правило, безответная. Вместе с тем, Кавафис ни за что не согласится считать свои воспоминания о минутах телесной радости несчастливыми или подточенными какой-то виной. Можно чувствовать вину перед другими, грубо с ними обойдясь или не принеся им счастья, но никто, каковы бы ни были его моральные устои, и никогда, если говорить по чести, не станет жалеть о минуте физического наслаждения как такового. Единственную критическую реплику, которая тут напрашивается, мог бы отнести к себе любой поэт. Я хочу сказать, что Кавафис, по-видимому, все-таки недооценивает редчайший подарок судьбы — свою способность преображать в несравненные строки тот опыт, который для иных может быть делом обычным, а то и опасным. Поэзия, заметил Йейтс, рождается «из самых мусорных углов души», и Кавафис как будто иллюстрирует эту мысль следующим эпизодом:

Запретное и острое блаженство
отхлынуло. Они встают с матраца
и быстро одеваются без слов.
Выходят врозь, украдкой, и по этой
неловкости на улице понятно:
им кажется, что все в них выдает,
с кем миг назад они упали рядом.
Но так и дорастают до стихов.
И завтра, позже, через годы, сила
наполнит строки, чье начало — здесь.

(«Начало»)

Но что, неудержимо хочется спросить, стало со вторым, непоэтом?

Кавафис смотрит на поэзию как аристократ. Его поэты не считают себя центром мира и не ждут всеобщего поклонения. Скорей, они — граждане небольшой республики, каждый из которых подлежит только суду сограждан, но суду нелицеприятному. Начинающий Эвмен в отчаянии, что за два года борьбы со словом сумел сложить лишь одну элегию. Феокрит его утешает:

Взяв первую ступень,
ты должен радоваться и гордиться.
Пойти так далеко — уже не мало.
Твой первый шаг — удача из удач.

Поднявшись на ступень,
ты разом возвышаешься над чернью.
Взойдя на эту первую ступень,
ты стал одним из полноправных граждан
в недостижимом городе идей.
Нелегкий труд, редчайшая удача —
стать в этом городе совсем своим.
Там посреди — Хранители законов,
которых ловкачам не обойти...

(«Первая ступень»)

Поэты у Кавафиса пишут, поскольку находят в этом радость и хотят порадовать других, но роль эстетического удовольствия никогда не преувеличивают.

Пусть вертопрахи числят вертопрахом —
в серьезном деле я всегда бывал
прилежней всех. Да и теперь считаю,
что сведущ, как никто, в трудах Отцов,
Писанье и соборных уложеньях.
При всяких трудностях,
в любых сомненьях по церковной части
Вотаниат на помощь звал меня.
Но в ссылке (пусть ее снесет злодейка
Ирина Дука!), в этой смертной скуке,
я не стыжусь, что тешу сам себя
то шестистопником, то восьмистопником, —
да, тешусь баснями про Диониса,
Гермеса или Феба, про героев
Фессалии или Пелопоннеса,
и мне под силу образцовый ямб,
не то что им, столичным грамотеям.
За тщательность я, видимо, и здесь.

(«Византийский вельможа пишет в ссылке стихи»)

Кавафиса занимает комическая сторона этих непрямых отношений поэта с миром. Если человеку действия нужны очевидцы, а без публики он и шагу не ступит, то поэт корпит в одиночестве. Конечно, он хочет, чтобы написанное им прочли, но ему нет надобности встречаться с читателями лицом к лицу: публика, на которую он больше всего надеется, — это последующие поколения, те, кто придет, когда его уже не будет. Поэтому над листом бумаги он обязан выкинуть из головы любую мысль о себе и о других, сосредоточась только на самой работе. Тем не менее поэт — не машина для стихокропания, а человек, как все другие, и живет в конкретном обществе, неся в себе его заботы и пороки. Вот каппадокиец Ферназис сочиняет поэму о царе Дарии и пытается вообразить чувства и мотивы, заставлявшие Дария поступать так, а не иначе. Неожиданно слуга прерывает его сообщением, что Рим и Каппадокия вступили в войну:

Ферназис вне себя. Вот незадача!
А он как раз надеялся, что «Дарий»
прославит автора, заткнувши рты
всем злопыхателям и критиканам.
Какой провал, какой провал расчетов!

И ладно, если бы его провал.
Но в безопасности ли мы, подумать,
в Амисе? Ненадежный городок.
А римляне в сражении ужасны.
И хватит ли нам сил, каппадокийцам,
их одолеть? Да сбыточно ли это?
И что мы можем против легионов?
Так встаньте, боги Азии, за нас!

Но и среди волнений и тревог
в нем прежний замысел растет и зреет.
Да-да, скорее — гонор и угар.
Вот чувства Дария: угар и гонор.

(«Дарий»)

За вычетом стихов, основанных на личном опыте, современный фон у Кавафиса — редкость. Несколько его вещей отсылают к истории Греции, одно-два — ко временам падения Рима, а в остальном он сосредоточен на двух периодах: эпохе греческих царств-сателлитов, основанных Римом после краха империи Александра, и эпохе Константина и его преемников, когда христианство вытесняет языческие культы и становится государственной религией.

Он оставил множество подробностей и острых зарисовок тех времен. Панэллинский мир у него поражен политическим бессильем, на политику тут смотрят с удовлетворением циника. Официально царства-сателлиты пользуются независимостью, но кто же не знает, что их правители — всего лишь марионетки Рима? Ключевые для Рима политические события, вроде битвы при Акциуме, здесь не значат ничего. Хочешь не хочешь, а подчиняться надо, так не все ли равно, как зовут хозяина?

Таких известий об исходе боя
при Акциуме здесь никто не ждал.
Но переписывать всю речь не надо.
Заменим имя. Вот, вот в этом месте,
в конце, в словах: «Освободивший римлян
от злостного губителя Октавия,
пародии на Цезаря», — теперь
напишем так: «Освободивший римлян
от злостного губителя Антония».
И все. А остальное — хорошо.

(«В городке Малой Азии»)

Иные, скажем, сириец Деметрий Сотер, вынашивают мысль вернуть своей стране былое величие, но и они вынуждены признать, что это всего лишь мечты.

Он был задет и опечален в Риме,
когда почувствовал в речах друзей,
таких же юношей из высшей знати,
при всей любезности и всем вниманье,
какими среди них был окружен
он, царский сын, наследник Селевкидов, —
почувствовал чуть скрытый холодок
к царям эллинистических провинций,
чей век прошел, а мощь свели на нет...

Вот если бы добраться до Востока,
вот если б удалось бежать из Рима...
Ах, если б снова оказаться в Сирии!
Он мальчиком оттуда увезен
и ничего уже почти не помнит,
но в мыслях он все время видел в ней
святыню, чтимую в глубинах сердца,
и образ греческой земли, картину
любимых гаваней и городов.

А что теперь?
Отчаянье и мука.
Те юноши из Рима были правы.
У наших царств, рожденных македонским
завоеваньем, будущего нет.

И пусть. А все-таки он не смирился.
Он дрался с этим, сколько было сил.
И в черном поражении одно
он вправе записать себе в заслугу:
что даже в крахе миру показал
все ту же несгибаемую стойкость.

Все остальное — призрачно и зряшно.
И эта Сирия ему чужда —
владенье Валаса и Гераклида.

(«Деметрий Сотер, 162— 150 до Р.Х.»)

Как видно по этим строкам, Кавафис — один из немногих поэтов, чьи патриотические стихи не вызывают чувства неловкости. В большинстве стихотворных выражений патриотизма невозможно отделить одно из высочайших достоинств человека — любовь к другим — от мерзейшего из человеческих пороков — коллективного ячества.

Во весь голос и на любом углу патриотические доблести превозносят обычно в тех государствах, которые предаются захвату других, скажем в Риме I в. до н.э., во Франции 1790-х гг., в Англии XIX века и в Германии первой половины XX. Для их народов любовь к своей стране подразумевает лишение других — галлов, итальянцев, индусов или поляков — права любить их собственную родину. Но и не выказывай страна особой агрессивности, подлинность любви к ней, пока она богата, могуча и пользуется всеобщим уважением, остается под вопросом. Где будет нынешний патриотизм, когда страна обнищает, утратит политический вес и поймет, что ни малейших надежд вернуться к былой славе нет? В какой бы части света ты ни жил, будущее сегодня до того ненадежно, что вопрос этот стоит перед каждым, и смысл кавафисовских стихов куда шире, чем видится на первый взгляд.

Единственное в панэллинском мире Кавафиса, что вызывает любовь и преданность, неподвластные никакому краху, это греческий язык. Его восприняли даже чужаки, и язык, сумев приспособиться к чувствам, непохожим на аттические, стал только богаче.

А надпись, разумеется, на греческом.
Но только без излишеств и прикрас —
иначе наш проконсул, всюду рыщущий
и доносящий в Рим, прочтет не то...
Теперь о главном. Проследи внимательно
(и, ради Бога, не забудь, Ситасп!),
чтоб после слов «Правитель» и «Спаситель»
изящным шрифтом выбили «Филэллин».
И хватит изощряться в остроумии
в своих «Да кто здесь грек?», «Откуда грекам
тут взяться — за Фраатами и Загром?»
Раз варвары еще похуже нашего
такое пишут, подойдет и нам.
И, кстати, не забудь, что временами
к нам забредают то софист из Сирии,
то виршеплет или другие умники...
Мы — не чужие грекам, я сказал.

(«Филэллин»)

Говоря о взаимоотношениях христиан и язычников в эпоху Константина, Кавафис не склоняется ни на чью сторону. Римское язычество — религия светская в том смысле, что ее ритуалы должны обеспечить государству и его гражданам процветание и мир. Не обязательно презирая земное, христианство, однако, всегда подчеркивало, что заботится о другом, нездешнем, почему и не сулило верным процветания при жизни и осуждало непомерную привязанность к успеху как греховную.

Поскольку же обязательные для всех граждан законы заставляли видеть в императоре божество, стать христианином значило стать законопреступником. Поэтому христиане первых четырех веков, подверженные искушениям плоти и дьявола не меньше прочих, воздерживались от мирских соблазнов. Ты мог обратиться, оставшись вором, но не мог, обратившись, остаться аристократом.

Однако после Константина шансы преуспеть в жизни открылись как раз для христиан, тогда как язычники, даже не подвергаясь преследованиям, стали общественным посмешищем.

В одном из стихотворений Кавафиса сын языческого жреца обращается в христианство.

Исус Христос, мой ежедневный труд —
ни в чем не поступаться предписаньями
твоей святейшей церкви в каждом деле
и в каждом слове, даже в каждой мысли.
Любого, кто отрекся от Тебя,
я сторонюсь. Но я сегодня в горе,
Христос, я плачу о моем отце,
который был — чудовищно сказать! —
жрецом в кумирне гнусного Сераписа.

(«Жрец Сераписа»)

Кавафис у себя дома. 1925 г.

В другом император Юлиан прибывает в Антиохию, чтобы проповедовать неоязыческую веру собственного изобретения. Но для антиохийцев христианство давно стало условным обрядом, который они исполняют, не примешивая к нему никаких чувств, а потому они просто потешаются над императором как над старой пуританской кочерыжкой.

Отречься от прелестного порядка
привычной жизни? От разнообразья
дневных утех? От дивного театра?..
Отречься от всего, чтобы прийти — к чему?

К болтанью о неподлинных богах?
К невыносимым самовосхваленьям?
К ребяческому страху перед сценой?
К нелепой важности? К потешной бороде?

Ну нет, они предпочитают «хи»,
ну нет, они предпочитают «каппу»,
сто раз «каппу».

(«Юлиан и антиохийцы»)

Надеюсь, цитаты дали некоторое представление о складе речи Кавафиса и его взгляде на жизнь. Если он оказался читателю не близок, я ума не приложу, как тут быть. Поскольку язык создается не отдельным человеком, а социальной группой, о нем удается судить, так или иначе, объективно. Поэтому, читая стихи на родном языке, можно считать выраженные в них чувства себе чужими, а восхищаться словесной формой. Но в переводе имеешь дело только с образом чувств и либо принимаешь его, либо нет. Мне повезло: я кавафисовский принял.

Перевод с английского БОРИСА ДУБИНА

ЧЕСЛАВ МИЛОШ

О Кавафисе

Греческий поэт из Александрии Константинос Кавафис родился в 1863 году и умер в 1933-м. Уроженец чуть ли не самого космополитичного города в мире, он смолоду попал в плен к французской поэзии и учился у многих ее мастеров, начиная с Теофиля Готье. Скорей всего его ждала судьба любителя, дилетанта и эпигона, если бы не стремление ограничить поэзию правилами особой эстетики, требовавшей предельной интенсивности слова даже ценой так называемого смысла. Лишь в пору зрелости ему удалось освободиться и от подобного, удесятеренного суровыми карами гнета. Он добился этого, определив собственную задачу и подойдя к ней с непривычной, внелитературной стороны: осознав себя звеном и наследником эллинской традиции. Его поэзия развилась из размышлений надо всей греческой цивилизацией как целым, будь то сам архипелаг, Азия, Африка или Италия. Он не стал жертвовать своей александрийской изощренностью, своим эклектизмом и декадентством ради пресловутого здоровья. Напротив, он сделал их орудием, тонким радаром, с чьей помощью переносился в жизнь людей разных эпох. Видимо, сильней других его влекли сумерки эллинизма и Византия. Так сложились его стихи — стихи человека, который вылавливает из старых хроник позабытые или опущенные сцены, вживается в них, говорит их голосом и в этой форме размышляет о человеке как таковом, вечносущем и неуловимом человеке, который никогда не остается тем же самым, но и не перерождается с каждым новым днем календаря.

Едва ли не любое стихотворение Кавафиса — микроновелла или микродрама. А стало быть, поэзия «нечистая», беззащитная перед упреками в прозе, поскольку и погружение в языковое творило, и высекание искр из столкновения слов, и все ритуальные конвульсии авангарда ей в равной степени чужды. Язык служит здесь для наикратчайшего изложения сути дела, а не для борьбы со смыслом, и подчиняется тем же правилам, что обиходная речь в сценическом монологе, который актеру еще предстоит произнести.

В искусстве, как известно, абсолютных новинок не бывает. Есть лишь струи в потоке — они поднимаются на поверхность, уходят в глубину, снова всплывают. Французская поэзия на переломе веков не раз пыталась преодолеть субъективность авторского «я» за счет монолога персонажей, в которых соединяются автор и герой. В англосаксонской поэзии, вообще нередко одолжавшейся у французов, почву хорошо подготовил Роберт Браунинг, введший в лирику действующих лиц. Конечно, у англосаксов это лишь одно из течений, но оно достаточно мощное (назову Эдгара Ли Мастерса) и многоликое. Будет время, кто-нибудь еще напишет о связях Браунинга и Норвида — не о взаимовлияниях, их не было, а о сходном для обоих значении истории, раздвигавшей границы авторского «я». Греко-римско-христианский мир играл для Норвида ту же роль, что Италия для Браунинга и греческое Средиземноморье для Кавафиса.

Стихи Кавафиса я узнал недавно. Слава его не сразу упрочилась в Греции и с большим опозданием пересекла границу. Я встретил в нем старого знакомого. Впрочем, радушно встречаешь каждого, кто утверждает тебя в собственной правоте, а я, среди прочего, давно стоял за выход поэта к более широким горизонтам — по образцу Кавафиса — и года с сорок третьего пробовал по мере сил пользоваться этим образцом на практике. Каюсь, я переводил Кавафиса с английских переложений. Но если учесть, как он относился к языку, то это, в сравнении с переводами других, более поглощенных словом поэтов, — грех, может быть, простительный.

Беркли, 1961

Перевод с польского БОРИСА ДУБИНА

ЧЕСЛАВ МИЛОШ (CZESŁAW MIŁOSZ, род. в 1911 г.) — польский поэт, прозаик, эссеист; родом из Литвы, с 1951 г. — в эмиграции (Франция, затем — США). Автор книг стихов «Спасение» («Ocalenie», 1945), «Город без названия» («Miasto bez imenia», 1969), «Гимн о жемчужине» («Hymn o perle», 1982), «На берегу реки» («Na brzegu rzeki», 1994), многочисленных эссе о литературе, морали и религии, переводов мировой словесности с древнейших времен до наших дней на польский язык, польской и литовской поэзии — на английский. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1980). На русском языке стихи и проза Милоша не раз публиковались в «ИЛ» (1991, № 5; 1992, № 8-9; 1995, № 1, 7) и других журналах.

Заметка о Кавафисе переведена по книге Милоша «Личные обязательства» («Prywatne obowiązki»), где сопровождается переводами стихотворений «Итака», «Дарий», «Мирес» и «В ожидании варваров».

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР

Кавафис: предисловие к знакомству

...Внешняя биография Кавафиса уместится в несколько строк. Стихи расскажут об этом существовании, с виду ограниченном повседневной рутиной контор и кафе, подозрительных улиц и погребков, замурованном в пространстве тысячекратно исхоженных маршрутов одного и того же города и, напротив, поразительно свободном во времени, чуть подробней. Можно пойти дальше и попытаться разгадать то, что искусство поэта скрупулезно зашифровало, разглядеть в тех или иных стихах его воспоминания — похожие на правду или даже взаправду подлинные... Но обращаться к стихам за уточнением биографии — значит идти вразрез с их собственно поэтическим смыслом: по-настоящему проницательный поэт не раз и не два подумает, прежде чем отправиться назад по тому пути, который привел его от более или менее смутного чувства, от более или менее мимолетного события к выверенной точности и непреложности стихотворения. Тем больше рискует сбиться с дороги комментатор поэта. Кавафис говорил и повторял, что его стихи родились из его жизни, но теперь она погребена в них — целиком и навсегда.

...Прежде всего поражает почти полное отсутствие любой восточной и даже просто левантинской живописности. То, что этот египетский грек словно не заметил арабского или мусульманского мира, вряд ли удивит всякого, кто хоть немного приобщен к Ближнему Востоку, где разные народы живут бок о бок, но скорей взаимно противостоят друг другу, чем взаимосвязаны. Ориентализм Кавафиса, тот исподволь подмешанный ко всей греческой мысли ориентализм, — в другом...

Его людные кафе, улочки, темнеющие с закатом, пользующиеся дурной славой дома, где мелькают незнакомые и подозрительные лица юношей, — лишь вехи одного нескончаемого приключения, всегдашних встреч и разлук, откуда и безупречная красота самых беглых зарисовок жизни на улице или в доме. С таким же успехом все это могло происходить в Пирее, Марселе, Алжире, Барселоне — в любом из больших городов Средиземноморья. Если не поднимать глаза к небу, чувствуешь себя едва ли не в Париже с полотен Утрилло; иная комната напоминает каморки Ван Гога с их плетеными стульями, желтыми цветочными горшками и залитыми светом голыми стенами. Но все омыто истинно греческим солнцем, отсюда легкий ветерок, прозрачность далей, загар на коже, соль, накрепко пропитавшая героев «Сатирикона», этого шедевра Греции, подаренного латыни...

«Большинство поэтов просто пишут стихи. Кроме Паламаса — у него есть и проза. А я — поэт-историк. Я не способен написать роман, не работаю для театра, но внутренний голос говорит, что задача историка мне по плечу. Только времени уже нет»[1]. Впрочем, его, может быть, никогда и не было. Кавафис всю жизнь терпеть не мог циклопических масштабов, грандиозных движений людских масс в истории и не пытался схватить существо человека в самых глубинах опыта, в изменчивости и постоянстве. Он не портретирует Цезаря, не воссоздает переплетение плоти и страсти в образе Марка Антония — он берет один эпизод из жизни первого и задумывается над переломом в судьбе второго. Его исторический подход напоминает Монтеня: свои нередко обжигающие подлинным любовным огнем примеры и сентенции он черпает из Геродота, Полибия, Плутарха. Кавафис — мастер эссеистики, ему близок XVIII век, но еще ближе античная эпоха. Намеренно или нет, он ограничивается беглым взглядом, меткой и нагой подробностью. Но в узком поле его внимания любая де-

[1] Эту реплику приводит Теодор Грива в своем предисловии к книге избранных переводов из Кавафиса (Лозанна, 1947).

МАРГЕРИТ ЮРСЕНАР (MARGUERITE YOURCENAR, 1903—1987) — бельгийская писательница, переводчица греческой поэзии, Г.Джеймса, В.Вулф, Дж.Болдуина, Ю. Мисимы, негритянских блюзов и спиричуэлс (в 1947 г. приняла гражданство США). Автор нескольких сборников новелл, многотомных мемуаров «Лабиринт мира» («Le labyrinthe du monde», I—III, 1974—1988), историко-философских романов «Воспоминания Адриана» («Mémoires d'Hadrien», 1951; рус.пер.1984), «Черная магия» («L'oeuvre au noir», 1968; в рус.пер. «Философский камень», 1984). Рассказы и эссе писательницы не раз публиковались в «ИЛ» (1991, № 7; 1995, № 1 и др.).

Печатающееся с сокращениями обширное предисловие Юрсенар к книге переводов Кавафиса, выполненных ею в соавторстве с греческим поэтом Константином Димарасом (Париж, 1958), позже включено писательницей в сборник ее эссе «При условии проверки» («Sous bénéfice d'inventaire», 1962), по второму изданию которого и сделан перевод.

© Editions Gallimard,1978

таль — на месте. Он реалист и не громоздит ни старых, ни новых теорий, отвергая и паштет из пустых обобщений, и рагу из переперченных контрастов и жирных школярских пошлостей, которые заставляли стольких людей здравого ума с отвращением отплевываться от истории.

...Поэт облюбовал в античности период, известный разве что специалистам, — те два-три века космополитического существования, которые последовали на грекоязычном Востоке за смертью Александра Македонского. Его восприятие древности не совпадает с нашим. Мы унаследовали от Рима, Возрождения и академизма XVIII столетия героизированный, классический образ Греции, беломраморную Элладу. Для нас средоточие греческой истории — афинский Акрополь. А для Кавафиса античность — это Александрия, Малая Азия, отчасти Византия — путаная вереница греческих миров, далеко уводящая от нашего так называемого золотого века и все же сохраняющая с ним живую связь. Напомню, что долгие годы мы презрительно равняли все александрийское с декадансом. Между тем именно при наследниках Александра в Александрии и Антиохии сложилась та выплеснувшаяся за стены полиса греческая цивилизация, в которой смешались дары самых разных земель и принадлежность к культуре стала важней принадлежности к народу. «Греками, — писал уже Исократ, — мы зовем не только тех, в ком течет наша кровь, но и тех, кто блюдет наши обычаи». Кавафис всем существом принадлежал к этой цивилизации койне, общедоступного языка, — к гигантской Греции, раскинувшейся далеко за пределы архипелага силой не столько завоевания, сколько проникновения, к той терпеливо возводимой и век за веком перекраиваемой общности, чьим воздействием и по сей день живет Левант моряков и торговцев...

Быть или стремиться стать греком — это судьба, и мы находим у Кавафиса всю гамму движений духа при встрече с этой судьбой — от гордости в «Эпитафии Антиоху, царю Коммагены» до иронии в «Филэллине». Его короткие стихотворения, многосоставные, как палимпсест, но сосредоточенные всего лишь на двух-трех темах — эрос, политика, искусство — и отмеченные всегдашней, смутной и абсолютно неподражаемой красотой, какую видишь в горячих глазах фаюмских портретов, с непобедимым упорством глядящих прямо на тебя, — куда меньше различаются эпохами, чем объединены атмосферой. Французу эта совершенно левантинская атмосфера стихов Кавафиса, при всех явных различиях, не может не напомнить поразительный грекосирийский Восток, каким-то шестым чувством угаданный Расином. Орест, Ипполит, Кифарес, Антиох, сам Баязет давно сроднили нас с этим воздухом утонченности и страсти, этим причудливым миром, уводящим скорее к диадохам, чем к Атридам, и не кончающимся с Османской империей. Говорит ли Кавафис о молодом, «одетом в шелка и украшенном бирюзой» ионийце последних лет дохристианской эры или о юном бродяге в репсовом костюме из «Дней 1908 года», чувствуешь то же волненье, тот же едва различимый пыл, ту же сдержанность, иными словами — ту же тайну. У сладострастия свое понятие о вечности.

Александрия... Александрия... Кажется, что Антония в кавафисовских стихах покидают даже не заступники-боги, как у Плутарха, а сам этот город, который он любил, и едва ли не сильней, чем Клеопатру. Так или иначе, Александрия для Кавафиса — существо живое и бесценное. Может быть, наиболее точное подобие такой любви — страсть парижанина, не могущего налюбоваться своим Парижем, одержимого каждой его чертой — от внешних бульваров до воспоминаний о прежнем Лувре. Но тут сходство кончается. При всех пережитых встрясках, при всем неистовстве разрушений и тяге к новшествам Париж сохранил зримые следы прошлого — у Александрии же от былого великолепия остались только имя да место. Кавафису на редкость повезло: он родился в городе, начисто лишенном величия и меланхолии развалин. Прошлое оживает здесь во всей новизне, помимо книг и без чарующих глаз посредников вроде барочной живописи или романтической поэзии, которые обычно стоят между античностью и нами. Сам факт, что вторжение ислама произошло в Александрии на восемь веков раньше, чем в Византии и Афинах, напрямую обращает Кавафиса к более древнему и богатому культурой эллинскому миру, еще не тронутому средневековой ортодоксией, а тем самым хранит и от византийского налета, несводимой печатью ложащегося нередко на греческую мысль нового времени. Он александриец в самом космополитическом и вместе с тем самом провинциальном смысле этого неверно толкуемого слова. Он со страстью любил свой суетный и шумный город, город роскошный и нищенский разом, слишком занятый заботами и утехами, чтобы грезить об улетучившемся как дым прошлом. Здесь этот до мозга костей горожанин предавался своим радостям, переживал победы и утраты, спешил по опасным следам. Он выходил на балкон развеяться, «глядя на замирающую суету мостовых и

лавок»; обитая здесь, он «наполнил свой город смыслом». Он и был, на свой лад, неповторимой жизнью Александрии. Это он выговаривал ей голосом Марка Антония.

Каждая вещь Кавафиса — это (решусь на такое слово) увековечение; каждая, отсылай она к истории или к биографии, моралистична, и эта неожиданная в современном поэте поучительность — может быть, самое смелое в его стихах. Мы так привыкли видеть в мудрости итог перегоревших страстей, что с трудом узнаем в ней самую сердцевину, самое ядро пыла, не серый пепел, а золотое сердце огня. И упорно воротим нос от не зажигающих нас аллегорий и наставлений: урока совершенства — в «Аполлонии Тианском на острове Родос», урока стойкости — в «Фермопилах», урока скромности — в «Первой ступени». Мы плохо переносим резкий перепад от нравоучений к лирике и обратно в таких шедеврах, как «Город», с его уроком смирения и вместе с тем жалобой на неспособность человека выйти за свои пределы, или «Итака» — стихи о дали и пути, но прежде всего гимн во славу опыта, предостерегающий, рискну сказать, от чар разочарованья:

Собравшись на Итаку,
молись, чтобы дорога была долгой
и щедрой на события и опыт.
Тебе ни лестригоны, ни циклопы,
ни лютый Посейдон не угрожают:
они тебе не встретятся в пути,
пока ты помышляешь о высоком
и чистым чувствам отдал дух и тело.
Тебе ни лестригоны, ни циклопы,
ни лютый Посейдон не попадутся,
пока ты их не выпестовал в сердце
и не воздвигнул сам перед собой.

Молись, чтобы дорога была долгой,
чтоб не одною летнею зарею
ты зачарованно и восхищенно
причаливал к безвестным пристаням.
Не торопись на финикийских рынках
и отбирай тончайшие товары:
кораллы, перламутр, эбен и амбру
и кружащие голову духи —
духов побольше, разных, сколько сможешь.
Гости в несчетных городах Египта
и черпай, черпай знанья мудрецов.

И ни на миг не забывай Итаку.
Твоя задача — до нее доплыть.
Но торопиться все-таки не нужно.
Пускай дорога длится год за годом,
чтоб ты достигнул острова в летах,
богатый всем, что встретил по дороге,
и не рассчитывая на Итаку.

Она дала тебе твой дивный путь.
Не будь ее, ты бы не поднял якорь.
А больше ничего она не даст.

Но и нуждою не разочарует:
ты столько видел, столько пережил,
что понимаешь, для чего Итаки.

Следить, как вызревает умудренность, как еще ощутимые в ранних стихах тревога, одиночество, разлука уступают место уравновешенности, слишком глубокой, чтобы бросаться в глаза, — зрелище захватывающее. Всегда важно знать, чем в конце концов живет тот или иной поэт — бунтом или приятием. В этом смысле стихи Кавафиса поражают полнейшим отсутствием тяжбы с жизнью. Спокойная ясность, погруженность в память как раз и придают ему такой греческий облик поэта-старца в противоположность романтическому идеалу поэта-юноши, поэта-ребенка...

Эта же несклонность к бунту позволяет Кавафису без малейшего напряжения двигаться в пределах унаследованной восточнохристианской традиции, поскольку он, конечно, поэт-христианин. Христианин, совершенно далекий как от бурь и тревол-

нений сердца, так и от аскетической строгости, но тем не менее христианин: «религия» в латинском смысле слова — это, как и «мистика», неотъемлемая часть христианского мироздания. Блаженная смерть, следующая у Клеона («Могила Игнатия»), у Мареса, у Мануила Комнина за полной наслаждений жизнью, — еще одно свидетельство смирения человека перед порядком вещей. Этот монашеский отказ на свой лад продолжает тему стоической мудрости, втайне как бы дополняя тот, казалось бы, несовместимый с нею восточный нигилизм, который зачастую примешивается к греческой мысли. И все же восточнохристианская традиция у Кавафиса — это прежде всего форма связи с жизненной средой, с окружением, для его творчества она второстепенна. Собственно мистическое начало ощутимо скорее в языческих пластах стихов, в неустанном внимании к трудам богов или демонов («нетерпеливые, неопытные смертные, мы со своими вопросами — главная забота богов»), но еще сильней — во всегдашней неразрывности для Кавафиса творчества, памяти и бессмертия, иначе говоря — в теме божественного наказа человеку. Подобную мораль вполне мог бы исповедовать современник Адриана или Марка Аврелия. Как в глубинах плоти таятся кости и сухожилия, так в стихах Кавафиса скрыта сила, неотделимая от влекущейся к утехам души. Даже под самой тонкой, воздушной формой чувствуешь твердый позвонок стоицизма.

С этим, почти гётевским, мистицизмом у Кавафиса соединяются черты поэтики, напоминающие скорее о Малларме, — эстетика тайны, умолчания, переноса... Но тайна у него не замкнута в круг языка или стиля, недоступный посвященным[1]. Поэт ни на йоту не отступает от роли, которую обычно отводят ему великие эпохи, — роли изощренного умельца; его задача — обуздать самое обжигающее и хаотическое содержание чистой и безукоризненной формой. Искусство здесь не силится превзойти жизнь ни реальностью, ни достоинством, равно как и не отгораживается от нее, запредельное для утех и славы, то бишь для пресловутого здравого смысла, перед которым оно, напротив, со смирением склоняется. Искусство и жизнь у Кавафиса служат друг другу.

Внешне бесхитростная поэтика Кавафиса упрямо и даже рискованно использует лишь самые простые выразительные средства. Он рано отказался от допотопной ораторской пышности, от еще заметной в «Итаке» лирической аффектации ради неприкрашенной мысли и своего рода чистой прозы. Его сухой и гибкий слог не насилует себя даже во имя лаконизма. Поклонники греческой старины узнают эту точеную — ни лунки, ни бугорка — поверхность, где близкому взгляду, как в иных эллинских статуях, открывается бесконечная тонкость и, не подберу лучшего слова, живость запечатленной материи...

Но, может быть, самое важное, требующее внимания и исследования у Кавафиса, — даже не стилистика, а композиция. Такое александрийское по духу сочетание ученой поэмы, уличной сценки и эротической эпиграммы достигает у него предельного и намеренного отсутствия каких бы то ни было эффектов: это единство в разнообразии и есть жизнь. Александрийскую тягу к небольшому, до мелочей продуманному стихотворению Кавафис возвел в систему. Самые длинные его вещи умещаются на двух страничках, самые короткие — в четырех-пяти строках. Страсть к огранке, с одной стороны, и к простоте — с другой, вкупе со всегдашним стремлением к краткости приводят поэта к любопытному жанру, который я, за неимением лучшего, назвала бы памяткой или пометой на полях. Подавляющая часть его неустанно шлифовавшихся трудов — всего лишь беглая и загадочная рукописная строка, штрих пером, отчеркнувший памятный и любимый абзац, листок из тетради нелюдима, криптограмма тайных расходов, может быть загадка. При всей поэтичности они сохраняют нагую прелесть записей для себя. Лучшие его вещи передают не столько опыт или мысль автора, сколько их отправную или конечную точку, пренебрегая всем, что даже у самых тонких поэтов напрямую взывает к читателю, всем, что платит невольную дань красноречию или толкованию. Самые волнующие его стихи — это, в конце концов, чуть приправленные комментарием цитаты. Но мало кто затратил столько сил, чтобы вытравить из написанного малейшие признаки литературы.

Другая неповторимо кавафисовская особенность, его редкая любовь к монологам, связана отчасти с эллинской комедией или мимом, а отчасти — и гораздо чаще

[1] Это и рождает редкое чувство ее настоящей — иначе говоря, глубоко скрытой — эзотеричности. Аллегорическая или всамделишная темнота, образ затепленной свечи или лампы в «Молитве» и «Цезарионе» уже как бы выходят за пределы стилистического украшения и даже любовной фантазии, перенося в оккультное смысловое пространство, где хочется вспомнить формулу чернокнижников «extinctis luminibus». То же самое в загадочном стихотворении «Люстра»: бестелесное пламя.

— со старыми упражнениями греков в риторике... Порой эти немудреные и вместе с тем сложнейшие стихи напоминают запутанные монологи Браунинга, только Браунинга, сменившего тона и краски живописца на сухую иглу гравера. Поэту со сценическим даром Кавафиса они дают возможность пережить чувства другого, а на него перенести свои, открывая перед сосредоточенной, а то и попросту оцепеневшей на себе мыслью пространство «игры» во всех бесчисленных значениях этого слова.

...Так разговор об искусстве привел нас к самому важному — к человеку. Что бы мы ни делали, мы снова и снова возвращаемся к тайной клеточке самопознания, крохотной и бездонной, непроницаемой и прозрачной разом, — к чистейшей (или, как сказали бы прежде, интеллектуальной) страсти. Поразительное изобилие целей и путей в конце концов складываются у Кавафиса в своего рода замкнутый лабиринт, где признание и немота, текст и комментарий, пыл и ирония, голос и отзвук до неразличимости смешиваются, а переодевание оборачивается своеобразным обнажением сути. Головокружительное множество противостоящих друг другу персонажей предстает, в конечном счете, единой личностью — вечным и неуничтожимым «я».

Афины, 1939 — Сиренчестер, Гловчестершир, 1953

Перевод с французского БОРИСА ДУБИНА

ИОСИФ БРОДСКИЙ
На стороне Кавафиса

I

Константинос Кавафис родился в Александрии (Египет) в 1863 году и умер там же семьдесят лет спустя от рака горла. Бессобытийность его жизни обрадовала бы наиболее придирчивого «из новых критиков»[6]. Кавафис был девятым ребенком в зажиточной купеческой семье, благосостояние которой стало быстро ухудшаться после смерти отца. Девяти лет от роду будущий поэт был отправлен в Англию, где у фирмы «Кавафис и сыновья» имелись отделения, и вернулся в Александрию шестнадцатилетним. Он воспитывался в греческой православной вере. Некоторое время посещал Гермес Лицеум, коммерческое училище в Александрии, но, по слухам, больше увлекался античной классикой и историей, чем искусством коммерции. Впрочем, возможно, это всего лишь клише, типичное для биографии любого поэта.

В 1882 году, когда Кавафису было девятнадцать, в Александрии произошли антиевропейские беспорядки, вызвавшие крупное (по крайней мере, в масштабах прошлого века) кровопролитие; англичане откликнулись бомбардировкой города с моря. Но поскольку Кавафис незадолго до того уехал с матерью в Константинополь, он упустил случай присутствовать при единственном историческом событии, имевшем место в Александрии на протяжении его жизни. Три года, прожитые им в Константинополе, — значительные для его формирования годы. Именно в Константинополе исторический дневник, который он вел несколько лет, был прекращен — на записи «Александр...» Вероятно, здесь он приобрел также свой первый гомосексуальный опыт. Двадцати восьми лет Кавафис впервые поступил на службу — временную — мелким чиновником в департамент орошения министерства общественных работ. Временная служба оказалась довольно-таки постоянной: он пребывал на ней еще тридцать лет, время от времени подрабатывая маклерством на александрийской бирже.

БРОДСКИЙ ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ (род. в 1940 г.) — русский поэт, прозаик, переводчик, с 1972 г. в эмиграции (с 1974 г. — в США), пишет на русском и английском языках. Автор сборников стихов «Остановка в пустыне» (1970), «Часть речи» (1974), «Новые стансы к Августе» (1983), «Урания» (1987), «В окрестностях Атлантиды» (1995), книг эссе «Меньше единицы» (1986), «Набережная неисцелимых» (1992). Лауреат Нобелевской премии по литературе (1987). После 1988 г. стихи, эссе и переводы Бродского не раз публиковались в «ИЛ», с 1995 г. он — член Общественного редакционного совета журнала.

Эссе «On Cavafy's Side» опубликовано в журнале «The New York Review of Books» (February 1977), в русском переводе Льва Лосева[a] — в парижском журнале «Эхо» (1978, № 2). Текст печатается с авторскими исправлениями и дополнениями, сделанными для публикации в «ИЛ».

Примечания, помеченные буквами, см. в конце публикации.

Кавафис знал древнегреческий и новогреческий, латынь, арабский и французский языки; он читал Данте по-итальянски, а свои первые стихи написал по-английски. Но если какие-либо литературные влияния и имели место (Эдмунд Кели в рецензируемой книге отмечает некоторое влияние английских романтиков), их следует отнести к той стадии поэтического развития Кавафиса, которую сам поэт исключил из своего «канонического свода» (по определению Э. Кели). В дальнейшем обращение Кавафиса с тем, что в эллинистические времена было известно как «мимиямбы» (или просто «мимы»[в]), и его понимание жанра эпитафий столь своеобразно, что Кели вполне прав, предостерегая нас от блужданий по Палатинской Антологии[г] в поисках источников.

Бессобытийность жизни Кавафиса была такова, что он ни разу не издал книжки своих стихов. Он жил в Александрии, писал стихи (изредка печатал их на feuilles volantes[д], брошюрками или листовками, крайне ограниченным тиражом), толковал в кафе с местными или заезжими литераторами, играл в карты, играл на скачках, посещал гомосексуальные бордели и иногда наведывался в церковь.

Каждый поэт теряет в переводе, и Кавафис не исключение. Исключительно то, что он также и приобретает. Он приобретает не только потому, что он весьма дидактичный поэт, но еще и потому, что уже с 1909—1910 годов он начал освобождать свои стихи от всякого поэтического обихода — богатой образности, сравнений, метрического блеска и рифм. Это — экономия зрелости, и Кавафис прибегает к намеренно «бедным» средствам, к использованию слов в их первичных значениях, чтобы еще усилить эту экономию. Так, например, он называет изумруды «зелеными», а тела описывает как «молодые и красивые». Эта техника пришла, когда Кавафис понял, что язык не является инструментом познания, но инструментом присвоения, что человек, этот природный буржуа, использует язык так же, как одежду или жилье. Кажется, что поэзия — единственное оружие для победы над языком — его же, языка, средствами.

Обращение Кавафиса к «бедным» определениям создает неожиданный эффект: возникает некая ментальная тавтология, которая раскрепощает воображение читателя, в то время как более разработанные образы и сравнения пленяли бы воображение или бы ограничивали его уже ими достигнутым. Исходя из этого, перевод Кавафиса — практически следующий логический шаг в направлении, в котором развивался поэт, — шаг, который и сам поэт пожелал бы сделать.

Но, возможно, ему это было не нужно: уже само по себе то, как он использовал метафору, было достаточно для него, чтобы остановиться там, где он остановился, или даже раньше. Кавафис сделал очень простую вещь. Метафора обычно образуется из двух составных частей: из объекта описания («содержания», как называет это И.А.Ричардс) и объекта, к которому первый привязан путем воображения или просто грамматики («носитель»[е]). Связи, которые обычно содержатся во второй части, дают писателю возможность совершенно неограниченного развития. Это и есть механизм стихотворения. Почти с самого начала своей поэтической карьеры Кавафис концентрируется непосредственно на «носителе», развивая и разрабатывая впоследствии его подразумеваемую зависимость от первой части метафоры, но не озабоченный возвращением к ней как к самоочевидной. «Носителем» была Александрия, «содержанием» — жизнь.

II

«Александрия Кавафиса» имеет подзаголовком «Исследование мифа в развитии». Хотя выражение «миф в развитии»[ж] было изобретено Георгием Сеферисом, «исследование метафоры в развитии» подошло бы не хуже. Миф — по существу принадлежность доэллинистического периода, и похоже, что слово «миф» выбрано неудачно, особенно если вспомнить собственное отношение Кавафиса к всевозможным избитым подходам к теме Греции: мифо- и героепроизводство, националистический зуд и т.д. — свойственные столь многим художникам слова, как соотечественникам Кавафиса, так и иноземцам.

Александрия Кавафиса — это не вполне графство Йокнапатофа, не Тильбюритаун или Спун-Ривер[з]. Это прежде всего запущенный, безрадостный мир на той стадии упадка, когда чувство горечи ослабляется привычностью разложения. В некотором отношении открытие Суэцкого канала в 1869 году сделало больше для уничтожения блеска Александрии, чем римское владычество, внедрение христианства и арабское вторжение, вместе взятые: судоходство, основа александрийской экономики, почти полностью передвинулось в Порт-Саид. Что могло восприниматься Кавафи-

сом как отдаленное эхо того момента, когда — восемнадцать веков назад — последние корабли Клеопатры ушли тем же курсом после разгрома при Акциуме.

Он называл себя историческим поэтом, и книга Кели, в свою очередь, до некоторой степени археологическое предприятие. Но мы должны при этом иметь в виду, что слово «история» равно приложимо как к национальным судьбам, так и к частным обстоятельствам. В обоих случаях оно означает память, запись, интерпретацию. «Александрия Кавафиса» — своего рода обратная археология, потому что Кели имеет дело с напластованиями воображаемого города; он продвигается с величайшей осторожностью, зная, что эти слои вполне могут быть перемешаны. Кели различает отчетливо по крайней мере пять из них: буквальный город, метафорический город, чувственный город, мифическую Александрию и мир эллинизма. Наконец, он составляет таблицу, определяющую, к какой категории относится каждое стихотворение. Эта книга столь же замечательный путеводитель по вымышленной Александрии, как книга Э.М. Форстера по Александрии реальной. (Форстер посвятил свою книгу Кавафису и был первым, кто познакомил английского читателя с Кавафисом.)

Афины. 1932 г.

Открытия Кели полезны, так же как его метод; если мы не согласны с некоторыми из его выводов, то лишь потому, что само явление было и есть обширнее, чем подразумевается этими открытиями. Понимание этого масштаба заключено, однако, в прекрасной работе Кели как переводчика. Если он чего-то не договаривает в книге, то главным образом потому, что он уже сделал это в переводе. Одно из основных свойств исторических сочинений, особенно по античной истории, — неизбежная стилистическая двусмысленность, выражающаяся либо в избыточности противоречивых сведений, либо в определенно противоречивой оценке этих сведений. Уже Геродот и Фукидид, не говоря про Тацита, звучат порой как современные парадоксалисты. Другими словами, двусмысленность неизбежно сопутствует стремлению к объективности, к которой со времен романтиков стремится каждый более или менее серьезный поэт. Мы уже знаем, что Кавафис шел по этому пути чисто стилистически; мы знаем также его страсть к истории.

На пороге столетия Кавафис достиг этого объективного, хотя и соответственно двусмысленного, бесстрастного звучания, в котором ему предстояло работать следующие тридцать лет. Чувство истории — точней, его читательские вкусы — подчинило его себе и обеспечило тоской. Человек есть продукт чтения; поэт — тем более. Кавафис в этом смысле — греческая, римская и византийская (в особенности Пселл) библиотека. В частности, он — собрание документов и надписей, относящихся к греко-римскому периоду, охватывающему последние три века до н.э. и первые четыре

после. Именно бесстрастные каденции первых и формальный пафос вторых несут ответственность за возникновение его поэтики — за эту помесь архива и эпитафии. Этот тип дикции, независимо от того, применяется ли он в «исторических» стихотворениях или в стихотворениях сугубо лирического характера, создает странный эффект подлинности, избавляя авторские прозрения и агонию от многословности, накладывая на них отпечаток сдержанности. Стандартные поэтические условности и сентиментальные клише под пером Кавафиса приобретают характер маски и оказываются столь же насыщенными, сколь и его «бедные» эпитеты.

Всегда неприятно очерчивать границы, когда имеешь дело с поэтом, но археология Кели того требует. Кели знакомит нас с Кавафисом приблизительно в то время, когда поэт обрел свой голос и свою тему. Тогда Кавафису было уже за сорок, и он составил себе определенное мнение о многом, в том числе о реальном городе Александрия, в котором он решил остаться. Кели весьма убедителен относительно трудности для Кавафиса такого решения. За исключением шести-семи не связанных между собой стихотворений, «реальный» город не появляется непосредственно в канонических 220 стихотворениях Кавафиса. Первыми выступают «метафорический» и мифический города. Это только доказывает точку зрения Кели, так как утопическая мысль, даже если, как в случае Кавафиса, обращается к прошлому, обычно подразумевает непереносимость настоящего. Чем запущенней и заброшенней место, тем сильнее желание его оживить. Что удерживает нас от утверждения, что решение Кавафиса остаться в Александрии было, так сказать, типично греческим (как, пожалуй, повиновение Року, сюда его поместившему; как повиновение Паркам), это собственное Кавафиса отвращение к мифологизированию; а со стороны читателя, возможно, также понимание, что всякий выбор есть, по существу, бегство от свободы.

Другое допустимое объяснение решению Кавафиса остаться состоит в том, что не так уж он нравился сам себе, чтобы полагать себя заслуживающим лучшего. Какими бы ни были причины, его вымышленная Александрия существует столь же живо, как и реальный город. Искусство есть альтернативная форма существования, хотя ударение здесь на «существование», так как творческий процесс не есть ни бегство от реальности, ни сублимация ее. Во всяком случае, для Кавафиса он не был сублимацией, и его трактовка «чувственного города» в целом — прямое тому доказательство.

Кавафис был гомосексуалистом, и свобода, с которой он трактовал эту тему, была передовой не только по понятиям того времени, как полагает Кели, но и по современным. Чрезвычайно мало или совсем ничего не дает соотнесение его взглядов с традиционными восточно-средиземноморскими нравами: слишком велика разница между эллинистическим миром и реальным обществом, в котором жил поэт. Если моральный климат реального города предполагал технику камуфляжа, то воспоминания о птолемеевом величии должны были вызывать своего рода хвастливое преувеличение. Ни та, ни другая стратегия не была приемлема для Кавафиса, потому что он был, прежде всего, поэтом созерцания и потому что оба подхода более или менее несовместимы с чувством любви как таковым.

Девяносто процентов лучшей лирики написано post-coitum, как и в случае Кавафиса. Каков бы ни был сюжет его стихов, они всегда написаны ретроспективно. Гомосексуальность как таковая побуждает к самоанализу сильнее, чем гетеросексуальность. Я думаю, что «гомо» концепция греха куда более разработана, чем «нормальная»" концепция: «нормальные» люди обеспечены, по крайней мере, возможностью мгновенного искупления посредством брака или других социально приемлемых форм постоянства. Гомосексуальная же психология, как и психология любого меньшинства, сильна своей нюансированностью и доводит личную уязвимость до такой степени, что происходит ментальный поворот на 180 градусов, в результате которого оборона может перейти в нападение. В некотором роде гомосексуальность есть норма чувственного максимализма, который впитывает и поглощает умственные и эмоциональные способности личности с такой полнотой, что «прочувствованная мысль», старый товарищ Т.С. Элиота, перестает быть абстрактной. Гомосексуальная идея жизни в конечном счете, вероятно, более многогранна, чем гетеросексуальная. Идея эта, рассуждая теоретически, дает идеальный повод для писания стихов, хотя в случае Кавафиса этот повод есть не более чем предлог.

То, что засчитывается в искусстве, это не сексуальные склонности, конечно, но то, что из них создано. Только поверхностный или пристрастный критик зачислит стихи Кавафиса в попросту «гомосексуальные» или сведет дело к его «гедонистическим пристрастиям». Любовные стихи Кавафиса написаны в том же духе, что и его исторические стихотворения. Ретроспективная природа автора такова, что зачастую возникает даже ощущение, что «удовольствия» — одно из наиболее часто употребля-

емых Кавафисом слов при воспоминании о сексуальных контактах — были «бедными», почти в том же смысле, как реальная Александрия, согласно Кели, была бедным остатком чего-то грандиозного. Главный герой этих лирических стихов — чаще всего одинокий, стареющий человек, презирающий свой собственный облик, обезображенный тем же самым Временем, которое изменило и столь многое другое, что было основным в его существовании.

Единственное имеющееся в распоряжении человека средство, чтобы справляться с временем, есть память; именно его исключительная, чувственно-историческая память создает своеобразие Кавафиса. Механика любви как таковая предполагает существование своего рода моста между чувственным и духовным — предположение, доводящее порою до обожествления любви, ибо идея запредельной жизни присутствует не только в наших совокуплениях, но и в наших разлуках. Как ни парадоксально, в том, что касается этой эллинской «особой любви», стихи Кавафиса, в которых лишь en passant[к] затрагиваются традиционные уныние и тоска, являются попытками (или, вернее, сознательными неудачами) воскресить тени некогда любимых. Или — их фотографиями.

Критики Кавафиса пытаются одомашнить его мировоззрение, принимая безнадежность за беспристрастность, а понимание бессмысленности всего сущего — за иронию. Любовные стихи Кавафиса следует назвать не «трагичными», но ужасающими, ибо в трагедии речь идет о fait accompli[л], в то время как ужас есть продукт воображения (безразлично куда направленного: в будущее или в прошлое). Чувство утраты у него куда острее, чем чувство обретения, просто-напросто потому, что опыт разлуки несравненно длительнее, чем пребывания вместе. Едва ли не кажется, что Кавафис был более чувственным на бумаге, чем в реальности, где чувство вины и запретности являются уже сильными сдерживающими обстоятельствами. Такие стихи, как «Прежде, чем время их изменило» или «Спрятанное», выворачивают наизнанку формулу Сузан Зонтаг «жизнь — это кино; смерть — фотография». Говоря иначе, гедонистические пристрастия Кавафиса, если таковые имелись, определялись его чувством истории, потому что история, среди всего прочего, предполагает необратимость. И наоборот, если бы исторические стихи Кавафиса не были пронизаны гедонизмом, они превратились бы в простые анекдоты.

Один из лучших примеров того, как действует эта двойная техника, стихотворение о пятнадцатилетнем Кесарионе, сыне Клеопатры, номинально последнем царе из династии Птолемеев, который был казнен римлянами в «покоренной Александрии» по приказу императора Октавиана. Как-то вечером, наткнувшись на имя Кесариона в какой-то исторической книжке, автор пускается в фантазии об этом подростке и «свободно вылепливает» его в своем сознании с «такой подробностью», что в конце стихотворения, когда Кесарион обречен на смерть, мы воспринимаем его казнь почти как изнасилование. И тогда слова «покоренная Александрия» приобретают доподлинное качество: мучительное сознание личной потери.

Не столько сочетая, сколько приравнивая чувственность к истории, Кавафис рассказывает своим читателям (и себе) классическую греческую повесть о мироправящем Эросе. В устах Кавафиса это звучит особенно убедительно более всего потому, что его стихи насыщены упадком эллинистического мира — то есть тем, что он как индивидуум представляет собой в миниатюре — или в зеркале. Словно бы от неспособности быть точным миниатюристом, Кавафис строит крупномасштабную модель Александрии и прилежащего эллинистического мира. Это — фреска, и если она выглядит фрагментарной, то отчасти потому, что отражает своего создателя; главным же образом потому, что эллинистический мир в своем надире был фрагментарен и политически, и культурно. Он начал крошиться после смерти Александра Великого, и войны, беспорядки и тому подобное раздирали его на части в течение столетий, подобно тому как противоречия раздирают на части личное сознание. Единственной силой, скреплявшей эти пестрые космополитические лоскутья, был magna lingua Graecae; то же мог сказать Кавафис и о собственной жизни. Наверное, самый раскрепощенный голос, который слышится в поэзии Кавафиса, — это та глубокая увлеченность, с которой он перечисляет прелести эллинистического образа жизни: Гедонизм, Искусство, Философию софистов и «особенно наш великий греческий язык».

III

Не римское завоевание положило конец миру эллинизма, но тот день, когда самый Рим впал в христианство. Взаимоотношения между языческим и христианским

мирами — единственная тема, недостаточно освещенная в книге Кели. Это, впрочем, понятно: сама по себе эта тема заслуживает отдельной книги. Свести Кавафиса к гомосексуалисту, у которого нелады с христианством, было бы непростительным упрощением. Ибо не уютнее чувствовал он себя и с язычеством. Он был достаточно трезв, чтобы сознавать, что пришел в этот мир со смесью того и другого в крови и что в мире, в который он пришел, то и другое смешано. Неловко он чувствовал себя не по причине того или другого, а по причине того *и* другого, так что дело было не в раздвоенности. По всей, по крайней мере, видимости он был христианин: всегда носил крест, посещал церковь в страстную пятницу и перед концом соборовался. Вероятно, и в глубине души он был христианином, но самая язвительная его ирония была направлена против одного из основных христианских пороков — благочестивой нетерпимости. Однако для нас, его читателей, важнее всего, конечно, не принадлежность Кавафиса к той или иной церкви, но то, каким образом он обращался со смешением двух религий; и подход Кавафиса не был ни христианским, ни языческим.

В конце дохристианской эры (хотя вообще-то люди, буде они осведомлены о пришествии мессии или о надвигающейся катастрофе, прибегают, ведя счет времени, к вычитанию) Александрия была доподлинным базаром вер и идеологий, включая иудаизм, местные коптские культы, неоплатонизм и, конечно же, свежепоступившее христианство. Политеизм и монотеизм были обычными предметами обсуждения в этом городе, являвшемся местонахождением первой в истории цивилизации настоящей академии — Музейон. Разумеется, противопоставляя одну веру другой, мы наверняка вырываем их из их контекста, а контекст был именно тем, что интересовало александрийцев до того дня, когда им было сказано, что пришло время выбрать что-нибудь одно. Это им не понравилось; не нравится это и Кавафису. Когда Кавафис употребляет слова «язычество» или «христианство», мы должны вслед за ним иметь в виду, что это были простые условности, общие знаменатели, тогда как смысл цивилизации сводится именно к числителю.

В своих исторических стихах Кавафис пользуется тем, что Кели называет «общественными» метафорами, то есть метафорами, основанными на политическом символизме (например, в стихотворениях «Дарий» и «Ожидая варваров»); и это вторая причина, почему Кавафис едва ли не выигрывает от перевода. Политика сама по себе есть как бы метаязык, ментальная униформа, и, в отличие от большинства современных поэтов, Кавафису на редкость хорошо удается ее расстегивать. В «каноне» семь стихотворений о Юлиане Отступнике — не так уж мало, учитывая краткость Юлианова правления (три года). Должна была быть причина, почему Кавафис так интересовался Юлианом, и объяснение Кели не выглядит убедительным. Юлиан был воспитан как христианин, но, получив трон, попытался восстановить язычество в качестве государственной религии. Хотя самое идея государственной религии выдает христианскую закваску Юлиана, действовал он методами качественно иными. Юлиан не преследовал христиан, не пытался обращать их. Он просто лишил христианство государственной поддержки и посылал своих мудрецов на публичные диспуты с христианскими священнослужителями.

Священники часто проигрывали эти устные поединки, отчасти из-за догматических противоречий в учении в то время, отчасти из-за того, что обычно бывали хуже подготовлены к дебатам, чем их оппоненты, поскольку исходили попросту из того, что их христианская догма лучше. Во всяком случае, Юлиан был терпим к тому, что он называл «галилеанизм», чью Троицу он рассматривал как отсталую смесь греческого политеизма с иудейским монотеизмом. Единственное из содеянного Юлианом, что могло бы расцениваться как преследование, это требование возвратить некоторые языческие храмы, захваченные христианами при предшественниках Юлиана, и запрет прозелитствовать в школах. «Порочащим наших богов не должно позволять учить юношей и интерпретировать произведения Гомера, Гесиода, Демосфена, Фукидида и Геродота, этим богам поклонявшихся. Пусть в своих собственных галилейских церквах они интерпретируют Матфея и Луку».

Не имея еще своей собственной литературы и в целом имея не слишком много того, что можно было бы противопоставить аргументам Юлиана, христиане нападали на самое его терпимость, с которой он относился к ним, именуя его Иродом, пугалом плотоядным, архилжецом, который с хитростию диавольскою не преследует их открыто, чтобы одурачивать простаков. Кем бы ни был, в конце концов, на самом деле Юлиан, Кавафису, по всей видимости, интересно отношение этого римского императора к проблеме. Похоже, что Кавафис видел в Юлиане человека, который пытался сохранить обе метафорические возможности, не выбирая, но создавая связи между ними, чтобы выявить лучшее в обеих. Это, конечно, рациональный подход к

духовным вопросам, но помимо всего прочего Юлиан был политиком. Его попытка была героической, если учитывать и объем проблемы, и возможные последствия. Рискуя быть обвиненными в идеализации, хочется назвать Юлиана великой душой, одержимой пониманием того, что ни язычество, ни христианство не достаточны сами по себе, взятые по отдельности: ни то, ни другое не может удовлетворить полностью духовные потребности человека. Всегда есть нечто мучительное в остатке, всегда чувство некоего частичного вакуума, порождающее, в лучшем случае, чувство греха. На деле духовное беспокойство человека не удовлетворяется ни одной философией, и нет ни одной доктрины, о которой — не навлекая на себя проклятий — можно сказать, что она совмещает и то и другое, за исключением разве что стоицизма или экзистенциализма (последний можно рассматривать как тот же стоицизм, но под опекой христианства).

Чувственный и, отсюда, духовный экстремист не может удовлетвориться таким решением, но он может уступить ему. Существенно в такой уступке, однако, не *чему*, а *что* он уступает. Понимание, что он не выбирал между язычеством и христианством, но раскачивался между ними, подобно маятнику, значительно расширяет рамки поэзии Кавафиса. Рано или поздно, впрочем, маятник постигает поставленные ему пределы. Не способный вырваться из них, маятник тем не менее ловит некоторые отблески внешнего мира, осознавая свою подчиненность и то, что направления его колебаний заданы извне и что они управляются Временем, в движении которого он участвует, но которого не определяет.

Отсюда та нота неисцелимой скуки, которая делает голос Кавафиса с его гедонистически-стоическим тремоло таким захватывающим. Еще более захватывающим он становится, когда мы осознаём, что мы на стороне этого человека, что мы узнаём его ситуацию, даже если это только в стихотворении о приспособлении язычника к благочестивому христианскому режиму. Я имею в виду стихотворение «Если действительно мертв» об Аполлонии Тианском, языческом пророке, который жил всего лет на тридцать позже Христа, был знаменит чудесами, исцелениями, не был нигде похоронен и, в отличие от Христа, умел писать.

Авторизованный перевод с английского Л.ЛОСЕВА

Примечания переводчика

[а] Идея переводить на русский язык иноязычный текст живого и, слава Богу, здорового русского поэта может показаться глупой, каламбурной и неприличной. Но подумать немного, и мы поймем, что другого пути довести до русского читателя, не владеющего английским, этот интересный очерк Иосифа Бродского и нет. Другой путь — это если бы поэт сам. Но *сам* писатель перевести не может, он может написать — возможно, и еще лучше, но нечто другое (ср., например, колоссальные расхождения русских и английских текстов в собственных переводах Набокова). Когда настоящий художник пишет законченный текст или отрывок текста на неродном языке, он делает это не только в силу обстоятельств, но и в силу литературной задачи. Толстой мог бы написать салонные разговоры в «Войне и мире» по-русски, однако он перевел их с французского только в примечаниях, да и то не все; некоторые переведены «от ред.». Как подстрочный перевод «от ред.» следует рассматривать здесь и мою работу. Статья была написана И.А.Бродским для «Нью-Йорк ревью ов букс» по поводу новой книги о Константиносе Кавафисе. Для русского читателя статья интересна прежде всего тем, что в ней с редкой последовательностью и сжатостью изложены взгляды нашего поэта на психологические, бытовые, исторические, религиозные, мифологические источники творчества. Важно, конечно, и то, что Бродский представляет нам Кавафиса, одного из крупнейших поэтов нового времени. Для русского читателя Кавафис знакомый незнакомец. Помимо внешнего сходства некоторых мотивов, мы узнаём в нем и более глубокие открытия поэзии неукрашенного слова М.А.Кузмина. Те немногие, кому посчастливилось лет 15—20 назад читать стихи редкостно талантливого Сергея Кулле, тоже догадаются о подлинном Кавафисе даже сквозь приложенные в конце статьи (в журнале "Эхо". —*Прим. ред.*) почти подстрочные (да еще с английского!) переводы стихов. Впрочем, Бродский считает, что Кавафис — редкий поэт, которому удаление от родного языка в переводе только на пользу.

[б] Американские «новые критики» (1930-е гг.), подобно русским формалистам, отрицали значение биографических данных для анализа творчества писателя.

[в] Мимиямбы — «реалистический», с элементами сатиры жанр эллинистической поэзии.

[г] Палатинская Антология — огромный, свыше 4000 стихов, но практически единственный источник греческой поэзии на протяжении средних веков, Ренессанса и вплоть до XVIII века. Все стихи Палатинской Антологии были эпиграммами (в эллинистическом смысле).

[д] Отдельные листки, листы из блокнота (*франц.*).

[е] Как ни странно, у наших теоретиков не выработана терминология для теории метафоры. Иногда (например, Ю. Левин) употребляется «прямой» перевод английских «tenor» и «vehicle» — «стержень» и «носитель». В. Раскин предлагает вместо неуклюжего «стержня» старое доброе «содержание».

[ж] Cavafy's Alexandria: Study of a Myth in Progress, by Edmund Keeley. Harvard University Press, 196 pp.

[з] Йокнапатофа — название округа у Фолкнера; Тильбюри-таун — название городка в штате Мэн у американского поэта Робинсона (Edwin Arlington Robinson, 1869—1935); Спун-Ривер — название городка, где жили обитатели кладбища, о которых говорит Эдгар Ли Мастерс (1869—1950) в «Антологии Спун-Ривер» (1915).

[и] Другая трудность для переводчика: в современном русском языке нет стилистически нейтральных разговорных синонимов громоздким «гомосексуальный», «гетеросексуальный»; имеющиеся словечки принадлежат жаргонам и имеют пейоративный характер, в отличие от общеупотребительных в современном американском «gay-straight» (ср. неразработанность терминологии для теории метафоры).

[к] Мимоходом, между прочим (*франц.*).

[л] «Свершившийся факт» — юридический термин (*франц.*).

■

ПЕТР ВАЙЛЬ
ПОРТРЕТ ГОРОДА

Мадрид — Веласкес, Толедо — Эль Греко

В ПОИСКАХ ИСПАНИИ: ОТ СОБОРА ДО ОБЕДА

Даже на моем коротком испанском веку — впервые был здесь в 1982-м — страна изменилась ощутимо и наглядно. Может быть, не так, как наше отечество, но более чем кто-либо в Западной Европе. Изнутри не взглянешь, но глаз стороннего наблюдателя теперь задает работу праздным извилинам: Испанию хрестоматийную найти куда труднее, чем раньше.

Стереотипы, по которым неизбежно пролегает маршрут любого путешествия — если ты, конечно, не первопроходец, а ты, конечно, не первопроходец, — суть сгустки человеческого опыта, концентрат исторической мудрости. Если толедская церковь Сантьяго дель Аррабаль удостоена звездочки на плане, то наверняка церковь за углом менее примечательна. Если известно, что испанцы вспыльчивы, французы бережливы, а кавказцы клановы, то любые — личные или государственные — планы надежнее строить, исходя из этого, а не из собственных впечатлений.

На туристском уровне это означает, что путеводителю надо доверять. На уровне поведения и этикета — что тебя ничто по-настоящему не застанет врасплох. На уровне геополитическом — что в принципе можно не воевать и что сам феномен войны, в сущности, есть следствие пренебрежения историко-географическими стереотипами.

Отход от таких клише повергает умы в смущение и страны в катастрофу. В наиболее доверчивых вселяет радость пионера, но горько разочаровывает потом, когда оказывается, что самостоятельно обнаруженная на окраине площадь запечатлена на всех почтовых открытках. В высоких сферах незнание или забвение прописных истин этнографии чревато кровью и горем, когда выясняется, что на чужой земле не различить крестьянина и солдата, все друг с другом в родстве и никто не боится.

«Во время путешествий всегда терзаешься страхом, что по возвращении не сможешь утвердительно ответить на вопрос, который вас ожидает: «Вы, конечно, видели?..» Почему я принужден видеть то, что видели другие? Я путешествую не с определенной целью, я не антиквар», — это заносчивые жалобы Мериме. А вот, словно специально для него, смиренное достоинство Асорина: «Жить — это видеть, как все повторяется». Похоже, таков и есть побудительный мотив всяческих поездок.

Следовать стереотипам удобно и правильно, но, кажется, еще нашему поколению придется переводить эту сентенцию из неопределенной формы в прошедшее время. Этнографические стереотипы не исчезают совсем и не то что бы решительно меняются, но размываются, и следить за этим процессом увлекательно и тревожно, как за взрослением своего ребенка.

Проблема — в скорости и густоте коммуникаций, невиданной, неслыханной и непредставимой прежде. Новизна — не количественная, а принципиальная. В этом стремительном и мощном теле-радио-газетно-кино-музыкально-товарно-туристско-компьютерном потоке исчезают и уносятся подробности, нюансы, оттенки. Как будто бы через глубины психологизма и живописные достижения портрета — по крутой параболе назад, к самому общему и оттого безошибочному — палка-палка-огуречик. Как держаться за свое, если вокруг тебя ежеминутно — чужое? И какова в наши дни доля горькой иронии в мандельштамовских строках: «Но люблю эту бедную землю, оттого что иной не видал»?

Все это к тому, что мир нивелируется, и Испанию хрестоматийную найти теперь труднее, чем раньше. Изнутри не взглянешь, но самим испанцам это, похоже, нравится — во всяком случае, тем, с которыми я об этом разговаривал. Их даже раздражали мои вопросы о господстве американских фильмов, о джинсовой униформе молодежи, о предпочтении гамбургеров вареным осьминогам и жареным почкам. Мы обедали в симпатичной мадридской семье, за тортильей (омлет с картошкой) и паэльей (родственница плова), как вдруг выяснилось, что сидевшая за столом провинциальная племянница из Валенсии ни разу в жизни не была на корриде. Она не могла поддерживать беседу, поскольку не знала ни слова по-английски и, оказывается, с акцентом объяснялась на культурном кастильском наречии, но уже решительно предпочитала дискобою быков. Я понимаю, что это мне, туристу, нужны кастаньеты и бандерильи, а им тут жить, но заботы Василия Белова делаются как-то понятнее.

Конечно, почвенничество не может быть нормой, потому что норма по определению универсальна, а человеку, взятому в массе, свойственно стремиться к норме как к равновесию. Испанцы на протяжении всей своей истории остро ощущали непохожесть на Европу как комплекс неполноценности. Вечный испанский (и русский) вопрос о со-

отношении национального и универсального, ярче всего зафиксированный в противостоянии Унануно и Ортеги, но обсуждавшийся всегда — от Сервантеса в XVI веке: «Одинокая и несчастная Испания» — до Мачадо в XX: «Мы сохраняем, соблюдая верность традициям, наше место хвостового вагона».

Я глядел из окна хвостового вагона, когда на пути между Вальядолидом и Бургосом промелькнул полустанок — кирпичная будка с вывеской: «Торквемада».

Положим, те времена совсем уж далеко, и имя Великого инквизитора с трудом вычитывается из названия железнодорожной станции, но стоит ли и в остальном так уж жалеть уходящую в небытие Испанию с мантильей и Инезильей? (Кстати, тут у Пушкина ошибка: Инезилья не ласкательное от Инессы, а пренебрежительное, что-то вроде Инески.)

Лично мне очень жалко корриду, о любви к которой я стесняюсь упомянуть в разговоре со своими интеллигентными знакомыми в Испании. Жалко этой редкой сырой эмоции, апелляции не к напластованиям культуры, а напрямую к спинному мозгу, но я могу понять, что спинной мозг валенсийской племянницы подобным образом реагирует в дискотеке. Да и что делать испанской провинциалке на мадридской Пласа-де-Торос, где разносят по трибунам шотландское виски «Катти Сарк», справа сидят две японки, следящие за ареной через объективы своих «Минольт», а в спину тычутся колени кровожадной немки, ничего не понимающей и недовольной, похоже, тем, что в корриде применяется только холодное оружие.

Ловлю себя на стариковской интонации: нет, когда я впервые приехал в Испанию, все представало иным. В бодегах было меньше алюминия и больше чеснока. Вино наливали из бочек и пыльных бутылей, и я день не мог отмыть пятно от капнувшей на руку черной малаги. Копченые окорока по-прежнему свисают с потолка по всей стране, но больше напоминают муляжи: как если бы в средневековой скульптуре существовал натюрморт. Хочется самобытности, пропахшей хамоном и ахо — так приятно произносить эти по-русски звучащие слова: ветчина и чеснок. И заряжаешься злобой Константина Леонтьева: «Всеобщая, истинно проклятая жизнь пара, конституции, равенства, цилиндра и пиджака».

Знаменитые слова «Нет больше Пиренеев!» триста лет назад были произнесены преждевременно — Пиренеи срыты только после Франко. Тогда повод был вполне серьезен: испанский престол заняли Бурбоны, но тогда не было телевидения и звукозаписи — лишь при Бурбоне нынешнем, короле Хуане Карлосе, нашлись средства для преодоления горной гряды, и Испания, придержанная на несколько десятилетий франкистским правлением, влилась в поток «обыкновенной общеевропейской рационалистической пошлости» (тот же Леонтьев), по-другому — в семью народов.

Ничего не поделаешь: все самое хорошее и самое плохое содержится в слове «общее». Франко удержал страну в стороне не только от мировой войны, но и от мировой цивилизации. Но сейчас Мадрид уже блестящая столица, ничуть не уступающая Парижу и Лондону: шумная, суетливая и деловая. И в последний раз я с трудом примечал тут знаки воспетой испанскими прозаиками и поэтами flema castiliana — кастильской флегмы, без толку озирался по сторонам в поисках тех замечательных праздных людей, показавшихся мне такими родными и близкими в первый приезд сюда: группками стоящих на углах, в светлых теннисках и черных брюках с просторной мотней, с постоянным выражением готовности к выпивке, закуске, драке.

НАТУРА В РАМЕ

Выручает Толедо. Если произнести «Испания», перед умственным взором практически непременно встанет одно из двух, впрочем, скорее, и то и другое — Севилья и Толедо. Даже если обладатель умственного взора не был ни там, ни там. То есть: либо фламенко, Инезилья, маха полуобнаженная, коррида и всяческая кумпарсита; либо — аутодафе, гофрированный воротник, Сид, замковые ворота и всяческое идальго. Однако если учесть, что даже в нынешней Испании андалусцев могут вслух назвать «эмигрантами» — не только в снобистской Барселоне, но и на севере, и даже в Кастилии, — то понятно, что «правильная», «образцовая» Испания — это Толедо.

Так, собственно, было всегда: шло словно состязание — как пышнее назвать Толедо. «Слава» и «свет» — Сервантес; «сердце» — Лопе де Вега; «каменный свиток испанской истории» — Бедекер. Киото Испании, Александрия Испании, Лхаса Испании, Помпеи Испании....

Все уподобления достаточно основательны, но в Киото есть метро, в Александрии нет александрийцев, а в Лхасе никто не бывал. Помпеи — это похоже, и примерно на том же расстоянии от города произошло извержение — Мадрида. Когда на «роковом рубеже испанской судьбы» (Ортега) Филипп II перенес столицу на 71 километр к северу, в Толедо пошел процесс консервации. Событие и явление естественные, потому что места на скале в излучине Тахо хватало только для того города, какой есть, и не столько Толедо захирел в тени Мадрида, сколько Мадрид разросся как раз потому, что Толедо расти было некуда.

Поразительно, как совпадает нынешний облик города с гравюрами XVI века. Вид с юга, с окружной дороги из-за реки, — одно из тех зрелищ, которые вызываешь из запасников памяти для успокоения перед сном, об-

водя гаснущим глазом панораму: слева, с запада, от монастыря Сан-Хуан, к барочной иезуитской церкви и мавританским башням, к мощной готике кафедрала и, наконец, к диснейлендовским шпилям Алькасара.

Но и при смене общего плана на крупный все остается как было во времена Эль Греко. По данным хроник, самая сердцевина Толедо заморозилась еще после Реконкисты, и там действительно сейчас заблудиться так же легко, как в каком-нибудь марокканском лабиринте. Мне, во всяком случае, удавалось. И не только мне, и не только сейчас. Сохранилось свидетельство посла Марокко в XVII веке, который нашел улицы Толедо слишком узкими. Суперхристианский оплот испанского католичества оказался более мусульманским, чем мусульманские города. И так во всем: Толедо всегда на пределе, на острие, живая гипербола и гротеск. Как Эль Греко. Правда, защитил Толедо все-таки именно католицизм: в то время как старинные испанские города рушились под ударами строительного бума 60-х (чудовищные предприятия Корбюзье и его последователей), Франко не позволил тронуть церковные центры — Сантьяго и Толедо.

Стоит чуть отойти в сторону от толчеи возле кафедрала и на площади Сокодовер — и погружаешься в то, что обещает миф города и путеводитель по нему. Бродишь один по пустынному Толедо, без фальшивых клинков и подлинных сластей. Впрочем, это феномен всеобщий. Турист ленив и нелюбопытен; в пяти минутах от пражского Карлова моста — средневековая глухомань, в пяти кварталах от Сан-Марко — ренессансная пустыня. Но в безлюдной Венеции жутко только в туман, а в Толедо — всегда. Тут неуютно и дико. Когда спускаешься от кафедрала к реке, противоположные стороны улиц едва ли не соприкасаются крышами у тебя над головой, а сами улицы невзначай превращаются в лестницы. Страшно тесен этот город, узок в плечах и бедрах. Грандиозный собор виден лишь с дистанции протянутой руки и оттого предстает в странном, искаженном ракурсе — такими, что ли, видел святых Эль Греко?

Обращаешься к святыням стереотипов, которые здесь сложились так же давно, как и в других славных городах мира, но не обновлялись за последние триста лет: чем знаменит был город? Сталь, шелк, керамика. Марципаны и перепелки. Самый правильный кастильский язык. Образцовые идальго. Один персонаж Лопе де Веги говорит, что он хотел бы любить, как толедец. «Лучшие женщины, мечи и айва» — расхожая молва. «Толедо на всю Испанию славится примерными женщинами, у которых ум счастливо сочетается с красотой» — Сервантес.

Вот кто выпадает из производства толедских клише — автор Дон Кихота. Со страниц его «Назидательных новелл» встает совсем иное место — разгульное, жизнерадостное, полнокровное. Раблезианство Сервантеса в новеллах заметнее, чем в его знаменитой книге, а вместо рыцарского романа за этими сюжетами встает плутовской жанр. И из пяти обязательных достопримечательностей Толедо, перечисленных в «Высокородной судомойке», лишь одно имеет отношение к церкви — современный гид предложит обратную пропорцию, настаивая на «заповеднике монастырей».

Только в таком, сервантесовском, видении города коренится увлечение им блистательными испанцами XX столетия. В 23 году Бунюэль основал «Орден Толедо», назначив себя гроссмейстером, а Лорку, Альберти и Дали — рыцарями. Условия посвящения: «Чтобы быть рыцарем Ордена, надо безоговорочно восхищаться Толедо, пить ночи напролет и бесцельно шататься по городу. Тот, кто предпочитает ложиться рано, становится в лучшем случае офицером Ордена». Анналы бунюэлевской затеи показывают, что Дали был понижен в звании. Что он нарушил? Мало пил? Рано ложился? Скорее всего, проявлял недостаточный восторг, чуя несоответствие толедского мифа своему, который он уже начинал творить. Члены Ордена обедали в «Посада-де-ла-Сангре» — таверне, описанной Сервантесом и мало изменившейся за четыре столетия, но разрушенной в гражданскую войну. Тогда же развалился и Орден, не говоря о физической гибели одного из рыцарей, расстрелянного возле другого, его родного, города.

И хотя все единодушно признают, что юмор и вообще веселость — не товар в Толедо, что-то ведь усматривали здесь Сервантес и его лихие наследники? Да и вообще: женщины, марципаны, перепелки — все это вряд ли суровость и монастырь. И вот тогда, погружаясь в истоки толедского мифа, приходишь к выводу, что Толедо — город и легенда — это Эль Греко.

К счастью, именно в нью-йоркском Метрополитен-музее находится эль-грековский «Вид Толедо», и я провел перед картиной в общей сложности больше времени, чем перед любой другой. Точность подробностей в этом пейзаже неимоверная, притом что прихотливость фантазии в размещении объектов поразительная. Как и в изображении святых, Эль Греко передавал дух, а не букву. Старую Варшаву после второй мировой войны восстанавливали по картинам Беллотто, но подобная попытка с эль-грековским Толедо окончилась бы буквальным обвалом. Однако творение художника и не имеет отношения к реальному населенному пункту. Пламенная готика Эль Греко к концу его жизни — а «Вид Толедо» как раз из поздних работ — доходит до условности: в «Снятии пятой печати» явственно просматривается декоративность Матисса. Подобно тому знатоку лошадей, который назвал рыжую кобылу вороным жеребцом, потому что смотрел в суть вещей, Эль Греко воспроизводил суть города такой, какой она ему

представлялась. И поиск пейзажного сходства в «Виде Толедо» так же безнадежен, как поиск сходства портретного в «Вознесении».

Куда важнее, что тугой, напряженный, взвинченный настрой эль-грековских картин определил отношение к месту приложения его сил. И символом экстатического испанского христианства Толедо стал благодаря не столько архиепископскому престолу и обилию монастырей, сколько — особенно для века безбожников и агностиков — благодаря галерее святых Эль Греко. Автор первой большой работы о художнике Мануэль Коссио в начале века выдвинул теорию о том, что живописец был второразряден, пока не слился с Толедо. Но уже в 36 году Казандзакис увидел солдат из «Эсполио» и «Святого Мартина» в солдатах Франко, выживших после осады толедского Алькасара: «Я чувствовал себя блуждающим внутри эль-грековской картины». Встречное движение тут несомненно, и когда современный автор называет Толедо «возвышенным, красивым, суровым, печальным и несколько бескровным» — все это принятые эпитеты для персонажей Эль Греко.

Они и есть взаимные персонажи — художник и город. Трудно найти большую степень соавторства — столько они сделали друг для друга. В данном случае можно говорить, что они *сделали друг друга.*

Даже если это звучит снобистски, скажу: «Погребение графа Оргаса» можно смотреть по-настоящему только в церкви Санто-Томе. Там и тогда — чем дольше глядишь, тем острее ощущаешь — становишься соучастником чуда. Вроде бы почти Хальс или даже Репин, «Заседание Государственного совета». Но — иное одушевление. Тоже горожане, знать, но из другого мира, другого не по времени и месту, а по духу. Можно себе позволить обывательское предположение: практик, рационалист и сибарит Эль Греко гнал напряженную «духовку» для душевной компенсации?

Не было ни такого города, как в «Виде Толедо», ни таких его жителей, как в «Погребении». Пусть все приятели графа Оргаса носили черные костюмы и белые воротнички, пусть стригли и помадили бороды и усы у одного парикмахера, но как им удалось — всем! — быть стройными и худыми?

Гений рыщет где хощет и что хощет творит — в том числе в области архитектуры и анатомии. Теперь такой город есть — не был, а именно есть, — потому что имидж Толедо уже незыблем, если уж его не сумели поколебать столетия беспрестанных идеологических ревизий. В этом смысле можно говорить о портрете города, а не о его пейзаже, примиряя историческую несуразицу жанровым смещением.

Толедо стоит в Испании отдельно и одиноко — так, как поставил его и как сам стоит в мировом искусстве Эль Греко.

РАМА ДЛЯ НАТУРЫ

Я продолжаю поиски Испании «настоящей» — от собора до обеда — и, описывая спираль от Толедо через полуафриканские города Андалусии во главе с несравненной европейской Севильей, через отрывающуюся центробежными силами этнополитики Каталонию с вечно оторванной Барселоной, через Страну басков с не понятным никому языком и обожаемой всем миром бухтой Сан-Себастьяна, через дикую зеленую Галисию с истинным оплотом католицизма в Сантьяго-де-Компостела, через розовые миражи Саламанки и Сеговии с населением из туристов, — оказываюсь в 71 километре от Толедо. Испания переместилась сюда, на плато у подножия Гуадаррамы — в Мадрид.

Собора, великого собора, в этом городе нет, что невероятно для Испании, покрытой большими славными кафедралами: в Бургосе, Леоне, Сантьяго, Сарагосе, том же Толедо, да устанешь перечислять, пока не отдохнешь на столице. Что до обеда — он есть, и самый вкусный в стране, один из вкуснейших в Европе. Я даже не о ресторанах, а о еде в забегаловках и на улицах: жареные кальмары, почки в хересе, моллюски немыслимых конфигураций и все прочие tapas — закуски, в образцы которых тычешь пальцем и получаешь в маленьких тарелочках со стаканом вальдепеньяса. Слюноотделение непрерывно в этом городе и даже при воспоминании о городе, лучше не продолжать. Первое, что я увидел, впервые попав в Мадрид и выйдя на центральную площадь Пуэрта-дель-Соль, — «Museo de Jamon». «Музей ветчины» оказался закусочной, не лучше и не хуже других. Но вывеска была богаче и изобретательней.

Таков стиль Мадрида, виртуоза нарядного обрамления, несравненного мастера фасадов, — это столичное умение, как и манера говорить с важностью о пустяках, что хорошо видно по диалогам в мадридских книгах Камило Хосе Селы. Что угодно может считать закомплексованная (на ленинградский манер) Барселона, но главный — не просто административно столичный, а главный по всем статьям и по сути — город Испании, конечно, Мадрид. Сейчас это очевидно, но только сейчас. Еще лет двадцать назад считалось, что здесь, кроме визита в Прадо, нечего делать. На протяжении столетий тут было принято ругать все: грязь, шум, жителей, климат («Воздух Мадрита так сух и резок, что большая часть здешних жителей умирает от болезни легких» — это фантастическое наблюдение принадлежит автору «Писем об Испании» В.Боткину: к вопросу о бездумности использования стереотипов).

Сейчас Мадрид — настоящий соперник Парижа, Рима и Лондона по насыщенности жизни, а по живости едва ли не превосходящий их. Движение, la movida, раскручивается здесь тогда, когда даже в Риме и

Париже оно затихает. Я видел, как компания друзей в воспетом Хемингуэем «Sobrino do Botin» («один из лучших ресторанов в мире») в полночь жарко обсуждает выбор супа.

Столь же по-столичному серьезно отношение к спорту. Меня, с моей убогой сотней испанских слов и неуклюжей жестикуляцией приняли в разговор на трибуне стадиона «Бернабеу» как равного — потому что я смог назвать линию нападения мадридского «Реала» конца 50-х годов. А как мне не помнить ту грандиозную команду, когда это были первые иностранные имена, которые я запомнил в таком обилии и помню до сих пор: Копа, Дель Соль, ди Стефано, Пушкаш, Хенто. Привираю: Пушкаша я в детстве знать не мог, Пушкаша, убежавшего из Венгрии в 56-м, у нас не упоминали.

Мадрид занимался пустяками, пока великие города испанской истории лелеяли свое великое историческое прошлое. Время идет на пользу только таким выскочкам, бескомплексным парвеню, эклектическим городам. Города стильные либо музеевеют, либо коробят эстетическое чувство (что бы мы ни понимали под этим) позднейшими добавками с претензией на современность. А эклектические гиганты легко переносят любые удары судьбы, по принципу «молодца и сопли красят», и за ними будущее. Таковы Нью-Йорк или Москва. Таков Мадрид.

Многообразие Испании, в силу многовековой раздробленности, таково, что фрагмент в этой стране нерепрезентативен. Во всяком случае, ни один из тех городов, которые сделали славу Испании, не может считаться полномочным представителем страны. Ни один, кроме Мадрида, с чем не согласится ни один испанец, в том числе и мадриленьо. Но мне, иностранцу, разрешена некая безответственность, на которую не решится абориген. Мадрид позволяет додумывать больше, чем другие места этой не похожей на самое себя страны, — фасад в нем скрывает и обещает больше, чем показывает. Как парадные портреты Веласкеса.

Большого парада в Мадриде эпохи Веласкеса не наблюдалось. Свидетельства путешественников из Франции и Италии ужасающи: дома словно из засохшей грязи, горшки выливаются из окон, прохожие мочатся посреди улицы, ножи и вилки малоупотребительны. Главное изумление: сколь же могущественен может быть столь нецивилизованный народ! В Испанской империи куда раньше, чем в Британской, никогда не заходило солнце. Русские были, по понятным причинам, снисходительнее, посол Алексея Михайловича П.И.Потемкин удовлетворенно отметил: «Во нравах своеобычны, высоки, неупьянчивы... В шесть месяцев не видали пьяных людей, чтоб по улицам валялись, или идучи по улице, напився пьяны, кричали». Взаимоотношения России и Испании — тема особая и увлекательная, но в XVII веке испанцы и русские друг друга знали слабо, и в Прадо я прочел табличку под портретом работы Карреньо де Миранды: «Иванович, посол России».

К тому времени как Веласкес перебрался в Мадрид из Севильи, столица была тут немногим более 60 лет. Собственно, Веласкес столицу и творил. Выстраивал великолепный фасад, вписывал город в роскошную раму, создавал галерею столичных жителей, которых не спутать с самыми представительными провинциалами.

В Севилье он писал bodegones (трактирные или кухонные жанровые сценки), водоноса, старуху с яичницей на сковороде, кухарку с пестиком и ступкой. В Мадриде с удивительной легкостью переключился на грандов. Есть жутковатое ощущение, что ему было «все равно» — так велико его живописное совершенство.

И при редкой для той эпохи малочисленности у Веласкеса религиозных сюжетов его распятый Христос в Прадо, быть может, самый памятный из всех, потому что самый одинокий. «Если он не писал ангелов, то потому, что они ему не позировали», — сказал Теофиль Готье, изящно обыгрывая распространенный тезис об особом реализме Веласкеса. И на памятнике ему в Севилье надпись: «Al pintor de la verdad» — «Живописец правды». Только, похоже, слова следовало бы переставить: в случае Веласкеса речь идет о правде живописи.

Севильский Веласкес довольно сильно отличается от мадридского, но, как это бывает с гениями (Моцарт), он очень рано запрограммировал в себе весь будущий путь. В 19 лет написал «Христос в доме Марфы и Марии», где идейный центр картины — евангельская сцена — отражается в зеркале, как и в позднейших умножениях рам: как лицо в «Туалете Венеры», созданном через 32 года, как королевская чета через 38 лет в «Менинах». Но живописная суть сюжета, виртуозно выписанный первый план — кулинарная коллизия: старая кухарка дает совет молодой. Допустим, не давить слишком чеснок в ступке, оставлять фактуру, и она права: чеснок, раздавленный до состояния мокрого места, как и человек, ни на что не годен. В религиозном чувстве Веласкес, на первый взгляд, сильно уступает Мурильо и тем более Сурбарану, но на глаз агностика он куда ближе к великой простоте евангельских сюжетов. Ангелы позировали Веласкесу, просто он сам предпочитал более телесных особей.

Когда Веласкес устраивает игру зеркал, то попадаешь в некий живописный «Расёмон» — это не эстетическое самоценное упражнение, не поиск двойного видения ради пущего объективизма, а наглядное свидетельство его невозможности: точки зрения не совмещаются, а сосуществуют. И каждая в своей особой раме, оттого поданная с самостоятельной важностью. И нет лучшего доказательства этой правды веласкесовской живописи, чем современный город — не

стильный и застывший, а эклектичный и текучий, как Мадрид. Мадрид, который позволяет себя застать лишь на ходу, не врезаясь углами и кровлями в историю, а журча зазывно и невнятно, уносясь за раму, не впечатываясь в сетчатку, не сворачиваясь в формулу. Веласкес и его город — картина самодовлеющей силы («поэта далеко заводит речь»), которая и завела художника на вершины мирового искусства.

Я глядел из окна отеля на площадь Пуэрта-дель-Соль, соображая, что она формой напоминает веер. Так веер, что ли, — символ Мадрида, ветреный, неуловимый, порхающий мимо сути? Или это суть и есть? Жаль, нет больше вееров (о нивелировке и торжестве «обыкновенной общеевропейской рационалистической пошлости» см.выше), вместо них в дамских ручках вьется сигарета, и скоро исчезнет и она — антикурение придет вслед за голливудским кино и джинсовой униформой. У дам на картинах Веласкеса веера есть, даже у трехлетней инфанты Маргариты, держащей его привычно и уверенно.

Экзистенциальным жестом самого Веласкеса было отсутствие жеста. Сюжетным принципом — фиксация в общем-то пустяков, неключевых моментов, произвольно выбранных мест из потока жизни. Потому, вероятно, его так любили импрессионисты. Потому парад его мрачных грандов в одинаковых воротниках, не говоря уж о шутах и философах, оставляет чувство многообразия и легкости. Они — мадриленьос, причем даже такие, которые еще только будут, появятся через триста с лишним лет после смерти художника, чтобы населить живейшую столицу Европы. Место для них было подготовлено Диего Веласкесом — первым столичным жителем Мадрида.

ЭТЮД О ВОЗРАСТЕ

Два величайших живописца Испании, почти современники — Эль Греко умер, когда Веласкесу было 15 лет, — не только противоположны во всем творчески, но и удивительным образом окаймляют жизнь того, кто внимательно смотрит на их картины. Рано или поздно осознаёшь, что все проблемы твоей жизни суть проблемы возрастные. И живопись Эль Греко и Веласкеса — своеобразные проекции нашего подсознания на подъеме и на спуске жизненного пути.

В юности воображением завладевает, конечно, Эль Греко — едва ли не самый странный и непохожий художник в мире, более других путающий хронологию культурного процесса и уж точно сводящий на нет все попытки представить этот процесс поступательным движением. Почти любое его полотно — будь то «Троица» в Прадо, «Изгнание торгующих из храма» в Лондоне или «Апостолы Петр и Павел» в Эрмитаже — перемещает в эпоху глобальных катастроф и разорванного сознания, в наш век.

При этом живописная доминанта Эль Греко, проделавшего путь в Толедо с Крита через Венецию, — не Возрождение и не маньеризм, а Византия. Греческое происхождение — основа, и чем дальше были образцы географически, тем сильнее и исступленнее духовная им верность. В этом смысле он очень ностальгический художник, всегда пишущий «по памяти», даже если перед ним натура. Что все-таки высится фоном в «Виде Толедо»? Критские горы? Голгофа?

От неистребимого византизма идут и утрированные иконные приемы, все эти нарушения перспективы и масштаба, искаженная удлиненность форм, которые новейшее время недоказательно пыталось объяснять то умственным заболеванием, то особым устройством хрусталика глаза.

Собственно, все, что делал Эль Греко, можно рассматривать как фантазию на византийские темы, чему способствовал город, в котором он прожил жизнь и который он создал. Толедо был центром католической Испании, и церковное письмо — занятие Эль Греко в течение всей жизни. Он рвался к королевским заказам, пробовал писать для Эскориала, но не понравился Филиппу. Стоит ли гадать, остался бы он собой, если б вышло наоборот?

Наоборот не вышло, и в истории живописи появился первый подлинный модернист, художническая личность будущего, то есть нашего времени. Важнее всех созданных им картин у Эль Греко — он сам, его творческая фигура, которая подавляет любые сюжеты, будь то библейская сцена или портрет.

Вот это и близко юному сознанию, когда весь мир сосредоточен в тебе самом. Агония изломанных форм — спирали твоего собственного коловращения, которое ты еще не в силах выразить, а Эль Греко артикулирует движения твоей души за тебя, еще неумелого и безъязыкого. В молодости ты — это только ты, а потом уж некая сумма намерений, мыслей, эмоций, навыков, поступков: культурный слой, через который так трудно пробиться к себе.

Вот так невозможно пробиться к Веласкесу.

У него все иначе: картины налицо, а художника нет. Если Эль Греко самый непохожий, то Веласкес самый непонятный: именно потому, что понимать-то и нечего, а тайна есть.

Разное у них все. Тот — холерик, этот — флегматик. Тот — сутяга, засудивший пол-Толедо из-за гонораров, заставивший заказчиков считаться с мастером и фактически сделавший для живописцев то, что Фишер для шахматистов; этот с 23 лет на королевской зарплате, писавший в расцвете карьеры только когда хотел, для удовольствия. Тот — эмигрант с репутацией скандалиста и сибарита, с внебрачным сыном и туман-

ной связью с помощником-итальянцем; этот — приличнейший семьянин и придворный карьерист, позаботившийся пририсовать себе в «Менинах» рыцарский крест, полученный через три года после написания картины.

Ортега сетовал, что Веласкеса окружала некрасивая королевская семья, оттого и лица на портретах невдохновенные. Но, во-первых, урод, повторенный две дюжины раз, становится красавцем, если его повторяет такая кисть, а во-вторых, Филипп, притом что действительно дурен, — все-таки король, а не водонос. Но сказать, что Веласкес ограничен двором — все равно как о Джойсе, что он лимитирован одним днем Блума. А главное — это совершенно неважно: Веласкес везде и всюду ровен и принципиально безоценочен. Придворные шуты и монстры изображены без аристократического снисхождения и демократического сочувствия — точно так же, как герцоги и принцессы. Точно так же, как бесконечно одинокий Христос в Прадо, — только это и можно сказать об изображенном на картине человеке. Только! Но отношения нигде нет, точка зрения отсутствует, как в тех же «Менинах»,— где находится художник?

И вот тут-то охватывает трепет, почти ужас. Дьявольская привлекательность Веласкеса в том, что за его плоскими минималистскими холстами — бездна. Ничего. Нет отношения — нет и психологизма, то есть души. Если Эль Греко только субъект, Веласкес весь — объект. Полное безразличие, которое дается лишь великой гордыней и запредельным знанием. Души не видно ни у того, кто рисует, ни у того, кого рисуют; и возникают сомнения в том, кто смотрит на всю эту черную магию. В себе.

Наполненная собой и собой исчерпывающаяся молодость проходит мимо Веласкеса и иначе поступить не может. Но в той сумме намерений, мыслей, эмоций, навыков, поступков, в которую превращаешься с возрастом, он отзывается со страшной силой. Всякий великий художник знает о жизни и человеке больше, чем знаешь ты, но Веласкес — быть может, еще больше.

Толедо — Мадрид — Нью-Йорк

■

Возвращаясь к напечатанному

ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ
РЕГУЛЯРНЫЙ ПАРК СНОВИДЕНИЙ

По следам Милорада Павича[1]

Фрагменты словаря

Итак, знай: при охоте на сны слова хазарского словаря — это то же самое, что следы льва на песке перед обычным охотником.

«Хазарский словарь»

Любая смерть есть, в сущности, слово. Все наши смерти, вместе взятые, составляют великое неразгаданное послание...

«Вечность и еще один день»

АБРИС

Абрис есть план территории, сделанный от руки, с указанием на нем посадочных мест растений, расположения сооружений, дорог и т.п.

Традиция приписывает исключительно Андре Ленотру создание Версальского парка. Однако он не был единоличным творцом его. Не только другие, менее сегодня известные садоводы, предшественники и современники, но и сам Король Солнце Людовик XIV, и королева, чьи капризы давали Ленотру поводы для новых мыслей и идей, являлись его почти полноправными соавторами. Мало того, выбранная Людовиком местность с холмом в центре, где прежде располагалась скромная охотничья усадьба Людовика XIII, сам спокойный рельеф местности, пруды, ручьи, почва и климат изначально диктовали свои условия. О первоначальном замысле тем не менее судить сложно, хотя бы потому, что от Ленотра не осталось сочинений по садово-парковому искусству. Зато сохранились планы, наброски, гравюры и описания современников. Если все свести воедино, то получится какая-то общая картина. Впрочем, у каждого своя. Как и у любого посетителя парка складывается свое собственное представление о нем: чуть иначе легла тень — и парк уже совсем иной. Так что прогуливающийся по парку тоже является соавтором его устроителя.

Милорад Павич, чье имя стоит на обложках нескольких книг, создатель невиданного (и отчасти невидимого) парка сновидений, изначально все делает так, чтобы от единоличного авторства откреститься, привлекая в соавторы множество персонажей, а в первую очередь — читателя. Снабжая книги специальными рекомендациями по поводу того, как ими пользоваться, он усмехается, покуривая трубку, а потом не без удовольствия (из какого-то высока-далека) наблюдает за неупорядоченными блужданиями по аллеям и лабиринтам текста-парка тех читателей-посетителей, кои оказались столь наивны, что поверили всерьез планам, приложенным к рекомендациям, и рекомендациям, приложенным к текстам. В случае Павича читателю всегда полезно заглянуть для начала в середину или конец произведения. Тогда он может натолкнуться на такую, например, очень разумную мысль: «Читатель находит в книгах то, чего не может найти в ином месте, а не то, что писатель внес в роман» («Пейзаж, нарисованный чаем»). Или даже на многозначительное, но тем не менее правдивое обещание, что каждый читатель «получит сообразно заслугам свой собственный, лично ему причитающийся конец истории, подобно аристократу, получившему наследство» («Пейзаж...»).

Вступающему в пределы регулярного парка Павича не следует забывать, что ре-

---

[1] Милорад Павич. Хазарский словарь. *Роман-лексикон в 100 000 слов. Фрагменты. Перевод с сербскохорватского Л. Савельевой.* — «ИЛ», 1991, № 3.
Милорад Павич. Пейзаж, нарисованный чаем. *Роман для любителей кроссвордов. Перевод с сербского Н. Вагаповой и Р. Грецкой.* — «Согласие», 1991, № 6-7.
Милорад Павич. Вечность и еще один день. *Меню для театрального ужина. Перевод с сербского Н. Вагаповой и Л. Савельевой.* — «ИЛ», 1995, № 7.
Милорад Павич. Пароль. Тайная вечеря. *Рассказы. Перевод с сербскохорватского Н. Кореневской.* В сборнике «Набросок сценария со счастливым концом», М., «Радуга», 1984.
Милорад Павич. В чужой душе. *Отрывок из романа «Внутренняя сторона ветра, или Роман о Геро и Леандре».* — «Литературная газета» от 27.X.93.
Алла Марченко. Чаровщина Милорада Павича. — «Согласие», 1991, № 7.
Н. Вагапова. Сюжеты балканской мифологии. — «Современная драматургия», 1994, № 4.

гулярность в теории и практике садово-паркового искусства всегда мыслилась не как упрощение и сведение к нескольким взаимопересекающимся линиям всем понятного плана, но воссозданием в отдельно взятой местности всей полноты регулярности природы (шире — мира). Таким образом, и планы Павича, исполненные в виде кроссворда («Пейзаж, нарисованный чаем») или трех книг (Красной, Зеленой и Желтой) «Хазарского словаря», где некоторые слова трижды имеют место быть, но объясняются поразному, другие встречаются лишь однажды, — эти планы, начерченные уверенной рукой мастера (порой на случайно подвернувшемся листке бумаги), дадут читателю столь же малое представление о книгах, в которые он входит, сколь и самые подробные планы Версаля о подлинном Версале. Ибо любой план устаревает раньше, чем он закончен. Кроме тех планов, которые существовали до всех прочих планов. Ведь не зря же принцесса Атех «полностью посвятила себя секте ловцов снов — хазарских священнослужителей, которые занимались созданием своего рода земной версии той небесной иерархии, которая упоминается в Священном писании». А один из главных героев «Пейзажа...» Афанасий Разин (он же — Атанас Свилар) утверждал, что «из книги не только постоянно исчезают рассказы, но в ней постоянно появляются новые повести. Это зависит от чтения, а не от написания, дело глаза — не пера». «Читатель, который не верит, что могут быть романы с двойным концом, завершающиеся счастливо и несчастливо одновременно, хеппи-эндом и трагическим исходом, то есть читатель, который хочет знать, убита или не убита героиня романа, Витача Милут, пусть не ждет решения в следующем номере, как прочие отгадчики кроссворда, и поищет его в указателе на последней странице книги. Ибо разгадка романа — в его содержании». В конце книги и вправду помещен указатель, и даже ответ (как положено — вверх тормашками), но заглядывать туда сразу — то же самое, что знать заранее отгадку кроссворда. Хотя некоторым доставляет удовольствие не отгадывание само по себе, а именно заполнение клеточек кроссворда, дабы побыстрее увидеть его в завершенном виде, то есть воссоздать его тайную гармонию. Это тоже путь.

Могут быть и третий, и четвертый пути. Наш будет, как минимум, пятым, или седьмым (смотря с какой стороны считать). Мы одновременно пойдем по следам слов и снов, учитывая то, что слова случайными не бывают, а сны могут завести очень далеко. Будут на пути встречаться и следы на песке, недоступные разумению и опыту: передние конечности преследуемого животного оставляют следы, напоминающие птичьи, а задние являются отпечатками больших лап, заметает следы рыбий хвост (см. *Зверинец*). Эти следы, по которым шел Плакида, едва ли можно отождествлять со следами самого Милорада Павича, но бесспорно то, что он к ним имеет некоторое отношение. В конце концов, автор волен выступать под любыми личинами, но и читатель имеет право прогуливаться по аллеям текста, нарядившись Шерлоком Холмсом или даже самим Милорадом Павичем. Во всяком случае, и тот и другой курят трубки (см. *Господский дом*).

АЛЛЕЯ

> Прежде всего при расположении алей наблюдался только тот порядок, чтобы их садить длинною и прямою чертой, и в два ряда деревьями, располагая оные так, чтобы одно дерево приходилось прямо против другого. Но напоследок приметили, что такое положение весьма удаляется от натурального, и сад не имеющий в себе ничего кроме одних прямых алей, имеет вид единообразный и не весьма приятный; то для поправления сего недостатка перестали в новейших садах делать алеи сплошными, а начали пересекать их площадками, кустарниками, и другими украшениями, или по наполнении сада множеством регулярных насаждений, делали так, что в дали становился он час от часу безпорядочнее, и наконец оканчивался почти всегда настоящей дичью..

К XX веку по части форм и стилей все вроде бы определилось. По крайней мере, так принято считать в среде академических ученых. Те или иные явления культуры, пусть и с некоторой долей допущения, всегда можно было отнести к ренессансу или барокко, классицизму, романтизму или сентиментализму. Роман был романом, поэма — поэмой, новелла — новеллой. Последнее столетие (даже под самый занавес) не устает преподносить сюрпризы, которым само же и удивляется, порой с восхищением, порой — без оного. Внешняя ясность теоретических построений оказалась далека от истины: не только по отношению к настоящему и будущему, но и к прошлому, ибо и с самими этими понятиями — «прошлое», «настоящее» и «будущее» — стало вдруг не все ясно. Но во всяком случае, исторический опыт позволяет предположить, что в прежние времена человек жил в чуть большей гармонии с миром, чем ныне. Отсюда — и большая четкость и определенность форм, в которые он заключал свои творения. Его мироощущение, порой неосознанное, было близко к тому, о котором говорит героиня «Пейзажа...»: «У моего голоса, как и у хлеба, есть свое тело на небесах, а у меня, как у всякого творения, есть свой небесный прообраз. Слово мое уже кто-то произнес в не-

бесной выси до меня, и теперь оно лишь следует своему труднодостижимому идеалу. И я страстно жажду пением приблизиться к этому Непознанному. Ибо любая познанная на этом свете вещь — лишь половина ее сути, постигающая свою другую, незримую, божественную половину, недоступную и непознаваемую. Значит, и мое слово, и мой голос — тоже лишь половина Слова и половина Пения, постигающие иную половину, если только она будет ко мне благосклонна. Ибо Дух снисходит когда хочет и на кого хочет». Утрата этого чувства породила хаос мира, в свою очередь воззвавшего к жизни (или к смерти?) хаос форм. Однако в человеке ощущение или предощущение гармонии, к счастью, неизбывно. К концу второго тысячелетия все более близкой любому нормальному человеку становится столь, казалось бы, далекая от реальной действительности жизнеустроительная формула Анаксагора: «И в конце концов, отказавшись от всего, он занялся умозрением природы, не тревожась ни о каких делах государственных. Его спросили: «И тебе дела нет до отечества?» Он ответил: «Отнюдь нет; мне очень даже есть дело до отечества!» — и указал на небо».

Отсветом подлинного Отечества несомненно являются сны. Парк, сад — есть зримое, земное воплощение небесного Эдема. Парк сновидений, таким образом, становится той реальностью, в которой разрушены незримые, но в иных пространствах (места и времени) непреодолимые границы между *здесь* и *там*. Хаос оказывается также преодолим, хотя бы на уровне текста («хотя бы» в данном случае — лишь фигура речи). Если для текста выбираются соответствующие формы. Словаря. В нашем случае хазарского. По свидетельству автора, «это открытая книга, а когда ее закроешь, можно продолжать писать ее; так же как она имеет своих лексикографов в прошлом и настоящем, и в будущем могут появиться те, кто будет ее переписывать, продолжать и дополнять...». Кроссворда. По сути своей столь же бесконечного, как и словарь, ибо все слова и все на свете рано или поздно, тем или иным образом, но пересекается. Это тем более верно, что «нет такой фразы в книге, которая раньше или позже не стала бы истиной». Мир бесконечно упорядочен и, соответственно, бесконечно сложен. Парк Павича есть калька мира. Центральная часть этого парка, то есть видимая читателю невооруженным глазом, представляет собою множество (но в данном случае — конечное множество) аллей-глав. Некоторые из них носят имена слов словаря. Но не стоит особо удивляться, попав на совершенно иную аллею, носящую прежде встречавшееся название. Другие аллеи пересекаются под вроде бы прямым углом по правилам кроссворда. Третьи состоят «из двух параллельных тропинок, таких прямых, точно проложенных выстрелом двустволки». Четвертые напоминают улицы, длинные-предлинные: «В начале осень, в конце зима, в одной части полдень, в другой уже темнеет и свет зажигают; в одной части учат русский язык, в другой — его уже забывают...» Пятые оканчиваются пейзажами, нарисованными чаем (см. *Обманки*, *Пейзаж*). Шестые — запутываются в лабиринты (см. *Лабиринт*). Седьмые оканчиваются восклицанием (см. *Ах-ах*)... Все они служат для того, чтобы читателя куда-нибудь вести. У них есть направления. Но необязательные. В любой момент можно свернуть, тем более что поводов для этого предостаточно. То тень мелькнет чуть в стороне, то попадется навстречу человек, не отбрасывающий тени, то окажешься в дне сегодняшнем, а то вдруг можешь выбирать: шаг вправо — и день уже вчерашний, влево — он уже завтрашний. А можно и вообще шагов не делать, а остановиться, оглядеться и подумать: что такое настоящее? Прислушавшись, читатель услышит один из возможных ответов. Например: «Наше теперь — это, по сути дела, остановившееся время. Кончики рожек улитки, вытянутых до предела. Именно это «теперь» — единственный общий знаменатель всего живого. И единственный миг жизни от искони до скончания времен, ибо все остальное, обе вечности, простирающиеся до и после нашего «теперь», лежат в глубочайшем застое. Следовательно, *настоящее — это остановившаяся часть времени*. Жизнь существует лишь в настоящем, где оно стоит. Хочешь доказательств? Пожалуйста: мое настоящее не может быть ничьим будущим. Прошлое же состоит из мгновений, в которых время остановилось, а будущее — из мгновений, в которых время остановится».

Взойдя на какую-нибудь возвышенность и увидев вдалеке тени давно разрушенных домов хазарской столицы, стоит задуматься и о том, что такое смерть. Прогулки по парку к подобным размышлениям очень располагают. К читателю приблизится полковник Крачун, чей голос читатель, остановившись, уже недавно слышал, и скажет: «А смерть, дорогой майор, как сказал Эйнштейн, смерть — всего лишь частичка нашего времени, которая утратила возможность остановиться». И пусть прогуливающийся читатель вовсе не майор Похвалич («мужчина с синими ушами, как его называли»), все равно. И ему полезно согласиться с тем, что «время должно нас ждать, чтобы мы жили». Книга, читаемая в парке, позволяет распоряжаться временем по своему усмотрению. Для того они, книги и парки, и существуют. «Правда, может случиться, что читатель заблудится и потеряется среди слов этой книги, как случилось с Масуди, одним из авторов словаря, который заплутал в чужих снах и уже не нашел дороги назад».

АХ-АХ

> Ах-ах — скрытая в углублении внешняя ограда, прием, распространенный в садово-парковом искусстве XVII—XVIII вв. Неожиданное раскрытие вида из парка на окружающий ландшафт (например, выход к каньону реки), вызывающий восхищение (возглас ах-ах!).

Если читатель заплутает, то ему уж точно «не останется ничего другого, как пуститься с середины страницы в любую сторону, прокладывая свою собственную тропинку». В этом случае (как, впрочем, и в иных) его будут подстерегать всяческие неожиданности. Например, он увидит рассказ, который называется «БЫСТРОЕ И МЕДЛЕННОЕ ЗЕРКАЛО». Прежде поверив в то, что «как от вина не седеют волосы, так и от этого рассказа не будет вреда», он узнает, как умерла принцесса Атех, «убитая одновременно буквами из прошлого и будущего». Добредя же до «Рассказа про яйцо и смычок», читатель вдруг поймет, что в одночасье видит перед собою кусок из романа и сцену из пьесы «Вечность и еще один день». Подобные случаи будут происходить еще не раз и не два. Можно даже попробовать вывести некую закономерность из всего этого множества случаев (см. *Поварня*). Но чтобы сразу что-то узнать о странных яйцах, которые несет курица, стоит послушать венгра, хозяина музыкальной лавки: «Моя курица не несет золотые яйца, но она несет нечто такое, что ни вы, ни я, сударь мой, снести не можем. Она несет дни, недели и годы. Каждое утро она приносит какую-нибудь пятницу или вторник. Это, сегодняшнее яйцо, например, содержит вместо желтка один четверг. В завтрашнем будет среда. Из него вместо цыпленка вылупится один день жизни его хозяина! Какой жизни! Они вовсе не золотые, они временные».

Если же читатель свернет совсем в ином месте и окажется вдруг не в отчасти обжитом пространстве «Словаря», а в конце одной из аллей «Пейзажа...», то ему тут же попадется на глаза «Потешная история о Федоре Алексеевиче Разине» (отце Афанасия-Атанаса), имевшая место в России в сталинские времена. Или притча о человеке, который выдумал ноль. Вполне может случиться и так, что читатель первым делом (это опять же — с какой стороны считать) увидит представление, которое имеет два названия: «Звезда, или Вертеп». Действующие лица ее — новорожденный Христос, Богоматерь, Ягненок, Яблоня и река Иордан. Сия театральная сценка — опять же имеет место быть и в пьесе («Вечность и...»), но суть-то как бы и не совсем в этом, а, например, в том, что говорит Яблоня: «Двигаться мысль может лишь в данное мгновение, следовательно, пока стоит время. Если мысль движется, наиболее важен ее пятый шаг: до этого она еще или несовершенна, или неглубока, после пятого же шага она тебя утомит. Обрати внимание, следовательно, на пятый шаг! После пятого шага, уставший, ты не сможешь больше следить за своей мыслью, потому что она станет или слишком сильна и быстра, или слишком отдалится от тебя». «На седьмом шагу мысль угасает и превращается в любовь», — заканчивает Яблоня. После представления можно сразу отправиться к «Голубой мечети» (см. *Храмы*) или заранее узнать нечто из «Рассказа о душе и теле» или даже о «Четырнадцатом апостоле».

После сего краткого экскурса по местам, откуда открываются сами по себе замечательные, но как бы вполне частные, самодостаточные виды (назовем их вставными новеллами), следует на время хотя бы вернуться к какому-нибудь началу, лучше же всего — попробовать бросить взгляд на все с условной высоты птичьего полета.

ВИД

> Не смотря на вкус, царствующий теперь в наших садах, или в искусстве украшать местоположение, и делать их более приятными и привлекательными, не излишне будет повторить, что чем живее какой-нибудь вид, тем он прекраснее, и нет более достойного имени гульбища, которое дано ему по причине удовольствия, производимого искусством.

Событие (или несколько событий), описанное в «Хазарском словаре», в специальной литературе получило название «хазарской полемики». Основная его суть в том, что хазарский правитель — каган, увидев однажды сон, пригласил для его толкования трех философов из разных стран, решив, что он вместе со своим народом перейдет в веру того из мудрецов, «чье толкование сна будет самым убедительным». «Так в летней резиденции кагана встретились исламский, еврейский и христианский миссионеры — дервиш, раввин и монах...» Вскоре после обращения в одну из этих религий и последовал, как считается, распад хазарского царства. «Один из русских полководцев X века, князь Святослав, не сходя с коня съел хазарское царство, словно яблоко. Хазарскую столицу в устье Волги русские разрушили в 943 году за восемь ночей, а с 965 по 970 год уничтожили и хазарское государство».

Но во всяком случае, так окончательно и неясно, кто победил в «хазарской полемике». «На протяжении веков всему этому были посвящены бесчисленные дискуссии в еврейском, христианском и исламском мире, и продолжаются они по сию пору, хотя хазар уже давно нет». Перипетиям и последствиям полемики и посвящены три книги «Хазарского словаря» — Красная (христианские источники о хазарском во-

просе), Зеленая (исламские источники) и Желтая (древнееврейские источники). Сведения, накопившиеся к XVII веку, были систематизированы и опубликованы в 1691 году в Пруссии. Опубликовал словарь польский книгоиздатель Йоанес Даубманус под названием «Lexicon Cozri — Continens Colloquium disputationem de Religione». Словарь был напечатан на арабском, древнееврейском, греческом, а также сербском языках, причем каждая книга имела свой собственный переплет (имел ли отдельный переплет сербский вариант — неясно). По приказу инквизиции словарь уничтожили еще в 1692 году. Сохранилось лишь два экземпляра. Которые, или хотя бы один из которых, видел лишь Милорад Павич и другие авторы словаря. Второе издание, вышедшее по-сербски в Белграде в 1984 году, представляет собою увесистый том «академического» формата (вроде российских «Литпамятников»). Дать каждой книге свой переплет не позволили, как утверждает Павич, исключительно технические возможности. На титуле белградского издания воспроизведен титул издания 1691 года. Текст набран в две колонки и снабжен специальными значками (отсылающими от одной словарной статьи к другой), а также иллюстрациями. Примерно в таком же виде книга выходила на иностранных языках. Необходимость сохранять форму словаря, а также некоторые различия между кириллицей и латиницей, например, дают возможность предположить, что англичане и французы, по сути дела, читают совсем другую книгу, а вовсе не ту, что сербы или даже русские. Русский вариант по понятным причинам ближе к первоисточнику.

Всех героев, многие из которых по совместительству также и авторы «Словаря», перечислить невозможно, ибо порой некоторые из них появляются под другими именами и во временах, где им вроде бы быть не следовало (впрочем, они сами лучше знают, что следовало, а что нет). Но кое о ком сказать все же необходимо. Атех — хазарская принцесса, ее участие в полемике о крещении хазар было решающим. Бранкович Аврам (1651—1689) — один из тех, кто писал эту книгу. Считается, что реально существовал философ и историк Бранкович, живший в сербской части Австро-Венгрии на грани XVIII—XIX веков. Каган — хазарский правитель. Кирилл (Константин Солунский, или Константин Философ, 826 или 827—869) — православный святой, греческий участник хазарской полемики, один из основателей славянской письменности. Севаст Никон (XVII век) — по преданию, под этим именем на Балканах, на берегу Моравы в Овчарском ущелье, жил Сатана. Д-р Исайло Сук (15.III 1930 — 2.X 1982) — археолог, арабист, профессор университета в Нови-Саде (кстати, по странной случайности и сам Милорад Павич — профессор того же учебного заведения). Ябир ибн Акшани (XVII век) — по мнению лютнистов из Анатолии, некоторое время это имя носил шайтан, и под этим именем он явился одному из самых известных музыкантов XVII века — Юсуфу Масуди. Именно Ябир ибн Акшани однажды утром в 1699 году в Царьграде бросил лист лавра в лохань с водой и сунул туда же голову. Когда же через несколько мгновений он голову из воды вынул, «вокруг него больше не было ни Царьграда, ни царства, в котором он умывался. Он находился в стамбульском отеле высшей категории «Кингстон», шел 1982 год от Исы, у него были жена, ребенок и паспорт гражданина Бельгии, он говорил по-французски, и только на дне раковины марки F. Primavesi & Son, Corella, Cardiff лежал мокрый лист лавра». Масуди Юсуф (середина XVII века — 25.IX 1689) — известный музыкант-лютнист, один из авторов книги. Д-р Абу Кабир Муавия (1930 — 1982) — арабский специалист по ивриту, профессор Каирского университета. Самуэль Коэн (1660 — 24.IX.1689) — дубровницкий еврей, один из авторов книги. Ефросиния Лукаревич (XVII век) — дубровницкая аристократка из рода Геталдич-Крухорадовичей, замужем за одним из аристократов рода Luccari. Д-р Дорота Шульц (Краков, р.1944) — славист, профессор университета в Иерусалиме; девичья фамилия Квашневская.

Сей длинный (и одновременно чрезвычайно короткий) перечень героев дает беглое представление о временах, пространствах, темах и отчасти даже нравах «Словаря». Кстати, даже этот список, даты жизни позволяют кое-что сопоставить, исходя из одного совета Павича: «Можно при чтении соединить в одно целое статьи из трех различных книг словаря, где говорится об участниках хазарской полемики, об ее хронистах, об исследователях хазарского вопроса в XVII веке (Коэн, Масуди, Бранкович) и в XX веке (Сук, Муавия, Шульц). Разумеется, не стоит обходить вниманием и персонажи, пришедшие из трех преисподен — исламской, еврейской и христианской (Ефросиния Лукаревич, Севаст, Акшани). Они проделали самый длинный путь, чтобы добраться до этой книги».

Сюжетов же в «Словаре» настолько много, что, взявшись пересказывать один, вынужден будешь пересказать все, какие есть, и даже больше, чем их обнаруживается поначалу. К тому же следует иметь в виду, что герои с достаточной легкостью путешествуют в снах друг друга, порою превращаясь в собственных врагов-двойников. Так оно было, например, с киром Аврамом Бранковичем и персоной, которую кир называл «куросом» — молодым человеком с усами, один из которых сед, стеклянными ногтями и красными глазами: «От своего куроса Бранкович во сне научился читать справа налево на еврейский манер и видеть сны от конца и до начала. Эти необыкновенные сны, в которых кир Аврам превращается в куроса, или, если вам угодно, в еврея, нача-

лись много лет назад. Сам Бранкович говорит о своем сне, что сначала он почувствовал какое-то беспокойство, которое, подобно камню, брошенному в его душу, падало через нее на протяжении дней, и падение это прекращалось только ночью, когда вместе с камнем падала и душа. Позже этот сон полностью овладел его жизнью, и во сне он становился в два раза моложе, чем наяву. Из его снов навсегда исчезли сначала птицы, затем его братья, потом отец и мать, простившись с ним перед исчезновением. Потом бесследно исчезли все люди и города из его окружения и воспоминаний, и наконец из этого совершенно чужого мира исчез и он сам, как будто бы ночью, во время сна, он превратился в какого-то совсем другого человека, лицо которого, мелькнувшее перед ним в зеркале, испугало его так же, как если бы он увидел собственную мать или сестру, заросшую бородой. У того, другого, были красные глаза и стеклянные ногти, а один ус — седой».

Дабы все же не впасть в дурную бесконечность пересказов и цитат, зажмурим на мгновение глаза, вспомним о листке лавра и откроем их перед «Пейзажем, нарисованным чаем».

В одном месте «Пейзажа...» автор называет себя составителем «этого Памятного Альбома, или этого Кроссворда голосов». В другом, как это у него обычно бывает, объясняет правила игры (ведь кроссворд — это не более чем игра; но и не менее), то есть: «как решать эту книгу по вертикали» и «как решать эту книгу по горизонтали». «Вертикальное» решение дает шесть путей: «1» — дополнительные примечания к Альбому; «2» — судьба главного героя Альбома, архитектора Разина; «3» — планы, чертежи и прочее содержимое тетрадей архитектора Разина, обложки которых украшены пейзажами, нарисованными чаем; «4» — судьба героини книги, Витачи Милут; «5» — любовная линия книги; «6» — судьба и приключения трех сестер, Ольги, Азры и Цецилии. То есть «тот, кто читает этот роман по вертикали, проследит повороты судьбы героев, того же, кто выберет горизонтальные линии, увлекут главным образом хитросплетения сюжета». Хотя и здесь все будет не так просто: читающий по горизонтали сразу увидит, что главы Альбома пронумерованы не подряд. А пронумерованы они так потому, что «не все любят читать подряд». «А некоторые даже и не пишут подряд». Однако учтены тем не менее интересы всех, так как «существуют по крайней мере две разновидности любителей кроссвордов, подобно тому как на Святой горе есть две разновидности монахов — идиоритмики (отшельники) и кеновиты (общежители). Существуют те, кто в кроссворде любит и вылавливает отдельные слова, и те, кто предпочитает и вылавливает только красивые скрещения слов. Одни тратят время, которому много времени не нужно, а другие — время, на которое нужно Время. Те, кто все решает с наскока, и те, кто все решает по порядку. Потому эта книга так и сделана. Для первых заранее устроен беспорядок, так что им самим нет нужды его создавать, а для вторых расставлены цифры, вот пусть сами в них порядок и вносят». О разгадке же кроссворда мы уже говорили (см. *Абрис*).

Лучше же всего читать «Пейзаж...» несколько раз разными способами. Во-первых, тогда трудно пропустить те истории (вроде бы как посторонние основным сюжетам), которые мы назвали вставными новеллами (см. *Ах-ах*); во-вторых, тогда читатель имеет порой вполне оправданную возможность и даже необходимость (особенно если это русский читатель) заглянуть в другие книги со своей книжной полки. Например, когда он читает о прекрасных дамах — «предках Витачи Милут, ставшей потом госпожой Разин, об их любовных похождениях, о графинях Жевуской и Амалии Ризнич-младшей». В этой истории поминаются вовсе не всуе Бальзак, Мицкевич и Пушкин. Точнее, именно Александр Сергеевич Пушкин не только упоминает об Амалии Ризнич, не только посвящает ей стихи, но даже рисует ее профиль на полях рукописи «Евгения Онегина» (см.: Т.Г. Цявловская. Рисунки Пушкина. М., «Искусство», 1987, с. 59). Правда, портрет Амалии Ризнич в книге Цявловской сопровождается знаком вопроса. Но кто как не Милорад Павич, переводчик Пушкина, этот вопрос имеет возможность и право снять? То, чего не было, можно в конце концов придумать, а то, что было (и даже есть), но по каким-то причинам недоступно, можно воссоздать.

Чем и занимается на склоне лет архитектор Афанасий Разин, собравший в своих Альбомах с нарисованными чаем пейзажами на обложках, планы и описания дворцов, вилл и парков, где жил, работал, гулял, принимал гостей и т.п. Президент СФРЮ Иосип Броз Тито. Благо он, Афанасий Разин (он же Атанас Свилар), был баснословно богат. Расставшись с Витачей, Афанасий, используя планы и описания, стал воплощать в реальности пейзажи, нарисованные чаем. На реке Потомак в США близ Вашингтона он построил точную копию дунайской виллы «Плавинац», принадлежавшей Председателю КПЮ Иосипу Броз Тито. На четырех с половиной гектарах поместья был высажен виноград. Обставлена вилла была если не оригиналами, находящимися в «Плавинаце», то, во всяком случае, изделиями тех же художников или тех же мастерских. «Ибо цель у Свилара была четкая. Все, непременно все по мере возможности сделать так, как там. Ему хотелось, чтобы все было как у Иосипа Броз. Даже пронзительный скрип дверей, которые специально не смазывались». Потом он купил 14 крохотных (из Малых Антильских) островов, расположенных западнее Барбадоса. Переиме-

новал каждый из них в соответствии с пейзажем, нарисованным на обложке одной из записных книжек, изображавшим 14 Брионских островов — летнюю резиденцию Генерального секретаря СКЮ и Президента СФРЮ И.Б.Тито. Он пересадил на свои острова все необходимые виды растений и создал точную копию парка И.Б.Тито на Брионах. Построил там все исторические здания — от римского акведука до церквей и бенедиктинского монастыря, установил портовые сооружения, воссоздал три резиденции и 257 километров дорог и пустил по ним множество автомобилей без номерных знаков, в резиденциях все сделал так, как на Брионах, устроил три зоосада и открытый парк типа сафари. В общем, сделал все, как то следует. И готовился воссоздать Белый дворец на Дединье — столичную резиденцию И.Б.Тито (опять же изображенный чаем на обложке одной из записных книжек). Но на сей раз его восторженные и близкие к воплощению мечты засыпал снег. А когда снег начал таять, то появился ребенок в колыбели, потребовавший колыбель качать. Свилар протянул руку к колыбели, от нее на каменный пол вместо одной упали три тени.

Читателю же под конец осталось (или останется) только вспомнить, что же «случилось здесь с Атанасом Свиларом, который одно время назывался Афанасием Разиным».

Витача же Милут узнала свою любовь. Она говорит: «Знаю, кто ты. Ты тот, в чьих руках Книга моей судьбы, книга, которая называется *«Пейзаж, нарисованный чаем»*. И именно в ней есть такие строки:

«Так Витача Милут, героиня этого романа, влюбилась в читателя своей книги».

«Неужели ты полагаешь, — обращается она к читателю, — что только ты имеешь право на книгу, а у книги нет права на тебя? Почему ты так уверен, что не можешь быть чьей-то мечтой? Ты уверен, что твоя жизнь не просто вымысел?» В этих словах — одна из таинственных разгадок книги-кроссворда (см. ответ в конце ее, данный вверх тормашками; в то же время этот конец можно считать одним из начал). Не стоит забывать и о других словах в «Пейзаже...», набранных прописными буквами: «ВСЕ ЧИТАТЕЛИ КНИГИ ВЫМЫШЛЕНЫ! ЛЮБОЕ СХОДСТВО С ПОДЛИННЫМ ЧИТАТЕЛЕМ СЛУЧАЙНО». А также и о могильной плите из «Хазарского словаря»: «НА ЭТОМ МЕСТЕ ЛЕЖИТ ЧИТАТЕЛЬ, КОТОРЫЙ НИКОГДА НЕ ОТКРОЕТ ЭТУ КНИГУ. ЗДЕСЬ ОН СПИТ ВЕЧНЫМ СНОМ».

Но если наш читатель смог (хотя бы на время) оторваться от земли и бросить взгляд на все с высоты птичьего полета (хотя бы и условной), то он уж точно не спит и, быть может, даже не совсем вымышлен. Посему он может вернуться на землю и продолжить свое (наше) путешествие по парку сновидений.

ГОСПОДСКИЙ ДОМ

> Зданию сему для удобства приличнее стоять между двора и саду, против главного приезду...

В этом парке господских (и всяких прочих) домов множество. Некоторые из них построил архитектор Разин как полные подобия вилл и дворцов И.Б.Тито (см. *Вид*), в других, как в жилище одной из трех сестер, Цецилии, есть «широкие лестницы с двойным эхом, которое перекрещивается и завязывается узлом на первом этаже, в общем-то как и сами ступеньки». Есть дома, от которых остались одни тени, как от разрушенных домов хазар: «Они стояли, сопротивляясь ветру и водам Волги». За одними окнами — зима, в другие — видно, что листья еще только начали опадать, в третьи — каждый может увидеть все, что пожелает. Есть в этих домах гостиные, помещения, о которых можно сказать, что это «где-нибудь не на Земле», рабочая комната Бранковича, которого со всех сторон окружают книги и винтовые лесенки, ведущие к верхним полкам библиотеки, печка, похожая на маленькую церковь, да, еще — «в одном из окон вместо занавесок длинные женские кружевные панталоны». Много чего иного там есть. Но суть, кажется, не в этом. Возможно, вот в чем: «Душа человека — маленький дом, и комната души обставлена мебелью. Мебель эта — наше *настоящее*. Если бы это самое настоящее холили и лелеяли, если бы уделяли ему столько внимания, сколько прошлому и будущему (а это стены души), то, может, настоящее и могло бы развиться, может, разрослось, расцвело бы пышным цветом и поднялось бы за счет стен прошлого и будущего, возвращаясь к своему первозданному порядку и становясь мерой, которые мы давно урезали, пестуя свое прошлое и будущее за счет отторженного *сегодня*, которое хиреет все больше и больше». А то ведь можно и попасть в ситуацию не самую приятную, как это случилось с одним из героев третьего, пока целиком по-русски не существующего романа-клепсидры Павича («Внутренняя сторона ветра, или Роман о Геро и Леандре»): «Однажды осенью 1909 года, открыв глаза на рассвете по сигналу полкового трубача, капитан инженерных войск австро-венгерской армии его благородие господин Петр фон Витковиц проснулся не в своей комнате, а в чьей-то чужой душе».

Отчасти в этой неприятной ситуации пребывают и герои «Пейзажа...». Ибо сказано: «Некоторые женщины не умеют вести хозяйство, и у них в доме всегда беспорядок. Другие не умеют разобраться в своей душевной жизни, и там царит хаос. Все это надо вовремя упорядочить, иначе потом будет поздно. Ибо на этом «потом» кончается всякое сходство между домом и душой». Касаются эти слова тем не менее не только жен-

щин. И все-таки герои — благодаря автору — живут «сейчас», пусть в душе их хаос, но хаос по-своему упорядоченный. Их души соприкасаются меж собою столь причудливо, что как бы объединяются в одну — со множеством ответвлений, тайных ходов, ниш и закоулков.

Нечто подобное происходит и со всеми домами, которые можно обнаружить в парке Павича, они— суть один дом, только в нем много чердаков и подвалов, переходов и помещений для самых разных надобностей. Например, там есть комната с, казалось бы, обычными книгами Анатоля Франса, Пьера Лоти или Музиля в переводе Геро (напомним, героини «Ветра»). Но если их полистать, то между строк этих известных писателей можно обнаружить собственные новеллы Геро. Если же эти новеллы и кусочки новелл выбрать и перепечатать (или перечитать) отдельно, то получится целая книга ее произведений. В застекленном шкафу найдется коллекция курительных трубок «из морской пены, из терракоты, с длинным чубуком, словно трость, такие тоненькие, что можно сунуть за голенище сапога, удивительные экземпляры производства «Могул», которые не гаснут и не нагреваются, их нельзя купить, разве что сделать по заказу, трубки из красного дерева, выполненные так, как некогда изготавливались только скрипки — по руке того, кому предназначались...». А в каком-нибудь затененном уголке можно найти ответы на вопросы, например: отчего умер архитектор Разин? Разину об этом было сказано в жилище Цецилии, одной из трех сестер, к которой, как и к другим двум, он пришел покупать «белых пчел» (так называют колено потомства, которое следует сразу за правнуками), и сказано это ему было ребенком Азередо, потомком Сатаны: «Схитришь — берегись! Посмотри на меня хорошенько! Я твоя смерть. Или, если угодно, я самая большая ошибка в твоей жизни. Запомни, для смерти и для самой большой ошибки в жизни человека годы отсчитываются обратно, к рождению. И знай: твоя смерть — в ребенке. Мне годы не прибавляются, я их теряю, они не растут у меня, а убывают! Помни это и берегись, потому что я пришел учить тебя не тому, как жить, а тому, как умирать».

Если же собрать по разным углам некоторые предметы, приметы, слова и затерявшиеся сны, то можно разгадать и тайну счета, выписанного на обороте фирменного бланка отеля «Кингстон»: 1689+293=1982 (этими цифрами как бы кончается «Хазарский словарь»). Но пусть уж это делает сам читатель, наша задача — лишь обозначить для него некоторые ориентиры и по ходу дела — заинтересовать.

ЗВЕРИНЕЦ

> Боязливые и беглые жители лесов, пользуясь безопасностью и покровительством людей, сделаются в скором времени не столь робкими; и владелец, видя, что они подходят к нему без всякого страха и берут корм из его рук, ощутит новые приятные чувствования.

В зверинце этом нет оград, зато есть особи, нигде более не встречающиеся. Впрочем, попадаются и обычные. Как-то: породистые олени и муфлоны (четыре самца и восемь самок), сомалийские овцы, одногорбые верблюды и ламы, белые верблюды, дикие козы, серны, сохатые олени, тибетский медведь, пума, зебра, гепард, лев, пантера, три яка, канадская рысь, гиена, два индийских слона и три жирафа, златокрылая дикая утка, японские перепелки и попугаи. Живет там и гигантская черепаха, которую когда-то съели пассажиры одного корабля, а через пятьсот лет в ее панцире устроился моряк на ночлег, выспался, а с утра заковылял к морю и поплыл. Нашлось там место и простой собаке, побитой молью и забрасывающей заднюю левую ногу между передними, и курице, что несет яйца, в которых вместо желтка — дни. Не всегда ясно, что такое «ку». Эти плоды растут на хазарских фруктовых деревьях, покрыты они чем-то похожим на чешую или на чешуйки шишки и напоминают рыбу. Иногда они издают звуки, похожие на пение зябликов. Осенью плоды становятся легкими, и косточка внутри пульсирует, как сердце, когда же они падают с веток, то некоторое время летят, взмахивая жабрами, будто плывут по волнам ветра. Иногда можно встретить то существо, которое преследовал Плакида (см. *Абрис*). Оно похоже на большую сидящую на корточках железную печь. Передние конечности у нее вроде птичьих когтистых лап, а задние — медвежьи, еще у нее рыбий хвост. Между дьявольскими ушами виднеются две прорези, и, поскольку в печи полыхает огонь, эти маленькие, обезьяньи или сатанинские, налитые кровью глазки смотрят в упор. Стоит выследить и лисицу, которая крадется к овечьему водопою, по пути обирая с колючек кустарника шерсть. С клоком шерсти в пасти она медленно входит в воду, а потом плывет; блохи перебираются на клок овечьей шерсти и начинают щекотать лисе нос — тогда она отталкивает от себя комок шерсти с блохами и возвращается очищенной на берег. На самом же деле эта лиса — не просто лиса, но и душа человека. Которая порою сама справляется со всеми напастями.

ОБМАНКИ

> Обманки — «обманные» виды, живописные изображения, помещаемые в торце прогулочных аллей и создающие иллюзию далекой перспективы, фасада пышного архитектурного сооружения и т.п.

На последней стороне обложки одной из тетрадей архитектора Разина также помещен пейзаж, нарисованный чаем. На нем изображено устье реки Савы при впадении в Дунай, под Белградом, а в устье — остров. «Однако кажется, словно глаз художника вдруг наткнулся на препятствие, и пейзаж перегородила невидимая отвесная стена. Словно от земли до неба стояло какое-то странное сито. Пройдя сквозь него, вода в отдалении без перехода превращалась в сушу, а суша — в воду, небо вдали колыхалось, остановившись как земля, а земля текла совсем как небо, неся на себе облака. За этой невидимой преградой Белград больше не Белград, а Дунай не река. Птица с разлету в жажде свободы бьется об эту преграду, так птицы бьются в окно или стекло картины, где пейзаж нарисован чаем, и разбивают его. Птица на картине Разина тоже ударилась в эту невидимую преграду, разбила ее и пролетела навылет. Только неведомо, достигла ли она свободы, потому что появилась на другой стороне окровавленная, и кровь ее течет по внешней стороне преграды, как по стеклу, в то время как она сама, расправив крылья, пытается с другой стороны поймать попутный ветер». Подобен этой птице и сам архитектор Разин, нарисовавший сей пейзаж. Парковые обманки хороши лишь в виде нарисованных пейзажей и лишь в свое время года. Пойдет снег — настоящую обманку можно снять, свернуть и поместить в чулан до следующей весны. Обманка же в конце аллеи, зачем-то замененная реальным искусственным пейзажем или пышным архитектурным сооружением, лишь загораживает перспективу и пресекает пути. А их порой не так уж и много.

И ведь в конце концов всегда под рукой можно найти разные сорта чая, кисточку, бумагу, перо и вместо чреватых последствиями экспериментов заняться умозрением природы, перенося плоды размышлений и фантазий в не подверженные сменам времен года пространства никем до тебя не заполненных чистых листов.

ПОВАРНЯ

> Поварня не должна быть от дому отдалена.

Наибольшее отношение к поварне имеет пьеса «Вечность и еще один день», и не только и даже не столько потому, что она подана в виде театрального ужина, состоящего из трех закусок, одного основного блюда и опять же трех десертов, из которых для театральной постановки всякий раз следует выбирать одну из закусок, всегда основное блюдо и один из десертов. Дело тут совсем в другом. Но для начала предоставим слово Наталье Вагаповой («Сюжеты балканской мифологии»), одной из переводчиц «Вечности...», ибо никто лучше ее не сможет кратко передать содержание: «Во втором действии пьесы «Вечность и еще один день», играющем роль «основного блюда», зритель наблюдает леденящий воображение вариант средневековой легенды о черноknижнике, присвоившем себе божественные функции. Философ и историк Авраам Бранкович, реально существовавший в сербской части Австро-Венгрии на грани XVIII и XIX веков, потерял сына. Молодой Бранкович по воле автора пал жертвой страшноватых забав своей матери-ведьмы. Убитый горем старик обращается к искусству черной магии. Ему удается изваять из глины прекрасного юношу и вдохнуть в него жизнь, а тем самым обречь на вечные страдания. Петкутин полюбил земную девушку Калину. Влюбленные поклялись в верности «навсегда и еще на один день», а силы зла, которым претит этот союз, не устают им мешать.

И тут вступает в дело едва ли не главная черта балканского писательского нрава: ирония, всепроникающая и включающая насмешку над самим автором и его творческими потугами. Только что созданный образ немедленно приобретает качества пародии. Зрителю или же читателю любовной истории Петкутина и Калины предстоит отдать предпочтение одному из трех вариантов театрального «десерта» — развязки: банальному, трагическому или комическому. Точно так же ранее надо было выбрать один из трех вариантов «закуски» — завязки основного действия: светскую беседу в гостиной, где знакомятся герой и героиня, фантастический эпизод в древнем хазарском храме, где послушница соблазняет послушника, или метафизическую сцену, в которой Петкутин и Калина олицетворяют Тело и Душу. Что до финала, то вы можете перенестись либо на пустошь, где влюбленных терзают тени ушедших в небытие, и это будет трагическая версия, либо в лавку антиквара, где Петкутин покупает виолончель и дарит ее воскресшей возлюбленной (версия счастливой развязки), либо на кладбище, где каменотесы обозначают имена балканских Ромео и Джульетты на могильной плите, беседуя и попивая вино (банальный сюжет, не раз кочевавший по страницам мировой словесности)».

Так вот, все дело не в подаче пьесы, а в том, как она приготовлена. То есть не все, конечно, дело в этом, но большая его, дела, часть. Многие детали, образы, мысли, сюжеты и целые сцены взяты из «Хазарского словаря» и «Пейзажа...», они сварены в одном котле с новыми ингредиентами, все это

приправлено особыми снадобьями и поперчено фольклорными мотивами (которые, впрочем, и всегда у Павича присутствуют). Нет смысла указывать, что конкретно откуда взято. Мы ведь не в плагиате автора обвиняем, а рассказываем о его кухне. Ведь и в «Пейзаже...» можно кое-что узнать из «Словаря», а во «Внутренней стороне ветра» — из «Пейзажа...». А, например, художник Исайло Сук из рассказа «Тайная вечеря», искавший для своего полотна образ Иуды и нашедший его в самом себе, появляется в «Хазарском словаре» под видом д-ра Исайло Сука, археолога, арабиста и профессора университета в Нови-Саде (см. *Вид*). Все это просто дает нам право констатировать, что при всей замысловатости отдельных опытов Милорад Павич пишет одну-единственную книгу, образ которой мы и пытаемся (не без упущений) отобразить в виде регулярного парка сновидений.

Но в поварне хранятся и кой-какие иные вещи, потребные для создания разнообразных блюд и, например, пейзажей. Конечно же — разные сорта чая. Для воды в реке берется «тропанас», темный фруктовый чай, который смешивается с бледно-розовым апельсиновым чаем и с ярко-красным ибискусом. Виноградники рисуются густым оттенком лилового «исопа» с ромашкой. Небо пишется кисточкой из телячьего уха слегка разведенным чаем сорта «соучунг», собранным в мае и смешанным с быстро высушенным зеленым. Дом и постройки рисуются чаем из лотоса, а берег — русским чаем, тем, что подается к соленому маслу, и китайским, собранным на высоте двух тысяч метров над уровнем моря. Для прочих изображений есть «чайное шампанское» — знаменитый чай «дарджилинг», чай, который называется «вороньи когти» или «шпора», толченый барвинок, настоянный на красном вине, чай пекое, собранный в мае, с добавлением куркума... Всего не перечислить, тем более что на полках стоят и переплетенные коллекции меню и бутылочных этикеток, собранных Амалией Ризнич на всех обедах (в одну из книжек попал и сонет Мицкевича, сложенный в честь ее бабушки), рядом с ними — книги по истории кулинарного искусства, исследования о том, что запрещает есть та или иная религия, о пифагорейцах, которые не ели фасоли, о христианских постах, о том, почему ислам запрещает употребление свинины и алкоголя, а также трактаты о кулинарной символике, карманные справочники виноградаря, советы по откорму рыб, инструкции по размножению домашнего скота, гербарии съедобных растений, опусы, касающиеся меню мифологических животных, труды о том, как употреблялись в пищу в античные времена жемчуг и прочие драгоценные камни, рукописный лексикон обрядовых жертв, приносимых в виде пищи. Так что в поварне есть все, чтобы разгулялось воображение автора-кулинара и его последователей. Нам же осталось лишь представить того, кто все это создал. Точнее, собрал и придал форму. Ведь садовник создает все не из ничего: он выбирает место, создает план, высаживает растения, потом впускает в свой парк посетителей, которым, как мы уже говорили, разрешает быть соавторами (при этом предыдущий опыт и советы заинтересованных лиц он принимает со вниманием, по собственному хотению их переосмысливая, — см. *Абрис*).

САДОВНИК-АРТИСТ

> Садовник-артист многие произведения неорганического растительного или животного царства располагает в пространстве не по чертежу правильного огорода, или полезного гульбища, а по идее живого ландшафта...

Так как в России сколько-нибудь полных (а также иных) биографий Милорада Павича пока нет, то нам пришлось довольствоваться отрывочными сведениями из разных источников, а также свидетельствами тех, кто его видел. Таких людей в России тоже пока немного. Посему для нас Павич остается отчасти фигурой мифологической, что для такого писателя даже хорошо.

Родился он 15 октября 1929 года в Белграде. Мать — скульптор, отец — спортсмен. Среди предков — поэты и почетные члены Академии. Сам Павич очень рано выучил французский, английский, немецкий и русский. Свой первый рассказ опубликовал именно по-французски, а в 1947 году издал сербскую вариацию на тему пушкинской «Полтавы». В 1949 — 1953 годах учился на философском факультете, занимался скрипкой, сербской литературой XVII—XVIII веков, перевел «Полтаву», тогда же стал заниматься темой Кирилла и Мефодия (через них и возникли хазары). С 1954 года работал в газетах, писал статьи о сербской поэзии, переводил стихи с французского и немецкого, служил в армии, переложил на сербский «Евгения Онегина». Выпустил несколько поэтических сборников и сборников рассказов («Железный занавес», 1973; «Кони Святого Марка», 1976; «Русская борзая», 1979; «Новые белградские рассказы», 1981 и др.). С 1978-го начал писать «Хазарский словарь», вышедший в Белграде в 1984-м, в следующем году получивший престижную премию журнала «НИН» и вскоре переведенный на множество языков (кстати, он существует в двух вариантах — «женском» и «мужском», отличающихся некоторыми нюансами). «Пейзаж, нарисованный чаем» опубликован в 1988-м, «Внутренняя сторона ветра» — в 1991-м, пьеса «Вечность и еще один день» — в 1993-м. Своеобразное творческое кредо писателя заключается в следовании некоторым правилам: читателю не должно быть скучно,

прозаик должен сделать вывод из того, что успех достается триллеру. Любит пользоваться временем в качестве рычага.

Забавная деталь — французский издатель, обладатель прав на произведения Павича, в США выставил эти права на аукцион. На вырученные деньги он смог купить американское издательство, название которого созвучно названию одной из книг самого Павича (а именно — «Русской борзой»). Еще донесся слух, что белградские власти выделили Милораду Павичу новую квартиру, при одном скромном условии: в некоем гипотетическом будущем квартира должна стать музеем писателя. Таким образом, можно считать, что Милорад Павич уже сегодня живет в собственном музее.

Любимые поэты, как говорят, Байрон и Пушкин.

Литературовед, доктор филологических наук, профессор университетов в Белграде и Нови-Саде. И всемирно известный писатель. Опять же ходят слухи, что его уже выдвигали на Нобелевскую премию. Зато точно известно, что с недавних пор Милорад Павич — член Международного совета журнала «Иностранная литература». Есть в наличии даже подлинное письмо с его согласием и подписью. Стало быть, он действительно существует.

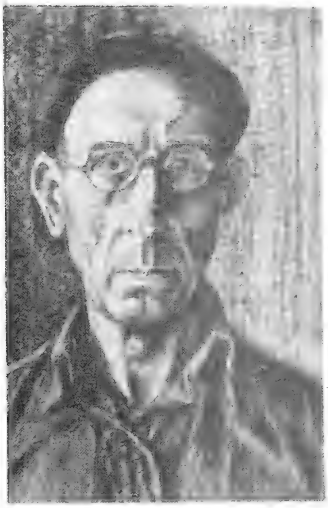
Послесловие

Идя по следам Милорада Павича, бредя аллеями и пробираясь чащобами его парка сновидений, самого Павича мы, конечно, так и не настигли. Отчасти потому, что видимых следов на русской почве еще недостаточно (почти все они перечислены в сноске к подзаголовку). Но более всего потому, что настичь писателя невозможно: даже если писатель — черепаха, то пишущий о нем всегда Ахилл.

Но и та часть мира, которую создал (или, если хотите, воссоздал) Павич, в которую мы попытались заглянуть, выглядит необъятной. Явившаяся нам во сне форма словаря для описания этого мира представляется хоть в чем-то адекватной его сколь регулярно выстроенным, столь и загадочным произведениям. Парк есть подобие мира в миниатюре. Садово-парковый словарь самою своей фрагментарностью дает возможность сосредоточиться на ключевых понятиях, образах, символах. В то же время словарь бесконечен. По техническим причинам (отчасти подобным тем, из-за которых три книги «Хазарского словаря» не смогли выйти в отдельных переплетах) в нашем словаре далеко не все словарные статьи представлены. Иногда нет даже тех, на которые даются ссылки, вроде *Лабиринта, Пейзажа, Храмов*. Читателя, не нашедшего этих статей в тексте, отошлем к текстам старинных садово-парковых словарей, которые и использованы нами для словарных эпиграфов, и к самому Павичу: уж у него-то есть объяснения этих слов, надо только повнимательнее читать. Как есть и объяснения по поводу *Монументов и памятников, Парков, Руин* и *Храмов*. И тысяч других слов и снов (см. первый эпиграф). Там можно найти даже то, чего вроде бы, на первый и даже на второй взгляд нет. Нет там имени сербского писателя Данило Киша, создателя «Энциклопедии мертвых», Борхеса, многих русских, европейских, японских и американских писателей. Как не будет, возможно, упоминаться имя самого Павича в произведениях, кем-то пока не написанных.

Творчество не нуждается в оправдании. «Жизнь не может быть лекарством от смерти, хотя смерть — безусловно, лекарство от жизни» (эту двусмысленную сентенцию внушила мать архитектору Разину). Именно смерть нуждается в оправдании. Литература — лекарство от смерти и напоминание о ней (см. второй эпиграф). Есть литература, есть люди, которые, несмотря ни на что, пишут новые, прежде небывалые произведения — следовательно, человек бессмертен. Доказательство этого незамысловатого силлогизма — в книгах. В том числе и в книгах Милорада Павича.

■



Альберто Санчес, скульптор из Толедо

К 100-летию со дня рождения

С испанского
Вступление А.ГЕЛЕСКУЛА

В пустынной Ламанче, пронизанной ветром и светом, Толедо возникает как мираж. Стрельчатый силуэт на базальтовой глыбе — словно гроздь кристаллов из раствора, перенасыщенного историей, культурой и кровью. Толедо — город жестокой красоты. «В вечерних сумерках землистые камни Толедо отсвечивают кровью, — таким увидел его в начале века Ортега-и-Гассет. — Это разбуженная зноем, расплавленная дневным жаром кровь воинов, павших в бессчетных битвах за город, тайно просачивается наружу. Древняя столица вспыхивает, как девушка, из-за которой мужчины бьются насмерть... И с заходом солнца козы на береговых обрывах, словно повинуясь воинскому сигналу, вскачь одолевают царственную крутизну и входят в город, как в загон».

Внизу, под царственной крутизной, сгрудились на бурой пустоши дома — предместье с незавидным названием Ковачуэлас (что-то вроде «Кротовника»): так окрестили его когда-то надменные горожане, глядя с крепостных стен на это гнездовье бедноты. Здесь на тесной улочке столетие назад 8 апреля 1895 года родился великий испанский скульптор Альберто Санчес. Отсюда по мосту, выстроенному еще римлянами, затемно уходил на работу отец в толедскую пекарню. По тому же мосту несли новорожденного в ближнюю толедскую церковь Сантьяго-дель-Аррабаль (святого Иакова Слободского), и на том же мосту тощий светловолосый сорванец играл с уличной детворой в бой быков, похороны, процессии святых и другие толедские игры (одну из этих забав он описал в воспоминаниях).

Вообще же ему было не до игр. За мостом, у знаменитых Ворот Солнца, толедской жемчужины, до сих пор ветшает дощатая загородка с воротцами; в начале века там дымилась кузница, где десятилетний Альберто работал подручным, пока не испортил у горна зрение. До кузни он уже побывал разносчиком хлеба и пастухом, а после нее — штукатуром, сапожником, оружейником и в конце концов, подобно отцу, стал пекарем. Читать он научился в 15 лет — много позже, чем ковать, лепить и чувствовать форму каждой фиброй своих больших рабочих ладоней. Зато читателем сделался страстным, и хотя Достоевского, по выражению Унамуно, «прочел в переводах барселонских цирюльников», впечатление оказалось неизгладимым.

Отбыв воинскую повинность, Альберто Санчес вернулся в пекарню. Воля у него была под стать призванию, и его образу жизни позавидовал бы любой аскет: ночей не хватало для учебы и творчества, а в пять утра он уже стоял у печи. Много лет подряд он спал по два-три часа, и то не всегда. «Разучился», — невесело шутил он. Лишь на четвертом десятке, после своего успеха на Выставке иберийских художников, впервые открывшей его и Сальвадора Дали испанской публике, скульптор получил небольшую стипендию на три года от толедского городского совета и, перестав наконец кормить сограждан хлебом насущным, полностью переключился на духовный. Санчес вспоминал, как ночью в пекарне кто-то, развернув газету, воскликнул: «Что за черт! Тут написано, что ты скульптор». В ближайшее воскресенье вся компания впервые в жизни отправилась на выставку.

Теперь он видел родной город иными глазами: «Когда Толедо туманился дождем, в воздухе возникала лимонная желтизна с полотен Эль Греко; в воде на кам-

нях, обточенных временем, мох и лишайник повторяли образы его полотен; после дождя горы и валуны становились керамическими, как его «Святой Маврикий» в тишине Эскориала, а когда к вечеру появлялись купальщики, их тела были зелеными, желтыми и голубыми, как полуобнаженные на этой картине. Было радостно убеждаться, что Эль Греко вобрал весь этот живой мир и что мы, на несколько веков моложе его, тоже способны на многое».

Начался десятилетний творческий взлет. Альберто Санчес возделывал себя, как землю, долго и трудно, и «дебют» его совпал с творческой зрелостью, плодоносящей вольно и щедро. Он создает десятки скульптур, немыслимые (и невоплощенные) монументальные проекты; удивительна его графика тех лет — от воздушных певучих акварелей до жестоких гротесков. В 1932 году родился бродячий студенческий театр «Ла баррака»; директором его стал Федерико Гарсиа Лорка, художником — Альберто Санчес. И при всем этом Санчес несколько лет преподает рисунок в художественной школе при Эскориале. Вспоминают, что учителем он был замечательным — еще и потому, наверно, что учил не только рисунку. Однажды школу повезли на экскурсию в Авилу; по завершении директору захотелось, чтобы Санчес сказал речь. Дело происходило на старинной площади у романского храма, полузаслоненного «киоском» (в будни там торговали лимонадом, а по праздникам размещался оркестр).

— Дети, — назидательно начал Альберто, указуя на киоск, — это строил архитектор. Он учился, как вы. Потом несколько лет провел в Высшей архитектурной школе. Наконец ему доверили дело. И сами видите, что из этого вышло.

Годы спустя он учил испанских детей рисунку уже в Москве. Дети гражданской войны не просто попали в незнакомый мир, но были уверены, подобно Лейбницу, что обитают в лучшем из возможных миров. По Москве тогда продавались открытки с изображением Дворца Советов и пояснением, что это вершина мировой архитектурной мысли. Тогдашний ученик Санчеса Хосе Фернандес вспоминает, как они, раздобыв открытку, с гордостью показали Дворец учителю. Он был краток:

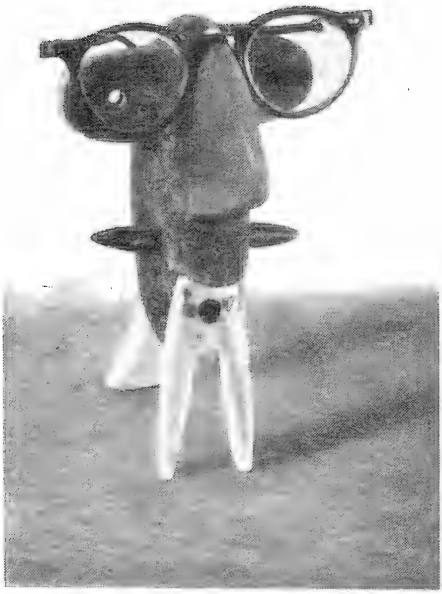
— Торт.

Еще один урок — краткий и по тем временам рискованный, он запомнился.

Сам Альберто Санчес учился рисунку в гарнизонах Марокко; время было относительно мирным, и солдаты тратили его кто на что, Санчес — на книги, бумагу, камень и глину. В пустынном каменистом краю, так похожем на родные места, он впервые почувствовал себя художником; там он высек свои первые скульптуры, много рисовал и даже отреставрировал гарнизонную церковь.

Он сам себе был школой и в искусстве остался вне школ, сам по себе. Гениальный самоучка, не первый в испанской истории, в испанской пластике он первый заговорил о вечном по-новому, на новом языке, авангардном, но без европейского эзотеризма. На выставке Санчес мог в ответ на бесцеремонную фразу «Работы твои, Альберто, я все-таки не понимаю» сказать: «А им этого и не требуется». Но язык его пластики, точной и нерасчетливой, как детский рисунок, обращен отнюдь не к «посвященным». Трудность его рождена стремлением выразить как можно больше, воплотить в материале — Санчес готовил его сам, как тесто для хлеба, из одному ему ведомых смесей — образ и ритмы мироздания, которое он постигал через свою маленькую кастильскую вселенную. Поэтому его «конкретные абстракции» так жизненны, хотя живут где-то на грани яви и сна. «Я в конце концов понял, — писал Санчес, — что никогда не смогу создавать то, чего нет. И успокоился. Мне не кажется зазорным отправляться на поиски форм и линий в поле и часто находить их, уже нарисованные плугом. В сущности, я лишь поднимал их с земли».

При этом Альберто Санчес помнил постоянно, что он самоучка, и не стыдился называть себя «полуграмотным и полуслепым, который хочет видеть ясно». Возможности у него были небогатые, но свой путь он прокладывал не вслепую: вначале собирал, вырезая репродукции из журналов, домашний, вернее — походный, музей, позже пропадал в мадридских — музее Прадо, Археологическом и др. Из вынесенных оттуда впечатлений два оказались решающими. «Конские головы Фидия точны, как математическая формула, — писал он. — Это живая архитектура его эпохи и всех, ей предшествующих. Скульптуры Фидия, вобрав в себя все прошедшее, воплотив его с предельным совершенством, воздвигнуты на вершине как последний рубеж восхождения, за которым возможен только спуск, неуклонное снижение мыслей и дел». Это восхищение, смешанное с печалью. По-иному впечатлили древние иберийские статуэтки из раскопок: «Поразительней всего, что эти грубые фигурки высотой в 40, 60, 90 сантиметров выглядят гигантскими, глубоко человечны и так безыскусны, словно задуманы и созданы самой природой. Впечатление точно такое же, какое бывает, когда слышишь голос человека, сберегшего в себе дух и красоту дедовских песен, который верхом на муле, минуя холмы и расселины, поет сам себе, один между небом и землей, и звук западает в душу, словно это голос ветра, словно запела сама природа, разбудив отголоски всего, что есть и было». (Кстати, сход-



Автопортрет

ное впечатление на Санчеса произвела выставка рисунков Пушкина; выходя, он воскликнул: «Видел бы их Пикассо!» — в его устах это было высшей похвалой.)

Такое же впечатление оставляют и многие скульптуры Альберто Санчеса, словно задуманные и созданные самой природой. Свои работы он мыслил как макеты больших монументов, воздвигнутых на холмах и пустошах; характерно название одной из его скульптур — «Три женских образа для тростникового ручья». Он вообще жил под открытым небом. Надо представить его облик тех лет: двухметровый рост, неправдоподобная, но какая-то крепкая, каменная худоба, орлиный нос и глаза — серьезные, печальные, большие (даже в старости они казались больше очков). Пеший Дон Кихот, он не только исходил толедскую округу, «где каждый уголок знал с малых лет, когда делил хлеб с конем на постоялых дворах», но и в Мадриде сутками бродил по его пустынным окрестностям. Однажды ночью он набрел там на расселины, которые лунно светились; это подвигло его на создание скульптуры «Тень женщины, отброшенная луной», а знакомого геолога, с которым он поделился увиденным, — на разработку залежей гипса.

Родина Санчеса, его кастильская вселенная, где деревья встречаются реже, чем люди, — это небо, камни и птицы. Небо входит в его работы как неотъемлемая часть. Еще до Цадкина и Генри Мура Санчес ввел в скульптуру «активную пустоту» — просветы, зияние пространства. Композиция стала воздушной, а пространство — космическим, насыщенным энергией; оно делало композицию похожей на крохотную галактику. Замечательно, что к художественному открытию — и в этом весь Альберто Санчес — привели не эстетические искания. Однажды, блуждая по каменистой пустоши без единого деревца, он увидел ястреба, терзавшего птицу, и решил воздвигнуть там «птичий памятник» — монумент-убежище со множеством пустот, где птицы могли бы укрыться. Этот каменный скворечник был недоступен ни для крылатых хищников, ни для бескрылых, поскольку стоял на закругленной конической опоре. Скульптура в войну погибла, но «птичьи памятники» — среди них и «Пристанище русских птиц» — он создавал потом не раз. Образ птицы — воздух, воля, полет и беззащитность — был его неотступным спутником жизни. Даже об испанских быках он говорил: «Они красивы. Похожи на птиц». И недаром так часто его скульптурные композиции венчает звезда, похожая на птицу, а может быть — птица, ставшая звездой.

«Это вошло в меня на всю жизнь, — признавался сам художник. — В горной лощине с землистыми, как кожа ящерки, склонами я искал хоть подобие тени. Мне показалось, что вдали опустилась на землю стая больших птиц. Место, где я укрылся, еще не просохло от росы, и скудная трава пахла мятой. Я смотрел на птиц и вдруг увидел, как они выпрямились и встали на ноги. То была стайка женщин, накинувших от солнца юбки на голову, и шли они в мою сторону ритмичной поступью птиц. Я вижу это до сих пор».

Бродячий быт и привычка к одиночеству сблизили Санчеса с природой, но не сделали созерцателем. В дикой красоте кастильского пейзажа он различал борение скрытых сил и сущностей; кажется, что он, подобно Гёте, видел духов. Связь его с природой чувственна, как у язычника или поэта, да он и был поэтом — и даже писал стихи. Названия его работ, пространные, как названия старинных стихов, говорят сами за себя: «Незримый полет в ночной тишине», «Животное, застигнутое своим одиночеством», «Скульптура горизонта», «Знак ветра». К несчастью, остались одни названия. У Санчеса никогда не было мастерской — где жил, там и работал. В Мадриде он снимал комнату на окраине; осенью 36-го по окраинам ударила артиллерия, и скульптуры погибли под развалинами дома. В Испании сохранились лишь шесть его работ да фотографии в старых журналах.

С началом войны Альберто Санчес, несмотря на возраст и плохое зрение, ушел добровольцем на мадридский фронт. Но оказалось, что есть оружие, которым владеет только он, и в 1937 году его посылают в Париж оформлять на Всемирной выставке павильон Испанской республики. Павильонов было много, но испанский во-

шел в историю культуры и в историю века. Его «оформление» — это «Герника» Пикассо, стенная роспись Миро и у входа — 12-метровая скульптура Санчеса «У испанцев есть путь, ведущий к звезде». Скульптура погибла, но уцелел ее двухметровый макет, бронзовая копия которого стоит теперь на толедской площади.

В 1938 году Санчеса отправили в Москву учить испанских детей, и почти на два десятилетия он расстался со скульптурой — негде было работать, да и некому показывать. Нельзя сказать, что в Советском Союзе он был одинок — с ним дружили Сергей Прокофьев и Петр Кончаловский, Алла Тарасова и Михаил Яншин. Сам он не покладал рук — перейдя на живопись, создал больше 200 произведений. До войны и после нее он оформлял в «Ромэне», Театре имени Маяковского и других московских театрах пьесы Гольдони, Лопе, Сервантеса и прежде всего Гарсиа Лорки; оформлял полностью, вплоть до костюмов, реквизита и даже расписной посуды. Но скульптурные замыслы из года в год гибли нерожденными.

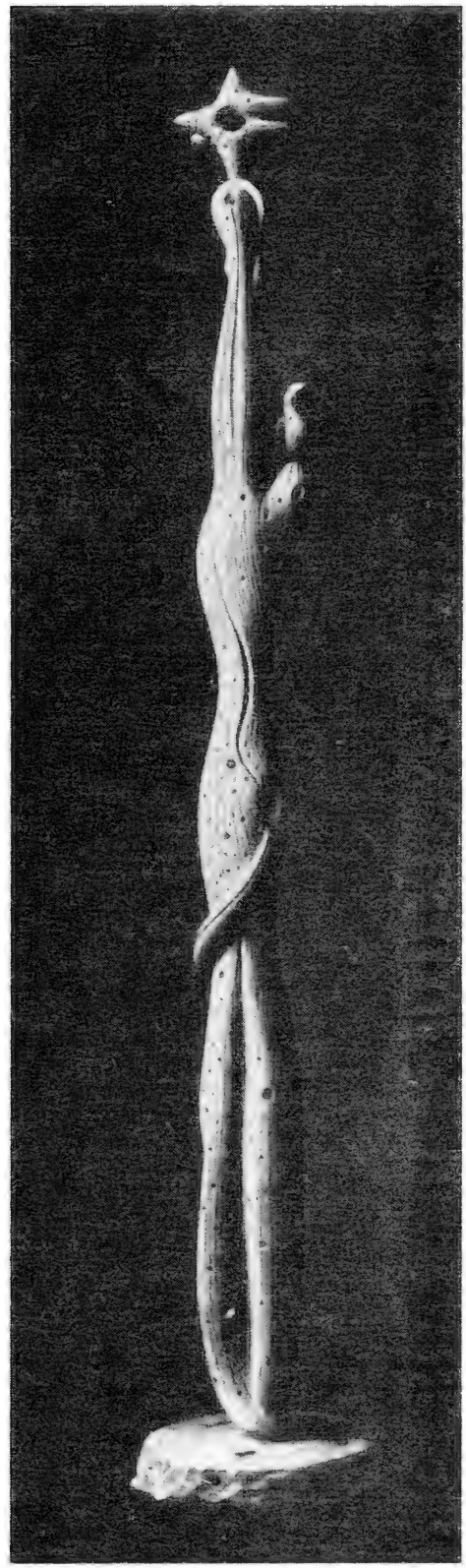
Где-то в конце 40-х в Москву приехала делегация то ли итальянских, то ли аргентинских коммунистов, в их числе поэт Гонсалес Туньон, знавший Санчеса еще по Испании. Вероятно, с его подачи делегация пожелала увидеть новые работы Альберто Санчеса. «Искусствоведы в штатском» охотно пошли навстречу. Позже, сидя в гостях, поэт за вином признался: «А скульптуры твои, Альберто, мне не понравились».

— Какие? — встрепенулся скульптор, лет десять не бравший в руки резца.

— Ну те, что в метро. На «Площади Революции».

Альберто хмыкнул и не сказал ни слова — мол, у каждого бывают творческие неудачи. Это не было осторожностью, ему не свойственной. Вероятно, разоблачить подлог ему не позволили гордость и брезгливость. Но не только. Просто он не мог допустить, чтобы чиновничье шулерство легло тенью на землю и людей, с которыми ему выпало делить беды и радости и горький военный хлеб. Война дважды прошлась по его жизни, застигнув его на родине и догнав в России; общежития, теплушки, голод и сушеная ботва вместо табака — все это было ему знакомо, привычно и принималось без жалоб.

В 1956 году в судьбе художника произошел перелом: Санчес с семьей получил однокомнатную квартиру — это означало, что у него появилась мастерская, она же по совместительству спальня, гостиная и выставочный зал. За шесть лет он создал почти четыре десятка скульптур — полихромных композиций, отмеченных новой для него и какой-то осязаемой музыкальностью. Надо было видеть этот сказочный лес и саму «мастерскую» с тисками, клещами, сверлами на верстаке (все это больше напоминало цыганскую кузню, чем обитель



«У испанцев есть путь, ведущий к звезде»

Птица, пьющая воду

искусства). Мёдь для скульптур Санчесу добывал рабочий, не отличавший реализма от сюрреализма, но полюбивший эти странные скульптуры, а скорее — самого скульптора. Мы в России, как известно, тащили, тащим и на том стоять будем, но это бескорыстное хищение в некрупных размерах испанская культура должна бы помянуть добрым словом.

Санчес, однако, по-прежнему не мог выставляться, а время шло, но это его как-то не заботило. Он жил в мироздании, а не в типовом доме, и участвовал в творении. Мелочи быта оставались мелочами, и он всегда был радушен, ровен и светел. Лишь однажды, по словам сына, он потемнел лицом и несколько дней ходил как неприкаянный; это случилось, когда из Испании прислали фотографию его дома в толедском предместье.

В 1959 году в Московском Доме художника открылась выставка живописных и театральных работ Санчеса. Его вступительное слово, как и все, что он делал, было непривычным. Вместо ожидаемой речи о борьбе испанского народа и его дружбе с советским Санчес сообщил, что, работая над натюрмортом, долго не мог схватить форму и цвет картошки, ее суть, пока не понял эту суть через ее испанский аналог — луковицу. Маленькая притча об истоках культуры и об их родстве была, кажется, плохо понята.

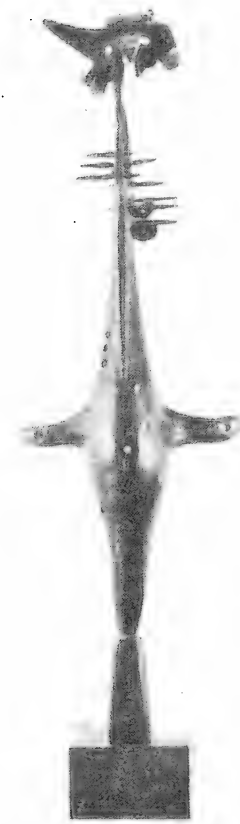
Следующей выставки он уже не дождался. «Мне показалось, — писал Пабло Неруда, — что его смерть нарушила естественный закон. Он всегда представлялся мне высоким деревом, похожим на каменные громады моей родины». Но и камни умирают. Альберто Санчес знал это лучше других.

Есть у Полонского строка, быть может, одна из самых горьких в русской поэзии: «Про черный день нет песни у меня». Когда в больнице Альберто понял, что уже не вернется ни в Испанию, ни в свою крохотную мастерскую на московском проспекте, он повернулся лицом к стене и стал вполголоса перебирать те песни, с которыми прожил жизнь. Петь он учился у матери и особенно любил петь за работой. В Испании вообще поют за работой и говорят даже, что дело не двинется, пока не подберешь к нему песню.

Песен ему хватило не на один черный день.

Альберто Санчес умер 12 октября 1962 года. 12 октября — испанский национальный праздник, в этот день матрос Хуан Рыжий крикнул: «Земля!» — и Колумб увидел Новый Свет. В день похорон было холодно, но солнечно и по-осеннему ярко. И вдруг, когда гроб стал опускаться, из какого-то беглого облака повалил снег. По народному поверью, так бывает, когда хоронят праведника. Но думалось тогда о другом. Снег падал на непокрытые головы испанских стариков. Седые, лысые, поникшие, они растерянно натягивали береты, и сердце сжималось от сознания, что скоро и они лягут в эту землю, не увидев родины.

Давно уж и внуки художника живут в Испании, есть там его музей, и даже выпущено к столетнему юбилею вино с его именем, а на московском Введенском кладбище остался стоять, в окружении других испанских могил, бурый камень с краткой надписью «Альберто». «Просто Альберто, — говорил о друге Пикассо, — потому что он единственный Альберто». Какое-то старинное величие есть в этой простоте. Художники Возрождения не нуждались в фамилиях; иные, подобно Боттичелли и Эль Греко, вошли в человеческую память под прозвищами, а величайший трагический поэт —



Крик жаворонка

под детским ласковым именем, которым называли сперва отец с матерью, потом друзья, а потом остальное человечество загадочного Дуранте Алигьери, «сурового Данта». Эта честь — зваться по имени — даруется немногим, и присвоить ее нельзя. В России иная традиция, не латинская, и все же Блок останется Александром, а Есенин — Сергеем. Словно голос народа, древний vox populi, обращается к художнику: «Ты дорого нам достался, мы ждали, и ты не обманул, ты наш — и да простят нас родители, но звать тебя будем по имени». В Испании нашего века только двоих звали всегда по имени — Федерико Гарсиа Лорку и Альберто Санчеса, двух художников, таких разных и близких, которых сдружило даже не искусство, а что-то большее, из чего и ради чего искусство рождается. А разлучило человеческое безумие по имени война.

Федерико Гарсиа Лорка, Альберто Санчес, Сальвадор Дали. Мадрид,1925.
(Общество Федерико Гарсиа Лорки. Фотоархив)

Санчеса вспоминают как редкостного рассказчика, его историями заслушивались Лорка и Пикассо. Но за перо он брался редко— дел было много, а времени всегда мало, и его литературный дар не осуществился. Свои стихи он хранил в памяти — и одни с годами забыл, а другие ушли вместе с ним. Единственное, что он опубликовал, были стихи, по редакторскому произволу ставшие прозой. Весной 1933 года в разговоре с сотрудником мадридского журнала «Арте» («Искусство») Санчес коснулся своих вечных тем — земли, искусства, Кастилии и мироздания. Журналист, не без тайного умысла, лукаво заметил, что все это можно выразить пластически, но словесно — нельзя. Раззадоренный Санчес горячо возразил, что можно, и даже стихами — и через пару дней принес поэму. Отрывки опубликовали в июньском номере под названием «Слово скульптора». Но предварительно подредактировали, причесали, сгладили непривычный, «библейский» ритм и напечатали стихи сплошным текстом, как прозу, — к великому огорчению автора.

В последние годы жизни Санчес несколько раз принимался за воспоминания, и снова не хватало времени. В семейном архиве остались разрозненные сценки, внутренне завершенные, как публикуемая ниже «картинка детства», больше похожая на офорт Гойи. Жесткая, как глоток сухого кастильского воздуха, она заставляет ощутить, как далек Толедо от нашего Суздаля, где тоже имеются склепы, но все вокруг: холмы, стены, камни и даже детские игры — живет и дышит иначе. Наверно, эта детская зарисовка что-то проясняет в судьбе и творчестве великого скульптора.

АЛЬБЕРТО САНЧЕС

Покойницкий проулок

(Из воспоминаний)

В нем было всего два дома. Название свое проулок, видимо, получил потому, что в него выходила задняя стена церкви Св. Андрея. Под ней находился склеп с высохшими покойниками всех возрастов. В подземелье, куда их складывали, попасть можно было, подняв деревянную дверцу, вделанную в пол за алтарем. Когда женщины приходили мыть полы, детвора пользовалась удобным случаем, а выпадал он как раз тем, чьи матери в обязательном порядке и без какого-либо земного воздаяния убирали церковь. А мы, как уже было сказано, пользовались этим и забирались на колокольню, играли в прятки или забавлялись, пугая друг друга. И когда дело доходило до этой главной забавы, прокрадывались за алтарь как можно незаметнее, и приподнимали дверцу, которая казалась нам большой и тяжелой, а если дверца была открыта, притворно шарахались, чтобы заразить друг друга страхом, и чем больше мы корчили из себя храбрецов, тем сильнее нас тянуло в подземелье. Начиналось на спор, кто смелый и спустится первым, и вот тогда становилось по-настоящему страшно, но, как водится, самолюбие брало верх и кто-нибудь отваживался одолеть несколько ступенек, а мы сверху подзадоривали: «Еще одну!» — и когда он был уже в самом низу, страшно вскрикивали: «Упырь!» — и бедняга взлетал по лестнице с лицом и вправду перекошенным. Смеясь как можно дольше и громче, каждый из нас, однако, сознавал, что близок час, когда придется нам спуститься туда всем вместе, и кто не спустится, будет распоследним трусом, а уж страшнее этого ничего нет.

Затея была не из легких, учитывая, что старшему из нас не исполнилось и девяти. Единственное окно в подземелье, зарешеченное массивными прутьями, было узким, как бойница, и свет входил в него косым клином и слегка расходился веером, тусклый, серый, словно туман; требовалось время, чтобы привыкнуть к нему, и тогда вдоль низкой стены проступало что-то неясное и неподвижное. Какие-то замершие тени смутнели на полу. Мы жались друг к другу, чтобы поднять дух, и, непрерывно повторяя: «Кто драпанет, тот иуда!», мало-помалу подвигались к этим закоченелым пятнам. То были обтянутые кожей скелеты, и на некоторых еще угадывались клочья одежды, готовые рассыпаться от прикосновения. Смотреть было страшно, но бежать — еще страшней, потому что казалось, будто мумия гонится следом. По-прежнему сгрудившись, мы пятились, не отрывая глаз от покойников, и хуже всего было у самой лесенки, когда каждый старался выбраться первым и начиналась свалка.

То ли в очередной раз мы слишком распалились от пинков и зуботычин, но кончилось тем, что один из нас метнулся к мумиям, наблюдавшим нашу схватку, вцепился в одну, волоком дотащил до нас и бросил к ногам. Свалка разом прекратилась. Мы молча уставились на покойника, и вдруг кто-то сказал: «Надо, чтоб каждый принес». И мы это сделали. Тут же, в подземелье, было решено вытащить их наверх к алтарю.

Уже наверху, живые вперемежку с мертвыми, мы вздумали затеять танцы с партнером, только что извлеченным наружу. Как уж это вышло, не знаю, но оказалось, что покойный в лучшие времена явно был нашим ровесником.

Это сразу расположило к нему, и все наперебой изображали его лучших друзей, решив единодушно не тащить его в хоровод и вообще поменьше тормошить. Но в пылу танца кто-то задел маленькую мумию и тут же получил затрещину, что дало начало побоищу, и в церкви учинился форменный скандал.

Всполошенные родительницы, поспешив на шум, внесли в макабрическую схватку свою лепту — как задаток, и, судя по урону, понесенному нашим новым приятелем, довольно терпимый.

Слово скульптора

Мне твердят: «Город». А я говорю: «Земля»... Заповедный край глины, песка и кварца; огненная мадридская охра, пропахшая майораном, в наждачной листве сандала и тростниках с острием из каленой стали; краснозем толедской Сагры в оливах, унизанных черными дроздами, и ядовитая жаба в горечи дрока, и бодрый лягушиный дух, и пляска рыб, подстерегаемых червем... и чтобы все размокало в ливне и твердело глиной, чтобы все пахло грозой, смоковницей и молнией, чтобы размытые временем кручи гудели от летучих мышей, а небо в осенних сумерках чернело небывалыми тучами... И когда, забрызганный грязью, я расплескиваю черные бездны и

таинственные крылья касаются слуха, когда содрогается от жестокого ненастья глухая ночь и белые сполохи высвечивают путь, а ветер заслоняет дорогу и вдогонку кричат вороны и совы — пусть, оглушенный, я соскользну в овраг и в предчувствии топкой глуби и бредовых змей на дне буду катиться, поднимаясь и падая, пока не стану глиняным комом. Пусть кинется навстречу призрак черного пса и, трижды оглушив пустошь, пойдет чертить кольца и треугольники вокруг моего глиняного тела, и пусть, переполненный всем этим, я застыну пластом сырой пашни.

Пусть отныне и навек будет лишь этот ком кастильской земли, бурый в холода, с вековой мадридской ржавью, с ромашковой пестрядью и соломенной сушью толедской округи, с лунными отсветами Аламеды, земли конопляник, лунатически зеленого суглинка, ощетиненного волчцами и пахнущего жареным миндалем; пусть пеленает мою глину дух чабреца и лаванды, пусть отогреют меня зайцы и дикие кролики, пусть укроют терновник, тимьян и цикута и обручат меня с грядой Аньовер-дель-Тахо.

И пусть ранний ветер несет пыльцу с кастильских полей и засевает вершину Монтаньовер, мою любимую, разрыв-травой и лунной россыпью овсянок, и пусть звенят, как степь, зарянки и зяблики.

Кастильская женщина

Изваяния стволов, ободранных быками, над белыми, как ископаемые кости, обрубками на красных отмелях и фигуры людей, словно шесты в бурых накидках, шагают за упряжкой, рисующей борозды; сгорбленные спины над ярким полумесяцем в руке; пропыленные тела, которые обливаются потом и просыхают, как птицы, на ветру, несущем пыльцу и запах первых дождей; замершая пара на конусе холма в одури дрока и тимьяна. Деревенская жизнь, вошедшая в мою как утренняя звезда. Живительный свет, в полуденном летнем пекле подобный бычьему реву под мерную капель кукушки и разлитый по кремнистым холмам, чтобы высветить жизнь камня, душу быка и сердце птицы.

Быки Иберии

Я хотел бы вдохнуть в мои скульптуры рассветную рань. Утро в пятом часу, когда даль пахнет лавандой и розмарином, оливами, и виноградниками, и тимьяном, по которому я бреду среди прутьев упругого козолиста, осыпанный жесткими лимонными ягодами дрока, пшеничными, как бусинки из слоновой кости, распевая над оврагами, заросшими стрекольником, где сквозит салатной зеленью нитка ручья.

Пятый час летнего утра — в голосах лягушек, в шуме птиц над высокими валунами, в колокольных отзвуках далекого скита, в сети борозд и глазури трав, в одиноких путниках и дорогах, меченных огромными, обточенными временем камнями, зависшими, как толедский Утес Мавра.

Зримая и радостная пластика одиноких холмов с их кастильскими красками, запахами и звуками, что ни день новыми, с оливковыми стволами, голубовато-белыми, словно кости или влажная вороненая сталь, с обломанными непогодой сучьями; лысые холмы, приют ящериц и скорпионов, где жуки воюют с муравь-

ями, холмы, расчерченные змеиными следами, и черными дорожками неутомимо снующих муравьев, и пастушьими тропами в отпечатках копыт; убитые филоксерой виноградники, изрытые козами; мерцающие, как июньские звезды, куски мергеля, изверженные и расколотые временем кремни и змеиные шкурки в сухом бурьяне.

И все наводнено кузнечиками, этой кастильской саранчой, все заткано тимьяном, опаленным холодами и зноем, все изрыто следами трехмесячных ливней.

Изваяния птиц, торопящих рассвет голосами, влажными от росы, и длинных вороненых туч над зимними туманами, над лаем овчарок и дымом горящего кизяка; гибкий абрис цикуты на чистом белом песке одинокого ручья с желтым отливом, с той желтизной жнивья, чье прохладное касание возвращает душу земле, дыханью небывалых гроз и жаркому танцу раскаленных борозд, врезанных моими руками в почву.

Формы, водой и ветром созданные на холмах из каменных останцов, исчерченных орлиными когтями и покрытых пометом. Формы, рожденные дрожью камыша, переплетенного тамариском, и те, цвета воронова крыла, источенные бурями и пахнущие серой, что отражаются в лужах, словно клочки неба, и те, что гудят не смолкая, хрипло и протяжно, бугрясь, как пена на огне, в белой наледи, вскипая искрами в горловине своего истока, и совсем иные, рожденные предчувствием совиного плача над колокольней саманного селеньица, нескончаемой непроглядной ночью, аспидно-черной в ливне и бездорожье, когда глыбы срываются с круч и я пересекаю околицу при свете молний...

Памяти Мигеля Эрнандеса

(Выступление в московском Доме дружбы на вечере памяти Мигеля Эрнандеса[1])

Как-то вечером я сидел на веранде мадридского кафе в компании людей близких и не очень — и с кем-то разговаривал. Продолжая говорить, я повернул голову и увидел у нашего столика деревенского парня, хорошо пропеченного солнцем, в альпаргатах и с маленькой папкой в руке.

Я смотрел на него и думал: «Как затесался в столичную публику этот пастух?» Но тут подошел писатель Хосе Бергамин.

— Познакомьтесь. Мигель Эрнандес, прекрасный поэт.

И как водится:

— Очень рад. Присаживайтесь. — Я попросил соседа подвинуться.

И мы разговорились. Говорили без умолку: он о полях и горах Ориуэлы, я — о толедских. Кончилось тем, что я предложил ему прогуляться по холмам Вальекаса[2].

Через пару дней мы уже брели по этим пустынным, крепкой лепки местам, дивным и весьма, замечу, злачным, так что наши карманы раздувались от ячменных и пшеничных колосьев. Вдруг Мигель остановился, что-то сорвал и протянул на ладони:

— Что это?

— Репей.

— Был репей, — поправил он. — Теперь это ворсянка, к исходу августа станет чертополохом, а в сентябре зацветет — и завязь, если осторожно очистить, можно есть, у нее вкус артишока.

Последнее слово он произнес с силой, словно вытолкнув из себя, чтобы придать ему веса. Признаюсь, меня слегка задел этот экзамен, и в целях реванша я свернул к ячменному полю и тоже протянул стебелек:

— А это что?

— Ну, — засмеялся он, — это надо видеть, когда расцветет, не зря у нас зовут его солнцецветом.

Я предложил подняться на холм и убедиться, что тимьян везде пахнет по-разному.

— А в ваших краях тимьян растет? — спросил я.

— Хорошо ты думаешь о наших краях! — ответил он оскорбленно. — Наш тимьян наилучший и пахнет как нигде!

— Меньше пыла! — сказал я. — Здешний растет на камне, среди кремней и кварца.

---

[1] Мигель Эрнандес (1910 — 1942) — испанский поэт, пастух из Ориуэлы (юго-восточная Испания), подобно Санчесу, самоучка. Многие, в том числе Хуан Рамон Хименес и Федерико Гарсиа Лорка, видели в нем надежду новой испанской поэзии. В годы войны Эрнандес — комиссар республиканской армии. Был схвачен франкистами и приговорен к смертной казни, замененной 30-летним заключением. Умер в тюрьме от туберкулеза.

Мы поднимались с холма на холм и, срывая стебельки тимьяна, удивлялись, как самобытно, неповторимо он пахнет, смотря по тому, где вырос. Так нас застала ночь, и до обидного жаль, что я уже не помню, о чем мы говорили той удивительной ночью в неповторимых запахах тимьяна. Помню только, как Мигель неожиданно сказал:

— Жизнь любого человека корежится, как корень тимьяна, в борьбе за выживание, но редко какая жизнь на исходе борьбы дышит так чисто и глубоко, как эта, — и протянул мне стебелек, из тех, что перебирал на ладони.

Свои последние стихи он написал на стене тюремной камеры:

...Проститесь за меня с колосьями и солнцем.

Его исход был чист и глубок, как тот запах тимьяна, которым дышали мы когда-то на холмах Вальекаса[1].

Современники об АЛЬБЕРТО САНЧЕСЕ

МИГЕЛЬ ЭРНАНДЕС

Альберто Неистовый

Его руки жгутами алчной глины и жадного дрока падают и впиваются в самое сердце земли, как когти, сведенные от голода. Это руки-корни, изнуренные жаждой обнять мироздание. Ибо растут они из сердца и, лишенные кожи, этой задубелой человечьей коры, влюбленно кровоточат до кончиков ногтей. Своими бесстрашными, неповторимыми руками он лепит горы и подносит их к губам. Кулаками и зубами творит он свои горы, свои скульптуры, не признавая других инструментов, кроме собственного тела. Это мужчина. С непокрытой головой он бродит босой по злым камням и хищным пустошам и не боится, а выискивает змей и скорпионов, чтобы веткой или камешком раздразнить их неизбывный яд. Лаская деревья, особенно — дуб, оливу и смоковницу, он сдирает с них застарелую кору, освобождая для новой, молодой, под цвет его зеленой вольной души. Он собирает урожай красоты, чистой и без червоточины, когда ищет облик поющего жаворонка и движение света и жизни над быком в загоне, камнем в воде, топором в руке и человеком в работе. И он вбирает все это и фокусирует в камне, угле и глине. Он единственный изваял молнию, единственный высек рассвет, он единственный ставил памятники птицам и бычьему реву. Однажды он выставит свои работы по берегам Тахо и в самых заброшенных местах толедских гор. Он говорит, что работает не для площадей и скверов, а для безлюдий и кузниц. И какая птица не отважится свить гнездо в ветвях его скульптур, когда он удостоит ими пустошь?

Женщина звезды

Пекарь Альберто, скормивший огню столько зерна, сколько травы я скормил козам, перешел с муки на глину, овладел ее сизой плотью в союзе с камнем и бумагой, и начали выходить из его рук львиноподобные быки могущественней настоящих, минеральные чудища, вздыбленные в поединке, безутешные деревья, чьи ветви корчатся на грозовых кострах, прошедшие обжиг мужчины и женщины с горшечной плотью в осоке волос и гнутой костяным панцирем одежде, замершие хмурыми валунами пастухи, кладбища — словно крохотные арены, размалеванные мелом и смертью, дым над ометами, одержимые мельницы, колючие пустыри и прочие приметы царственных кастильских полей, рыцарских, мужских по сути и складу, с бездонным небом над бездонной землей, похожей на распаханное сердце.

[1] Вальекас — пустынная местность к юго-востоку от Мадрида.

Не приближайся к Альберто, если душа твоя скудна и не гнездятся в ней птицы. И пусть подальше обходят его мнимые милостивцы, те, кто ничем не может отдарить его, кроме скаредных крох внимания, те, что боятся упасть в эту пугающую бездну красоты, и те, что пьют из его рук живую воду и не признают его или признают со скрипом, мелочно и малодушно. Сильные руки Альберто погружаются в самое сердце земли и, оплетенные корнями, хлещут, как плети.

1935

Перевод А.ГЕЛЕСКУЛА

ПАБЛО ПИКАССО

Все мы звали его Альберто, и почти никто не помнил фамилии. Просто Альберто — этого достаточно, потому что он был единственный Альберто.

Он был личностью, мощной и глубокой — и вместе с тем обаятельной, наделенной редким юмором, лукавым и добрым. Большой был человек, большой, как его скульптура на парижской выставке, которую давно бы надо отыскать.

Его искусство повлияло на многих художников нашего времени, на многих больших художников. Его работы и теории разбудили творческую неуспокоенность и подстегнули авангардистские движения, которые порвали в Испании с академизмом и реакционным приспособленчеством.

Вспоминаются две истории, в которых творческие установки Альберто предстают наглядно.

Однажды, войдя в современный дом, Альберто с силой пнул переборку и вышиб ее. «Это хилый дом, — сказал он. — И искусство, которое не держит удара, — хилое искусство».

В другой раз он рассказал мне вот что. Был в музее Прадо копиист, большой энтузиаст этого дела. И вот, когда он скопировал пейзаж, где было тридцать три птицы, Альберто, проходя мимо, сказал ему, что на копии одной птицы не хватает. Копиист оскорбленно пересчитал и недосчитался уже двух. Он пересчитывал снова и снова и, по словам Альберто, кончил сумасшедшим домом.

Я часто вспоминаю эту маленькую притчу не только по причине ее выразительности, но как полемическую стрелу в адрес искусства чисто подражательного.

Он был большим человеком, наш Альберто, очень большим.

27 октября 1962 г.

ХОСЕ БЕРГАМИН[1]

Я знал четырех Альберто. Первый — тот, что рисовал сатирические сценки в гротескном стиле, которым славился в свое время Санча[2]. Позже этот Альберто создал замечательные декорации.

Я знал и другого Альберто, рассказчика историй, которые казались вымыслом, но были действительностью, а сам он — участником и порой героем событий. Некоторые из них помнит Пикассо.

Я знал еще одного Альберто — того, что пел. Странным, сумрачным голосом, неровным, надломленным и скорбным.

По контрасту с пением Альберто-скульптор запомнился нежностью, совершенством и мерцающей прозрачностью своих работ, словно созданных ветром, воздушных, как персонажи Кальдерона, — мнимые призраки гармоничной реальности. Из этой реальности возникли его фигуративные работы для театра. Помню изумительный занавес, который создал он для злосчастной пьесы, моей и Мануэля Альтолагирре, с претенциозным названием «Звезда Валенсии, или Триумф ополченцев», шедшей в годы войны. Единственное, что оставил по себе этот опус в духе времени, был удивительный занавес, воссоздавший бескрайнюю кастильскую равнину, которой, казалось, нет и не будет конца, пока не сольется она с русской степью. Они слились, через много лет, в фильме «Дон Кихот»[3].

---

[1] Хосе Бергамин (1895—1983) — испанский писатель, в годы войны возглавлял Союз антифашистской интеллигенции.

[2] Франсиско Санча — испанский художник. Его дочь Клара Санча стала женой Альберто.

[3] Санчес был художником-консультантом фильма Г. Козинцева «Дон Кихот». Фильм сохранил его голос - Альберто Санчес поет за кадром народные песни.

Мне кажется, что эти четыре Альберто разыгрывали друг друга и еще одного, незримого, безмолвного, единственно подлинного Альберто, которого не знал никто, о котором мы только догадывались, лишь изредка смутно различая его, вечно одинокого посреди этих игр, уставшего просить огня, света, хотя бы огарка свечи от остальных четырех, заслонявших то, что он искал и не надеялся найти.

Перевод Н. МАЛИНОВСКОЙ

ПАБЛО НЕРУДА

Альберто Санчесу из Толедо

Где гурт монахов жмется в холода,
ты в жизнь вошел, задумчивая птица,
среди надгробий — жару среди льда —
тебе, Альберто, выпало родиться.

Недолго пастораль былого длится,
и плещет в Тахо древняя вода.
Ты месишь хлеб, и он в руке дымится,
пока в округе холод, смерть, беда.

И всё ж над грудой ржавого металла,
где рельсы, кости, скот у перевала,
и смертная икота, и победа,

Испания моя, многоедина,
родит дитя и явит миру сына:
тебя, Альберто Санчес из Толедо.

Москва, 21 апреля 1960 г.

РАФАЭЛЬ АЛЬБЕРТИ

Толедскому скульптору Альберто Санчесу

Тебе — ты соль земли толедской, ты —
живая глина, в Судный день с трубою
восставший ангел, спорящий с бедою,
эль-грековой исполнен высоты.

Тебе — ты помнишь, берега круты,
и Тахо, знай, поет перед тобою,
и стынут, сохраненные судьбою,
с гранитной птичкой мертвые щиты.

Тебе, далекий; оглянись назад —
как близок, как далек кастильский ад
и еле брезжит круг корриды старой...

Тебе я говорю: «Смелее, брат,
замесишь хлеб, и — долгожданный град —
подымется Толедо над опарой!»

Москва, февраль 1956 г.

Перевод Н.ВАНХАНЕН

■ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

МЕТАМОРФОЗЫ «МЕТАМОРФОЗ»

Сокровищницей вдохновения окрестил в свое время Шекспир «Метаморфозы» Овидия. Ныне в эту сокровищницу заглянули сразу сорок английских поэтов. Каждый из них на свой лад пересказал выбранный сюжет, а поэты Джеймс Ласдан и Майкл Хофман выступили также в качестве составителей сборника «По Овидию: Новые метаморфозы» (издательство «Фабер»).

Почти двести историй, которые Овидий поведал в пятнадцати книгах тысячу лет назад, в современном варианте действительно представлены поновому, в духе времени. У одних авторов (Фредерик Сейдел) они приобрели политическую аллегорию; у других (Майкл Хофман) сделаны в стиле «вестерн»; у третьих (Роберт Робертсон) похожи на стихи-страшилки. Ядерная катастрофа, войны, эпидемии и прочие всемирные бедствия имеются здесь в изобилии.

Интересно, что менее всего «уклонились от курса» лучшие поэты — такие, как Тед Хьюз («Четыре века». Книга I), Эми Клэмпитт, Шеймас Хини («Орфей и Эвридика». Книга X). Кстати, последний — единственный из всех — указал номер Книги и отрывок, взятый для переложения, которое, по сути, является очень точным переводом.

Самые большие метаморфозы произошли, однако, не с содержанием, а с формой овидиевского слога. Пяти-, восьми- и даже четырнадцатистишия, балладные куплеты, сложные стансы, белые стихи и рифмованные — словом, сколько поэтов, столько и форм.

Передан ли при этом дух овидиевских «Метаморфоз»? Судить об этом сложно, ибо и по сей день специалисты ведут спор об авторском замысле. Что побудило сорокачетырехлетнего Овидия оставить эротические элегии и взяться за сюжеты о превращениях людей в животных, в растения, в камни, и — что гораздо реже — наоборот? За какой проступок он, увенчанный славой поэт времен римского императора Августа, попал в немилость — и на берег Черного моря? Эти метаморфозы в жизни самого поэта, пожалуй, не менее любопытны, чем поведанные им.

БЕЗ ЕДИНОЙ БУКВЫ «Е»

Именно так в 1969 году француз Жорж Перек умудрился написать свой роман «Исчезновение». Именно так в прошлом году его перевел на английский Гилберт Эдэр, назвав — во избежание «е» — «Пустота» (издательство «Харвилл»). Во французском языке буква «е» встречается почти чаще всех, в английском — также очень часто. Так или иначе, но на 285 страницах оригинала и 284 страницах перевода нет ни одного слова с этой буквой. Как это удалось Ж.Переку — сказать трудно. Как это сделал Г.Эдэр — можно проследить. Возьмем, к примеру, числа. Во французском «е» имеется в трех числах из первого десятка, в английском — в семи. Англичанину, следовательно, пришлось туже, но он поступил просто: заменил пропись цифрами. А в тех случаях, когда точность особой роли не играла, он менял «три» на «четыре», а иногда — ничтоже сумняшеся — и «восемнадцать» на «шесть».

Оазисом для переводчика были, конечно, имена собственные, ведь о них (например, об «Оттавио Оттавиани») в свое время позаботился автор. Впрочем, Гилберт Эдэр справился бы и с ними, коль скоро он одолел бессмертные шекспировские строки «Быть иль не быть...», которые также существуют теперь в варианте без «е».

Переводчик передал не только букву, но и дух романа — дух весьма опустошительный. Как и в оригинале, персонажи один за другим гибнут, исчезают, умирают. Главный герой исчезает уже в четвертой главе. Далее процесс исчезновения охватывает всю пятую главу — ее в переводе нет. В последующих главах, вплоть до последней, двадцать шестой, всех и вся преследует проклятие страшного неизвестного тирана, напоминающего обличьем Жоржа Перека.

Сцена из спектакля «Гамлет». В роли Гамлета актер Стивен Диллейн.

(Еженедельник «Таймс литерари сапплмент»)

Возможно, замыслы у литераторов-виртуозов были разные, но и тот и другой удивили публику.

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ИНТЕРЕСНО

За последнее время британские театралы лицезрели немало датских принцев. Одним из лучших критики считают Гамлета в исполнении Стивена Диллейна. Он впечатляет экстравагантным облачением, чревовещательным голосом, манерой говорить в ритме ско-

роговорок. К тому же он очень хорошо владеет рапирой.

Что касается постановки самой пьесы в театре Гилгуда (переименование в честь знаменитого английского трагика сделано недавно), то режиссеру Питеру Холлу в оригинальности не откажешь. Во-первых, в спектакле прозвучало несколько отрывков, текст которых оказался малознакомым даже знатокам Шекспира. Оказалось, что это — скомпонованный вариант двух изданий: один позаимствован у «Квартоса», другой — у «Фолио». Вообще, как сказано в театральной программке, Шекспир, вероятно, делал переработки пьесы, отсюда и последующие разночтения.

Далее, обитатели замка Эльсинор предстали в поразительных нарядах: красные визитки, короткие брюки, цилиндры. Уж не перекочевал ли этот гардероб из «Записок Пиквикского клуба»? Наконец, обескураживает электронная музыка Стивена Эдвардса. Ее монотонное звучание, которое время от времени нарушают фанфары, похоже на жужжание невыключенного усилителя. Видимо, это должно восприниматься как шум моря или крайнее неблагополучие Датского королевства.

К этому необычному прочтению классики публика отнеслась благосклонно. Такова уж сила драматургии Шекспира в лице «Гамлета», не знающего поражений на сцене.

■ ИСПАНИЯ

ВЕНЕРА БОНАПАРТ, ИЛИ ЖЕНСКОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ДОНЖУАНСТВА

Красавица Паулина, сестра Наполеона, — в свое время она вдохновляла поэтов, пленяла кавалеров, вызывая возмущение общества своими амурными похождениями. В нынешнем веке она по-прежнему в центре внимания — на сей раз историков, кинорежиссеров, литераторов.

Увлекся ею и каталонский писатель Теренси Мошь. Он объездил исторические места, изучил сотни архивных документов, просмотрел множество статей и книг, целый год работал над собранными материалами. Венец его трудов — огромный, в восемьсот с лишним страниц, роман «Венера Бонапарт» (издательство «Планета»). Это совсем не биография Паулины, но в своем художественном вымысле автор стремился к правдоподобию, не говоря уж о соблюдении исторических фактов, поэтому он столь кропотливо изучал эпоху и личность главной героини.

«Любопытно, как относятся к ней исследователи и исследовательницы, — замечает Т.Мошь. — Мужчины — не иначе как к блуднице, ведь у Паулины было тридцать любовников, причем по нескольку сразу. Женщины же находят в ней немало достоинств, которых их коллеги словно не видят». Между тем Паулина — единственная из всего императорского клана — оставалась рядом с Наполеоном в дни его поражений. Конечно, здесь сказалось не только родственное чувство: известно, что старший брат имел для нее мужскую притягательность, превзойти которую не смог никто другой. Но, последовав за ним на Эльбу, она совершила поступок истинно человеческий, полагают исследовательницы.

Сам автор увидел в Паулине женское воплощение донжуанства, которое, по его наблюдениям, меряют иной меркой, нежели мужское. Донжуанство мужчины не только мало кого коробит, но и расценивается порой как качество «настоящего мужчины». Так или иначе, Паулина была по-своему под стать брату: он — бог войны — одерживал победы на поле брани; она — богиня любви — на Елисейских полях.

МОЛОДО — НО НЕ ЗЕЛЕНО

Похоже, для испанской литературы настал период обновления. Свое слово в ней сказала сразу целая группа молодых писателей. Более подробно с некоторыми из них знакомит на своих страницах газета «Паис».

Лучшим назван Луис Магринья — тридцатитрехлетний уроженец Мальорки. Свою первую книгу — «Призрачное» (издательство «Дебате») — Л.Магринья опубликовал два года назад после четырехлетних издательских перипетий. Его персонажи принадлежат к другой эпохе — это дворецкие, архиепископы, а также кавалеры, распевающие серенады. И это не случайно, ибо для Луиса творчество — еще и желанная возможность хотя бы мысленно уйти от современного мира.

Двадцатисемилетний поэт и прозаик Хуан Бонилья из Севильи пришел в художественную литературу через журналистику и телережиссуру. Широкую известность он приобрел год назад, удостоившись престижной аргентинской премии «Насьон» за сборник рассказов «Тот, кто гасит свет» (издательство «Претекстос»). Название перекликается с новеллой Сомерсета Моэма, в которой в роли сказителя выступает дедушка: он рассказывает внучкам на сон грядущий разные истории, а когда девочки засыпают, гасит свет и удаляется. Разумеется, у Х.Бонильи сюжеты и персонажи иного рода: это некий журналист, американский астронавт Нил Армстронг и даже Иисус Христос. Рискнув в рассказе «Борхес-клептоман» представить латиноамериканского корифея искусным обработчиком чужих сюжетов и высказываний, Х.Бонилья не решился, однако, включить его в конкурсный вариант сборника, чем и объясняет свой успех.

Двадцативосьмилетний Хоакин Альбайсин начинал с юриспруденции, но победила страсть к литературе. Кумиры библиофила — Фелипе Альфау, Рамон Гомес де ла Серна, В.Набоков, Ф.Достоевский. Хоакин — лишь наполовину испанец, и цыганская кровь сказывается в романтическом привкусе его произведений — очерка «Цыгане на арене» и романа-водевиля «Земной змей» (издательство «Анаграма»), где среди прочих персонажей, преимущественно «уличного» типа, неизменно присутствуют цыгане. Сейчас в том же издательстве готовится к выходу новая книга молодого автора «Крути — переворачивай». «Так жарят бифштексы, — поясняет Х.Альбайсин. — Но только речь идет об отношениях с женщинами. Ведь с некоторыми из них иначе не справиться — обожжешься».

Самым полемичным из современных авторов неожиданно, в считанные месяцы, стал Хосе Анхель Маньяс. За свои «Истории Кронена» двадцатидвухлетний мадридец был удостоен звания финалиста премии «Надаль» и такого шумного внимания прессы, что, по его собственному признанию, «хотел бы исчезнуть, ибо уже надискутировался вволю и устал от журналистов». К тому же его волнует другое — сценарий для экранизации своей книги. Успех ее парадоксален: книгу быстро раскупили, несмотря на крайне нелестные оценки типа «пустопорожняя тарабарщина, оживленная бранью и утяжеленная реализмом». «Что ж, каждый критик вправе думать как ему угодно», — парирует Х.А.Маньяс.

■ ИТАЛИЯ

«ТРАВИАТА» НА СЦЕНЕ И В ЖИЗНИ

Трое внебрачных детей, ни одного мужа, множество любовников. Таким было семейное положение двадцатишестилетней Джузеппины Стреппони. За плечами — бурно проведенная молодость, труд на износ. Ее отец-музыкант умер рано, и девушка, едва окончив консерваторию, должна была думать не о творческой карьере, а о заработке: мать и сестры вечно болели и вечно нуждались. Впрочем, много выступая, Джузеппина быстро приобрела известность и стала оперной звездой романтического склада. В ее репертуаре были партии из опер Беллини и Доницетти. Певица беспощадно эксплуатировала голос — и начала терять его.

Судьба спасла ее от печального конца, подарив в 1841 году встречу с молодым композитором (и к тому же вдовцом) Джузеппе Верди. Жизнь «травиаты», то есть «распутницы», осталась позади; впереди — распахнувшиеся двери «Ла Скала», сценическая жизнь «травиаты» в опере Верди и соединение с ним супружескими узами. Правда, официально последнее произошло лишь восемнадцать лет спустя, ибо Верди исповедовал свободу нравов. Вообще, в Италии тех времен мало кого шокировало, если знаменитая певица, имея внебрачных детей, передавала их в чужие руки, а сама жила в доме известного маэстро. Страна объединялась, боролась с Наполеоном III, внимала всему новому в науке и технике и была пронизана духом романтики и свободомыслия.

Последующие годы Джузеппины и Джузеппе были то бурными, то спокойными: жизнь в Милане, затем в Париже, затем снова в Италии, в маленькой деревушке — обители их уединения перед разлукой:

Портрет Джузеппины.
(Еженедельник «Стампа—Туттолибри»)

с появлением «Аиды» в их жизнь вошла певица Тереза Штольц. Уже немолодой композитор страстно влюбился в нее, как когда-то в Джузеппину. Той же вплоть до глубокой старости и до самой смерти была отведена новая роль — отверженной супруги.

Таков сюжет «Травиаты» Гайа Сервадио (издательство «Риццоли») — беллетризованной биографии Джузеппины Стреппони-Верди.

■США

БЕСЦЕННАЯ НАХОДКА СТО С ЛИШНИМ ЛЕТ СПУСТЯ

В 1990 году на чердаке одного дома в Калифорнии была обнаружена рукопись (именно рукописный вариант!) первой части всемирно знаменитой книги Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна»; все сто с лишним лет рукопись считалась утерянной. Уникальность находки профессор университета Буффало и президент Американского общества Марка Твена определил так: «Все равно что англичане обнаружили бы рабочий вариант «Короля Лира» или «Гамлета».

Рукопись сразу же стала предметом горячих споров о правах на хранение и публикацию. Корни этой истории уходят в прошлый век: в 1885 году Джеймс Фрейзер Глюк, молодой юрист из Буффало, начал собирать рукописи и письма выдающихся англоязычных авторов. Среди прочих, он обратился и к Марку Твену с просьбой подарить что-либо для городской библиотеки Буффало. Пятнадцатью годами ранее Марк Твен (тогда еще Сэмюэл Клеменс) был редактором и совладельцем газеты «Буффало экспресс»; он решил подарить городу вторую часть рукописного варианта «Приключений Гека Финна» — к тому моменту книга уже была опубликована.

Марк Твен полагал, что первую часть уничтожили в типографии, но спустя два года нашел ее и тоже послал в Буффало. Глюк взял ее из библиотеки, чтобы переплести, однако не успел вернуть. В следующем году он внезапно умер, а многострадальная рукопись, не имевшая библиотечных штампов, осталась у его вдовы. Та переехала к дочери в Калифорнию, и исписанные рукой Марка Твена листы много лет пролежали в сундуке, пока на них не наткнулась некая Барбара Теста.

Когда эксперты аукциона Сотби подтвердили подлинность рукописи, о своих правах на нее заявили сразу три стороны: госпожа Теста с сестрой, городская библиотека Буффало, а также Нью-Йоркский фонд Марка Твена. За дело взялись юристы, и в конце концов было решено поделить возможные доходы поровну, дабы никого не обидеть.

Гекльберри Финн, рисунок Эдварда Уинзора Кембла (1884).
(Газета «Нью-Йорк таймс»)

Разумеется, подобная находка — лакомый кусочек для издательств. Публиковавшее американского классика «Рэндом хаус» считает «вполне естественным» первую публикацию рукописи у себя, в то время как среди проектов издательства Калифорнийского университета есть выпуск Полного собрания сочинений Марка Твена, и находка была бы здесь кстати.

Пока крупные издательства борются, журнал «Нью-Йоркер» опубликовал небольшой отрывок. В нем Гек Финн и беглый раб Джим разговаривают в пещере о привидениях, и Джим расписывает жуткий случай, когда однажды в морге ему пришлось драться с трупом. По свидетельству литературоведов, этот страшный отрывок — образец блестящей прозы.

Ценность вновь найденной рукописи состоит еще и в том, что она буквально испещрена собственноручными исправлениями и пометками Марка Твена — некоторые места переписаны по четыре раза, — что позволяет увидеть, как работал мастер, как менялся его замысел. Например, одну из глав он перенес в другую книгу — «Жизнь на Миссисипи»; по ходу работы над романом Марк Твен усилил звучание темы человеческого достоинства и личного освобождения Джима.

Между тем первая часть ру-

кописи теперь помещена в специальную комнату в городской библиотеке Буффало, где она наконец-то спустя сто восемь лет воссоединилась со второй частью.

КАКИМ БЫЛО ТВОРЧЕСТВО ИНДЕЙЦЕВ?

Современные белые американцы интересуются прошлым своей страны, причем далеким прошлым, до появления на континенте солдат, торговцев и миссионеров из Европы. Еще одно свидетельство тому — уникальная антология «Открытие», выпущенная недавно издательством «Рэндом хаус». Ее составитель, нью-йоркский поэт и филолог Брайен Суонн, собрал под одной обложкой переводы (многие опубликованы впервые) устных произведений коренных жителей Америки — индейцев.

В 800-страничном томе представлены 49 переводов с языков различных племен Северной Америки, причем каждый перевод сопровождается предисловием. К этой работе приложили руку антропологи, лингвисты и сами индейцы — носители языков.

Помимо поэзии и прозы сравнительно известных племен (навахо, лакота, хопи), в антологию вошел фольклор таких народов, которые почти неизвестны даже многим американцам: племя юпик с побережья Берингова моря, дунне-за из нынешней Британской Колумбии, ацугеви из Калифорнии, коасати из юго-западной Луизианы...

Книга разрушает один из самых устоявшихся (и самых далеких от реальности) стереотипов: будто в доколумбовой Америке существовали просто «краснокожие». На самом деле многочисленные племена сильно отличались друг от друга и укладом жизни, и обычаями, и фольклором.

Вместе с тем, как показывает антология, в устном творчестве географически и исторически разделенных племен есть немало общего. Почти везде на первом месте стоит природа и человек как часть ее. Многим историям присущ юмор (у племени инна есть целая серия веселых историй о Хитрой Росомахе); во многих действуют сметливые, находчивые животные: ворона, койот, ворон.

Любопытно, что сказки и легенды некоторых племен похожи на древнегреческие мифы. Например, очень часто люди превращаются в животных, и наоборот (юноша в сказке племени юпик превращается в тюленя, а в истории племени тагиш-тлингит девушка выходит замуж за медведя; главный герой древнего песенного цикла племени яки — поющий олень).

Как отмечает в общем предисловии составитель Брайен Суонн, язык играл важнейшую роль в цивилизации индейцев, и именно по языковому принципу формировались племена. При этом с 1886 по 1990 год в США проводилась федеральная политика, запрещавшая использование какого-либо индейского языка в школах. Это положение изменилось лишь после принятия специального закона об индейских языках.

Сейчас исследование индейских литератур и их перевод на английский переживают возрождение, хотя, увы, многое из творческого наследия первых американцев утеряно навсегда и зачастую исследователи имеют дело с разрозненными остатками некогда богатой и своеобразной древней культуры. С трудом можно восстановить интонацию, ритм, последовательность изложения, отклик слушателей — ведь это исключительно устное творчество. И тем ценнее данная антология.

■ФРАНЦИЯ

«МЫ НЕ МОЖЕМ ЖДАТЬ — МЫ СЛИШКОМ МОЛОДЫ»

Так гласит надпись на одной из парижских стен. И так могли бы сказать о себе дети, у которых есть все для счастья — кроме него самого, потому что они больны СПИДом. С предложением помочь им издательство «Дисней/Ашетт» и журнал «Лир» обратились к известным и очень загруженным писателям. Их попросили сочинить по одной занятной истории для детского сборника «Расскажи мне о жизни». И все как один, отложив в сторону свои дела, горячо откликнулись на предложение, отказавшись при этом от гонораров. Все вырученные от продажи средства решено передать в фонд исследований проблемы детского СПИДа.

Собака из сказки Патрика Модиано.
(Журнал «Лир»)

Среди авторов этого сборника — Жан-Мари-Гюстав Леклезио (согласно опросу, проведенному журналом «Лир», он назван лучшим из пятидесяти современных французских писателей). Рядом с ним — не менее именитый Бернар Клавель с историей о пакостливом аисте из Страсбурга. Патрик Модиано рассказал сказку о компании собак с парижской улицы Солнца; Клод Руа — о проказливых чертенятах, из-за которых в доме все идет вверх дном; Эрик Орсенна поведал историю об ученике, который вовсе не хотел учиться; а Александр Жарден — об одном странном человеке, который все время ходил нагишом, чтобы познать самого себя. Жанна Бурен заставляет немного взгрустнуть о приятелях, с которыми было так хорошо отдыхать во время каникул; Режин Деформж уводит на поиски чудес; а Тахар Бен Джеллун — в экзотический мир пустыни. Так, вдевятером, они и поведали о жизни, в которой есть и быль, и небыль.

БАСНОСЛОВНО БАСНЕЙ СЛАВЕН

«Лисица и журавль», «Ворона и лисица», «Волк и собака» — эти и другие басни Жана Лафонтена на слуху у французов и ныне, через триста лет после его смерти. Меж тем он мечтал о славе поэта, ведь басни испокон веков стояли на последней ступени литературной иерархии. Однако ни «Адонис», ни «Евнух», ни «Элегии» не запали в душу читателям так, как истории в стихах, основанные на сюжетах Эзопа, и сказки в духе Боккаччо и Петрония.

Лафонтен, по его собственному выражению, уподобился пчелке, по капле собирающей нектар с разных цветков. Ему, как и другим литераторам XVII века, оставалось лишь пересказывать античные произведения образным, живым современным языком, ибо в те времена считалось, что все лучшее в литературе уже создано и Гомер, Софокл, Эзоп — непревзойденные мастера.

Свои басни сорокачетырех

Иллюстрация XVIII века к басне «Лисица и журавль»
(Журнал «Лир»)

летний Лафонтен предназначал «дамам и кавалерам», то есть широкой публике, поскольку тогдашние дамы уже не изучали латынь и риторику, а кавалеры изучали, но быстро забывали. Классика в его исполнении стала доступна и детям. Конечно, подтекст был им еще не по возрасту, зато они лучше взрослых могли оценить этот удивительный мир говорящих зверюшек, с которыми то и дело что-то приключалось. Правда, воспитатели юного поколения противились включению басен в круг детского чтения из-за морального облика их автора — гуляки и мота. «Я люблю увеселения, азартные игры, женщин, книги и музыку — словом, жизнь... А интегристы и прочие заставляют умирать раньше смерти», — говаривал убежденный бонвиван, зная наперед, что плохо кончит. «Жан ушел, как и пришел. Получил — и все спустил. Ну и что?» — написал он в посвященной самому себе эпитафии.

Его басни стали невероятно популярны, но автору хотелось признания в высшем свете. А королевский двор безмолвствовал: Людовик XIV не мог простить Лафонтену преданности его политическому противнику Фуке. В честь его, своего покровителя, Лафонтен написал «Адониса», в честь монарха — ни строчки. Зато камешков в его огород было брошено немало. Положение не изменилось и после того, как Фуке умер таинственной смертью, и после того, как Лафонтен был принят во Французскую академию. «Ну хоть теперь напишите что-нибудь во славу Его Величества», — посоветовали ему. Он написал «Обращение к мадам де Ласаблер» — гимн свободе, в котором о короле — ни слова.

За эту ли победу «комара» над «львом», за раблезианский ли дух или просто за складные, запоминающиеся строчки басен французы высоко чтят своего соотечественника. В память о нем вышел альбом «В стране Лафонтена» (издательство «Кастерман»), где собраны иллюстрации разных лет к его басням, а также изображения его родного города Шато-Тьерри. Для литературоведов подготовлен сборник «Лафонтен и другие» (издательство «Дроз»). В него включены двадцать статей знатоков его жизни и творчества. А для современных «дам и кавалеров» имеется сразу десять переизданий его произведений. «Галлимар/Плеяда» и «Сёй» выпустили полное собрание сочинений, остальные восемь издательств — басни. Пожалуй, баснописец скромничал: ведь он ушел, оставив богатое наследие, и наследники бережно передают его из поколения в поколение.

По материалам газет «Паис» (Испания), «Нью-Йорк таймс» (США), еженедельников «Таймс литерари сапплмент» (Великобритания), «Стампа—Туттолибри» (Италия), «Нью-Йорк таймс бук ревью» (США), журнала «Лир» (Франция).

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ, ПЬЕСЫ

Ажар Эмиль — Голубчик (*Роман. Перевод с французского Н.Мавлевич*), № 7.
Акройд Питер — Дом доктора Ди (*Роман. Перевод с английского В.Бабкова*), № 10.
Апдайк Джон — Игра с динамитом (*Рассказ. Перевод с английского И.Бернштейн*), № 7.
Байетт Антония С. — Джинн в бутылке из стекла «соловьиный глаз» (*Повесть. Перевод с английского И.Тогоевой*), № 10.
Барнс Джулиан — см. Литературный гид, № 6.
Бергман Ингмар — см. Литературный гид, № 9.
Бернхайм Эмманюэль — Его жена (*Роман. Перевод с французского и вступление Татьяны Ворсановой*), № 9.
Биэн Брендан — Говоря о веревке (*Трагикомедия в трех актах. Перевод с английского Иосифа Бродского*), № 2.
Бойл Т. Корагессан — Рассказы (*Перевод с английского Г.Чхартишвили и Л.Мотылева*), № 12.
Борхес Хорхе Луис — Из «Книги вымышленных существ» (*Перевод с английского Е. Лысенко*), № 6.
Брэдбери Малькольм — Профессор Криминале (*Роман. Перевод с английского Б.Кузьминского, Г.Чхартишвили, Н.Ставровской*), № 1.
Бэнвилл Джон — Улики (*Роман. Перевод с английского и вступление А.Ливерганта*), № 2.
Виткевич Станислав Игнаций — Безумный Локомотив (*Пьеса без «морали» в двух действиях с эпилогом*). Из книги «Наркотики» (*Перевод с польского и предисловие Андрея Базилевского*), № 11.
Вудхаус Пэлем Гренвилл — Рассказы (*Переводы с английского И. Бернштейн, В. Ряполовой, Н. Трауберг, В. Сербина. Вступление В. Сербина*), № 11.
Гадда Карло Эмилио — Театр (*Рассказ. Перевод с итальянского Н.Ставровской*), № 12.
Гивне Айлиш Ний — Вышивка цветочками (*Рассказ. Перевод с английского В.Воронина*), № 2.
Грасс Гюнтер — Жестяной барабан (*Роман. Книга первая. Перевод с немецкого С. Фридлянд. Предисловие Ирины Млечиной*), № 11.
Грей Аласдер — Бедные-несчастные (*Роман. Перевод с английского Л.Мотылева*), № 12.
Грейси Сара — Уста наслаждения, уста смерти (*Рассказ. Перевод с английского Н.Васильковской*), № 10.
Джойс Джеймс — Кошка и черт (*Перевод с английского А.Ливерганта. Иллюстрации Джеральда Роуза*), № 2.
Ирландские пословицы (*Перевод с английского А.Ливерганта. Иллюстрации Карен Бейли*), № 2.
Ирландские триады (*Перевод с английского А.Ливерганта*), № 2.
Йейтс Уильям Батлер — Единственная ревность Эмер (*Пьеса для танцовщиков. Перевод с английского Г.Кружкова. Вступление В. Ряполовой*), № 2.
Кадарэ Исмаиль — Великая Стена (*Рассказ. Перевод с албанского Л.Милько*), № 9.
Камю Альбер — Первый человек (*Главы из романа. Перевод с французского и вступление Ирины Кузнецовой*), № 5.
Кеннеди Морис — Владивосток (*Рассказ. Перевод с английского Л.Локшиной*), № 2.
Кишон Эфраим — Рассказы (*Перевод с немецкого и вступление Н.Берновской*), № 5.
Корниш Михай — Рассказы (*Перевод с венгерского и вступление Ю.Гусева*), № 3.
Лайтман Алан — Сны Эйнштейна (*Перевод с английского В.Харитонова. Послесловие Александра Гениса*), № 3.
Маккейб Юджин — Жертвы (Ферманагская история. *Перевод с английского и вступление А.Ливерганта*), № 2.
Манди Иван — Кино Жамбоки (*Фрагменты книги. Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева*), № 4.
Миллер Генри — Дьеп — Ньюхейвен (*Рассказ. Перевод с английского А. Ливерганта*), № 7.
Моранте Эльза — Улица Ангела (*Рассказ. Перевод с итальянского Н.Ставровской*), № 6.
Павич Милорад — Вечность и еще один день (*Меню для театрального ужина. Перевод с сербского Н.Вагаповой и Л.Савельевой. Вступление Ясмины Михайлович*), № 7.
Рот Йозеф — см. Литературный гид, № 8.
Рушди Сальман — Рассказы (*Перевод с английского И. Тогоевой*), № 11.
Свифт Джонатан — Когда я состарюсь... (К 250-летию со дня смерти. *Перевод с английского и вступление А.Ливерганта*), № 12.
Тремейн Роуз — Перемещения герольда Монжуа (*Рассказ. Перевод с английского Л.Локшиной*), № 10.
Феллини Федерико — Джульетта (*Повесть. Перевод с итальянского Э.Двин. Послесловие К.Долгова*), № 4.
Фишер Тибор — Злоумышленники (*Рассказ. Перевод с английского А. Ливерганта*), № 10.
Хочу все знать, или Американская энциклопедия на все случаи жизни (*Составление и перевод с английского А.Ливерганта*), № 3.
Шофман Гершон — Рассказы (*Перевод с иврита В. Климовского*), № 11.
Эко Умберто — Маятник Фуко (*Роман. Перевод с итальянского Е.Костюкович*), № 7—9.

СТИХИ

Антиэлегии середины века. Луис Сернуда, Октавио Пас, Чеслав Милош (*Переводы с испанского, польского и вступление Бориса Дубина*), № 1.
Армитидж Саймон — см. Два поэта нового поколения, № 10.
Вальес Хоакин Санчес — см. Современные поэты Арагона, № 5.
Грейвз Роберт — Стихи (К 100-летию со дня рождения. *Перевод с английского Андрея Сергеева*), № 6.
Грюнбайн Дурс — Стихи из книги «Дорогим мертвым» (*Перевод с немецкого и вступление С. Морейно*), № 11.

Гудель Гильермо — см. Современные поэты Арагона, № 5.
Гуэрра Тонино — «Дома, деревья, тени на равнине» (Из поэмы «Дом». *Вступление и перевод Евгения Солоновича*), № 4.
Даффи Кэрол Энн — см. Два поэта нового поколения, № 10.
Два поэта нового поколения: Саймон Армитидж и Кэрол Энн Даффи (*Стихи. Перевод с английского Г. Кружкова и А. Шараповой. Вступление В. Скороденко*), № 10.
Дулитл Хильда — см. Олдингтон Ричард, № 9.
Жакоте Филипп — Стихи (*Перевод с французского В. Швыряева*), № 12.
Иган Десмонд — см. Из современной поэзии, № 2.
Из современной поэзии. Мартин О'Диран, Брендан Кеннелли, Энтони Кронин, Десмонд Иган (*Перевод с ирландского и английского Г.Кружкова*), № 2.
Кеннелли Брендан — см. Из современной поэзии, № 2.
Кирш Сара — Стихи (*Перевод с немецкого Л.Керчиной, Л.Беринского. Вступление Вальдемара Вебера*), № 3.
Козел Уршуля — Стихи (*Перевод с польского и вступление Н.Астафьевой*), № 8.
Кронин Энтони — см. Из современной поэзии, № 2.
Милош Чеслав — см. Антиэлегии середины века, № 1.
Милош Чеслав — Ода птенцу (*Стихи. Перевод с польского С.Морейно*), № 7.
Молина Антонио Фернандес — см. Современные поэты Арагона, № 5.
О'Диран Мартин — см. Из современной поэзии, № 2.
Олдингтон Ричард, Дулитл Хильда — Стихи (*Перевод с английского А. Кудрявицкого, А. Шараповой, С. Фетисовой. Вступление Алексея Зверева*), № 9.
Падрон Хусто Хорхе — Стихи (*Перевод с испанского Н. Ванханен*), № 11.
Пас Октавио — см. Антиэлегии середины века, № 1.
Портер Питер — Стихи (*Перевод с английского С. Гандлевского*), № 10.
Рей дель Корраль Хосе Антонио — см. Современные поэты Арагона, № 5.
Сен-Мартен Марсель — Стихи (*Перевод с французского Александра Давыдова. Вступление Татьяны Ворсановой*), № 6.
Сераль-и-Касас Томас — см. Современные поэты Арагона, № 5.
Сернуда Луис — см. Антиэлегии середины века, № 1.
Современные поэты Арагона. Ильдефонсо Мануэль Хиль. Томас Сераль-и-Касас. Гильермо Гудель. Антонио Фернандес Молина. Хосе Антонио Рей дель Корраль. Хоакин Санчес Вальес (*Перевод с испанского А.Гелескула. Вступление Натальи Ванханен*), № 5.
Хермлин Стефан — «Я знал, что каждый звук мой — звук любви...» (К 80-летию поэта. *Стихи. Перевод с немецкого и вступление Г. Ратгауза*), № 9.
Хиль Ильдефонсо Мануэль — см. Современные поэты Арагона, № 5.
Шаламун Томаж — Глаголы Солнца (*Стихи. Перевод со словенского Н. Эрвич. Вступление Надежды Арутюнян*), № 3.
Шар Рене — «Любовь моя и крах...» (*Стихи. Перевод с французского и вступление Сергея Гончаренко*), № 5.

ИЗ КЛАССИКИ XX ВЕКА

Виан Борис — Осень в Пекине (*Роман. Перевод с французского и вступление М.Аннинской*), № 3.
Сернуда Луис — «Молчаливый, траурный, тонкий...» (*Стихи. Перевод с испанского и вступление Н.Ванханен*), № 12.

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Вглубь одного стихотворения, № 7, 11.
Верлен Поль — Песня без слов (*Переводы с французского. Вступление А.Гелескула*), № 7.
Китс Джон — Кузнечик и сверчок. К Одиночеству (К 200-летию со дня рождения. *Сонеты. Переводы с английского. Вступление А. Зверева*), № 11.
Элинан из Фруамона — Стихи о Смерти (*Перевод со старофранцузского и вступление Сергея Бунтмана*), № 1.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ГИД

АВСТРИЙСКИЙ СИНДРОМ, № 8.
ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА: РУССКИЕ УШЛИ, № 6.
IN MEMORIAM: 1939 — 1945, № 5.
НОВАЯ ШВЕДСКАЯ ЛИТЕРАТУРА, № 9.
Айги Геннадий — Среди образов Викстена, № 9.
Андрич Иво — Знаки вдоль дороги (*Фрагменты книги и очерк. Перевод с сербскохорватского и вступление Александра Д.Романенко*), № 5.
Барнс Джулиан — Дикобраз (*Роман. Перевод с английского Е. Храмова*), № 6.
Бауэр Вольфганг — см. "Манускрипты", № 8.
Бергман Ингмар — Воскресный ребенок (*Роман. Перевод со шведского Александры Афиногеновой*), № 9.
Брем Ильза — Стихи (*Перевод с немецкого Г.Ратгауза, Д. Павлова. Вступление Г.Ратгауза*), № 8.
Васильева Н. — см. «Манускрипты», № 8.
Выступление Президента Чешской Республики **Вацлава Гавела** на открытии Международного конгресса ПЕН-клуба (*Прага, отель «Атриум», 7 ноября 1994. Перевод с чешского В. Каменской*), № 6.
Глухарев Евгений — Ханс Викстен. Стиг Классон, № 9.
Грубер Р.П. — см. «Манускрипты», № 8.
Гуннарссон Бьёрн — Внуки «шведской модели благоденствия» уходят в себя (*Перевод со шведского Е.Серебро*), № 9.
Густафссон Ларс — Искусство пережить ноябрь (*Рассказ. Перевод со шведского Екатерины Чевкиной*), № 9.
Дал Роалд — Генезис и катастрофа (Правдивая история. *Рассказ. Перевод с английского Л.Курбатова*), № 5.
Додерер Хаймито фон — Очень короткие истории (*Перевод с немецкого Э.Венгеровой*), № 8.
Загаевский Адам, Корнхаузер Юлиан — Эссе и стихи (*Перевод с польского и вступление В. Британишского*), № 6.
Затонский Д. — «Эта гротескная Австрия... », № 8.
Карельский Альберт — Лекция о творчестве Франца Кафки, № 8.
Кестнер Эрих — Notabene 45 (*Фрагменты дневника. Перевод с немецкого и вступление Г.Косарик*), № 5.
К нашим иллюстрациям, № 8, 9.
Конрад Дёрдь — Весенние заметки (*Дневник-*

эссе. Перевод с венгерского и вступление Ю. Гусева), № 6.
Корнхаузер Юлиан — см. Загаевский Адам, № 6.
Линдгрен Торгни — Легенды (*Перевод со шведского Ольги Дробот*), № 9.
Литературная пресса мира, № 8.
Любомирский Карл — «Голубой цветок на обочине... » (*Стихи. Перевод с немецкого Е.Соколовой, В.Агафоновой, В.Вебера. Вступление Вальдемара Вебера*), № 8.
«Манускрипты». Н. Васильева — Журнал, подрывающий здоровье нации. **Р.П.Грубер** — Мы те, от кого народ Граца должен быть защищен (*Стихи*). **Петер Штрассер** — Последний оплот авангарда. **Вольфганг Бауэр** — Столовая. Каприччо а-ля Габсбург (*Отрывок из пьесы*). **Мишкульниг Людиа** — Детская площадка (*Рассказ*). (*Переводы с немецкого Н.Васильевой*), № 8.
Мауте Йорг — Венские правила хорошего тона (*Перевод с немецкого И. Ланина*), № 8.
Мишкульниг Людиа — см. «Манускрипты», № 8.
Петранек Ян — Чехия, предоставленная самой себе (*Перевод с чешского Е.Ермонской*), № 6.
Подгорный Владимир — Письма парижского бомжа, или, по-французски, клошара, № 5.
Рансмайр Кристоф — Убийство (*Отрывок из романа. Перевод с немецкого Н. Федоровой*), № 8.
Родстрём Никлас — Эйфелева башня (*Рассказ. Перевод со шведского Е.Глухарева*), № 9.
Рот Йозеф — Иов (*Роман. Перевод с немецкого Юрия Архипова*), № 8.
Стратиев Станислав — Миниатюры (*Перевод с болгарского В. Георгиева и М.Тарасовой*), № 6.
Сэлинджер Дж.Д. — Раз в неделю — тебя не убудет (*Рассказ. Перевод с английского И.Бернштейн*), № 5.
Транстрёмер Тумас — Стихи (*Перевод со шведского Ильи Кутика. Вступление Геннадия Айги*), № 9.
Финдли Тимоти — Камни (*Рассказ. Перевод с английского Ксении Соколовой*), № 5.
Хлебникова О. — Картины, растущие словно деревья, № 8.
Шнайдер Богуслав — Два интервью о войне (*Перевод с английского Р.Файфель*), № 5.
Штрассер Петер — см. «Манускрипты», № 8.
Экстрём Маргарета — Рассказы (*Перевод со шведского Е. Серебро и М. Макаровой*), № 9.
Эстерхази Петер — Записки синего чулка (*Фрагменты книги. Перевод с венгерского и вступление В. Середы*), № 6.

NB

Чарльз Буковски, № 8.
Данило Киш, № 5.
Буковски Чарльз — Рассказы (*Перевод с английского Виктора Голышева, Василия Голышева, Виктора Когана*), № 8.
Генис Александр — Уроки пламенного равнодушия, № 8.
Киш Данило — Энциклопедия мертвых (*Фрагменты книги. Перевод с сербскохорватского И.Юферева*), № 5.
Стахов Дмитрий — Личный ад Чарльза Буковски, № 8.
Шешкен А. — Реквием по человеку, № 5.

ПОРТРЕТ В ЗЕРКАЛАХ

Хорхе Луис Борхес, № 1.
Константинос Кавафис, № 12.
Апдайк Джон — Писатель-библиотекарь (*Перевод с английского В.Кулагиной-Ярцевой*), № 1.
Бланшо Морис — Литературная бесконечность: «Алеф» (*Перевод с французского Бориса Дубина*), № 1.
Борхес Хорхе Луис — Воспоминание и три сна (*Перевод с испанского Бориса Дубина*), № 1.
Бродский Иосиф — На стороне Кавафиса (*Авторизованный перевод с английского Л.Лосева*), № 12.
Де Мэн Пол — Мастер наших дней: Хорхе Луис Борхес (*Перевод с английского Бориса Дубина*), № 1.
Дубин Б. — Несколько слов в предуведомление к рубрике, № 1.
Дубин Борис — От составителя, № 12.
Кавафис Константинос — Стихи (*Перевод с новогреческого Евгения Солоновича*), № 12.
Милош Чеслав — О Кавафисе (*Перевод с польского Бориса Дубина*), № 12.
Оден Уистен Хью — Кавафис (*Перевод с английского Бориса Дубина*), № 12.
Сабато Эрнесто — Рассказы Хорхе Луиса Борхеса (*Перевод с испанского В.Кулагиной-Ярцевой*), № 1.
Стайнер Джордж — Тигры в зеркале (*Перевод с английского Бориса Дубина*), № 1.
Шаша Леонардо — Несуществующий Борхес (*Перевод с итальянского Евгения Солоновича*), № 1.
Юрсенар Маргерит — Борхес, или Ясновидец (*Перевод с французского Бориса Дубина*), № 1.
Юрсенар Маргерит — Кавафис: предисловие к знакомству (*Перевод с французского Бориса Дубина*), № 12.

ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ПРОЗА

Форман Милош при участии **Яна Новака** — Круговорот (*Воспоминания. Перевод с английского Елены Богатыренко*), № 4, 5.

ПУБЛИЦИСТИКА

Браун Норман О. — Дионис в 1990 году (*Перевод с английского Н.Кигай*), № 1.
Бродский Иосиф — Памяти Марка Аврелия, № 7.
Гарнер Джеймс Финн — Политически корректные сказки на сон грядущий (*Перевод с английского Г. Чхартишвили*), № 9.
Генис Александр — Глаз и слово, №.4.
Каграманов Ю. — Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?, № 1.
Маевский Евгений — Интерактивное кино? (Опыт эстетической прогностики), № 4.
Политическая корректность, или Гильотина благих намерений, № 9.
Саган Франсуаза — Катрин Денёв — белокурый надлом (*Перевод с французского Елены Богатыренко*), № 4.
Толстая Татьяна — Не спи, не спи, художник... , № 9.
Хлебников Б. — Картинки с выставки (Заметки о Франкфуртской книжной ярмарке), № 3.
Энценсбергер Х.М. — Взгляд на гражданскую войну (*Перевод с немецкого А. Егоршева*), № 6.
Якимович А. — Культура и преступление (О чем говорят и о чем стараются не говорить в конце XX века), № 1.

КРИТИКА

Биллингтон Майкл — Английская «новая драма» сорок лет спустя (*Перевод с английского*

Юрия Фридштейна), № 10.
Вайль Петр — см. Литературная пресса мира, № 6.
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ, № 5, 6, 9, 12.
Джонс Том — см. Литературная пресса мира, № 6.
Дин Шеймас — Век ирландской литературы (*Перевод с английского О.В.*), № 2.
Древновский Тадеуш — Польская литература: на поверхности и в глубине (*Перевод с польского Людвики Кашницкой*), № 11.
Журнал в Америке — см. Литературная пресса мира, № 6.
Журнал, называющий себя «лучшим в мире» (*К 70-летию «Нью-Йоркера»*). Традиционный стиль и современная тактика (*Интервью с заместителем главного редактора журнала «Нью-Йоркер»* **Хендриком Херцбергом** *ведет МАРИНА ЕФИМОВА*). Солидная элегантность. Журнал в Америке (Беседа **Иосифа Бродского** с Петром Вайлем. **Петр Вайль** — Довлатов на Бродвее. **Джон Лар** — Леди и Теннесси (Эссе. *Перевод с английского Е.Богатыренко*). **Том Джонс** — Резкое похолодание (*Рассказ. Перевод с английского В.Когана*). (*Выпуск подготовил Петр Вайль*), № 6.
Зверев Алексей — Запад есть Запад?, № 5.
Ишимбаева Г. — Переосмысление традиций, № 9.
Каннингем Валентайн — Английская литература в конце тысячелетия (*Перевод с английского А. Ливерганта*), № 10.
Кузнецов Игорь — Бессмертие путника (Милан Кундера и Итало Кальвино среди любимых призраков), № 6.
Кузнецов Игорь — Регулярный парк сновидений (По следам Милорада Павича. *Фрагменты словаря*), № 12.
Кузнецов Сергей — История одного жеста, № 6.
Лар Джон — см. Литературная пресса мира, № 6.
ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕССА МИРА, № 6.
Оэ Кэндзабуро — Многосмысленностью Японии рожденный (Нобелевская лекция 1994 года. *Перевод с английского Натальи Старосельской. Вступление Т.Григорьевой*), № 5.
Солидная элегантность — см. Литературная пресса мира, № 6.
Три интервью с Владимиром Набоковым (*Перевод с английского Д.Федосова*), № 11.
Традиционный стиль и современная тактика — см. Литературная пресса мира, № 6.
Хьюитт Карен — Новая английская историческая беллетристика спрашивает: «Почему?» (*Перевод с английского А. Кабалкина*), № 10.

ГЕНИЙ МЕСТА

Вайль Петр — Улица и дом (*Джойс — Дублин. Конан Дойл — Лондон*), № 2.
Вайль Петр — Золотые ворота (*Чарли Чаплин — Лос-Анджелес, Джек Лондон — Сан-Франциско*), № 4.
Вайль Петр — Портрет города (*Мадрид — Веласкес, Толедо — Эль Греко*), № 12.

К 40-ЛЕТИЮ «ИЛ»

Ваксмахер Морис — Вспоминая начало, № 7.
Дубин Борис — Язык другого, № 7.
«ИЛ»: эпоха великих географических открытий, № 7.
К нашим иллюстрациям, № 7.
«Намного лет задолго», или Из тайного архива редакции, № 7.
О том, что было... , № 7.
TOP TEN, то есть Первая десятка лучших опечаток в истории «ИЛ», № 7.
Трауберг Н. — Теплое лето 1955 года, № 7.
Юбилейная анкета «ИЛ», № 7.

К НАШИМ ИЛЛЮСТРАЦИЯМ

Айги Геннадий — см. Литературный гид, № 9.
Альберто Санчес, скульптор из Толедо. К 100-летию со дня рождения. — Альберто Санчес. Мигель Эрнандес. Пабло Пикассо. Хосе Бергамин. Пабло Неруда. **Рафаэль Альберти** (*Переводы с испанского. Предисловие А.Гелескула*), № 12.
Глухарев Евгений — см. Литературный гид, № 9.
Казарцева Н. — Серьезные игры со временем и пространством, № 1.
Хлебникова О. — Граффитизм — искусство нью-йоркской подземки, № 3.
Хлебникова О. — см. Литературный гид, № 8.

У КНИЖНОЙ ВИТРИНЫ, № 2, 3, 6, 9, 10, 11.

КУРЬЕР «ИЛ», № 1, 4, 8, 10.

Австрийская литература на страницах «ИЛ», № 8.
Английская литература на страницах «ИЛ» 1992—1995, № 10.
Ирландская литература на страницах «ИЛ», № 2.
Кино на страницах «ИЛ», № 4.
Шведская литература на страницах «ИЛ», № 9.
Памяти Н.Я.Казарцевой, № 9.
АВТОРЫ ЭТОГО НОМЕРА, № 1—12.

■

АЛАСДЕР ГРЕЙ (ALASDAIR GRAY; род. в 1934 г.) — шотландский писатель и художник. Автор романов «Ланарк. Жизнеописание в четырех книгах» («Lanark: a Life in Four Books», 1981), «1982, Джанин» («1982, Janine», 1984), «Падение Келвина Уокера» («The Fall of Kelvin Walker», 1985; рус. пер. 1990), «Творец истории» («History Maker», 1994), сборника рассказов «Рассказы, большей частью невероятные» («Unlikely Stories, Mostly», 1983) и др.
Роман «Бедные-несчастные» был издан в Англии в 1992 году и удостоен премии «Гардиан» («Poor Things». London, Bloomsbury Publishing, 1992).

Т. КОРАГЕССАН БОЙЛ (T. CORAGHESSAN BOYLE; род. в 1948 г.) — американский писатель. Автор романов «Музыка вод» («Water Musik», 1982), «Пробуждающиеся надежды» («Budding Prospects», 1984), «Конец мира» («World's End», 1987; премия имени Фолкнера, присуждаемая ПЕН-клубом), «Дорога в Уэлвилл» («The Road to Wellville», 1993), «Восток есть Восток» («East is East», перевод опубликован в «ИЛ», 1994, № 8) и трех сборников рассказов.
Публикуемые рассказы «Крупная дичь» («Big Game») и «Плотское познание» («Carnal Knowledge») взяты из книги «Без героя» («Without a Hero». London, Granta Books, Penguin Books, 1995).

ЛУИС СЕРНУДА (LUIS CERNUDA ; 1902 — 1963) — испанский поэт. После гражданской войны был в эмиграции в Англии; в шестидесятые годы — в США и Мексике. Автор книг лирики «Воздушный контур» («Perfil del aire», 1927), «Желаемое и действительное» («La realidad y el deseo», 1936). В изгнании выпустил книги стихов «В ожидании зари» («Como quien espera el alba», 1947), «Отчаяние призрачной тени» («La desolacion de la quimera», 1962), сборники лирической прозы «Старик Окнос» («Ocnos», 1942) и «Вариации на мексиканскую тему» («Variaciones sobre tema mexicano», 1952), опубликовал работы о новейшей испанской истории.
В русских переводах стихи Сернуды издавались в книгах «Западноевропейская поэзия XX в.» (М., 1979), «Из современной испанской поэзии» (М., 1979), «Жемчужины испанской лирики» (М., 1984), а также в «ИЛ».
Публикуемые стихи взяты из сборника «Желаемое и действительное», издания 1991 года, Madrid, Alienza Editorial.

КАРЛО ЭМИЛИО ГАДДА (CARLO EMILIO GADDA; 1893 — 1973) — итальянский писатель. Литературную деятельность начинал в двадцатых годах. Автор сборников новелл «Замок в Удине» («Il castello di Udine», 1934, премия «Багутта»), «Адальджиза» («L'Adalgisa», 1944) «Новеллы из герцогства, охваченного пламенем» («Novelle dal ducato in fiamme», 1953, премия «Виареджо»), автобиографического «Дневника времен войны и плена» («Giornale di guerra e di prigionia», 1955), романов «Пренеприятнейшее происшествие на улице Мерулана» («Quer pasticciaccio brutto de via Merulana», 1957), «Познание страданий» («La cognizione del dolore»; международная премия «Форментор») и др. В «ИЛ» напечатаны «Короткие басни» К.Гадды (1962, № 9).
Рассказ «Театр» взят из сборника «Мадонна философов» («La madonna dei filosofi». Torino, Einaudi, 1931).

ГЕЛЕСКУЛ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1934 г.) — литературовед, переводчик с испанского, французского, польского языков. В его переводах публиковались стихи испанских поэтов Ф.Гарсиа Лорки, Х.Р. Хименеса, А.Мачадо и др.; французских — П.Верлена, Г.Аполлинера; польских — А.Мицкевича, Б.Лесьмяна, Л.Стаффа, К.К. Бачинского.
В «ИЛ» печатались его переводы стихотворений Сесара Вальехо (1993, № 8), Поля Верлена (1993, № 10), андалусской песенной поэзии «Канте хондо» (1986, № 7), поэтов Арагона (1995, № 5) и др. Лауреат премий «ИЛ» (1985, 1993).

КОНСТАНТИНОС КАВАФИС (KONSTANTINOS KABAPHĒS, 1863—1933) — греческий поэт. Родился и всю жизнь жил в греческой общине древней эллинистической столицы, а в то время — арабского города Александрия (Египет). При жизни поэта вышли два его поэтических сборника «Стихотворения» («Ποιήματα», 1904 и 1910), оказавших позднее большое влияние на греческую и европейскую поэзию XX в. В «ИЛ» печатались стихи Кавафиса (1967, № 8) и (1983, № 12).
Публикуемые стихи взяты из сборников «Стихотворения» («Ποιήματα». Αθηνα, 1963) и «Неизданные стихотворения 1882—1923» («Ανέκδοτα Ποιήματα 1882— 1923». Αθηνα, 1968).

ДУБИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ (род. в 1946г.) — литературовед, переводчик с испанского, английского и французского языков, автор статей по социологии культуры. В его переводах публиковались стихи французских и латиноамериканских поэтов, в том

числе А.Мачадо, Х.Р. Хименеса, Ф.Гарсиа Лорки, Г.Аполлинера и др. В «ИЛ» напечатаны переводы стихов Х.Л. Борхеса (1984, № 3 и 1990, № 12), М.Д. Мартинеса (1987, № 4), «Антиэлегии середины века» (1995, № 1). Лауреат премии «ИЛ» (1992).

ВАЙЛЬ ПЕТР ЛЬВОВИЧ (род. в 1949 г.) — литературный критик, журналист. С 1977 г. живет в США. В соавторстве с Александром Генисом написал книги «Современная русская проза» (1982), «Потерянный рай. Эмиграция: попытка автопортрета» (1983), «Русская кухня в изгнании» (1987), «60-е. Мир советского человека» (1988), «Родная речь» (1990). Статьи П.Вайля печатались в «ИЛ» (1990, № 8, 1995, № 2 и № 4).
Статья «Портрет города (Мадрид — Веласкес, Толедо — Эль Греко)» получена редакцией в рукописи.

КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ РОБЕРТОВИЧ (род. в 1959 г.) — прозаик, литературный критик. В периодической печати выступает со статьями о современной литературе. В «ИЛ» напечатана его статья «Бессмертие путника» (1995, № 6).

■Переводчики:

МОТЫЛЕВ ЛЕОНИД ЮЛЬЕВИЧ (род. в 1955 г.) — переводчик с английского. В его переводах публиковались романы: Ф.Д. Джеймс «Неестественные причины» («ИЛ», 1992, № 11-12; совместно с И.Бернштейн и Г.Чхартишвили), «Завещание Оскара Уайльда» (совместно с В.Ворониным), «Письма Оскара Уайльда разных лет» («ИЛ», 1993, № 11) книга американского историка Дж.Стефана «Русские фашисты» (М., 1992), рассказы А.Конан Дойла, Г.Бейтса, стихи Р.Киплинга и др.

ЧХАРТИШВИЛИ ГРИГОРИЙ ШАЛВОВИЧ (род в 1956 г.) — литературный критик, переводчик с английского и японского языков. В его переводах публиковались романы Юкио Мисимы «Золотой храм» («ИЛ», 1989, № 5), Кэндзи Маруямы «Сердцебиение» («ИЛ», 1991, № 5), главы из книги Такэси Кайко «Все дальше и дальше» («ИЛ», 1986, № 3), роман английского писателя Т.Корагессана Бойла «Восток есть Восток» (совместно с И.Бернштейн и Л.Мотылевым, «ИЛ», 1994, № 8), Малькольма Брэдбери «Профессор Криминале» («ИЛ», 1995, № 1, совместно с Б.Кузьминским и Н.Ставровской), произведения Ясуси Иноуэ, Кобо Абэ, Танако Такахаси и др.

СТАВРОВСКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА — переводчик с итальянского и английского языков. В ее переводах печатались повести В.Черами «Маленький человек», С.Бенни «Комики, напуганные войной» (обе совместно с К.Молочковской), Л.Шаши «Исчезновение Майораны», «Ведьма и капитан», «Рыцарь и смерть»; рассказы Г.Паризе, новеллы А.Табукки («ИЛ», 1991, № 5), повесть Г.Д'Аннунцио «Леда без лебедя» («ИЛ», 1994, № 4), сценарий Ф.Феллини «Голос Луны» и др.

СОЛОНОВИЧ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ (род. в 1933 г.) — переводчик итальянской поэзии и прозы. В «ИЛ» напечатаны его переводы из Данте, Ариосто, Петрарки, Белли, Монтале, Луци, Унгаретти, Пиньотти, стихи из поэмы «Дом» Тонино Гуэрры, роман Дж. Д'Агаты «Америка о'кей», рассказы Дж.Ландольфи, Л.Шаши и др.
Переводы Е.Солоновича из классической и современной итальянской поэзии отмечены в Италии рядом литературных премий.

ЛОСЕВ ЛЕВ (род. в 1937 г.) — поэт, литературовед, автор книг стихов «Чудесный десант» (1985), «Тайный советник» (1987). В настоящее время живет в США; профессор Дартмудтского колледжа.

■

WHAT A WONDERFUL WORLD!

ДЛЯ ИСТИННЫХ ЦЕНИТЕЛЕЙ ПРЕКРАСНОГО

АОЗТ "Мир Знаний"

представляет издания по искусству всемирно известных компаний

"Encyclopaedia Britannica", "Magnus", "Franco Maria Ricci", "Benedikt Taschen"

"Энциклопедия изобразительных искусств" - "The Encyclopedia of Visual Art" - 2 239 иллюстраций этой 10-томной энциклопедии отражают историю искусств с момента зарождения цивилизации до наших дней, знакомя читателей с сокровищами крупнейших музеев мира и самых известных частных коллекций. Издательство **"Encyclopaedia Britannica"** (США).

"Летопись искусств Франко Мария Риччи" - "Art FMR. Les Annales de l'art de Franco Maria Ricci" (15 томов). Самое роскошное издание по искусству, которое когда-либо выходило в мире. Шедевры музеев и частных коллекций Лондона, Парижа, Нью-Йорка, Афин и многих других городов мира. 3 000 иллюстраций, запечатлевших знаменитые картины, скульптуры, церкви, замки, дворцы, сопровождают эссе Умберто Эко, Александра Дюма, Итало Кальвино, Хорхе Луиса Борхеса и других знаменитых авторов. Каждая книга - настоящий домашний музей. Уникальная полиграфия. Шелковый переплет, золотое тиснение. Издательство **"Franco Maria Ricci"** (Италия).

Великолепные крупноформатные альбомы посвящены творчеству самых загадочных художников XIX - XX столетия. Изысканные двухтомники в подарочных футлярах: **"Дали"**, **"Ван Гог"**, **"Пикассо"**, **"Сутин"**. Издательство **"Benedikt Taschen"** (Германия).

Легендарные коллекции Лувра, Эрмитажа, галерей Уффици и Питти, музея Орсэ - на страницах альбомов серии **"Лучшие музеи мира"**. В каждом томе примерно 700 страниц и около 800 иллюстраций. Серии альбомов **"Лики городов Италии"**, **"Город и культура"**, **"Путешествие мечты"** приглашают совершить романтические прогулки по красивейшим городам Италии. Издательство **"Magnus"** (Италия).

Новогодний подарок!

Для покупателей, приобретающих издания **с 1 декабря 1995 г. по 15 января 1996 г.**, компания "Мир Знаний" подготовила новогодние подарки - книги всемирно известных компаний (см.таблицу). Покупая издание, указанное в левой колонке таблицы, Вы можете выбрать подарок из соответствующей части правой колонки.

Издание, которое Вы покупаете	Подарок, который Вы выбираете
Энциклопедия "Британника" (32т.). Издание "Лимитед". Роскошный кожаный переплет. Ограниченный тираж.	• "Детская Британника" (20 т.); • "Энциклопедия изобразительных искусств" (10 т.); • 4 двухтомника издательства "Benedikt Taschen" ("Дали", "Пикассо", "Ван Гог", "Сутин"); • Справочник европейских товаропроизводителей "Wer liefert was?" (8 т.).
Энциклопедия "Британника" (32т.). Издание "Эрлум".	
"Летопись искусств Франко Мария Риччи" (15 т.).	• 2 любых двухтомника издательства "Benedikt Taschen" на выбор: "Дали", "Пикассо", "Ван Гог", "Сутин".
Britannica-CD - энциклопедия "Британника" на CD-ROM.	• Словарь "Merriam-Webster's" (3 т.); • Энциклопедия "Британника" для маленьких детей (16 т.).
"Детская Британника" (20 т.) - энциклопедия для подростков.	• 1 любой двухтомник издательства "Benedikt Taschen" на выбор: "Дали", "Пикассо", "Ван Гог", "Сутин"; • "Атлас Британники" - крупноформатный атлас мира; • "Открытие мира" - энциклопедия "Британника" для малышей (12т.).
"Энциклопедия изобразительных искусств" (10 т.).	
4 альбома издательства "Magnus" из серии "Лучшие музеи мира".	• 2 фотоальбома издательства "Magnus" из серии "Путешествие мечты".

На остальные издания, распространяемые компанией "Мир Знаний", до 15 января 1996 г. установлена **специальная новогодняя скидка - 5 %.**

Счастливого Нового года!

Тел.: (095) 369 2977, 161 4049, 161 0775 Факс: (095) 161 0675 Почтовый адрес: 107392, Москва, а/я 14 E-mail: mir@znanija.msk.su

ИНДЕКС 70394

ISSN 0130-6545 «Иностранная литература», 1995, №12, 1 — 256